ISSN 0130-6545

1.1997

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

КРИСТА ВОЛЬФ
Медея

КЛАЙВ С. ЛЬЮИС
Пока мы лиц не обрели

МИЛОРАД ПАВИЧ
Шляпа из рыбьей чешуи

ИОСИФ БРОДСКИЙ
Письмо Горацию

Античность и современная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 14 600 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2051 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

1 январь 1997

СОДЕРЖАНИЕ

КРИСТА ВОЛЬФ — Медея. *Голоса* (*Роман. Перевод с немецкого М.Рудницкого*) 5

КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС — Пока мы лиц не обрели. *Пересказанный миф (Перевод с английского И.Кормильцева*) 80

ЛУИС СЕРНУДА — Стихи (*Перевод с испанского Натальи Ванханен*) 191

МИЛОРАД ПАВИЧ — Шляпа из рыбьей чешуи. *Любовная история (Перевод с сербского Н.Вагаповой*) 195

Критика и публицистика

ИОСИФ БРОДСКИЙ — Письмо Горацию (*Перевод с английского Елены Касаткиной*) 213

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ — Futurum imperfectum 225

ТОНЧО ЖЕЧЕВ — Миф об Одиссее (*Главы из книги. Перевод с болгарского Е.Фалькович*) 234

ВЯЧЕСЛАВ ВС.ИВАНОВ — Современность античности. «Черное солнце» Федры 247

У книжной витрины 251

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1997

В следующем номере «ИЛ»

Новый роман знаменитого французского писателя **Мишеля Турнье** «ЭЛЕАЗАР, или ИСТОЧНИК И КУСТ» рассказывает об ирландском пасторе XIX века, жизнь которого мистическим образом, этап за этапом, повторяет жизненный путь пророка Моисея.

Пьеса не менее знаменитого швейцарского драматурга **Фридриха Дюрренматта** «ПОДЕЛЬНИКИ» еще недавно могла восприниматься как гротеск. В наши дни Дюрренматт неожиданно предстает здесь как суровый реалист.

Литературный гид «АМЕРИКАНСКИЙ АВАНГАРД 60-х: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», посвященный творчеству **Доналда Бартелми, Уильяма Гасса** и **Джеймса Донливи** — авторов,чья новаторская эстетика оказала заметное влияние на американскую прозу шестидесятых.

Переписка **Гюнтера Грасса** и **Кэндзабуро Оэ**, поводом для которой стало 50-летие окончания второй мировой войны.

Цветные иллюстрации номера — работы немецкого художника МАРКУСА ЛЮПЕРЦА.

На 1-й стр. обл. — «Десять гравюр на дереве к микенским улыбкам. Мотив 1» (1985—1986).
На 2-й стр. обл. — «Пастух» (1987—1988).
На 3-й стр. обл. — «Десять гравюр... Мотив 10».

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Анжелика» — Коровинское ш., д.20
«Гилея» — ул. Знаменка, д.10
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
Книжная лавка «19 Октября» — 1-й Казачий пер, д.8
«Книга Замоскворечье» — ул. Пятницкая, д.6
МКЦ «Надежда» — ул. Сретенка, д.9
«Эйдос» — Чистый пер., д.6

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎ 233-51-47; факс 233-50-61, E-mail edit@inolit.msk.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 27.12.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,74. Заказ №2186.

Тираж 14 600 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

КРИСТА ВОЛЬФ

Медея

Голоса

РОМАН

Перевод с немецкого М.РУДНИЦКОГО

Ахрония — это не бездушная соположенность эпох, а скорее их сочлененная «вставленность» друг в друга наподобие штатива, это каскад омолаживающихся структур. Их можно растянуть, как мехи гармошки, и тогда от одного конца до другого очень далеко, а можно и вложить друг в друга, наподобие кукол в русской матрешке, чтобы «стенки» времен почти соприкасались. И вот тогда люди иных столетий начинают слышать наш дребезжащий граммофон, а мы сквозь прозрачные перегородки времени видим, как они простирают руки над своей любовно приготовленной трапезой.

Элизабет Ленк

ГОЛОСА

МЕДЕЯ — колхидка, дочь царя Эета и Идии. Сестра Халкиопы и Апсирта.
ЯСОН — предводитель отряда аргонавтов на корабле «Арго».
АГАМЕДА — колхидка, в прошлом — наперсница Медеи.
АКАМ — коринфянин, первый астроном царя Креонта.
ЛЕУКОН — коринфянин, второй астроном царя Креонта.
ГЛАУКА — коринфянка, дочь царя Креонта и Меропы.

ДРУГИЕ ПЕРСОНАЖИ

Креонт — царь Коринфа.
Меропа — царица Коринфа.
Ифиноя — их убитая дочь.
Турон — коринфянин, помощник Акама.
Лисса — колхидка, названая сестра Медеи.
Аринна — дочь Лиссы.
Кирка — колдунья, сестра матери Медеи.
Пресбон — колхидец, распорядитель празднеств, игр и торжеств в Коринфе.
Теламон — соратник Ясона, аргонавт.
Фрикс — из Иолка, привез в Колхиду руно.
Пелий — дядя Ясона, правитель Иолка.
Хирон — воспитатель Ясона в горах Фессалии.
Мермер, **Ферет** — сыновья Медеи и Ясона.
Ойстр — скульптор, возлюбленный Медеи.
Аретуза — подруга Медеи с острова Крит.
Старец — возлюбленный и друг Аретузы с острова Крит.

Мы произносим имя и вступаем, раз уж перегородки прозрачны, в ее времена, желанная встреча, и она без колебаний и страха встречает наш взгляд из своих древних глубин. Детоубийца? Впервые — укол сомнения. И эта надменная издевка в пожатии ее плеч, в гордом отвороте головы — ей уже нет дела до наших сомнений и до наших ста-

© 1996 Luchterhand Literaturverlag GmbH
© М.Рудницкий. Перевод, 1997

раний восстановить справедливость, она удаляется. Уходит от нас — далеко вперед? Или — глубоко назад? Вопросы, по дороге утратившие смысл. Это мы послали их в путь, и вот она поднимается из глуби времен нам навстречу, а мы отдаемся погружению, проваливаясь все глубже и мимо столетий, которые говорят с нами не столь отчетливо, как ее эпоха. Когда-нибудь мы обязательно встретимся.

Мы ли спускаемся к древним, они ли нагоняют нас? И то, и другое, вместе. Порою достаточно просто протянуть руку. И вот они уже легко перемахивают на нашу сторону, эти чужегости, столь похожие на нас. Да, он есть у нас, этот ключик, что отмыкает все эпохи, и мы в жажде скороспелых суждений зачастую совершенно бесстыдно им пользуемся, но ведь возможно приближаться и иначе, медленно, шаг за шагом, уважая чужие табу и не пытаясь без нужды вырвать у мертвых их тайны. А коли уж есть нужда — признáемся в этом сразу и не таясь.

Тысячелетия плавятся под гнетом наших взглядов. Так пусть же гнет остается. Праздные вопросы. Вопросы невпопад, не о том — они пугают тень, что силится выйти к нам из сумрака наших предубеждений. Наш долг ее остеречь. Предубеждения наши сложились в законченную систему, ничто не способно их опровергнуть и даже поколебать. А может, наш долг как раз в том, чтобы проникнуть в самую сердцевину предубеждений, просто зажмуриться и войти, всем вместе, друг за дружкой, под грохот их рушащихся перегородок. Хочется верить, что теперь она подле нас, эта тень с магическим именем, в котором сошлись времена и эпохи, сошлись болезненно и нестерпимо. Тень, в которой наше время настигает нас. Эта женщина, неистовая...

Теперь мы их слышим, эти голоса...

1

Все, что я до сей поры свершила,
назову творением своей любви...
Только теперь я, Медея,
через страдания собою становлюсь.

Сенека. Медея

Медея

Даже мертвые боги властвуют. Даже несчастные тянутся к своему счастью. Язык грез. Язык прошлого. Помогите же, помогите мне выбраться из этого колодца, прочь от этого лязга в моей голове, почему я слышу бряцание оружия, неужто они все еще бьются, мама, кто, с кем, мои колхидцы, ужели опять затеяли ристалища в нашем внутреннем дворе или просто там, где я, оружие бряцает всегда и с каждым разом все громче? Пить. Надо проснуться. Надо раскрыть глаза. Кружка возле моего ложа. Холодная водица не только утолит мою жажду, но и утишит этот шум в моей голове, я знаю. Вот тут, мама, ты сидела надо мной, и когда я поворачивала голову, как сейчас, я видела проем окна, вот он, только там, где я сейчас, в окно глядит не любимый мой орех, а смоковница. Ты, мама, знала, что тосковать можно и по дереву, я была еще девочкой, почти ребенком, в первый раз закровоточила, но болела не из-за этого и ты не из-за этого сидела возле меня безотлучно, и гнала от меня невзгоды, и меняла мне примочки из трав на лбу и груди, и показывала мне линии на моих ладонях, сперва на левой, потом на правой, такие разные, и учила меня разгадывать их смысл, я потом часто старалась не замечать этих посланий, сжимала руки в кулаки, скрещивала их на груди, накладывала их на чужие раны, воздымала к своей богине, носила воду из колодца, ткала полотно с нашими узорами, зарывала их в теплых волосах детей. А однажды, мама, еще в том, другом времени, я обхватила этими руками твою голову, чтобы запечатлеть, унести эту форму в своих ладонях, у рук ведь тоже есть память. И тело Ясона, каждую пядь, эти руки знают и знали еще этой ночью, хотя сейчас утро и я не помню точно, какой сегодня день.

Спокойно. Только спокойно, все по порядку. Соберись с мыслями. Во-первых, где ты? Я в Коринфе. Смоковница перед окном моей глинобитной лачуги была мне отрадой и утешением, когда они изгнали меня из дворца Креонта. За что? Но это потом. А праздник, на который я в конце концов обещала Ясону прийти, он еще будет или уже кончился? «Ты не можешь сейчас меня подвести, Медея, от этого праздника так много зависит». «Только не для меня, — ответила я ему, — ты сам знаешь, но будь по-твоему, я приду, но в последний раз» — так я ему сказала. Это ты провела тогда ногтем по этой вот крохотной черточке на моей левой ладони и объяснила мне, что означает, если она вдруг пересечется с линией жизни, ты хорошо меня знала, мама, жива ли ты?

Взгляни. Видишь, вот она, эта крохотная линия, углубилась и уже перечеркнула другую. «Смотри, как бы гордыня не выстудила твою душу», — может быть, но боль, мама, боль тоже оставляет после себя опустошающий след. Хотя кому я это говорю? Даже в кромешной тьме, когда мы вступали на борт «Арго», я видела твои глаза и никогда их не забуду, их взгляд вжег мне в память слово, которого я прежде не знала: ВИНА.

Опять звон в висках, это, конечно, жар, но почему-то мне кажется, что я уже там была, уже сидела за этим столом, правда, не рядом с Ясоном, это вчера было, не уходи, мама, откуда эта усталость, мне бы еще чуточку поспать, нет, сейчас, сейчас я встану, надену белое платье, которое я сама ткала и шила, твоя наука, мама, и мы вместе, как когда-то, пойдем коридорами нашего дворца, и мне будет радостно, как маленькой девочке, когда ты брала меня за ручку и вела в наш внутренний двор с колодцем посредине, помнишь, нигде я не встречала колодца красивей, и одна из женщин протягивает нам деревянную бадью, и я черпаю пригоршнями родниковую воду и пью, пью — и выздоравливаю.

Тут все очень просто: либо я не в себе, либо их город зиждется на преступлении. Нет-нет, верь мне, мама, я сейчас в своем уме и знаю, что говорю и что думаю, да я ведь и доказательство нашла, своими, этими вот руками его трогала, так что теперь если мне что и грозит, то совсем не от гордыни. Я ведь все-таки пошла за ней, за той женщиной, сама не знаю зачем, может, просто Ясона хотела проучить, который допустил, чтобы меня усадили за дальний конец стола, к челяди, да, верно, мне не приснилось, это было вчера. «Но это все-таки старшие слуги, — сказал он жалобно, — прошу тебя, Медея, не устраивай скандал, только не сегодня, ты же знаешь, что поставлено на кон, негоже ронять достоинство государя перед всеми этими чужеземными гостями». Ах, Ясон, не суетись ты так. Бедняга, никак он не уразумеет, что царь Креонт уже не в силах меня оскорбить, но разве в этом сейчас дело, сейчас главное — сохранить ясную голову. Надо дать себе зарок — никогда, ни одной живой душе я не скажу о своем страшном открытии, а лучше всего сделать, как мы, Халкиопа и я, делали детьми, помнишь, мама: мы крепко-накрепко заворачивали нашу тайну в листик, а листик съедали, неотрывно глядя друг другу в глаза, все наше детство, да нет, вся наша Колхида полна была темных тайн, так что когда я сюда попала, когда беженкой вошла в сияющий град царя Креонта, я с завистью подумала: уж у этих-то никаких тайн нет. И они, главное, сами в это верят, что и придает им такой гонор — каждым своим взглядом, каждым вальяжным движением они стараются тебе внушить: да, есть на свете место, где человек может жить счастливо, и только много позже я заметила, что они очень обижаются на того, кто посмеет усомниться в этом их счастье. Но разве в этом сейчас дело, да что же это с моей головой, мысли мечутся косяками, и почему же мне так трудно выудить из косяка ту одну-единственную, которая мне нужна.

Счастье еще, что за царским столом меня усадили между моим другом Леуконом, вторым астрономом царя, и Теламоном, ты, мама, его тоже, наверно, помнишь, он тот из аргонавтов, что вместе с Ясоном пришел к нам во дворец, когда их отряд высадился на побережье нашей Колхиды, так что скучать за праздничной трапезой мне не пришлось, Леукон человек умный, я люблю с ним побеседовать, мы друг другу приятны, а Теламон, хоть и неотесан, но беззаветно предан мне с той нашей первой встречи в Колхиде, уже сколько лет, я и со счета сбилась, в моем присутствии он старается

быть особенно остроумным, даже до непристойности, вот было смеху-то, а я, решив со своего низкого места досадить царю, начала вести себя как царевна, так ведь я царевна и есть, дочь царя и великой царицы, правда же, мама? Так что мне не составило труда привлечь к себе всеобщее внимание, а потом и почтение, даже со стороны заморских посланников из Ливии и с островов Средиземного моря, Теламон мне подыгрывал, беднягу Ясона мы совсем затравили, он разрывался между желанием угодить царю, от которого, впрочем, все мы зависим, и своей ревностью, украдкой поднимал за меня бокал и взглядами заклинал меня не заходить слишком далеко в моей гордыне, но едва царь начинал очередную тираду, он вынужден был преданно смотреть ему в рот. На нашем-то конце стола было очень весело, теперь я хорошо помню. Помню, как оба моих спутника учинили из-за меня шутливый спор, помню, как Леукон, рослый, стройный, хотя и немного неуклюж, голова яйцом, чудак, который умеет по достоинству оценить шутку, но не умеет шутить, без тени улыбки начал расписывать задиристому златокудрому Теламону мои способности врачевательницы, а Теламон в ответ во всеуслышанье стал расхваливать мои прелести, смуглая кожа, говорит, и смоль волос, как у всех нас, колхидцев, этим я, мол, сразу покорила Ясона, да и его тоже, только что́ он против Ясона, — тут он расчувствовался, как часто бывает с сильными мужчинами, заговорил о моих «огненных очах», да ты его знаешь, мама, всякий раз, когда я его вижу, мне вспоминается, как он возник у нас в дверях, а ты, прикрыв ладонью рот, вскрикнула: «Ой!» — как мне показалось, то ли с испугом, то ли с восхищением, и глаза твои при этом вспыхнули, а я вдруг заметила, что ты совсем не старая еще женщина, и невольно подумала о нашем вечно хмуром, кислом, подозрительном отце. Ах, мама. Я теперь тоже уже не молода, но все еще необузданна, так коринфяне говорят, для них всякая женщина, если она пробует жить своим умом, уже необузданная. А мне их коринфские жены напоминают прирученных, тщательно выдрессированных домашних зверьков, они смотрят на меня как на диковину, так что мы, трое весельчаков на нашем конце стола, приковывали к себе завистливые и возмущенные взгляды всех придворных, а еще умоляющие взоры бедняги Ясона, да что уж...

И зачем только я пошла за царицей, за этой женщиной, которую я, можно считать, и не видела почти за все то время, что я в Коринфе? Окутанная густой сетью жутких слухов, надежно укрытая неприступностью царственных особ, она влачит свои дни и ночи в самой удаленной, самой древней части дворца, за мощными стенами палат, которые, по рассказам, смахивают на сумрачные пещеры, скорее узница, чем владычица, под присмотром двух страшных и дряхлых старух, то ли служанок, то ли стражниц, которые, однако, на свой лад вроде бы преданы ей и верны, меня она, по-моему, даже по имени не знает, да и мне прежде какое было дело до несчастной царицы страны, что всегда была и навсегда останется для меня чужбиной. Как же голова болит, мама, видно, что-то во мне противится воспоминанию, не хочет еще раз спускаться в эти катакомбы, в подземное царство Аида, туда, где испокон века смешаны смерть и нарождение, где из перегноя мертвецов выпекается новая жизнь, что-то во мне не хочет назад, туда, где правят праматери и богиня смерти. Впрочем, что значит вперед, что значит назад? Жар все сильней, я должна была это сделать. Просто я вдруг посмотрела на эту женщину подле царя Креонта тем своим вещим взглядом, мама, который ты первая у меня обнаружила. А я ведь изо всех сил упиралась, ни за что не хотела ходить в обучение к тому молодому жрецу, заболевала... Теперь я вспомнила, как раз во время этой болезни ты и показала мне линии на моей руке, а тот жрец совершил потом чудовищные преступления, он был ненормальный, вот тут ты и изрекла: «У девочки вещий глаз». Здесь-то, в Коринфе, я его почти утратила, мне кажется иногда, именно болезненный страх коринфян перед тем, что они называют моей колдовской силой, и отбил у меня эту мою способность. Но когда я увидела царицу Меропу, я испугалась. То, что она сидит подле царя безмолвно, как статуя, что она его ненавидит, а он ее боится, — это только слепой мог не заметить. Но я-то совсем другое имею в виду. Когда вдруг разом наступила тишина. И перед глазами вдруг искристая дрожь, всегдашняя предвестница моих прозрений. И я в огромном чертоге почему-то с этой женщиной наедине. Вот тут я ее и узрела, увидела и ее ауру, почти

черную от безутешного горя, и ощутила такой ужас, что помимо воли последовала за ней, когда она, едва закончилась трапеза, встала и, ни слова не говоря, даже не кивнув на прощанье хотя бы иноземным купцам и посланникам, удалилась, прямая и непреклонная в своем златотканом праздничном одеянии, вынудив царя заглаживать эту ее неучтивость нарочито оживленными речами и громким смехом. Я от всей души порадовалась его замешательству. Не иначе он заставил несчастную женщину выйти на люди и выставить на потребу их суетному любопытству опустошенное лицо, как и Ясон вынудил меня ломать комедию перед теми же гостями. Но теперь довольно. И мы ушли, ведомые обе одним побуждением — гордостью. Никогда не забуду, как ты однажды мне сказала: если, мол, меня когда-нибудь будут убивать, то сперва убьют меня, а уж потом, отдельно, придется убивать мою гордость. Так оно и есть, так оно пусть и останется, и не худо бы моему бедному Ясону, пока не поздно, об этом догадаться.

Я последовала за царицей. По переходам, что ведут в парадный зал, — как часто я прежде сама тут шествовала, всеми почитаемая супруга Ясона, об руку с ним, царским племянником и дорогим гостем, и те времена даже казались мне счастливыми. Как же я могла так обманываться, впрочем, нет более ловкого обманщика, чем счастье, и нигдё острота восприятия не притупляется столь же надежно, как в государевой свите. Тут Меропа вдруг будто сквозь землю провалилась, должно быть, где-то в стене была лазейка, я поискала и нашла ее за шкурами, выхватила из ближайшего рожка факел и скользнула в проход, который вскоре стал до того низким, что пришлось идти согнувшись, или мне все это приснилось — мрачные подвальные своды, жуткое отражение прекрасного и светлого царского дворца в его же затхлых подземельях? Каменные лестницы, все глубже и глубже вниз, хорошо, бесконечные лестницы пусть приснились, но вот холод, он-то был наяву, меня от него до сих пор кидает в дрожь, и грубый, шершавый камень стен, впивавшихся мне в кожу, откуда иначе у меня на плечах царапины, а потом, в самом последнем, глубочайшем подземелье, в подвале, где не просыхает вода — и это в здешних-то засушливых краях! — черная нора, две ступеньки наверх и сразу же на четвереньки, а потом вообще ползком на брюхе, прикрывая еле мерцающий факел рукой, уже не думая о Меропе, которая где-то там, впереди, то ли есть, то ли нет, уже вообще ни о чем и ни о ком не думая, только вперед, покуда лаз не расширился и не превратился в пещеру, и пещера эта почему-то была мне знакома, как во сне, иначе откуда бы мне знать, что дальше тропка раздваивается и мне надо налево, а факел мой скоро погаснет. Он и погас. А потом подземный ход и вовсе до того сузился, что мне, вздумай я повернуть, пришлось бы пятиться задом, так что все равно вперед, только вперед, пусть даже себе на погибель, не зря ведь столько рассказов о тех, кто заблудился и сгинул под землей, неужто я хочу такой смерти, вопрос этот мелькнул у меня в голове, я скривила губы и поползла дальше, помню, как слизывала со стенок сочащуюся влагу, безвкусные подтеки, потом разом почувствовала, как неуловимо изменился вокруг воздух, и волосы мои, еще прежде, чем я услышала этот звук, встали дыбом. И лишь после я услышала звук. Непрерывный, долгий, нечеловеческий, потому что никакого дыхания не хватит на этот еле слышный, но такой пронзительный стон — пожалуй, так мог бы скулить зверь, но то был не зверь.

Это была та женщина. Меропа. Я хотела только назад, обратно, но какая-то сила толкала меня вперед пядь за пядью. Стон прервался, и молот в моей груди, казалось, заглушает все остальные звуки, он и сейчас бухает до самых висков, и тут, когда глаза мои присмотрелись к тьме, я увидела в мерцающем свете лампадки саму царицу: недвижная, как изваяние, она сидела, прислонясь к скалистой стене пещеры и устремив неотрывный взгляд в некую точку напротив. В стылом подземелье я вмиг вся взмокла от холодного пота, я слышала запах собственного ужаса, такого со мной еще не случалось — во мне будто шевельнулось что-то, что я все время надежно держала под спудом и о чем почти забыла, что-то невероятно живое в этой мертвецкой преисподней. Нет, это уже не игра. Какой ничтожной показалась мне вся эта церемонная показуха за царским столом, да и мои там выкрутасы — чем они лучше! Мне ли не знать: в придворной суете своя роль сыщется и для того, кто эту суету презирает и

высмеивает, я, правда, уже и не поддаюсь почти никогда ее соблазнам, что верно, то верно, но разве на сей раз на царский пир меня повлекло не тайное желание покрасоваться — и я пошла, вместо того чтобы иметь мужество отказаться, как вот Меропа, приведшая меня сюда, на самый край подземного мира, где меня сперва обуял ужас, а теперь и вовсе паника, потому как тут, совсем рядом, из этой жуткой тишины выскользнуло нечто, и не было в скалистой стене ни трещины, ни расселины, чтобы от него укрыться. Оно, это существо, умело двигаться совсем неслышно, не всколыхнув даже легчайшего дуновения, еще бесшумней, чем я, которую ты, мама, сызмальства обучила секретам движений, что целиком состоят как бы из крохотных заминок, и в стену врастать ты меня тоже учила — в отцовском дворце тебе это очень пригодится, говаривала ты, а я тогда еще не понимала почему, — и особому дыханию, когда подавляется любой вздох, испускаемый человеческим телом, и я, оказывается, все помнила, все вернулось само собой, не дав мне задрожать и залязгать зубами от ужаса перед существом, которое, словно тень от тени, отлепилось от стены и, подскользнув к царице, шепнуло ей что-то на ухо, взяло у нее из ладони гаснущую лампадку, после чего царица безропотно последовала за этой старухой, тень которой я скорее угадывала, чем видела, и обе они, поскольку потолок пещеры опять понижался, опустились на колени, а я непроизвольно проделала это вслед за ними. Да, я упала на колени — то ли от слабости, то ли возблагодаряя божество, которое и на сей раз меня упасло. А может, просто от смертного страха.

Я дала женщинам уйти подальше, чтобы они меня не слышали, а потом двинулась на ощупь вдоль стены пещеры. Я должна вызнать тайну царицы. В кромешной тьме кончики моих пальцев, по счастью, нащупали то, что они непроизвольно искали: неровности, выделанные в камне не природой, а человеческой рукой, борозды, знакомые мне еще с Колхиды, выбитые зубилом линии, что под моими пальцами складывались в рисунки и письмена, которыми здесь, в Коринфе, это я знала, украшают могилы схороненных в пещерах знатных мертвецов. Это укрепило во мне смутное, еще не облекшееся в слова подозрение. В том месте, где в каменной неподвижности сидела Меропа, я опустилась на четвереньки и подползла к стене, на которую — я видела — устремлен взор царицы, боязливыми пальцами нащупала в камне глубокую выбоину — и нашла то, чего так страшилась, и не смогла удержать крик, гулким эхом отозвавшийся в пещерном лабиринте. Только теперь я повернула. Теперь я знала то, что хотела узнать, и дала себе зарок как можно скорее об этом знании забыть, но с тех пор ни о чем другом не могу думать — только об этом голом, таком маленьком детском черепе, об этих тоненьких ломких ключицах, об этих хрупких позвонках, о нет...

Этот город зиждется на злодействе.

Кто выдаст эту тайну, тому уже не жить. Потрясение меня образумило. Отныне никаких презрительных ужимок, и вообще прочь от царских пиршеств, это ясно. Но куда? Тут и ты, мама, не знала бы, что посоветовать, тут сколько ни вопрошай линии руки — все впустую, линии-то ясные, только вот что они значат сейчас, здесь, для меня? Болезнь хоть и колотит меня нещадно, а все-таки это передышка, уж я-то знаю тайный смысл болезней, вот только использовать его для исцеления я куда лучше умею на других, нежели на себе самой. Добровольно отдаю себя во власть растущему жару, который вздымает меня горячей волной и несет навстречу мне смутные образы, обрывки видений, лица...

Ясон. Неужто я ему проболталась? Нет. Хоть и был миг, всего один, мимолетный соблазнительный миг, но я промолчала. Да нет, конечно же, промолчала. Ясон меня поджидал, я на это не рассчитывала, я все еще недостаточно его знаю, не удосужилась узнать его до конца, мне это теперь казалось не так уж важно, опасная беспечность. Вместо того чтобы смотреть в оба, предугадывать каждое его побуждение, я позволила себе роскошь равнодушия, иначе наперед бы знала: смесь унижения и триумфа, которую он изведал за государевым столом, так распалит его вожделение, что утолить этот пыл он возжаждет только со мной, ни одна из дворцовых девиц, которые всегда и с радостью готовы его ублажить, тут меня не заменит.

Еле живая, вся в грязи тащилась я домой, к глинобитной лачуге, что лепится к

подножию дворцовой стены, словно ласточкино гнездо, укрываясь под сенью смоковницы, чью ажурную листву я вижу сейчас со своего ложа. Взгляд Лиссы меня предупредил, одно движение ее губ подсказало мне, *кто* поджидает меня за пологом моей двери, так что я успела наспех ополоснуть лицо и руки и набросить чистую рубашку вместо замызганного, порванного хитона, прежде чем Ясон меня окликнул. Ничто не обманет другого столь же верно, как самое привычное твое поведение, а посему одежки Ясона, разбросанные, как всегда, где попало, мне пришлось, как всегда, попросту отодвинуть ногой, выпростав ступню из-под длинной, ниспадающей рубахи тем капризным движением, в шаловливой властности которого давняя и твердая уверенность: Ясон любит женские ножки, а таких красивых, как у меня, ни у кого больше нет, он и теперь это повторил, я же, чтобы выиграть время, спросила его, помнит ли он, когда впервые к моим ногам прикоснулся, на что он только нетерпеливо пробурчал:

— Дурацкий вопрос. Иди сюда.

Да, вот так этот человек теперь со мной разговаривает, и мне даже безразлично, что он путает меня с другими своими женщинами. Я все же потребовала, чтобы он сперва ответил.

— Некоторые вещи мужчина никогда не забывает, — изрек он гордо и тут же явил мне образчик своей замечательной забывчивости.

В Колхиде это было, возле частокола, что отделяет внутренний двор царского дворца от внешнего, и была ночь, полнолуние, это он как сейчас помнит.

— И рубашка на тебе была как сейчас, такая же, я такой тонкой ткани никогда прежде не видал, а за оградой часовые горланили ваши жуткие песни, от которых прямо с души воротит. — Тут и мне они вспомнились, протяжные, тоскливые песни наших молодых воинов, и как они брали меня за живое, но, конечно, совсем иначе, чем Ясона. — И ты пообещала мне помочь с этим проклятущим руном, которое было целью и смыслом всего нашего долгого странствия, и вот тогда, раз уж тебе так хочется это услышать, да, вот тогда я впервые обнял твои ноги.

Я удивилась, и самой себе тоже. Оказывается, он все еще способен причинять мне боль, мама, пора бы уж этому кончиться. Хотя могла бы, наверно, и сама догадаться, что и он тоже, как и другие, способен вообразить только одну причину, по которой я могла стать его сообщницей против собственного отца: ясное дело, я безнадежно и сразу же подпала его чарам. Коринфяне все так думают, для этих беззаветная женская любовь к мужчине все заранее объясняет и оправдывает. Но и наши колхидцы, те, что последовали за мной, они тоже с самого начала видели во мне и Ясоне только любовную парочку, им и невдомек было помыслить, что не могла, не могла я в доме отца спать с мужчиной, который отца обманывал. Ну да, да, мама, с моей помощью обманывал, в том-то и был весь ужас моего положения и вся моя мука: я шагу сделать не могла, чтобы этот шаг не оказался ложным, и не было деяния, которым бы я невольно не предала хоть что-то из того, что было мне дорого. И я знаю, наверняка знаю, как прозвали меня колхидцы после моего побега, об этом-то уж отец позаботился: предательница. Это слово все еще жжет меня неостывающим клеймом. Оно жгло меня и той ночью на «Арго», одной из первых ночей после нашего бегства; флот колхидцев, преследовавший нас по пятам, наконец прекратил погоню, я сидела на канатной бухте, прислонясь к борту, было новолуние и небо, до невероятия усыпанное звездами, помнишь, могла бы спросить я у Ясона, помнишь, как звезды падали в зеркало моря, будто брошенные чьей-то дланью, а море было покойно, волны тихо плескались о корабельный борт, аргонавты, те, кому выпал гребной черед, гребли бесшумно и споро, корабль почти не качался, и ночь выдалась теплая. Когда ты пришел, Ясон, могла бы сказать я ему, ты казался всего лишь темной тенью на фоне звездного неба, и с тобой была удача: ты говорил нужные слова нужным тоном и все делал впопад и вовремя, сумев смягчить мою боль — ту, о которой даже не ведал и которую я сама считала неотступной. И вот тогда, словно бы желая согреть меня, ты впервые обнял мои ноги.

Глупости, сказал бы Ясон, поэтому я промолчала. Но он сказал:

— Не будем спорить, Медея. Только не этой ночью. Иди сюда.

Этот голос. Снова как сигнал, на который что-то во мне отзывается, и я опять вверила ему не только мои ступни — вверила каждую пядь своего тела, желания которого он умеет угадывать, как ни один мужчина на свете. Хотя вернее сказать — умел угадывать.

— Ясон?

Долгое молчание. Это мне знакомо. Сейчас примется искать виноватых.

— Все оттого, — начал он укоризненным голосом, — что ты мне изменяешь. Сбежала с государевой трапезы, не иначе есть еще с кем поразвлечься. — На это я не сочла нужным отвечать, но он только пуще разозлился. — Прежде, — сказал он, — такого никогда бы не случилось. Прежде ты давала мне силу, сколько нужно сил — столько и давала.

На сей раз он был прав, я встала, окунула лицо и руки в бадью с водой, которую утром принесла из родника.

— Прежде, — сказала я Ясону, — прежде ты в меня верил. И в самого себя тоже.

— Вечно тебе надо всем перечить, — проворчал Ясон, — вечно все надо знать лучше других. Когда же ты наконец признаешь, что время твое прошло.

— Сейчас, — с изумлением услышала я собственный голос, — вот прямо сейчас и признаю, только тебе-то разве от этого легче?

Тут он вдруг обхватил голову руками и издал стон, какого мне прежде не доводилось слышать.

— Только не думай, — выдохнул он, — только не думай, будто я радуюсь, что и ты тоже не знаешь, как быть.

Такого признания я от него не ожидала. Я присела рядом с ним на ложе, отняла его ладони от висков, стала гладить его лоб, щеки, плечи, чувствительные ложбинки над ключицами, иди ко мне, прошептал он умоляюще, и я легла к нему, ведь я знаю его тело и умею пришпоривать его желания, и вот уже он, смежив веки, отдался игре собственных фантазий, в которые он меня никогда не допускал. Да, да, да, Медея, вот оно, сейчас. Ему наконец удалось то, чего я ему так желала, он всей тяжестью рухнул на меня и, пряча лицо между моих грудей, разрыдался — и плакал долго. Никогда прежде не видела я его слез. Потом он встал, окунул лицо в бадью с водой, встряхнул головой, словно бык, которого огрели дубиной по рогам, и, не оборачиваясь и не говоря ни слова, ушел.

За это мне еще придется поплатиться. Женщину, которая видела мужчину в миг слабости, в Коринфе так просто не прощают.

А у нас дома? В Колхиде? Не обманываюсь ли я, уверяя саму себя, что там, на родине, это было иначе? Интересно, отчего это я в последнее время все чаще и чаще вызываю в себе воспоминания о Колхиде, стараясь расцветить их все более живыми красками, словно не могу просто так смириться с исчезновением Колхиды из моей души. Или словно мне это зачем-то нужно, а зачем, я и сама не знаю.

Я пошла к Лиссе, она не спала. Рядом, из-за полога, я слышала посапывание детей. Мне очень хотелось, чтобы Лисса спросила меня, где я была, но та никогда не задает вопросов. Среди всех существ на земле она единственная, с кем я не была разлучена ни дня, она, родившаяся со мною в один день, та, чья мать стала моей кормилицей, она, ставшая потом кормилицей моим детям. Она, которая видела все и, думаю, все поняла, хотя, быть может, я и тут обманываюсь, полагая обыкновенным даром природы ее способность чувствовать и осознавать малейшие мои душевные движения — нередко прежде меня и даже такие, в которых я сама никогда себе не призналась бы. Лисса, которую я то сама прошу прилечь рядом со мной на мое ложе, чтобы облегчить душу, а то готова гнать от себя чуть ли не на край света. Но край света — это же Колхида. Наша Колхида на южных склонах угрюмого и дикого Кавказа, чья острая линия хребтов навсегда врезана в сердце каждой из нас, мы-то обе это знаем, просто не говорим никогда — разговоры только пуще растравили бы лютую тоску по родине. Но я-то всегда знала, что до конца дней не перестану тосковать по моей Колхиде, хотя что значит знать — эту неумолчную, гложущую боль предвидеть невозможно, мы, колхидцы, читаем ее друг у друга в глазах, когда встречаемся, чтобы посидеть вместе, попеть наши песни и поведать подрастающему юношеству

истории наших богов и нашего племени, истории, которые иные из детей вовсе не хотят слушать, ибо мечтают во всем походить на настоящих коринфян. Да и я иной раз избегаю ходить на эти встречи, а меня, так, во всяком случае, мне кажется, все чаще избегают на них приглашать. Ах, мои дорогие колхидцы, и вы тоже умеете причинять мне боль. А теперь вот, оказывается, этому научилась даже Лисса.

Она, правда, все еще бодрствовала, как всегда, когда знала, что еще может мне понадобиться, однако — против обыкновения — отказала мне в привычной своей улыбке. Выклянчивать улыбку я, конечно, не стала, сделала вид, будто ничего не замечаю, и начала — это посреди ночи-то — задавать себе и ей вопросы, вправду ли мужчины в Колхиде были другими, чем коринфяне, она нехотя, но все же дала втянуть себя в эту игру, по ее воспоминаниям, мужчины в Колхиде давали волю своим чувствам, так она сказала, отец ее, к примеру, не скрывал рыданий, когда с ее братом случилось несчастье, он прилюдно причитал и кричал, тогда как в Коринфе на похоронах ни один мужчина слезинки не проронит, за них тут женщины отдуваются. Тут она замолчала. Я знала, о чем она думает. Никогда больше не видела я, чтобы мужчина плакал так, как плакал тот молодой колхидец, возлюбленный Лиссы, которого она оставила навсегда, чтобы взойти на борт «Арго» и последовать за мной в неизвестность. Аринну, свою дочурку, она произвела на свет уже в пути, и с тех пор не было в ее жизни ни одного мужчины, — подумав об этом, я невольно спросила себя о цене, которую Лиссе да и другим колхидцам, всем нам пришлось заплатить за то, что я не пожелала больше жить в Колхиде, а они, ослепленные любовью и славой, которой я у них пользовалась, за мною последовали. Да, вот так я сегодня вынуждена на это смотреть.

Ясон? Что Ясон... Им хотелось думать, будто это именно тот мужчина, за которым я побегу хоть на край света, — я им не перечила, а теперь не имею права на них обижаться за то, что они воспринимают наш разрыв как кровное оскорбление. И даже хуже: как доказательство тщеты и напрасности нашего побега. В то время как я — так я размышляла на ложе Лиссы — сегодня ощупывала это доказательство собственными руками: детский скелетик, укрытый от всего света в жуткой пещере. В этот миг Лисса положила ладонь мне на затылок. Жесты все те же, а вот смысл в них уже другой. Нам дано лишь утешать друг друга. Поправить же ничего не дано. Так уж все устроено, мама, я начинаю понимать.

А что я хотела поправить, что хотела наверстать, когда не нашла другого выхода, кроме одного — исчезнуть вместе с Ясоном? Когда я доверила, мама, это свое намерение сперва тебе, потом Лиссе, вы обе выслушали меня молча, даже не спрашивая о причинах, — Лисса в конце концов заявила, что едет со мной. Лишь много лет спустя я надумала спросить у нее о том, что же творилось в те дни и ночи в Колхиде, ибо ведь именно Лисса втайне собрала горстку отчаянных колхидцев, которые захотели к нам присоединиться. Ни в одном из этих людей нельзя было обмануться, каждый должен был быть надежен, как кремень, любое необдуманное или предательское слово почти неминуемо вело к катастрофе. Но она хорошо изучила наших земляков, наблюдала за ними давно и пристально, она точно знала тех, кто, как и я, считал такую жизнь невыносимой. Так что они пошли за мной не ради меня, не только ради меня, Лисса частенько мне это повторяла, когда мои дорогие колхидцы, разочарованные странами, куда я, сама изгнанница, их привела, начинали винить меня в том, что из-за меня они, дескать, потеряли родину, которая теперь, задним числом, представлялась им чуть ли не в ореоле сияющей безупречности. Как же я их понимаю! И как же порой на них злюсь!

Сами обстоятельства нашего отплытия из Колхиды уже вскоре обросли невероятными, нередко прямо противоположными слухами и домыслами. Достоверно лишь то, что я среди ночи прокралась к ложу Лиссы и разбудила ее: «Пора, Лисса, ты идешь?», что Лисса тут же встала, подхватила свой — уже с вечера увязанный — узел, после чего мы вместе выскользнули из дворца и двинулись вниз, к морю, где на спокойной глади бухты почти в кромешной тьме застыли «Арго» и еще два судна из колхидского флота, корабли-перебежчики, к которым нас, женщин и детей, по мелкой воде мужчины перенесли на руках. Уже в путешествии некоторые из мужчин начали сперва понемногу, а потом все сильней преувеличивать глубину этого брода и вооб-

ще говорить о крайней опасности нашего отплытия, то о мертвой зыби, то о волнении на море, а особенно о своей мудрой предусмотрительности и отваге, только благодаря которым мы, женщины и дети, и оказались на борту. И чем хуже будет наше положение, тем безудержней будут выходить из берегов достоверности эти их легенды, а противопоставлять быль всем этим небылицам совершенно бесполезно. Если от были вообще хоть что-то осталось, после стольких-то лет. Если эта быль, источенная тоской по дому и унижением, разочарованием и нищетой, не превратилась всего лишь в хлипкую ветхую оболочку, которую любой, кто действительно этого захочет, способен разрушить. Кто же этого захочет? Пресбон?

Пресбон в своем безудержном самоутверждении, что ж, вполне вероятно. Пресбон, единственный из всех беглецов, кто был отобран и упрежден не самой Лиссой, она и по сей день не может себе простить, что такое допустила. А он ухватился за эту возможность покинуть Колхиду, дабы дать во всю мощь развернуться своему необузданному таланту тщеславного лицедейства где-нибудь еще, например здесь, в блистательном Коринфе, где без него не обходится ни одно из грандиозных храмовых празднеств, хитрую механику организации которых он усвоил как никто, придавая им особый блеск вдохновенным и продуманным рисунком главных ролей, за что ему так благодарен царь Креонт. Ни один из колхидцев не достиг здесь таких высот почета и славы, как он, Пресбон, сын служанки и начальника дворцовой стражи в Колхиде, он, который поначалу не стыдился самой грязной работы — собирал мусор и отбросы с поля после больших храмовых игр. Вот уж кому пришлось многое выстрадать, прежде чем на него обратили внимание. Сколько унижений он вытерпел! И как же он должен ненавидеть всех нас, насмешливых свидетелей своего позора и своих постыдных кривляний, посредством которых он прокладывал себе дорогу наверх... Как, должно быть, он ненавидит меня, которая не захотела оценить его по достоинству. Ничто не остается без последствий, мама, ты и в этом была права.

Неужели это все-таки Лисса выдала тебе время, день и час нашего бегства? Да нет, скорее всего, ты сама все угадала. Ведь внимательней тебя, пожалуй, никто не следил за развитием событий, которые повлекло за собой появление в Колхиде тех чужеземцев.

При том что начиналось-то все вроде бы очень даже хорошо. И нельзя сказать, что колхидцам были неприятны эти пришельцы — Ясон в своей шкуре пантеры и его несколько одичавшие спутники, аргонавты, совсем не грубияны, просто немного неотесанные, но услужливые и готовые помочь, если нужно, а еще — любознательные. К тому же было и лестно, что цель их опасного морского путешествия — оказывается, именно наша Колхида, страна как страна, не лучше и не хуже других на нашем черноморском побережье. Так что не было никаких видимых причин не оказать этим мореходам, что высадились на берег бухты в устье нашей реки Фасис, приема, подобающего гостям. К тому же и Эет, государь, мой отец, принял Ясона и Теламона сразу по прибытии и на следующий вечер велел пригласить всех пятьдесят аргонавтов во дворец на торжественную трапезу, ради которой целому стаду овец пришлось расстаться со своими овечьими жизнями, и званый этот ужин окончился всеобщим весельем и братанием.

Разумеется, потом-то многие утверждали, будто сразу почуяли неладное, но что плохого можно почувствовать в праздничном застолье, шум которого вперемешку с веселой музыкой бараньих рогов доносился из дворца, ибо вино из лозы, которую мы выращиваем на южных склонах наших гор, пришлось гостям по вкусу.

Нет. Это я, я одна была полна самых недобрых предчувствий, ибо знала, что на самом деле отец гостям отнюдь не рад. Одна — кроме тебя, конечно, мама. Тебе-то для недобрых предчувствий никаких новых причин не требовалось. Ты просто знала царя. Мне же в душе постоянно приходилось иметь дело с отцом: «Ты ведь не предашь родного отца, дочь моя?» Я знала: Ясону нужно руно. Я знала: государь ему руно отдавать не хочет. Почему не хочет — об этом я даже не спрашивала. А я, оказывается, должна ему помочь этого человека обезвредить, любой ценой. И я видела, сколь непомерной была цена, непомерной для всех нас. Мне не оставалось ничего, кроме предательства.

Мне не оставалось ничего? Как размывает, однако, течение лет те основания, что когда-то казались мне незыблемыми. С каким исступлением снова и снова вызывала я в памяти череду событий, последовательность которых выстроилась в моем сознании в крепостной вал, неприступный для сомнений, которые теперь, с таким опозданием, через этот вал прорвались. Одно-единственное слово пробило в крепости брешь: тщетность. С тех пор как я нащупала под землей эти детские косточки, мои руки помнят о других детских косточках — тех, что я бросила с борта нашего корабля-беглеца навстречу царю, нашему преследователю, швырнула сквозь собственный вой, это я еще успела запомнить. И царь прекратил погоню. С тех пор аргонавты меня боялись. В том числе и Ясон, которого я увидела совсем другими глазами, едва узнала, каков он на корабле как предводитель. Это в Колхиде он торкался куда попало, как слепец, ничего не понимая, всецело вверяя себя в мои руки, но едва он, с руном на плечах, взошел на свой корабль — передо мной оказался совсем другой человек. Куда только подевалась былая неуклюжесть, он сразу подтянулся и распрямил плечи, в его озабоченности судьбой команды чувствовалась спокойная мужественность, а внимание, с которым он следил за погрузкой колхидцев на корабли, произвело на меня большое впечатление. Тогда, помню, я впервые услышала слово «беженцы». Для аргонавтов мы были беженцами, меня это неприятно укололо. Впрочем, от подобной чувствительности быстро пришлось отвыкать.

Но разве в том сейчас дело. Наверно, все это от слабости, мама, — минутная слабость, что нагоняет на меня сегодня все эти мрачные мысли. Тогда, стоя на берегу, куда ты пришла со мной проститься, ты дала мне понять, что одобряешь мой поступок. У меня ведь не было выбора. В такой миг много не скажешь. «Не становись такой, как я», — сказала ты, притянув меня к себе с силой, какой я давно не чувствовала в твоих руках, потом отвернулась и пошла вверх по склону — прямо к дворцу, где мертвецким сном дрыхли царь со своей свитой после прощальной вечеринки, одурманенные зельем, которое я подмешала в вино — чаши с этим вином они то и дело поднимали за отъезд Ясона. Ему самому строго-настрого было наказано не пить, иначе он не найдет дорогу к полю Ареса, которую я ему показывала днем, где ему предстояло, проскользнув мимо стражей, которые — и об этом я позаботилась — тоже спали, с моей помощью свершить наконец то дело, ради которого он и прибыл в Колхиду, на восточную окраину своего мира: снять со священного дуба бога войны руно овена, которое его дядя Фрикс, спасаясь бегством, оставил здесь много лет назад и которое вдруг срочно понадобилось его родственникам. Своего рода испытание мужества, так это в ту пору виделось мне, не посвященной еще в запутанную семейную историю бедняги Ясона. Для меня же это руно, которое аргонавты лишь позже, повнимательней его рассмотрев, стали называть «золотым руном», было самой обычной овечьей шкурой, какие у нас в Колхиде сплошь и рядом используют для добычи золота, укладывая их по весне в бурные горные потоки, чтобы к ним приставали размытые талыми водами золотые песчинки. Аргонавты очень подробно меня расспросили об этом способе намывания золота, который мне казался самым обычным делом, а их приводил в радостное возбуждение: значит, в Колхиде есть золото! Настоящее золото! Почему бы мне раньше им об этом не рассказать. Глядишь, и все их предприятие оказалось бы куда прибыльней.

Только здесь, в Коринфе, я их поняла. Коринф просто одержим жаждой золота. Представляешь, мама, они не только храмовую утварь и украшения, они самые обычные повседневные предметы делают из золота — тарелки, кубки, вазы, даже скульптуры, и продают эти вещи по очень высоким ценам по всему их средиземноморскому побережью, а в обмен за необработанное золото, в простых слитках, готовы давать зерно, быков, лошадей, оружие. А что нас больше всего изумило: ценность человека здесь определяют по тому, сколько у него золота, от этого же зависит и размер податей, которые он должен вносить во дворец. Целые орды служащих заняты одними подсчетами, Коринф гордится этими чинушами, а Акам, главный астроном и первый советник царя, с которым я однажды поделилась своим удивлением такому обилию бесполезных, но весьма заносчивых писцов и счетоводов, начал мне втолковывать, насколько они полезны и необходимы для разделения коринфян на разные об-

щественные слои, благодаря чему страна только и делается управляемой.

— Но почему именно золото? — спросила я.

— Ты сама прекрасно знаешь, — ответил Акам, — только наши желания делают один предмет вожделенным и дорогим, а другой ненужным и, следовательно, ничего не стоящим. Отец нашего царя Креонта был очень умным человеком. Одним-единственным своим указом он превратил золото в Коринфе в самую вожделенную драгоценность: запретил гражданам, чьи подати во дворец не достигают определенных размеров, носить золотые украшения.

— Ты тоже умный человек, Акам, — сказала я ему. — Только ум у тебя особенный, в Колхиде я таких умников не встречала.

— Просто у вас не было в них нужды, — ответил он со своей неподражаемой улыбкой, которая сперва так меня обижала. И наверное, он прав.

Но куда это меня завели дурацкие мысли? Пора наконец встать. Если меня не обманывает зрение, мама, солнечные лучи уже бьют сквозь листья смоковницы почти отвесно, быть такого не может, неужто я провалялась и проспала до полудня, такого со мной отродясь не бывало. Это все из-за пещеры, не могу подняться, да помогите же кто-нибудь, Лисса, дети... Ну вот, наконец кто-то щупает мне лоб, чей-то голос произносит:

— Ты больна, Медея.

Это ты, Лисса?

2

Неистов натиск мужей,
жаждущих остаться в памяти людской
и обессмертить имена свои
на времена вечные.

Платон. Пир

Ясон

Эта баба меня погубит. Как будто я всегда этого не знал. «Медея меня погубит», — я прямо так Акаму и сказал. А он даже не возразил, но и подтверждать не стал, как обычно, в своей омерзительной манере. Вечно эта улыбочка, вечно этот взгляд с хитрецой, вечно этот вкрадчивый говорок, когда он заводит речи о том, что уж кого-кого, а меня-то теперь так просто не возьмешь. К чему он клонит? Ясное дело, он что-то прослышал, наш верховный астроном.

— Ты что, Акам, смеяться надо мной вздумал? — напустился я на него, на что он только удрученно покачал головой, своей костлявой длинной черепушкой, так нелепо увенчивающей все его нескладное тело, в котором, кажется, ни один сустав к другому не подходит. «Как же ему, бедняге, приходится пыжиться, чтобы внушительно выглядеть» — так Медея выразилась, когда впервые его узрела, у них с самого начала отношения не заладились, она просто не пожелала ни в чем пойти ему навстречу. Ох, чую я, не к добру все это.

А теперь вот он ей враг. Не знаю почему, похоже, я опять что-то упустил, я все время что-то упускаю в кутерьме этого царского дома, обычаи и нравы которого мне так трудно даются. Столько разных стран, столько гаваней и городов повидал мой «Арго», столько людских лиц видел я сам. А теперь, когда корабль мой на приколе, а спутники разбрелись кто куда, мне остался только этот городишко, здесь мне надо обживаться, и Медее здесь надо как-то устраиваться, вот проклятье. Как будто так уж сложно все это понять. Чем-то она, должно быть, Акама разозлила, иначе не стал бы он извлекать из прошлого и раздувать эту старую историю, в которой к тому же и не доказано ничего. И не пришлось бы мне как последнему болвану представать перед советом старейшин и давать показания по обвинению Медеи в том, что она яко-

бы убила тогда своего родного брата. Меня будто дубиной огрели — я только руки вскинул и заверил старейшин: об этом и речи быть не может. Значит, я убежден, что те, кто ее обвиняют, — лгут?

В какую ловушку я тут угодил, во что она меня опять втянула? Убежден, убежден... С этими бабами наш брат разве в чем-нибудь может быть убежден? Старейшины сочувственно закивали головами. Похоже, на сей раз им нужен не я. А вот она — да. Но она мне жена.

Разве наш брат в чем-нибудь может быть убежден с этими бабами, когда они решают что-нибудь укрыть покровом мрака? В данном случае это следует понять и буквально. Мрак-то и впрямь был непроглядный, когда Медея с этим меховым свертком на руках появилась на нашем причале, больше-то при ней ничего не было, а узелок свой она чуть ли не укачивала, будто у нее там новорожденный. Я-то вообще до последней минуты не верил, что она придет. Ведь я же видел, как она проходит по своему городу с высоко поднятой головой. Как собираются вокруг нее люди, как ее приветствуют. Как она с ними разговаривает. Она каждого знала, и казалось, прямо летит на волне всеобщих чаяний.

Я видел, как она пьет из чудо-источника во дворе дворца, кстати, вот уж диковина так диковина: вода, молоко, вино и оливковое масло текут из четырех его труб, направленных точно по четырем сторонам света. Да, именно так я ее впервые и увидел: склонившись над струей и подставив воде пригоршни, она пила большими, полными глотками. Я пришел вместе с косматым Теламоном — он пусть и не самый умный, зато один из самых неунывающих и спокойных среди моих аргонавтов, к тому же предан мне. Он и теперь вот меня не оставляет. День был уже на склоне, а зной все равно несусветный, просто пе́кло, нам, привыкшим к морской прохладе, тяжко приходилось, ведь мы только несколько часов как ступили на сушу, на этот берег, к которому столько долгих недель устремляли все чувства и помыслы. Каждый помнил, чего нам стоило сюда, на самый край света, добраться, помнил и товарищей, которых мы в пути недосчитались, и как неодолим порой был соблазн повернуть обратно, и только стыд друг перед другом, а еще перед теми, кто встретит нас дома хамскими насмешками, удерживал нас на веслах и у руля. Там, на корабле, Колхида стояла у нас перед очами землей обетованной, в которой, казалось, заключена вся наша судьба.

Каждому известно: после крайнего напряжения всех сил наступает опустошенность. Так было и с нами — ликование, сопровождавшее нас, когда мы наконец после долгих поисков сумели войти в устье Фасиса, благополучно причалить и сойти на берег этой удивительной природной гавани, вдруг разом прошло. Вот это, значит, она и есть — земля наших надежд. Река, берег, сама местность, эти укрытые рощами и перелесками холмы и долины показались нам вполне обыкновенными — в пути нам случалось видеть места и покрасивей. И хотя никто об этом ни слова не проронил, в глазах моих людей я ясно читал разочарование. К тому же товарищи мои, те, что остались на «Арго», не могли знать, какая участь ждет Теламона и меня, отправившихся искать дворец царя Эета, чтобы предъявить этому незнакомому владыке наши требования.

В тот миг, когда я первым утвердил ногу на берегу этой самой дальней к востоку, самой безвестной земли, — я уже был уверен в своей посмертной славе, и она придавала мне сил. Мы, вторгшиеся в страну варваров, были готовы встретить здесь самые варварские обычаи и укрепляли свой дух, взывая в душе к нашим богам. Но меня и по сей день пробирает дрожь, стоит вспомнить, как мы, миновав заросли прибрежного ивняка, очутились вдруг в роще аккуратно высаженных деревьев, с ветвей которых свисали омерзительнейшие плоды. Мешки из воловьих, овечьих, козьих шкур, жуткое содержимое которых проглядывало, а то и высовывалось сквозь случайные прорехи — человечьи кости, ибо в мешках были развешены и слегка покачивались на ветерке мумии мертвецов, зрелище, невыносимое для всякого цивилизованного человека, который привык хоронить покойников в земле или в скалистых пещерах. Ужас сковал нас по рукам и ногам. Однако надо было идти дальше.

Зато женщина, повстречавшаяся нам в увитом виноградом внутреннем дворе царского дворца, заставила вмиг позабыть о чудовищных мертвецких грушах — на-

верное, разительный этот контраст еще больше усилил впечатление, которое она на нас произвела. Как сейчас вижу: в красно-белой оборчатой юбке, какие там носят все женщины, в облегающем черном зипуне, склонившись над трубой и подставляя струе чашу своих ладоней, она пьет воду. Как сейчас помню: завидев нас, она выпрямляется, отряхивает руки и непринужденно идет нам навстречу, шагом смелым и твердым, стройная, но и статная, являя такое достоинство лица и осанки, что Теламон, неисправимый похабник, только присвистывает сквозь зубы и успевает мне шепнуть: «Да, вот эта для тебя в самый раз!» От него, конечно, не укрылось, что к темноволосым и смуглокожим девушкам я особенно неравнодушен. Однако тут — этого бедняга Теламон понять не в состоянии — было нечто совсем другое. Какая-то неведомая тяга во всех моих жилах и пронизывающее насквозь блаженное и тревожное чувство, будто меня околдовали — так она и в самом деле меня околдовала. И до сих пор держит во власти своих чар, тут Акам прав. И что мне надо этих чар избегать, не попадаться на ее уловки, тоже верно, ибо она, конечно же, сумеет поведать о смерти своего бедного брата одну из своих невероятных историй, которые так достоверно звучат, покуда она не спускает с тебя взгляда, но на сей раз я поостерегусь и ни за что ей не поддамся.

Странно все это было — наблюдать, как она в знак мира приветствует нас поднятыми вверх ладонями, жест, подобающий только царственным особам или их приближенным; как без околичностей сразу называет свое имя — Медея, дочь царя Эета и верховная жрица богини Гекаты; как повелела нам, словно ей положено это знать, сказать, кто мы такие и зачем пожаловали, и как я, к собственному изумлению, тут же открыл этой женщине то, о чем собирался поведать лишь самому царю. И как сладко и тревожно дрогнуло мое сердце, когда я услышал собственное имя в ее устах. Это потом, много позже, мы вместе гадали о магии наших имен, почему-то именно теперь мне вспоминаются все эти вещи, о которых я давно и думать забыл. На «Арго» мы лежали друг подле друга. Медея назвала меня по имени, но так, будто впервые вообще меня видит: приподнявшись на руке, она изучала меня взглядом, который я, не будь я так околдован, назвал бы непристойным, а потом произнесла — серьезно так, торжественно, словно объявляя о только что принятом решении:

— Ясон, я съем твое сердце.

Такая вот повадка. Я про это никогда и никому не рассказывал, кому же охота людей смешить. Но той ночью, под звездным небом мне это показалось, как бы сказать, волнительным. Тоже, конечно, смешное словечко, Акам бы сразу губы скривил. Как будто сам на ее чары не купился. Да-да, и он тоже. Не знаю, как далеко у них зашло, на такие вопросы — хотя я-то, в конце концов, вправе их ей задавать — она всегда отвечает только надменным движением бровей, но я не слепой и уже не раз перехватывал взгляд, каким он на нее смотрит: тут, можно сказать, восторг или, пожалуй, изумление, а для такого человека, как Акам, у которого такой вид, будто ничто в мире его изумить не способно, это что-нибудь да значит. Хотя, быть может, мои чувства, обостренные ревностью, просто особенно восприимчивы к таким вещам. Кстати, отношение Акама к Медее сильно изменилось с тех пор, как она сумела отвести от Коринфа голод, угрожавший нам после двух лет большой засухи. И отнюдь не колдовством. Про колдовство коринфяне твердят. Просто она упорно распространяла свои, похоже просто неисчерпаемые, знания о съедобных диких растениях, а кроме того, она научила, да нет, просто заставила коринфян есть конину. И колхидцев своих заставила, и даже нас, нескольких остатних аргонавтов. А начала с меня. В самый разгар голода вдруг приготовила мне роскошную трапезу и, не спуская с меня глаз и не опровергая моих подозрений, велела съесть, невозмутимо наблюдая за тем, как я давлюсь, а потом вынудила меня — я и сам не знаю как — выступить перед всем народом и сказать, что я ем конину. Боги меня не покарали, народ стал забивать лошадей, есть конину, выжил — и всего этого Медее не простил. С той поры ее считают злодейкой, ибо люди, так Акам объяснил, лучше будут думать, что их околдовали, чем согласятся признать, что сами, по доброй воле, от обыкновенной голодухи, жрали сорную траву и даже внутренности нечистых животных. А Медея говорит: заставляя людей посягнуть на святыни, поневоле делаешься их врагом. Для них это непере-

носимо. Поэтому они на меня клевещут, так Медея говорит. А вот новые амбары так до сих пор и не построили.

Для меня все это слишком мудрено, больно уж все сложно и хитро накручено. Одно ясно: Акам не намерен взять Медею под защиту от обвинения в том, что она будто бы убила своего брата. После всей этой истории с голодом и конским мясом он видит в ней опасную соперницу. А уж кто, как не он, умеет разжечь пламя людских подозрений, при этом ни разу не назвав вещи своими именами.

Да и она, Медея, тоже хороша. Иногда кажется, она нарочно играет с опасностью. Достаточно увидеть, как она идет. Вызывающе, другого слова и не подберешь. И большинство колхидок, на нее глядя, ходят так же. Мне-то это нравится. Но можно понять и коринфских жен, когда те жалуются: с какой это стати в нашем собственном городе какие-то чужачки, беженки, расхаживают павами, когда нам такое с младых ногтей запрещали! Возникли трения, мне поручили как-то их сгладить, но Медея меня отшила.

Но куда это меня занесло?

— Руно? — переспросила Медея испуганно. — Как так руно?

Мы все еще стояли у чудо-источника, она поднесла нам, Теламону и мне, первую чашу вина, и вот тогда я впервые увидел искорки в ее серо-зеленых глазах, эти незабываемые светляки. Ими потом начинаешь бредить. А она, уверившись в произведенном впечатлении, только улыбнется своей чуть надменной улыбкой и прикроет веки, как бы отпуская пленника на свободу, ей и по сей день, похоже, совершенно невдомек, что иные из отпущенных на волю пленников до конца дней своих не могут потом простить ей этого минутного плена. Руно. И вот, глядя в эти глаза, я начал объяснять, почему и как я сперва велел построить большой корабль под парусом и на пятьдесят гребцов, потом погрузил на этот корабль самых знатных сыновей своей отчизны и отправился в плавание сперва по нашему хорошо нам знакомому Средиземному, потом сквозь опасный и узкий морской пролив в бурное и неизведанное Черное море, как по нему мы достигли их мрачной Колхиды, где мертвецы на деревьях болтаются, и все это ради обыкновенной овчины, которую, правда, — чего она, кстати, и не думала отрицать — много лет назад мой дядя Фрикс, спасаясь бегством, оставил здесь в благодарность за гостеприимство. Ну хорошо. А что побудило меня ехать в такую даль и требовать подарок гостя назад? Все долгие дни нашего пути мне казалось совершенно ясным, с чего вдруг нам в Иолке так срочно понадобилась эта овечья шкура, в конце концов, мы ведь ради этого ни сил, да что там сил — жизней не щадили, но сейчас, под взглядом этой женщины, я вдруг начал запинаться, что-то мямлить, покуда все эти высокие и безотлагательные причины не свелись к одному, в общем-то, довольно жалкому обстоятельству: от обладания этим руном напрямую зависели мои притязания на царский трон Иолка. Она, пристально меня изучая, силилась все это уразуметь.

— Ах вон что, тут, значит, спор из-за престола между двумя царственными домами.

Да. Хотя нет. Не только. Теламон, святая простота, пришел мне на помощь. Все дело в том, что Пелию, моему дяде, нынешнему правителю Иолка, приснился сон.

— Какая удача для Пелия, — обронила Медея, она ведь умеет быть неприятно трезвой и расчетливой. Ей кажется, заметила она затем, что мой дядя Пелий, поручив мне столь опасное дело, попросту нашел хороший способ удалить меня из страны.

Да нет же, это не так. Или, по крайней мере, не совсем так. Теперь надо было растолковать этой женщине, что руно не просто предлог, а священная реликвия, без которой мы ну никак не можем обойтись. Почему это, полюбопытствовала она. Пришлось нам скупыми и жалкими словами описывать ауру священной реликвии. Мы что-то лепетали, покуда Теламон не брякнул: дескать, руно — это символ мужского плодородия, на что она сухо заметила: коли так, с мужским плодородием в Иолке дело совсем плохо. Мне неловко вспоминать путаные заверения, с помощью которых бедняга Теламон пытался убедить ее в обратном и которые она в конце концов небрежным мановением руки оборвала.

Она смотрела на нас свысока, потом заметила: что бы там это руно для нас ни значило, она не думает, что государь, ее отец, согласится так просто нам его вернуть.

Даже совсем никчемная вещь начинает вдруг казаться весьма ценной, если видишь, что кто-то мечтает ее заполучить, не так ли? Вконец обескураженные, мы побрели следом за ней во дворец ее отца, выстроенный, кстати, целиком из дерева, украшенный завитушками и искусной резьбой, все так, только у нас такое скромное здание дворцом никто бы ни в жизнь не назвал. Мы тем не менее не преминули выразить свое восхищение, как и подобает гостям, а я по дороге пытался хоть как-то упорядочить целый рой неприятных мыслей, которые она во мне всколыхнула. И так вот с ней всегда, по сей день. Ничто не могло навлечь на нее больший гнев царя Креонта и его окружения, чем то безразличие, с которым она приняла весть о своем изгнании из царского дворца — под тем предлогом, что она, по утверждениям главного царского лекаря, своими зельями и снадобьями будто бы навредила здоровью дряхлой царицы-матери, чему все равно никто не поверил. Теперь они выдвигают какие-то еще причины. Леукон объясняет, что во дворце просто больше не могли переносить ее гордый, заносчивый нрав, но разве это основание? Как бы там ни было, она почти с облегчением увязала свои пожитки, тем паче, что их было немного, я стоял столбом, смотрел, ничего не говорил — а что было говорить? — Лисса рядом собирала обоих детишек, потом все они оказались передо мной со своими узлами, почти такие же, как в тот день, когда они впервые вступили в этот надменный дворец, меня бросило в жар, я сглотнул. У меня и сейчас еще стоит в ушах ее вопрос:

— Ну, ты идешь?

Мне подобная мысль даже в голову бы не пришла, именно это она своим вопросом и хотела мне показать. Я пробормотал что-то насчет того, что буду часто ее навещать, ее и детей, а она только рассмеялась, но без издевки, скорее чуть снисходительно, так мне показалось, потом, пропустив остальных вперед, подошла ко мне вплотную, положила руку мне на затылок и произнесла:

— Не принимай близко к сердцу, Ясон. Чему быть, того не миновать.

Я и сейчас, стоит мне захотеть, чувствую эту руку у себя на затылке и слышу эти слова, которые уже столько раз давали мне утешение. Только кому такое расскажешь. Теламону? С тем давно уже толком не поговоришь. Он-то не обженился, перебивается разными бабенками. Но почему-то именно он не может мне простить, что я не перебрался вместе с Медеей в эту лачугу, в этот скворечник под дворцовой стеной. Настраивает против меня народ в корчмах, по которым шатается, пропивая жалкие гроши, что я ему иногда подбрасываю, в конце концов, он ведь один из последних соратников тех наших славных времен. Бывает, что мы, не сговариваясь, сталкиваемся с ним в тени нашего «Арго», который с пышными торжествами был отправлен на почетную стоянку неподалеку от порта, где теперь ни одной собаке до него дела нет, а значит, и до наших подвигов тоже. Однажды я его там застал в слезах. Он же пьет, от этого и плаксивость. Акам прав: великие времена тем величавей, чем дальше мы от них уходим, и это только естественно, так что нет никакого смысла цепляться за великое прошлое. Только за что же тогда цепляться? За Медею? Чтобы вместе с ней погибнуть? Ума можно решиться.

Без нее Колхида так и осталась бы для нас недоступной. Это она отвела нас к отцу, царю Эету, который от неожиданности даже тотчас же нас принял, Медея нас ему по всем правилам представила и сразу ушла, хотя он почти тоном приказа просил ее остаться. А она ушла. Он сидел перед нами, один-одинешенек в своих деревянных чертогах, богато убранных и украшенных резьбой. Тщедушный мужчина, трон для него явно велик, худое, бледное лицо в обрамлении курчавых черных волос, горемыка, сказал Теламон, когда мы снова вышли на улицу, а мне пришло в голову другое слово: дряхлость. Дряхлостью веяло от всего его облика, как и от надтреснутого голоса, которым он нас приветствовал, сказав, что для него большая честь видеть столь дальних гостей, которые, конечно же, поведают ему, какая забота привела их в здешние края. Я тут же, без неучтивости, но твердо изложил ему мое поручение — увезти с его, Эета, дозволения то самое руно овена, которое в свое время мой дядя Фрикс в Колхиду привез, дабы водворить оное руно на его законное место, что послужит укреплению дружественных отношений между нашими странами и установлению между ними регулярного морского сообщения.

Сперва мне показалось, что Эет вообще меня не понял.

— Да-да, Фрикс, — пробормотал он и захихикал, каким-то неподобающим, старческим жестом прикрывая рот рукой, потом стал рассказывать дурацкие байки про дядю и его любовные похождения, которые будто бы почему-то все время оканчивались неудачей. Он говорил, говорил без умолку, служанки подавали нам вино и очень вкусные ячменные лепешки, которые я и здесь у колхидок до сих пор с удовольствием ем, лучше Лиссы их все равно никто не печет, а потом вдруг разом нас отпустил, ни слова не проронив о нашей просьбе, но на следующий вечер мы снова были к нему званы, на сей раз всей дружиной, был устроен торжественный прием, словно мы еще не знакомы, и перед нами на троне восседал уже совсем другой царь, величавый и торжественный в своем парадном царском облачении, в окружении старейшин, подле меня за столом Медея, мрачнее тучи, с непроницаемым лицом, и ее сестра Халкиопа, смуглая кожей, с пышной гривой белокурых волос и голубыми, стального отлива глазами. Эти колхидки кого хочешь с ума сведут, подумал я, и уже начал помаленьку осваиваться за столом, тут-то меня и окатили. Поднялся один из старейшин и после обычных, лестных, но ничего не значащих присловий провозгласил наконец решение государева совета. Прежде чем предоставить мне руно, царь назначает мне определенные испытания. Мне надлежит сперва укротить быков, которые руно охраняют, а после одолеть гигантского змея, что живет на поле Ареса в кроне дуба, к стволу которого прибито руно, — а змей этот, как успели прознать мои воины, слыл непобедимым.

Я почувствовал, как во мне вскипает гнев. Что все это значит? Не иначе тут подвох. Соглашаться или нет? Обвел глазами спутников, у тех на лицах растерянность. Больше всего мне хотелось вскочить, опрокинуть стол и уйти. Но мы были тут в безнадежном меньшинстве.

Змей. Эта тварь мне до сих пор снится. Колхидское чудовище, обвившееся во всю свою несусветную длину вокруг дубового ствола — в снах оно видится мне таким, каким мне впервые описали его мои товарищи: о трех головах, толщиною со ствол дуба, ну и пламя изрыгает, уж это само собой. Теперь-то я в чужие россказни не вмешиваюсь, даже и не поправляю никого, к тому же в азарте схватки всего не упомнишь, а коринфянам хочется верить, будто там, на диком Востоке, даже зверье не такое, как здесь, а все сплошь лютые чудовища, и им жутко слышать, что колхидцы держат змей у себя в домах, у очага, как домашних божков, и кормят их молоком и медом. Если бы они знали, бравые коринфяне, что чужеземцы и здесь не оставляют своих обычаев, что они тайком продолжают держать и кормить змей в своих домах. Но они ведь никогда не заходят в бедные лачуги колхидцев на краю города, не заходят и в жилище Медеи — в отличие от меня, которого снова и снова к ней тянет, вот они и не видят стройную змеиную головку над пеплом Лиссиного очага, которая встречает гостя неподвижным золотисто-медвяным взглядом, покуда Лисса легким хлопком в ладоши не прогонит ее восвояси. Они умеют укрощать змей, это правда, уж я-то своими глазами видел. Видел, как прильнула Медея к мощному дубовому стволу, как змея свесилась к ней и зашипела, но Медея в ответ начала тихо так то ли баюкать, то ли напевать какую-то свою мелодию, отчего эта тварь мгновенно замерла, и Медея смогла брызнуть ей в глаза сока из свежесрезанных веток бузины, который принесла с собой в пузыречке и который этого «дракона» — или лучше сказать «драконшу»? — тотчас же усыпил.

Бессчетное число раз приходилось мне рассказывать, как я после вскарабкался на дерево, схватил в охапку руно и счастливо спустился с ним вниз, и всякий раз, невольно подчиняясь желанию слушателей, которым очень хотелось сперва как следует напугаться, чтобы в конце с тем бóльшим удовольствием облегченно вздохнуть, история эта сама собой помаленьку менялась. Дошло до того, что я теперь и сам толком не упомню, что у меня на том поле возле дуба с этой змеюгой доподлинно приключилось, так ведь доподлинно никто и не хочет ничего знать. Они сидят по вечерам возле своих костров и распевают былину о Ясоне, победителе дракона, иногда я подхожу к ним, подсаживаюсь, но их это ничуть не смущает, по-моему, им даже невдомек, что я — тот самый Ясон, которого они воспевают. Однажды и Медея вместе со мной послушала их песни. А потом сказала:

— Каждого из нас они сделали тем, кто им нужен. Тебя превратили в героя, а меня — в злую колдунью. Вот так они нас и разлучили.

Грустное это было мгновение. И когда я о таких мгновениях вспоминаю, мне трудно поверить, будто она убила своего брата, с какой стати, зачем? И какой-то тихий голосок во мне нашептывает, что они и сами в это не верят, а уж Акам меньше всех, но я теперь недоверчив к своим внутренним голосам, мне растолковали, что это Медея на меня их напускала, а может, и до сих пор напускает, потому как у нее власть над людьми, она, ежели хочет, запросто способна человека усыпить. И когда смотрит на тебя долго своими глазищами с золотистыми этими искорками под росчерком сросшихся смоляных бровей, начинаешь верить всему, что она тебе внушает. Сам Креонт меня от нее предостерегал.

Царь Креонт мне как отец родной, да что это я — он ко мне гораздо добрее, чем родной мой отец. Родной-то отец как-никак меня младенцем в чужие руки отдал, пусть даже и с благой целью уберечь меня от преследований моего дяди Пелия, коварного узурпатора престола, но все равно мне на мое детство жаловаться грех: жилось мне с Хироном в лесах Фессалии привольно, а вместе с тем он умудрил меня всяческой наукой, как подобает человеку знатного рода, помню, даже на Медею мои познания во врачевании произвели впечатление. Давно это было. Но приходит срок, когда мужчине надо решать, чего он в жизни хочет, и забывать то, что ему не понадобится и только будет в пути напрасной ношей. Так говаривал мой отец, ему хотелось вернуться на престол, оно и понятно. Он был мне совсем чужой, когда я впервые к нему вышел, как и женщина рядом с ним, кинувшаяся в слезах меня обнимать и назвавшаяся моей матерью — наверно, она ею и была. Была, была, не сомневаюсь. Весьма неуклюжая особа. Насколько же Идия, мать Медеи, была грациозней, если сравнить. Тоненькая, прямо былинка, восседала она рядом с государем, но вовсе не была его бессловесной тенью. Тоненькая, но твердая. Ее, кстати, все очень почитали.

Вообще-то нам казалось, что в почтительном обхождении колхидцев со своими женами есть доля преувеличения, как будто от голоса и мнения женщины и вправду что-то серьезное может зависеть. Я, например, хорошо видел, что Идия не согласна с теми условиями, которые ставит мне царь, она решительно пыталась его переубедить, но он кутался в свою царскую мантию и делал вид, будто ее не слышит. Так что нам пришлось решать: пускаться ли на эту царскую затею, которая, как все мы очень хорошо понимали, может очень худо для нас обернуться, либо попросту отчалить, оставив руно, эту дурацкую овчину, которая мне уже порядком обрыдла, висеть, где висит, а дома выдумать какую-нибудь байку поскладнее. Я отнюдь не горел желанием болтаться в ветвях колхидского дуба протухшим мертвяком. А чего-то третьего нам, похоже, уже не дано.

Мы, в ту пору еще не ведая колхидской жизни, в которую, можно сказать, встряли, не учитывали и одну важную ее особенность, открывшуюся нам лишь постепенно. Мы не знали колхидских женщин. Это они испокон века оберегают от чужаков свои тайны, точно так же, как и мы. Теперь вот я сказал «мы», имея в виду коринфян, значит, прав, наверное, Креонт, когда говорит: «Да ты-то давно наш, Ясо́н, этого только слепец не заметит». И для колхидцев — я и Медее пытался это объяснить — вовсе нет ничего обидного в утверждении, что они не такие, как коринфяне, что они другие. На это Медея только рассмеялась в своей надменной манере, которая в последнее время все больше действует мне на нервы, однако потом вынуждена была признать, что ее земляки действительно предпочитают тесниться в одной части города, упрямо держатся за свои обычаи, заключают браки только между собой и, значит, сами настаивают на том, что они другие. Хуже коринфян, как думают коринфяне, в том числе и их царь Креонт.

— Но прошу тебя, Ясон, в конце концов, это же дикари, — сказал он намедни, положа руку мне на плечо. — Очаровательные дикари, согласен, и мы, что вполне понятно, иной раз не в силах этому очарованию противостоять. До поры до времени. — И улыбнулся, мягко так.

У меня странное чувство. Будто он определенно чего-то от меня ждет. Медея говорит: «Он тебя лупит, но полегоньку, вот так», — и для наглядности шлепает меня

тыльной стороной ладони по щеке, небрежно, будто мальчишку. Словно не принимает меня всерьез. А вот Креонт на меня рассчитывает. А на кого рассчитывать мне — ума не приложу, и спросить тоже не у кого. Меньше всего надежды на старых товарищей, аргонавтов, тех немногих, кто последовал за мной в эти края, из-за того ли, что своего дома не было, либо потому, что, как и я, не смог разлучиться с колхидской девушкой. Болтаются теперь по портовым кабакам и выводят людей из терпения своим нытьем. Я их избегаю. А ведь когда-то так ясно было, ради чего ты на свете живешь, да только миновали те времена.

Теперь вот, я слышал, с них хотят взять показания. Или, по крайней мере для начала, просто опросить. Что они могут сказать по поводу убийства Апсирта, брата Медеи.

— Но помилуй, Акам, — пытался я его вразумить, — что там они могут сказать? — А про себя подумал то, что, разумеется, и Акаму не хуже меня известно: да они за чарку вина расскажут все, что от них захотят услышать. Так неужели от них хотят услышать что-то определенное? Но это же нелепица.

— Тебя, Ясон, тоже будут опрашивать, — сказал Акам.

Ох, не по душе мне все это, совсем не по душе. Да и что я знаю, что могу рассказать? Апсирта я видел, верно, красивый такой худенький мальчик с тоненьким храбрым носиком на смуглом личике, за праздничным столом сидел по левую руку от царя, который беспрерывно его ласкал, меня это, помню, неприятно поразило. Каждый норовил к нему подольститься, ясно, что мальчишка избалованный, самоуверенный, с детства привычный к роскоши царского гнезда, нашему-то брату все куда тяжелей доставалось, — вот такие, самые беглые остались впечатления, удивительно вообще, что я смог о них припомнить. Впрочем, память мою, конечно же, обострило страшное несчастье, которое с ним приключилось, да еще возникшее во мне почему-то смутное чувство, будто наши судьбы — его и моя — с какой-то минуты связаны. Связующим звеном была Медея. За два дня, что прошли после нашего приема, те два дня, когда я не знал, как быть, и когда никому до нас не было никакого дела, настроение во дворце разительно переменилось. Казалось, всех обуял ужас, в коридорах царила безмолвная сумятица, все носились туда-сюда, заговорить ни с кем не удавалось, покуда я не встретил Халкиопу, вне себя от горя она шла к Медее, которую и я искал, дабы спросить у нее совета. Дело в том, что само ее имя, как успели шепнуть колхидцы моим воинам, означает: «ведающая хороший совет». Вот пусть свое имя и оправдывает.

Она сидела в темной каморке, и ее было не узнать. Видимо, она много плакала, но сейчас была неподвижна, как изваяние, и очень бледна. Обхватила руками плечи, будто изо всех сил стараясь за саму себя удержаться. После долгого молчания безжизненным голосом сказала:

— Ты пришел в неудачную минуту, Ясон. — Затем, не одну минуту спустя, добавила, будто саму себя вопрошая: — Или в особенно удачную...

Я не решался ни о чем спросить. И уж совсем излишним стало мое присутствие, когда вошла государыня, Идия, неистовая от гнева, дочери кинулись к ней с двух сторон, поддержали, Халкиопа мне махнула, я вышел.

Апсирта убили, услышал я. Бедный мальчишка. Разорвали на куски, по слухам. Меня аж затрясло. Прочь, скорее прочь отсюда. Мы начали приготовления к отплытию. И тут Медея присылает мне сказать, что хочет со мною встретиться. Вечером, около «Арго». И вот она передо мной и заявляет — она мне поможет добыть руно. Без всяких объяснений. И шаг за шагом растолковывает мне, что я должен делать. Как, будто бы махнув на руно рукой, ложными приготовлениями к отъезду я должен ввести отца в заблуждение. Потом явиться во дворец на прощальный кубок. Как она позаботится о том, чтобы стража ни во дворце, ни на Аресовом поле меня не тронула. И почему не надо бояться змеи, о которой я к тому времени уже успел наслушаться столько страшных сказок, ну и так далее. Все мои дела до малейших подробностей. А когда мы закончили — у меня от услышанного голова кругом шла, — Медея встала и все тем же холодным, бесстрастным голосом произнесла:

— Одно условие. Меня заберешь с собой.

И я, растерянный, еще не зная, радоваться мне или горевать, просто сказал:

— Хорошо.

И едва произнеся это слово, я вдруг понял, что именно этого и хочу, и, ощущая в себе какое-то странное, радостное и тревожное любопытство, успел подумать, может, она теперь ждет от меня объятия или какого-то иного торжественного жеста, однако она только вскинула руку на прощанье — и исчезла. Она всегда вот так. Все важное делает как бы невзначай.

Только про эти мертвецкие груши однажды говорила со мной очень серьезно — нам ведь не однажды приходилось встречаться, и от нее не укрылось, как я этой их рощи с мумиями до смерти боюсь; она мне объяснила, что у них в Колхиде погребают только женщин, тогда как трупы мужчин развешивают на деревьях, где птицы обклевывают их до костей, а уж потом эти скелеты хоронят в скалах, каждая семья в своей пещере, очень достойный и чистоплотный обычай, она не понимает, что меня тут не устраивает. Меня, в общем-то, все тут не устраивало, особенно отвратительна была мысль о птицах, расклевывающих и пожирающих человеческое тело, как какую-нибудь падаль; умершие, втолковывал я ей, должны сохранить свою телесную оболочку целой и невредимой, поэтому их и хоронят в могилах или замуровывают в скалистых пещерах, дабы они могли оттуда отправиться в свой посмертный путь и найти дорогу в подземное царство. Она на это возразила: в мертвом теле уже нет души, душа, нетленная, отлетает в миг смерти и почитается колхидцами в определенных, специально отведенных для этого местах, чтобы возродиться потом в новом вместилище, которое богиня сложит из разрозненных останков других мертвецов.

— В этом, — сказала она мне, — святая вера колхидцев. — Произнося это, она не сводила с меня своих внимательных глаз. А потом вдруг спросила: — Может, все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в то или иное действие?

Эта мысль мне была чужда, я и тогда был уверен, и по сей день убежден: есть только один правильный обычай почитать своих мертвецов и великое множество ложных. Не знаю, с какой стати она потом вдруг спросила, приносят ли в наших краях человеческие жертвы заходящему солнцу.

— Конечно нет, — воскликнул я возмущенно, а она, склонив голову набок, пристально на меня смотрела.

— Значит, нет? — переспросила она. — И даже когда дело совсем плохо?

Я по-прежнему стоял на своем, и тогда она задумчиво произнесла:

— Вот как. Что ж, может, это даже правда.

А теперь, столько времени спустя, она, оказывается, тот наш разговор не забыла, недавно вдруг заскакивает ко мне и прямо с порога:

— Так значит, нет никаких человеческих жертвоприношений, да? И ты, бедняга, все еще этому веришь?

А едва она скрылась, как ко мне чуть ли не вломился этот Турон, мерзкая гнида, которого Акам пригрел, и давай расспрашивать, что такого мне Медея сказала. Да что хоть стряслось? Напустили туману, а я в нем торкаюсь, впору чуть ли не пожалеть, что я вообще с Медеей повстречался или, по крайней мере, в Колхиде ее не оставил. Да. Как ни страшно такое подумать. А ведь я-то знаю: без нее ни одному из нас из Колхиды бы не вернуться.

И внезапно, разом передо мною снова возникла картина, которую все эти годы я прятал в омутах памяти. Самый жуткий и самый неотразимый из образов Медеи, какие я знаю. Она — верховная жрица на алтаре самой древней богини их народа, закутанная в бычью шкуру, на голове — фригийская нахлобучка из бычьих яиц, священный атрибут жрицы, которая вправе совершать жертвоприношения. И она его совершила. Взмахнув ножом над головой молодого, украшенного цветами бычка, она взрезала ему шейную жилу, бычок рухнул на колени, кровь брызнула струей. И тут женщины кинулись под эту струю и давай ее пить, Медея первая, смотреть на нее было жутко, но и глаз оторвать было нельзя, и я уверен, она хотела, чтобы я видел ее такой, страшной и прекрасной одновременно, в тот миг я возжелал ее, как никогда не желал ни одну женщину, я не знал, что бывает такое вожделение, когда тебя просто на части рвет, и убежал, когда опьяненные кровью женщины начали свои прыжки, ужимки и

необузданные пляски, и с тех пор я знал: без этой женщины мне не жить. Она должна быть моей.

Я сделал все, как она приказала. Чтобы одолеть быков, дал напялить на себя эту омерзительную фригийскую шапку, она якобы волшебная и делала меня невидимым, позволил распалить себя их дикой барабанной музыкой, которая, казалось, проникает во все члены, наполняя их дрожью и бешенством, я уже себя не помнил, кинулся на быков и всех перерезал, был вне себя, и мне этого хотелось. Я обманул царя, пил с ним и его свитой прощальный кубок, покуда все они вместе со стражей не погрузились в сон. Потом с головы до пят натерся ее мазью, которая вроде как защищает от змеиного яда. И всему этому я верил! Что потом со мной было, не помню. Одно знаю — это было ужасно. Сознание покинуло меня.

Когда я очнулся, мне было так худо, что казалось, все, помираю, — она, Медея, сидела рядом, была ночь, кругом темный лес, она что-то помешивала в котелке на треножнике, под которым горел огонь, и выглядела в отблесках пламени древней старухой. Говорить я не мог. Я побывал в пасти у смерти, меня обдало ее гибельным дыханием, и какая-то часть меня все еще пребывала в том ином мире, которого мы по праву страшимся. Без нее, без Медеи, я бы точно пропал. Я простонал что-то вроде: «Помоги же, Медея», на что она ответила только: «Да-да, сейчас». Окунула черпак в варево, которое кипело у нее на костре, и велела мне пить. Зелье, омерзительное на вкус, огнем разлилось по моим жилам. Медея положила ладонь мне на грудь и так держала, отчего по всему моему телу прокатывалась дрожь, возвращавшая меня к жизни. Упоительное, незабываемое блаженство, как же хотелось, чтобы оно не кончалось никогда. В какой-то миг я пробормотал: «Да ты волшебница, Медея», на что она невозмутимо и просто ответила: «Да». Помолодевшим и полным сил поднялся я с этого ложа. Я не помнил, сколько прошло времени. Но с этого часа я понимаю, почему колхидцы относятся к Медее с таким благоговейным почтением и страхом.

Впрочем, я и Акама понимаю, и других коринфян, которые хотят от нее избавиться. Избавиться? Да как это мне в голову могло прийти такое слово, глупости, забыть немедленно. Давеча, когда Акам, который со свойственной ему проницательностью, конечно же, догадывается, как меня буквально разрывает между моей привязанностью к Медее и моим долгом, да и желанием служить и услужить царю Креонту, начал давать мне подлые советы просто завалиться в кабак к моим аргонавтам или утешиться с какой-нибудь продажной девкой, я же от ярости чуть не удавил его прямо посреди рыночной площади, у всего Коринфа на виду. А он? Что он на это? И бровью не повел. «Тоже неплохо, — говорит. — Покричи, Ясон, тебе полезно». Ну, я отвернулся от него и ушел. Нет, что-то неладное затевается, совсем неладное, а я ничего поделать не могу.

Если бы еще не это ее высокомерие. В конце концов, она же беженкой была, всецело от меня зависела. А когда рухнул мой замысел с помощью золотого руна вернуть отца на престол в моем родном Иолке, когда и мне пришлось бежать — тут все мы оказались зависимы от милости царя Креонта. Мне то и дело приходится ей об этом напоминать. А она? «Не для того я из Колхиды уезжала, чтобы здесь пригнувшись жить» — вот ведь какие ведет речи, и непокорные свои волосы не подвязывает, как положено всем замужним женщинам в Коринфе, и еще спрашивает: «А что такого? Разве ты не находишь, что мне так лучше?» Бесстыдница. Знает ведь прекрасно, что и кто мне нравится. И носится по улицам, как вихрь, и кричит, когда разгневана, и смеется во все горло, когда рада чему-то. Кстати, теперь вот я припоминаю, что давно уже ее смеха не слышал. Зато одного у нее ни за что не отнять: права проходить по городу с деревянным ларцом и белой повязкой на лбу в знак того, что она целительница, идет на поиск трав и ей нельзя мешать — тут ее всякий уважал, а семьи, где она врачевала больных, не уставали славить ее искусство. В Коринфе стало модным обращаться за помощью к ней, а не к астрологам или лекарям школы Акама. А эта несчастная имела неосторожность в разговоре с одним из государевых служащих, сына которого она избавила от свирепых мигреней, назвать врачевание этих достойных мужей «нерадивым колдовством» — отзыв, о котором тот просто обязан был, и незамедлительно, доложить во дворце. Вот тогда у нас дошло до первой серьезной ссоры.

«Думай, что говоришь!» — орал я на нее, на что она с этой своей нарочитой невозмутимостью мне возразила, это, мол, как раз то, что она мне хотела бы посоветовать. Я ей: «Они сильней». А она: «Это мы еще посмотрим». А потом добавила: «Послушай, ты же сам когда-то во врачевании разбирался. Вспомни, чему тебя твой Хирон учил? Ведь не этим же жалким фокусам, которыми они людей дурачат?» Вспомнила тоже: старая добрая наука врачевания, которой меня Хирон обучал и которую она, Медея, исповедует, — я давно уже стал ее забывать. Без надобности она мне здесь. Мне за делами во дворце следить надо, от них жизнь наша зависит, а она не желает этого понимать.

Разумеется, они оказались сильней. Ей пришлось покинуть наши совместные покои в одной из дворцовых пристроек. Это никоим образом не направлено против меня лично — так мне объяснили. Однако царскую семью следовало оградить от близкого общения с лицом, способным, по-видимому, оказывать болезнетворное влияние на окружающих. Раз уж они льстят, лгут и выдвигают заведомо надуманные обвинения, лишь бы выдворить ее из дворца, — значит, взялись за дело всерьез. Конечно, она ждала, что я встану на ее защиту. Или уйду вместе с ней. Но кого можно защитить от заведомых наветов? А уйдя вместе с ней, я только ухудшил бы наше положение.

Она ушла. От Акама ей дали двух провожатых, которым надлежало пуще глаза следить за тем, чтобы она не прокляла царский дворец. Когда я про это услышал и потребовал от Акама объяснений, тот громко расхохотался.

— Ох уж эти мне умники! — воскликнул он, видимо, и вправду от души потешаясь. — Как будто такая вот Медея не способна проклясть кого и что угодно без всяких слов и через голову любого стражника.

Сперва я регулярно навещал Медею в ее глинобитной лачуге. Понятно, между нами уже не все как прежде, но это в порядке вещей, нынче такое не редкость. Креонт приблизил меня к себе, на меня возложили кучу всевозможных поручений и обязанностей, среди них и почетные, которые способствуют возвышению. Руно среди многих других пожертвований валяется на алтаре Зевса и потихоньку ветшает. Но виды у меня в Коринфе неплохие, есть тут у них на мой счет кое-какие задумки. Мне Акам намекнул. Так что все было бы замечательно, не начни они раскапывать эту старую историю. Дескать, Медея убила своего родного брата. Даже если да — ну и что? Кому сегодня от этого хуже? Хуже-то никому, а вот лучше может стать очень многим, слишком многим, и не надо себя обманывать.

Что делать, просто ума не приложу. Только она, Медея, и могла бы дать толковый совет. Безумная мысль.

3

Креонт: И коли женщины даны нам не к добру,
Тогда они во зле большие мастерицы.

Еврипид. Медея

Агамеда

Я добилась своего! Я видела, как она бледнеет! Нужные слова сорвались с губ непроизвольно, но моя ненависть шлифовала их столько месяцев, что в нужный миг они нашлись сами. Медея побледнела. Я видела, как она вскидывает руки, словно моля меня о пощаде. Разумеется, она и не подумает никого умолять, просто пыталась совладать с собой. В этот миг над нею самой впору было посмеяться ее издевательским смехом. Или все-таки нет? Может, великодушием я посрамила бы ее еще больше?

Иной раз самый крутой оборот дела зависит от сущего пустяка. Как тогда, давным-давно, когда она меня предала, да-да, предала, хотя, наверно, и припомнить не пожелает, она-то может позволить себе провалы памяти. Или вот недавно, когда она заболела. Как будто почуяла, что самое худшее надвигается. О, как я хотела первой принести ей эту беду. С каким истовым, слишком истовым восторгом смотрела бы,

как она принимает страшную весть, дабы вполне насладиться ее ужасом. Я была вне себя от ярости, когда заметила, какой сильный у нее жар. Она ускользнула от меня в свою болезнь. И в ту же секунду я поняла, что ей нужна помощь, Медея, великая целительница, лежала передо мной пластом и нуждалась в помощи, у меня сердце подпрыгнуло, наконец-то сбудется самое заветное мое желание, которым я бредила в детстве, я, я стану ее помощницей, буду сутками напролет сидеть возле ее ложа, ухаживать за ней, прислуживать ей, сделаюсь ей необходимой и наконец-то обрету то, чего всегда так страстно, до омерзения, жаждала, — ее благодарность, ее любовь. Я сама себя презирала, но ведь это был миг, которым я грезила днем и ночью. Я ей нужна. Я ее спасу. Вечная благодарность привяжет ее ко мне, отныне я первой в кругу избранных смогу дышать с нею одним воздухом. Опять этот туман в голове, который накатывает на меня вблизи Медеи, нет, накатывал, впредь, я уверена, со мной такое не повторится. Нипочем мне теперь ее колдовские ухищрения, ее злые чары, я все это Лиссе так прямо и выложила, когда та примчалась и стала меня от ложа Медеи гнать, я ей этих гримас отвращения век не забуду, будто я гадина какая, будто это я на Медею хворь напустила.

Это я-то. Агамеда. Некогда самая одаренная из ее учениц, она сама мне так говорила. «Ты будешь хорошей целительницей, Агамеда». Но тут же, как всегда, остудила мою буйную радость, добавив: «Если научишься знать свое место. Не я лечу, — так она сказала, — и не ты лечишь, Агамеда, что-то в нас лечит, с нашей помощью. Все, что мы можем сделать, — это обеспечить этому что-то полную свободу действий, в нас самих и в больном». Вот так. Большинство из ее приемов — состав и приготовление различных отваров, секреты действия трав, многие из ее заклинаний — я переняла, подсмотрела и подслушала. Сама теперь целительница. Некоторые предпочитают у меня лечиться, ее они боятся. Особенно, кстати, именно знатные коринфские семьи, эти сразу стали приглашать меня в свои шикарные дома и любят послушать, как я, совершенно чистосердечно, их роскошью восхищаюсь и рассказываю им о примитивных постройках, в которых жило большинство моих земляков в Колхиде. Особенно их изумляло, что там даже царский дворец — и то из дерева, этому они никак поверить не могли и жалели меня, и платили мне тем лучше, чем больше меня жалели и чем больше ценили благодаря мне свой образ жизни, тут я их быстро раскусила и уже вскоре могла носить то, что мне хочется, и начала привыкать к изысканным кушаньям и тяжелым сладким винам, которые здесь пьют. Пресбон, который давно уже вкушает здесь триумфы со своими празднествами, которыми он так тешит коринфян, вот кто первым рекомендовал меня своим знакомым. А теперь вот, когда звезда Медеи клонится к закату, поскольку во дворце на меня мода пошла, так Пресбон говорит, — теперь я нередко, возвращаясь от больного, нахожу в своей сумочке дорогое украшение. Перстень, бусы. Я их пока не ношу, Пресбон мне отсоветовал. Не стоит навлекать на себя чужую зависть. Он-то, Пресбон, мне не завидует, я ему не соперница, ему-то даже лучше, что не он один из колхидцев теперь у коринфян в чести. Прежде он меня и взглядом не удостаивал, я не из тех женщин, что в его вкусе, ему нравятся красивые и беззаветно преданные, я ни тем, ни другим похвастаться не могу. Но теперь он стал на меня посматривать с чем-то вроде удивления, которое, как мне кажется, может подменить собой желание. А то и взаправду стать желанием. Если какая причуда мужских вожделений мне и известна, так именно эта, и я не раз с успехом ее использовала.

Разумеется, эта Лисса на меня наорала, обозвала меня и Пресбона гнусными тварями, не хватало только обругать нас предателями, которыми они наверняка именуют нас промеж собой, когда собираются вместе, эти стареющие, отставшие от жизни колхидцы. Когда садятся на площади в своей слободе, где они обустроили себе свою Малую Колхиду, ревниво оберегаемую от любых перемен, сдвигают головы и бубнят, бубнят свои легенды про дивную, несказанную Колхиду, которой отродясь, никогда и нигде, на свете не было. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно, кричала я Лиссе. «Ты видишь только то, что тебе хочется видеть, — ответила та, — только эту горстку замшелых старцев и старух, которые совсем ополоумели от горя, тоски по родине, а еще от негодования, потому что коринфяне беспрерывно их уни-

жают, вот они и намечтали себе сказочный мир». Но я всегда, мол, — так эта баба осмелилась мне заявить, — всегда норовила видеть в людях, а особенно в себе самой, только то, что мне нужно, а главное, удобно и выгодно. Я была вне себя. «Это я-то? — кричала я ей. — Я? А ваша ненаглядная Медея? Которая окружила себя одними почитателями? И никого больше к себе не допускает?» Тут Лисса вдруг притихла. «А ведь ты сумасшедшая, — сказала она мне. — Ты ведь веришь в весь этот бред. Ты и вправду хочешь ее уничтожить».

Да. Хочу. Именно уничтожить. И день, когда это произойдет, будет счастливейшим днем моей жизни.

Лисса, эта телка, как Пресбон ее называет. Создана только для того, чтобы питать, вскармливать, сперва собственную дочь Аринну, потом и обоих сыновей Медеи выкормила грудью, а еще — это она тоже умеет — немало способствовала тому, чтобы ей, Медее, до поры до времени буквально все удавалось. Чтобы она просто купалась в счастье. Чтобы носила по городу копну своих непокорных волос, как стяг. Но все, кончились те времена. Теперь, отправляясь во дворец, что бывает достаточно редко, она повязывает волосы косынкой. Ясон прилюдно от нее отрекается, а сам тайком к ней шастает. О да, мне-то известно. Да вовсе никого и не требуется, чтобы Медею уничтожить, распалялась я, стоя перед Лиссой, лучше нее самой это дело все равно никто не уладит. Тут Лисса схватила меня за плечо и как встряхнет, оказывается, у нее в гневе глаза отнюдь не коровьи, не забыть бы Пресбону рассказать. «Сейчас же прекрати беду накликивать!» — закричала она. По счастью, в самый последний миг я успела одуматься. Сбросила с плеча Лиссину руку и пошла прочь.

Все было решено. Я была готова. Пресбон уже ждал меня. Пора было идти к Акаму. Дабы облечь в дела наши желания.

Однако если мы думали, что Акам примет нас с распростертыми объятиями, то мы сильно заблуждались. Акам заставил нас ждать. Нам было сказано, что он занят. Я при моей-то вспыльчивости тут же хотела уйти. Однако Пресбон меня удержал. Мы считаем своим долгом донести до сведения наших радушных хозяев нечто важное, что подвергает опасности уклад всей их жизни. Такой уж человек Пресбон — просто гений самообмана. Любые свои поступки, равно как и бездействия, он способен объяснить только самыми благородными намерениями. Так что я совсем не сразу распознала действительные мотивы, побуждающие его гнать Медею прямо на острие ножа. В отличие от всех нас, Пресбон хочет, чтобы его не только любили. Он чувствует себя человеком лишь в лучах ликующего обожания толпы, для которой он устраивает празднества, неважно, верит он сам в ее богов или нет. Он заставляет себя в них верить. Медея, как ему кажется, его за это презирает. На деле-то все гораздо хуже: он ей безразличен. Мысль эта впивается в него шипом, и вот я дала ему в руки средство вырвать колючку и навсегда избавиться от нестерпимой муки.

Акам принял нас с той трудноописуемой отчужденностью, которую коринфяне с самого начала взяли за правило в обхождении с нами и которую, как бы близко любой или любая из нас с ними не сходился, до конца не удается преодолеть никогда. Похоже, все они просто рождены с несокрушимой верой в свое превосходство над этими малорослыми, смуглокожими людишками, что ютятся в деревнях вокруг их города, между тем как в этих деревнях и по сей день бытует легенда, что именно они, колхидцы, и есть исконные обитатели этих мест, что это они первыми заселили здешнее побережье, первыми начали ловить здесь рыбу и сажать оливковые рощи. Ясно, что все остальные старались к нам, колхидцам, примазаться, охотно принимали нас в свои поселения, наперебой предлагали нашим мужчинам своих дочерей, нашим девушкам своих сыновей. Охотнее всего они бы совсем смешали нас с бесформенной и безликой кашей более поздних народов и племен, и были колхидцы, которые, устав от бесконечных скитаний, утратив волю к сопротивлению, поддавались соблазну и падали в лоно недоразвитых этих народцев, растворяясь в них без следа и переставая быть колхидцами. Мне тоже кажется глупым истово цепляться за несбыточный идеальный образ собственного прошлого, когда есть возможность приобщиться к более высоким формам жизни. Я не желаю прозябать в ничтожестве. Держа в уме эту цель, я и предстала наконец перед Акамом.

Акам был вежлив — на свой безличный манер. Ни словом не упомянув о долгом нашем ожидании, он тем не менее церемонно поклонился и даже выполнил просьбу Пресбона, отослав из комнаты Турона, своего молодого шустрого помощника. Тот, пройдя совсем близко от меня, подмигнул. Мы ведь с ним достаточно коротко знакомы, Турон из тех молодых коринфян, которым я не отказываю в своих милостях, поскольку со временем они обретут вес и смогут оказаться мне полезны.

В Коринфе, в отличие от Колхиды, принято, чтобы мужчина говорил первым и даже, что уж совсем смешно, говорил за женщину. Вот почему Пресбон первым взял слово, придерживаясь привычного своего тона — где-то посередке между дерзостью и подобострастием. Он известил Акама о том, что я, Агамеда, имею сообщить ему нечто важное. Акам устремил на меня тяжелый взгляд. Этому человеку я не нравлюсь. Он произнес:

— Говори.

Я сказала, что дело касается Медеи. Акам резко меня перебил: беженцы — это не по его части. Тут я поклялась себе: «Ну погоди, ты еще научишься меня уважать!» И холодно заметила: это уж ему решать, хочет он или не хочет выслушать известие, важность которого для Коринфа нам оценивать не пристало. Тут он взглянул на меня внимательней и, как мне показалось, чуть удивленно, после чего рявкнул снова:

— Говори!

И тогда я рассказала то, что видела: во время царского пира Медея шпионила за царицей Меропой.

Услышанное пришлось Акаму явно не по вкусу.

— Шпионила? — переспросил он, вскидывая бровь. — Это каким же образом, милочка?

Я чувствовала, как деревенеет под его бесстыдным взглядом все мое нескладное тело — слишком крупный нос, который я по возможности стараюсь не показывать в профиль, неуклюжие руки и ноги, которые я еще девчонкой вечно прятала. И лишь Медея, которой я, к стыду своему, одно время открывала душу, учила меня распознавать в себе красоту: красивый разрез моих глаз, мои густые волосы, мои груди. Но волосы у меня слишком гладкие, груди обвисли, это каждому видно, и Акаму в том числе, я проклинала Пресбона, который меня сюда притащил. Акам меня презирал. Что ж, для меня это не новость. Мои добрые колхидцы тоже меня презирают с тех пор, как я все реже стала появляться в их колонии, а все чаще показываюсь в сопровождении влиятельных коринфян, и уж подавно после того, как я им презрительно бросила: с какой стати мне лелеять воспоминания об их Колхиде, в которой мне давным-давно было тошно. «Хорошо же ты раньше умела притворяться», — сказала мне как-то раз Лисса. А хотя бы и так. Да мне плевать, раз коринфяне мне за эту мою нынешнюю прямоту благодарны. Я-то мигом раскусила, как важно им верить, что они живут в самой распрекрасной стране на белом свете. Так что мне стоит их в этой вере помаленьку укреплять?

Но Акам еще пожалеет о том, что дал почувствовать мне свое презрение. Я ведь тоже хочу вершить чужими судьбами, и способностей у меня к этому ничуть не меньше, чем у него, и нет для меня большего восторга, чем узнавать мои собственные намерения и мысли в словах и поступках другого человека, который даже не подозревает, что это я их ему внушила.

Хорошо еще, что то, о чем мне надлежало поведать Акаму, по крайней мере, соответствовало истине. Совершенно случайно — это было единственное лукавое слово в моем рассказе — во время последнего царского пира, где я в качестве сопровождающей при царевне Глауке, как и положено, стояла в дверях, я увидела, как государыня наша, Меропа, выходит из трапезной. Одна. А потом углядела, что следом за ней тенью крадется Медея. И видела — сперва царица, а потом Медея скрылись за шкурой в боковом проходе и долго, во всяком случае, настолько долго, насколько мне вообще приличествовало ждать, оттуда не показывались. Так что я начала уже не на шутку беспокоиться и вот-вот готова была поднять тревогу, если бы не случившийся с царевной Глаукой приступ слабости, который, конечно же, потребовал моего вмешательства. «Приступ слабости» — так врачи по договоренности с царем ус-

ловились называть припадки, когда его бледная, худенькая дочка начинает сперва дергаться, потом падает навзничь, содрогается всем телом в жутких судорогах, натягиваясь, словно тетива на невидимом луке, глаза закатываются, так что видны одни белки, а на перекошенных губах выступает пена. Все, кто был в трапезной, могли наблюдать это прискорбное зрелище, в том числе и Акам, и Пресбон, у которого, кстати, из-за этого оказался сорван один из самых пышных его праздников, подготовленный для прославления царского дома. Ну, а мне пришлось опрыскивать несчастную водой, изо всех сил держать ее неистово бьющуюся голову, потом бежать рядом с носилками, на которых ее унесли в ее покои, где травными примочками и наложением рук я пыталась привести ее в чувство, и все это к тому же почти украдкой, дабы не обратить на себя внимание царских лекарей и не помешать их усилиям, как всегда, конечно же, бесплодным, да и потом ни словом о своем участии в поправке бедняжки Глауки не упоминать.

Только по остроте и настойчивости допроса, которому Акам меня подверг, я поняла, насколько серьезно воспринял он мое сообщение. И какой опасности подвергла себя Медея. Мне это понравилось, только вот ни в коем случае нельзя, чтобы она и меня в эту историю втянула. Потребовалась вся моя сила убеждения, чтобы заставить Акама поверить, будто я ни шагу не сделала вслед за обеими женщинами и понятия не имею о том, что скрывается за той висячей шкурой.

— Ради твоего же блага надеюсь, что это и вправду так, — сказал он мне сухо, но я-то почувствовала: он мне поверил. И только позже Пресбон дал мне понять: если уж Акам решит погубить меня заодно с Медеей, верит он мне или нет — это не будет иметь для него ровным счетом никакого значения; ибо одно, по крайней мере, из его расспросов мне стало ясно — тут дело идет о жизни и смерти. Валун, который мы на Медею столкнули, оказался куда больше, чем мы предполагали. «Знай я об этом, пошла бы я к Акаму?» — вопрошаю я себя и ясно слышу в ответ: «Да. Даже тогда. Даже если этот валун и меня прибьет — все равно да!»

Но этого не будет, Акам сам не допустит. Ведь я ему теперь нужна, и не только в том простейшем смысле, который я с самого начала уяснила: разумеется, я нужна ему для свидетельских показаний, более правдоподобных никто ему не представит. Так что он позволит мне разыграть игру, в которой я большая мастерица. Я нужна ему, чтобы сплести для Медеи сеть, в которую та угодит, даже не успев ни о чем догадаться. Тут я ему услужу, как никто другой. Но куда важнее, это лишь потом до меня дошло, иное воздействие, которое я на него оказываю и которому он настолько подвержен, что уже просто не может без него обойтись. Медея в своей одержимости ставит только на силу в людях, я же играю на их слабостях. Вот мне и удалось выманить из этого невзрачного и несколько тщедушного тела и из этой неказистой, слишком большой и слишком круглой головы со слегка выпученными немигающими глазами некие влечения, в которых он сам боится себе признаться и которые, как и у всякого мужчины, слишком долго предававшегося вынужденному воздержанию, овладевают им всецело. Я имею в виду не любовь во всех ее игривых разновидностях, тут Акам неуязвим. Я имею в виду безудержную похотливую жажду творить зло, которая, впрочем, иногда проявляется и в любовных играх.

Но только не у Акама. Этот странный человек будто составлен из разнородных частей. Он живет, укрывшись в чертогах своих кропотливых умопостроений, которые и считает правдой и которые на самом деле служат одной-единственной цели: укрепить его в его шатком самомнении. Возражений он не терпит, высокомерно обдавая ядом тайного или неприкрытого презрения всех этих жалких недоумков, то есть буквально всех и каждого, ибо он всегда и всюду должен быть уверен в собственном превосходстве. Я хорошо помню ту минуту, когда поняла, как плохо он знает людей и поэтому вынужден жить на сваях принципов, незыблемость которых никто не смеет ставить под сомнение, он воспринимает это как страшное посягательство. Один из таких принципов — это его навязчивая идея, что он будто бы справедливый человек. Я сперва вообще не поверила, что он говорит всерьез, но когда он начал досконально перечислять все, что свидетельствует в пользу Медеи, тут я поняла: он бы очень не прочь получить в руки улики против Медеи. Вот где у него все ее, Медеи, художества

сидят. Ему до смерти надоело отвечать своей безупречностью на ее безупречность, дабы не чувствовать в ее присутствии ничьего превосходства. О, я слишком хорошо изучила все виды воздействия, которые эта женщина способна оказывать на окружающих.

Конечно, ошибка могла стоить мне головы, но я положилась на свое чутье и, когда Акам начал расхваливать достоинства Медеи, рискнула перебить его вопросом: да верит ли он сам в то, что говорит. Пресбон потом мне признался, что у него просто дыхание перехватило. С тех пор как Акам стал первым советником царя, подобной наглости в разговоре с ним никто себе ни разу не позволял.

Акам осекся на полуслове, в глазах его отразилось крайнее изумление, но и интерес, на который я и рассчитывала. Он пожелал осведомиться, что я имею в виду. На это я сказала: если человек выставляет себя в ореоле такой непорочности и такого совершенства, как Медея, — значит, тут дело нечисто. Значит, ей есть что скрывать. Она торопится укорить нас нашими недостатками, чтобы никто не додумался заглянуть под эту блестящую завесу, которой она себя окутала. И он, Акам, прекрасно это знает.

Акам помолчал. Потом сказал Пресбону:

— А ты привел ко мне умное дитя. Пожалуй, даже слишком умное, тебе не кажется?

Дело все еще висело на волоске. И тогда я прибегла к средству, которое — я не раз в этом убеждалась — безотказно действует на любого мужчину: я пустила в ход самую бесстыдную лесть. Я не умнее других, сказала я, и уж никак не умнее его. Однако была бы счастлива хоть изредка иметь возможность насладиться умом того, кто мне так нравится.

С тех пор Пресбон передо мною просто благоговеет. По-моему, он даже в постель со мной после этого долго не отваживался снова лечь, до того он был напуган моим превосходством. Ну а еще, конечно, потому, что боялся Акаму поперек дороги вставать. Ибо как-то так само вышло, что иногда, когда мы вечерами встречаемся кое-какие замыслы обсудить, я потом на ночь у него остаюсь. Что сказать? Наверно, мужчине и не дано блистать во всех сферах, да и я до этих утех не особенно падка. Мне совсем не трудно поддерживать в нем уверенность, что он непревзойденный любовник. А мысль, что я делю ложе с самым умным и могущественным мужчиной во всем городе, доставляет мне наслаждение, равного которому я ни с кем другим не изведаю.

Вот как сейчас все обстоит, а самое прекрасное — никто ни за что не может поручиться. Сплошная неопределенность, мне это больше всего нравится, каждый день ныряешь в новую воду, каждый день требует полного напряжения ума и сил. Ибо, конечно же, Акам остерегается меня, а я, конечно же, остерегаюсь его, и, конечно же, я знаю, что та частица его души, которой он больше всего дорожит, все еще томится по Медее и что, значит, одной рукой, той, что служит царю, он работает против нее, но другой, той, которую он к сердцу прижимает, когда перед ней, Медеей, склоняется, сам же пытается отвести навлекаемую на нее беду. Может, правда, и это всего лишь коварный расчет, такой уж он человек, как бы там ни было, а своего он добился: доверчивая Медея долго еще ни о чем не подозревала. Впрочем, где-то в самой глубине этого и без того труднообъяснимого отношения Акама к Медее я чую и еще нечто, к чему и слова-то не подберешь. Потому как если сказать «нечистая совесть», то это точно будет не то, и тем не менее не только у Акама, но и у других коринфян я обнаруживала эту странность, которая роднит их даже больше, чем преданность царскому дому, хотя сами они напрочь ее не замечают. Неким непостижимым, потусторонне-глубинным путем им, далеким потомкам, похоже, передается знание их древних пращуров, знание о том, что когда-то давным-давно они вот эту полоску земли, заселенную коренными обитателями, которых они теперь так презирают, захватили грубой силой. Мне не доводилось слышать, чтобы кто-то из коринфян об этом хоть словом обмолвился, однако случайное замечание Акама однажды ночью разом помогло мне уяснить, какую услугу, сама о том не ведая, Медея ему оказывает: она позволяет ему увериться в том, что он и с туземкой обходится справедливо, без предубеждений

и даже любезно. Нелепость в том, что подобное отношение утвердилось и даже стало модным при дворе, в отличие от простолюдинов, которые честят варваров без зазрения совести и срывают на них зло без всяких раздумий. Очень меня привлекает задача заставить Акама действовать против Медеи напрямик и без стеснения.

В конце той первой встречи он с самой надменной миной, на какую способен, объявил нам, что нас постигнет суровая кара, буде мы не сумеем обуздать собственное любопытство и вздумаем выведывать, что скрывается за пологом, за которым исчезли Меропа, а за ней Медея. Мы с готовностью дали священную клятву, и, поскольку жизнь мне еще не надоела, я эту клятву сдержала и до конца дней буду держать. Втайне мы все трое надеялись, что Медея такого благоразумия не проявит, и она эти наши надежды оправдала. Да, она продолжала вынюхивать, пусть осторожно, тишком, но ежели кто собирал на нее улики — он сумел бы их найти. Однако, судя по всему, тайна, которую она пытается раскрыть, столь страшного свойства, что даже сами эти улики ей публично предъявлять нельзя. Именно так, хотя и в завуалированной форме, Акам обрисовал нам всю сложность создавшегося положения. Мы быстро смекнули что к чему, и это Пресбона осенила идея вместо преступления, в котором Медею обвинить никак невозможно, подыскать какое-нибудь другое, привлечь ее прилюдно к ответу и таким путем добиться желаемого итога. Мы ни звука не проронили о том, каким должен оказаться этот желаемый итог. Мы играли нашими день ото дня все более изощренными замыслами в некоем воображаемом пространстве, словно игра наша никому и ничем не грозит. Очень полезный способ, позволяет мыслить свободно, непредвзято, а значит, с хорошей отдачей. У нас, в Колхиде, его еще не знали, считается, что такое мышление дано только мужчинам, но я-то уверена, что тоже на это способна. Вот и упражняюсь, тайком правда.

Акам в тот раз не дал нам никаких поручений, видно, хотел пока что сохранить пути к отступлению. Хотел для начала сам за Медеей понаблюдать. Посмотреть, вдруг она еще образумится, но я-то точно знала: она-то ни за что не прекратит как бы невзначай наводить справки относительно той норы, куда она за царицей шмыгнула, про которую и мне хоть и не дозволено знать, а теперь вот известно. В Медее я не сомневалась, она ведь убеждена в собственной неуязвимости. Расхаживает повсюду, будто на ней панцирь. А я, наоборот, с раннего детства беззащитна, открыта всем хворям и болячкам. Да вообще — подумать страшно: Медея, царская дочь, Медея, жрица Гекаты. И вдруг в десять лет, когда умерла мама, меня берут в храмовые прислужницы, я могу учиться у Медеи, о чем, сколько себя помню, только и мечтала. Жить, как Медея, казалось мне единственным, что достойно устремлений, поэтому смерть мамы принесла мне не одну только скорбь. Медея была ее подругой и приложила все свои умения, чтобы ее спасти, однако лихорадка пожирала маму на глазах. Никогда прежде не видела я Медею у ложа умирающего в таком гневе. Было в этом гневе что-то неподобающее, ибо каждый колхидец знает, человеческим способностям к врачеванию положен предел, за которым участь больного дано решать только богам. Богов не пристало обижать чрезмерным изъявлением скорби по умершему, как это, с чем нам все еще трудно свыкнуться, принято у коринфян; впрочем, у них же нет и нашей уверенности в том, что душа умершего после положенного отдыха воскресает в новом теле.

Словом, Медея приняла меня в стайку своих учениц, как и обещала моей матери, она учила меня всему, что знала сама, однако, против моих ожиданий, держала меня на отдалении, отказывая моей ранимой детской душе в приязни, которой я так страстно желала; лишь много позже, когда я уже пробилась в первые ряды ее учениц, она однажды как бы между прочим заметила — она надеется, я понимаю: ей приходится обходиться со мной строже, чем со всеми прочими, дабы никто не мог сказать, будто дочь ее подруги у нее на особом положении. В тот же миг я ее возненавидела.

Как-то она мне сказала: в жизни нельзя иметь все сразу. Что ж, тогда пусть сама и изведает справедливость своих слов. Нельзя и место храмовой жрицы по праву рождения иметь, и всеобщей любовью пользоваться. Она моей ненависти даже не заметила. Лишь тут, в Коринфе, она снова обратила на меня внимание, после того как я быстренько от наших честных и скучных колхидцев отбилась и стала водить дружбу

с коринфскими молодыми людьми. Как-то раз она даже пыталась вызвать меня на откровенность, участливой прикидывалась, все выпытывала, отчего я такая несчастная. Я только рассмеялась в ответ. Слишком поздно.

Несчастная. Прошли те времена, когда меня можно было сделать несчастной. Как будто на счастье свет клином сошелся. Вот Турон и я, мы отлично друг другу подходим, потому что каждый не обманывается насчет другого. Союз ради общей цели, сказал Пресбон, что ж, он понимает, тем паче что при этом, наверно, другие связи тоже не исключены. Все вдруг разом меня возжелали. Пресбон как мужчина меня скорее отталкивает, его жесткие рыжие волосы, его дряблое тело. Ему нужно, чтобы кто-то его слушал, от своих словоизвержений он получает больше удовольствия, чем когда ложится с женщиной. Тщеславие его безмерно, он не в силах с ним совладать, мои неумеренные похвалы возбуждают его куда больше, чем мое тело, я это знаю. А почему бы и нет, собственно. Каждая женщина использует все свои сильные стороны, чтобы привязать к себе мужчину. Турон открыл мне дорогу в царский дворец, Пресбон покажет дорожку, как слаще отмстить Медее. Ибо, конечно, это он первым высказал предложение, которое мы потом до последних мелочей обсуждали всю ночь, завершив обсуждение страстными объятиями. План и вправду гениальный, потому что оставляет открытыми все возможности. Медею обвинят в том, что она еще в Колхиде убила своего брата Апсирта. Обвинение позволит Акаму привлечь Медею к ответу, если он и вправду этого хочет и раз уж он не в силах использовать для этого ее действительное прегрешение — посягательство на самую святую государственную тайну. Кстати, Пресбон и я, мы оба вволю позлорадствовали по поводу того, что в таком расчудесном и богатом, самоуверенном и надменном Коринфе тоже, оказывается, есть свои мрачные подземелья с запрятанными в них как можно глубже страшными тайнами. Простому смертному, не лишенному обычных людских слабостей, все-таки как-то приятней жить среди себе подобных, которые тоже не без греха.

Но от Акама эти свои чувства мы, конечно, скрывали. Мы вообще старались уберечь его от изложения некоторых особо путаных обстоятельств, в рассмотрение которых так любит погружаться его своеобычный ум. Когда он спросил нас, а вправду ли Медея убила своего брата, мы, как и было заранее условлено, ответили, что слухи эти ходили тогда по всей Колхиде и никем, в том числе и самой Медеей, опровергнуты не были. Акам начал рассуждать вслух, давая нам возможность развеять последние его сомнения. Но все это так давно было и касается, в сущности, только колхидцев... Которые, между прочим, находятся под покровительством царя Коринфа и вправе надеяться, что тот не оставит их своей справедливой поддержкой, ежели они выкажут серьезное намерение сорвать покров тайны с давнишнего злодеяния. Все равно столь ответственный шаг надо тщательно обдумать. Он рассчитывает, что до поры до времени мы будем хранить молчание — перед кем бы то ни было. Это было сказано с угрозой. Мы оба понимали: изменись положение в пользу Медеи — и нам несдобровать. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы положение Медеи только ухудшалось. Акам это знает. Он презирает себя и нас за то, что его интерес совпадает с нашим, мы это знаем, и он знает, что мы это знаем. В отношениях наших открываются все новые бездны, и мне это нравится. Простые отношения мне до смерти скучны.

Наше дело теперь только смотреть в оба, Медея сама, шаг за шагом, идет прямо в сеть, а нам остается лишь позаботиться о том, чтобы о каждом новом ее шаге узнавал Акам — но, разумеется, не от нас. Чтобы Акаму стало ясно: Медея от своего не отступит, осторожно, но упрямо продолжает она свои разыскания, мало- помалу добиваясь доступа ко всем людям в Коринфе, от которых надеется получить сведения о своей находке, сделанной в том подземном ходе, страшной находке, о содержимом которой я догадываюсь. Догадываюсь, но ни за что не произнесу вслух слово, которое может стоить мне жизни, даже в самых сокровенных глубинах моего существа я не рискну облечь в слова эту свою догадку. Вот почему у меня иной раз просто в голове не укладывается то безрассудство, с которым она, Медея, действует.

Она не побоялась тайком встретиться с государыней в той старой части дворца, куда почему-то все ходить избегают. Когда Акам об этом узнал — на сей раз, кстати,

даже без нашего участия, у него есть и свои источники, — я наконец-то увидела его в ярости. Теперь он уже не в силах Медею защитить. И не вправе требовать от нас и далее утаивать то, что нам известно. Это был миг ликования и страха одновременно.

Мы оба, Пресбон и я, сошлись на том, что каждый из нас расскажет о подозрениях против Медеи только одному человеку. Было любопытно, сколь быстро разлетится слух. Уже два дня спустя об этом знали все колхидцы и лишь немногие коринфяне, которые, кстати, выказывали определенную брезгливость и явное нежелание копаться в старых и неприглядных колхидских дрязгах. Ясон, тот, конечно, сразу впал в панику. Но и Медея, к глубочайшему моему удовлетворению, обнаружила признаки беспокойства. Она посчитала возможным остановить меня прямо на улице, хотя никак не могла знать, от кого пошла молва.

— Послушай, Агамеда, — начала она без обиняков, — ведь ты же прекрасно знаешь, что к смерти Апсирта я никакого отношения не имею...

И тут на меня нашло одно из гениальных моих озарений. Я ей ответила:

— Будто ты, Медея, не знаешь: у сестры есть много способов иметь жизнь брата на своей совести.

И вот тут она побледнела, и я это видела.

4

Ясон (*Медее*): Иди ж, лети чертогами высокого эфира
И убедись: там нет богов в помине.

Сенека. Медея

Медея

Апсирт, братик, значит, ты не умер, и напрасно я тебя собирала по косточкам на том ночном поле, по которому разбросали тебя безумные старухи, несчастный, растерзанный мой братишка. Ты дошел ко мне, стойкий, каким я тебя не знала — а каким я тебя знала? — составил себя заново, собрал по кусочкам со дна морского, косточку за косточкой, и вот, наконец, нагнал меня — неосязаемым сгустком воздуха, молвой. Ты, никогда не желавший могущества, теперь всемогущ. Всемогущ, чтобы достать меня хоть в небе, хоть на дне морском, так, по крайней мере, они считают, и не только Пресбон и Агамеда, которые всею душой этого жаждут, но и Леукон, в чьих глазах я явственно видела тревогу. Сама же я, напротив, почти не испугалась, когда предвестье молвы дуновением коснулось меня, мне же в лицо никто ничего не говорил, только за спиной шушукались. И я услышала твое имя, как же давно я его не слышала, братец, а потом и свое, а когда оглянулась, встретила угрюмые лица, опущенные глаза. Все уже знали, все, кроме меня, пока Лисса меня не просветила: оказывается, Апсирт, братик, это я тебя убила. Я рассмеялась. Лисса и не думала смеяться. Я посмотрела на нее, потом сказала:

— Ты же знаешь, как все было на самом деле.

— Знаю, — ответила Лисса, — и всегда буду помнить.

Что означало: не все и не всегда будут помнить то, что знают. Я все еще не понимала, что к чему, почувствовала даже нечто вроде облегчения, наконец хоть что-то случилось, что, быть может, разгонит смутную тоску, которая слой за слоем осаждалась на мне все эти годы в Коринфе.

Ибо сам Коринф, его прошлые и нынешние дела, меня никогда не волновали. Родная Колхида стала для меня словно вторым моим огромным телом, и я чувствовала малейшее его движение. Упадок Колхиды я ощущала в себе самой, будто ползучую болезнь, из жизни уходили любовь и радость, я даже тебе, младшему брату, не раз об этом говорила, ты ведь всегда такой смышленый был, такой чуткий. Когда мы сиживали вместе с матерью, сестрой Халкиопой, с Лиссой и, не скрывая тревоги, судили-рядили о том, что же такое с нашей Колхидой творится, ты, еще ребенок, бывало, пугал нас своей проницательностью. Ничто так не мучит меня, как мысль, что,

когда отец, наш государь, тебя и всех нас этой своей злосчастной задумкой огорошил, ты уже тогда предчувствовал: тебе это будет стоить жизни. А мы ничего, кроме нашего смущенного молчания, так и не смогли этой затее противопоставить. Мы его недооценили, нашего отца, нашего бестолкового и дряхлого правителя, а он последние остатки своих хилых силенок сосредоточил на одном: во что бы то ни стало сохранить власть, а значит и жизнь. Мы не знали, что он способен на такое вероломство. Мы были слепы, Апсирт.

Даже тебе было понятно: Эет правит Колхидой плохо, настраивая против себя все больше подданных, в том числе и нашу мать, и меня, жрицу Гекаты, чей храм без всякого моего содействия постепенно стал прибежищем недовольных, прежде всего молодежи, и ты, братец, там постоянно бывал. Они возмущались упрямством Эета и бездумным расточительством двора, они требовали употребить сокровища государства, наше золото, на поощрение торговли и на то, чтобы облегчить нищенский удел наших земледельцев. Они требовали, чтобы царь и его свита вспомнили об ответственности, которую искони накладывают на них древние обычаи Колхиды. Ах, Апсирт! Что мы, несведущие, могли тогда знать о роскоши! Вот с тех пор как я живу в Коринфе, я и вправду знаю, что такое расточительство, но оно никого здесь, похоже, не огорчает, даже бедняки в деревнях и на городских окраинах начинают прямо светиться от восторга, когда рассказывают о грандиозных празднествах во дворце, для которых они обязаны поставлять скот и хлеб, сами не имея возможности даже краем глаза на эти празднества взглянуть.

Все мы в Колхиде были в плену у наших древних преданий, в которых мудрые цари и царицы правили страной, где люди жили в согласии друг с другом, а владения распределялись по справедливости, так что никто никому не завидовал и не зарился на чужое добро, не говоря уж о чужой жизни. Когда я, только очутившись в Коринфе, еще неопытная, начинала рассказывать об этой нашей колхидской мечте, на лицах моих слушателей неизменно появлялось одно и то же выражение снисходительной и недоверчивой жалости, а потом и скучливой неприязни, из-за которого у меня вскоре пропала охота объяснять, что у нас, колхидцев, эта чаемая мечта стоит перед глазами очень явственно и мы даже соизмеряем с нею нашу теперешнюю жизнь. Но мы-то видели, что из года в год от этой мечты только удаляемся, и главной помехой всему был наш старый, закосневший государь. Сама собой напрашивалась мысль, что новый, молодой правитель способен повернуть дело к лучшему. И тут среди женщин нашего круга вызрела смелая идея поставить на царство Халкиопу, нашу сестру. А поскольку предание гласит, что в Колхиде в прежние времена государили женщины, и поскольку уж мы все равно ратовали за возрождение древних обычаев, кое-кто из старожилов вдруг очень кстати нам напомнил, что когда-то царь в Колхиде имел право оставаться на престоле только семь лет, в крайнем случае два раза по семь лет, но после этого срок его царствования истекал, и он обязан был передать бразды правления своему наследнику. Мы подсчитали: получалось, что царь Эет правит как раз седьмой год второго срока, и среди нас тотчас же нашлись блаженные легковеры, полагавшие, будто Эет и вправду добровольно отречется от престола, стоит только его убедить, что так положено по древнему колхидскому закону.

Какие же мы были глупые. Как слепые кутята. Эет тоже знал древние сказания, и конечно же, ему о наших намерениях донесли. Мы его недооценили. Когда группа колхидцев, нами посланная, к нему явилась, он уже был во всеоружии. Вместо того чтобы выслушивать от них сообщение, что срок его правления истек, он сам ошеломил их велеречивым рассказом о старом обычае, согласно которому царь может править лишь два раза по семь лет, заключив сию речь кичливым заявлением: он, царь, готов перед старинным обычаем склониться, больше того, он поступит в точности так, как в таких случаях якобы поступали его предки — на один день сложит с себя царские регалии, и в этот день царем Колхиды будет его сын и грядущий законный преемник Апсирт. Чем, конечно, будет оказано достаточное уважение к обычаям нашего народа; ведь не намерены же мы, чего доброго, потребовать соблюдения наидревнейшего из ритуалов, согласно которому кто-то один, либо старый царь, либо его юный наследник, должен быть принесен в жертву.

Наши люди, шедшие требовать и в один миг превращенные в просителей, от неожиданности лишились дара речи и вынуждены были смущенно удалиться. Возможно, мы проявили бы больше присутствия духа, если бы не аргонавты, которые, как назло, именно в эти дни прибыли в Колхиду, повсюду шастали, путались под ногами, а нам приходилось сбивать их с толку, дабы они ничего не заметили. Они и не заметили ничего. Однако царь успел использовать выгоды создавшегося положения, он действовал решительно и умно. Без излишней пышности, но чинно и строго был проведен церемониал, во время которого он сложил с себя царский сан и посадил на царство тебя, мой несчастный братец. Я как сейчас вижу тебя в тяжелом и дорогом царском облачении, такого крохотного на огромном деревянном троне, а рядом невзрачного, в затрапезной одежде, Эета — больше не царя. Я не понимала, что происходит, это единственное мое оправдание, однако страх и безысходность, написанные у тебя на лице, мгновенно передались и мне тоже.

Я все еще не знаю доподлинно, как именно он это сделал. Наверное, ему и делать-то ничего особенно не пришлось. Может, он вначале ничего такого и не замышлял, кроме того, о чем нам сказал, а мысль тебя убить — или дать тебя убить — пришла ему в голову позже, когда ему стало ясно, что ритуальными уловками дела все равно не поправишь. И может, потом, после всего, его скорбь о сыне даже не была притворной. Если бы не выбирать одно из двух, если бы можно было и власть удержать, и тебя, братик, сохранить, он бы, конечно, с радостью так и сделал. В миг, когда он понял, что это не получается, он, наверно, изведал, что такое ужас. Но потом, как ему и пристало, все-таки выбрал власть. И наивернейший путь к ней — устрашение.

Может, кто-то из его прихлебателей намекнул старухам, этой ораве оголтелых фанатичек, для которых весь смысл их существования свелся к тому, чтобы всю Колхиду заставить жить в точности, до последней мелочи так же, как жили наши предки. Мы не принимали их всерьез, и это оказалось ошибкой, соотношение сил в Колхиде вдруг разом обернулось в их пользу, они сочли, что час их наконец пробил, и, вдохновленные обращением царя к древним законам, возжаждали исполнения этих законов в полной мере и до конца: лишь кто-то один, либо царь, либо его наследник, должен остаться в живых, а посему в полночь, по истечении дня твоего царствования, братик, через один из дворцовых входов, который в ту ночь почему-то не охранялся, о чем они почему-то прекрасно знали, ворвались в твои покои и, застигнув тебя, нагого и беззащитного, в ванной, там и убили под завывание своих жутких песнопений. Ибо таков обычай древних времен, на который и мы ведь ссылались, поскольку сулили себе от этого выгоду. И с тех пор меня охватывает ужас при мысли о древних временах и о силах, которые они в нас высвобождают и с которыми нам не совладать. Ибо ведь когда-то же в глубине времен это ритуальное убиение наследника, происходившее при всеобщем, в том числе и его собственном, согласии, все-таки превратилось в убийство, так что если твоя жуткая смерть, брат мой, чему меня и научила, так это вот чему: нельзя обходиться с прошлым по своему усмотрению, нельзя брать из него отдельные куски, складывая и раскладывая их как заблагорассудится. Я же, не воспрепятствовав этому, а даже, напротив, поощрив, невольно споспешествовала твоей гибели. Агамеда, конечно, что-то другое имела в виду, когда меня давеча смертью твоей попрекнула, а я все равно побледнела. И всякий раз бледнею, братец, когда о тебе думаю, о тебе и твоей смертушке, что меня из Колхиды прочь погнала. Где уж Агамеде об этом знать. Ее ослепляет ненависть. Но за что она меня ненавидит? Почему меня вообще ненавидят?

Или они чувствуют во мне отсутствие веры, безверие мое? И не могут мне этого простить? Когда я бегала по полю, по которому они, старухи эти бесноватые, разбросали твои останки, когда я, хрипя и завывая в подступающем ночном мраке, по полю этому бегала и тебя, мой несчастный, мой поруганный брат, клочок за клочком, косточка к косточке, собирала — вот тогда во мне вера кончилась. Да как это мы возвращаемся на эту землю в новом обличье? И каким таким образом рассеянные по полю останки мертвого человека способны сделать это поле особенно плодородным? С какой такой блажи богам, которые только и знают, что требовать от нас зна-

ков поклонения и благодарности, сперва заставлять нас умирать, а потом зачем-то отправлять на землю обратно? Твоя смерть, Апсирт, раскрыла мне глаза. Впервые я обрела утешение в мысли, что не буду жить вечно. И смогла эту страхом порожденную веру оставить; а вернее сказать — с отвращением из себя исторгнуть.

И не встречала еще человека, с которым можно об этом поговорить. Здесь, правда, нашла одного, он верует не больше моего — Акам, но он стоит по другую сторону. Мы много друг о друге знаем. Я ему говорю, одними глазами, что насквозь вижу его неискоренимое равнодушие ко всему и вся, кроме собственной персоны, а он мне отвечает, одними глазами, что насквозь видит мою неискоренимую нужду зачем-то вмешиваться не в свои дела, привычка, которую он находит странной и неумной. А в последнее время и крайне опасной. Он меня предостерегает, одними глазами, а я прикидываюсь, будто не понимаю отчего. Что ж, пора выяснить.

Я уплыла с Ясоном, потому что оставаться в этой обреченной, прогнившей Колхиде больше не могла. Это было бегство. А теперь вот ту же гримасу наглости и страха, что напоследок не сходила с лица Эета, нашего отца и государя, я заметила и в чертах Креонта, царя Коринфа. Во время похоронных торжеств в честь своего отданного на заклание сына, в твою честь, братик, наш отец не мог поднять на меня глаза. Здешнему царю, похоже, угрызения совести неведомы: пусть его власть зиждется на злодеянии — он нахально глядит в глаза всем и каждому. С той поры, как я побывала с Акамом на той стороне реки, в здешнем городе мертвых, где в роскошных, пышно украшенных усыпальницах покоятся богатые и знатные коринфяне. С той поры, как я повидала, чем их снабжают в дорогу, дабы они могли осилить путешествие в царство мертвых, а потом, по-видимому, и купить себе доступ в это царство, — золото, украшения, пищу, даже лошадей, иной раз и слуг, — с тех пор весь их великолепный Коринф представляется мне лишь зыбким, призрачным отражением вечного, нетленного города мертвых на том берегу, а порою мне и вовсе кажется, что и здесь, у нас, всем заправляют тоже они, мертвецы. Или что нами правит страх смерти. И спрашиваю себя, не лучше ли уж было в Колхиде остаться?

Но теперь вот Колхида сама меня настигла. Твои косточки, братик, я бросила в море. В наше Черное море, которое мы так любили и которое ты, я уверена, хотел избрать своей могилой. Глядя на корабли колхидцев, что гнались за нами, и перед лицом нашего отца Эета я, стоя на корме «Арго», по кусочкам, по косточкам сбросила тебя в море. И Эет приказал своему флоту поворачивать, в последний раз увидела я его окаменевшее от ужаса родное лицо. Да и у моих аргонавтов чуть руки-ноги не поотнимались при виде женщины, что, испуская дикие вопли, бросает навстречу ветру в морскую волну кости мертвеца, которые зачем-то были у нее при себе. Пусть я не удивляюсь, говорит Ясон, если сейчас, вспоминая эту картину, они не будут знать, что она означала, и вряд ли станут свидетельствовать в мою пользу. «Так неужто вы и вправду способны поверить, — спросила я его, — будто я своего родного брата убила, на кусочки разорвала, а потом еще и с собой в дорогу в мешок сложила?» Он отвернулся, мой бесподобный Ясон. Но так и оставил мой вопрос без ответа.

Все эти годы, братец, мне никак не удавалось увидеть тебя во сне. А теперь вот, вместе с воспоминаниями, проснулись и мои сны. Из ночи в ночь передо мною снова и снова вскипает море, из ночи в ночь проглатывает волна твои останки, из ночи в ночь я наконец-то проливаю слезы, которые тогда тебе задолжала. И из ночи в ночь кончики моих пальцев снова и снова ощупывают косточки, что я нашла в том дворцовом подземелье, узенький череп, детская ключица, хрупкий позвоночник... Ифиноя. Твоя сестричка по смерти, ближе и родней тебе, чем когда-либо могла стать я. Когда я просыпаюсь в слезах, я не знаю, по кому я плакала, по тебе, братец, или по ней.

Я знаю, аргонавты пытались уговорить Ясона выдать меня отцу. Мне вздумалось бежать, а их теперь преследует весь колхидский флот. Еще немного, и они выкинули бы меня за борт — пусть преследователи, мои честные колхидцы, меня вылавливают. Ясон вел себя храбро. Я на корабле под его защитой. Для меня это было внове: знать, что я нахожусь под защитой мужчины. Но он был в растерянности. Его соратники начали что-то говорить об искуплении. Мол, делу можно помочь, если как-то умилостивить богов, разгневанных смертью Апсирта, заодно притянув к искупитель-

ному ритуалу мое бегство из Колхиды и пособничество Ясона. Я всячески противилась этой затее, меня возмущало в ней косвенное признание нашей вины, но я видела — Ясону позарез нужно это искупление. А мы как раз были недалеко от острова, на котором уже много лет жила Кирка, моя тетя по матери. Лисса мне об этом напомнила, у меня перед глазами тотчас же вспыхнула огненная копна волос, а почему бы и нет, подумала я, почему бы не повидать дальнюю родственницу, чья слава волшебницы давно перешагнула за берега ее острова. Аргонавты тоже про нее слышали, но со мною и Ясоном идти не решились: им рассказывали, будто Кирка превращает мужчин в свиней. Выбрав тихую бухту, они высадили нас на сушу.

На берегу мы повстречали женщину, она стояла в море, волны омывали ее огненно-рыжие волосы и белую тунику, когда она обратила к нам свое пугающее, изборожденное морщинами лицо, похоже, она знала, кто мы такие и откуда, и ждала нас; направляясь вместе с нами в глубь острова, к пригоршне деревянных хижин, где она обитала вместе со своими помощницами, она сказала: этой ночью ей снились потоки крови, в которых и она барахталась, вот она наутро и пошла к морю — очиститься. Мы помолчали, как и положено тем, кто приходит за искуплением, сели к ее очагу и вымазали наши лица золой — в память о тебе, братец. Кирка наложила на лоб белую повязку жрицы, взяла в руку жезл, потом спросила, чью кровь мы хотим искупить.

— Кровь брата, — отвечала я.

— Апсирта, — обронила Кирка бесцветным голосом.

Я кивнула.

— Несчастная, — выдохнула она.

И такая вдруг накатила на меня лютая скорбь, вот и сейчас она проснулась и распахнута во мне, как распахнута вся моя память, выпроставшая разом все эти обломки воспоминаний, словно пашня, изрыгающая по весне из земных глубин новые камни.

Кирка обрызгала нас кровью свежезарезанного поросенка и пробормотала заклинание: кровная вина кровью да очистится. Потом дала нам отпить из разных чаш. После чего Ясон тут же заснул, у меня же сна ни в одном глазу не было. В нашем распоряжении было два часа. Время тянулось нескончаемо, Кирка многое мне рассказала после того, как я поведала ей, почему покидаю Колхиду, у меня даже возникло чувство, что в чем-то она моя предшественница, а я ее последовательница, ведь ее в свое время тоже изгнали, когда она со своими женщинами всерьез надумала выступить против царя и его присных, те стали науськивать против нее народ, облыжно обвиняя ее в злодеяниях, которые сами же и совершали, и в итоге навесили на нее ярлык злой колдуньи, лишив ее всякого доверия в народе, так что она уже ничего, совсем ничего поделать не могла. Последнее свое исцеление, этого, братец, я тоже раньше не знала, она свершила над матерью и над тобой, ты, оказывается, при родах чуть не задохнулся, потому что у матери не хватало сил тебя из лона исторгнуть. Тогда Кирка своими тонкими сильными руками в нее проникла, повернула тебя головкой вперед и вытащила, а после ночь напролет всеми средствами, какие она только знала — и мне передала, — пыталась остановить у Идии кровотечение. Воля к жизни в маме почти совсем погасла, и тогда она, Кирка, положила ей на грудь тебя, крохотный жалкий комочек, и принялась на сестру орать: мол, если та вздумает истечь кровью, то этот вот младенец умрет. И кровотечение вскоре прекратилось. Так что твоя смерть, братец, была для нее тяжким ударом. А на Колхиду она давно рукой махнула.

Она больше нас знала о белом свете. Ей не требовалось для этого покидать островов, люди сами приходили к ней: корабли из многих стран бороздили эту часть Средиземного моря, так что в портовых кабачках на всех побережьях только и было разговоров, что о волшебнице Кирке.

— Знаешь, Медея, чего им надо? — спросила она. — Они ищут женщину, которая скажет им, что они ни в чем не повинны; что это боги, которым они без разбору поклоняются, втягивают их в свои промыслы. Что след крови, который за каждым из них тянется, неотъемлем от их образа мужчины, так угодно богам. Большие дети, страшные и несносные, вот они кто, Медея. И таких все больше, поверь мне. Это расползается, как болезнь. Вот и твой красавчик, на которого ты оперлась, скоро сам за

тебя цепляться будет. Беда уже угнездилась в нем. Но самим-то им отчаяние не по плечу, отчаяние они сбагривают на нас, кто-то же должен скорбеть, но только не он, значит, женщина. Если бы земля наша полнилась только громом битв, воплями и стонами поверженных — она бы просто остановилась, тебе не кажется?

Да как же я могла так надолго позабыть все это? Лишь теперь вот я вспомнила: я ведь просила у Кирки разрешения у нее остаться, возле нее и среди ее женщин. За мгновение я прожила подле нее целую жизнь на этом острове, под этим божественным светом. Корабли приплывали и уплывали, мужчины приходили и уходили, кто утешившись и излечившись, а кто и нет. За то же одно мгновение Кирка успела пережить то же самое. А потом сказала: нет, мне нельзя оставаться. Я из тех, кому надлежит жить среди этих людей, среди мужчин, и постигать премудрость нашего с ними обхождения, и пытаться научить их избывать в себе тот страх, который превращает их в опасных и лютых зверей. Хотя бы вот этого одного, Ясона.

Да как же я могла все это позабыть? Да, ответила Кирка на мой вопрос и рассмеялась, ей уже случалось превращать ораву мужиков в стадо свиней и изгонять их с острова, это, так ей думается, должно пробудить в них хоть искорку самопознания.

— Знаешь, Медея, знаешь, что я думаю? Со временем я, наверно, и вправду стану злюкой. Постепенно превращусь в злыдню, буду целыми днями стоять на берегу и изрыгать проклятия и никого к своему острову не подпускать. Ведь все эти ушаты зла, низости и подлости, которые они на меня тут изливают, — они же не стекают просто так как с гуся вода.

Да как же это я забыла? Как могла забыть, что я ведь тоже тогда себе пожелала — когда надо, уметь становиться злой, по-настоящему злой. И теперь, Апсирт, для этого как раз самое время.

К сожалению, я всего лишь растеряна. Из-за того, что все так прозрачно и так легко разгадать. И что им от этого ни холодно ни жарко. Что они способны вот так, без зазрения совести, смотреть мне прямо в глаза и лгать, лгать, лгать. Неумение лгать — тяжкий порок. Мне вспоминаются наши детские игры, братик, мы хотели научиться лгать. Мы придумывали какую-нибудь ложь, и тот, кому удавалось правдоподобно поведать ее маме или отцу, считался победителем. Обычно, однако, нас со смехом выпроваживали, мы оба в этой игре были не слишком сильны. А вот здесь, Апсирт, все большие доки по этой части, лгут в охотку, в том числе и самим себе. С самого начала я удивлялась судорожной напряженности их тела. Я клала ладонь им на затылок, на плечо, на живот — и ничего не чувствовала, ни тепла, ни токов. Одну только эту судорожную твердость. Сколько требовалось времени и сил, чтобы ее размягчить, и как же они были недовольны, как сопротивлялись! Как противились чувству сострадания. И как затем иной раз разражались рыданиями, эти испытанные мужчины... А многие больше никогда не приходили и меня к себе не пускали, потому что стыдились. Совсем не сразу я научилась их понимать, тут Ясон мне помог.

Это был великолепный мужчина. Походка, осанка, игра мускулов, когда он стоял у руля — я глаз от него не могла оторвать, а когда нескольких из его аргонавтов колхидцы ранили, и мы вместе, Ясон и я, их выхаживали, оказалось, он и в этом разбирается, знает приемы и снадобья. Никогда после не был он мне так близок, как той ночью, когда мы с ним плечо к плечу трудились не покладая рук и понимали друг друга без слов. Вот почему я согласилась стать его женой, и совсем не только из-за того, что царь острова Керкира, где мы искали пристанища, иначе выдал бы меня второму флоту колхидцев, у которого был приказ без меня домой не возвращаться. За одну ночь свершили мы все предписанные свадебным обрядом церемонии и разделили ложе в гроте Макры, древней богини, моей покровительницы, и я сложила на ее алтарь свои украшения. С той поры я не ношу никаких драгоценностей, это мой обет богине, которая так меня и поняла. Даже заветный перстень с руки сняла и на алтарь положила. Я стала обычной женщиной и вверила себя в ее руки. Такой и отдалась Ясону, без всякого удержу, чем его к себе и привязала. Помню, как впивались мои пальцы в его плечи, когда он лежал на мне, как ощущала я малейшее напряжение каждого его мускула и блаженную их расслабленность. Помню, как больно было мне, когда его плечи, как и у большинства мужчин в Коринфе, стали постепенно затверде-

вать. И как он перестал переживать по этому поводу. Сделался придворным. «Ради вас, — говорил он мне. — Ради тебя и детей. Чтобы тебя здесь оставили». Так уже и говорил — «ради вас», себя к нам не причислял, шаг был сделан. Все еще эта боль, не проходит.

Царь Креонт, что при виде меня нацепляет каменную маску и шествует мимо, не удостаивая меня ни взором, ни кивком, может сколько угодно пытаться меня оскорбить и запугать. Мне это безразлично. Пусть Акам сколько угодно уговаривает меня прекратить ворошить кости мертвеца, найденные мною в подземелье, тогда, мол, и слухи о том, что я якобы убила собственного брата, сами собой заглохнут. Я в ответ его спрашиваю: откуда он знает, что это именно мертвец, то есть мужчина? Тогда он бледнеет, стискивает зубы так, что желваки на скулах проступают, и с угрозой спрашивает: «Что тебе известно, Медея?» Я молчу.

Но когда Ясон, сам не свой от страха и тревоги, меня начинает о том же расспрашивать, когда и он пытается заставить меня замолчать — мне это уже не безразлично. И ему я говорю, что мне известно: что там, в пещере, лежат останки девочки, почти ребенка, твоих лет, братец. И что это останки царской дочери, первого ребенка царя Креонта и царицы Меропы, той самой бессловесной царицы, которая все же не безмолвствовала, когда я навестила ее в ее мрачных покоях, от нее требовалось лишь отвечать «да» или «нет», потому как я уже почти докопалась до правды. Вымолвила, почти не разжимая губ:

— Это он приказал. Чтобы убрать ее с дороги, нашу Ифиною. Боялся, что мы посадим ее на его место. Мы так и хотели. Хотели спасти Коринф.

Холод, что я тогда ощутила, с тех пор меня не оставляет. Одна из тощих служанок вывела меня на свет. С камнем на душе, от которого мне уже не избавиться, бродила я по дворцовым подворьям. Они хотели спасти Коринф. Мы хотели спасти Колхиду. А вы, эта малютка Ифиноя и ты, Апсирт, стали жертвами. Она твоя сестричка, Апсирт, ближе и родней тебе, чем когда-либо могла стать я.

Не надо было мне покидать Колхиду. Не надо было помогать Ясону заполучить руно. И уговаривать своих ехать со мною. И принимать на свои плечи тяготы долгого путешествия, и влачить все эти годы в Коринфе существование полузатравленной, полупрезренной туземки. Дети, да. Но что им достанется? На краюхе суши, которую мы называем Землей, никого, братец мой, больше не осталось, кроме победителей и их жертв. И теперь мне невтерпеж узнать, что я обнаружу там, куда меня вскорости неминуемо вынесет, — за краем краюхи.

5

Как только женщины будут поставлены вровень с нами, они станут выше нас.

Катон

Акам

Опять об этой простодушной. Вся наша погибель от них, от простодушных. Я вообще поверить не мог, что такое еще бывает на свете. Ведь ей, подогревая любопытство, предшествовали слухи; иные из мореходов, сходивших у нас на берег, уже встречались с «Арго», а значит, и с этой женщиной, в каком-нибудь из портов на берегах нашего Великого Моря, а сплетни и россказни из всех портовых кабачков все равно прибивает к нашему побережью, и я не припомню, чтобы в те дни хоть что-то еще привлекало к себе столь же пристальное внимание, как приключения аргонавтов, и о ком еще было столько трепотни, как об этой женщине, которую уже вскоре прозвали прекрасной дикаркой. Я знаю людей, полагаю, я вправе так о себе сказать, знаю их причудливые и неискоренимые потребности, их необузданные фантазии и странную тягу принимать порождения этой фантазии за чистую монету, но в этой женщине было что-то особенное, что воспламеняло их умы мгновенно и уже не отпускало.

Царь Креонт, который всех своих двоюродных братьев на престолах сопредельных с нами стран знает как облупленных, предвидел, что произойдет. Что Ясону славное завоевание золотого руна ровным счетом ничего не даст, поскольку его дядюшка-узурпатор просто не захочет уступить ему место на троне. Что он никого не сыщет, кто согласится воевать за его наследственные права. И что он, следовательно, вместе со своей женой и ее присными начнет искать места, где бы приютиться. «И этим местом, — заявил Креонт на совете старейшин, — станет Коринф». Он, дескать, этого своего племянника не знает, однако навел справки, и полученные сведения, как он выразился, неблагоприятными назвать нельзя. Воспитание, полученное этим Ясоном в фессалийских лесах, разумеется, ни в какое сравнение не идет с тем, как воспитывают престолонаследников у нас во дворце, однако оно тем не менее определенные наклонности сумело развить, другие обуздать, а дикие побеги обрезать. Оставшуюся малость — довести становление сметливого молодого человека до ума — мы уж как-нибудь сумеем осилить. Мы все согласно закивали. Как-никак знали: престол наш без мужского наследника, одна Глаука, бедняжка. Авгуры, тоже что-то по своей части смекнув, прятали глаза, но бормотали нечто одобрительное. Когда они ушли, Креонт велел мне остаться, что было мне лестно, хоть я и предпочел бы, чтобы он не выделял меня столь явно, на глазах у всех, давая поводы для всеобщей зависти.

— Что думаешь ты, Акам?

Он в последнее время завел привычку доверительно со мной советоваться, и мне всякий раз предстояло заново выведывать, чего он от меня ждет — откровенности или всего лишь подкрепления его мнения. Я сказал, что молодой человек со статью Ясона, несомненно, украсит собою дворец Коринфа.

— Хорошо, хорошо, а что еще?

— Там еще эта женщина, Креонт, — замялся я.

— Знаю, — кивнул Креонт. — Вот и посмотрим на нее, не так ли?

— Именно так, государь, — отвечал я.

Мне было велено приготовить все необходимое к прибытию Ясона и его спутников.

Сколько-то недель спустя, в ветреный сумрачный день «Арго» вместе с кораблями колхидцев, сопровождавших Медею, зарулил в нашу гавань. Впереди, указывая гостям дорогу, шел корабль сопровождения от нашего флота, встречать гостей на берегу были посланы несколько дворцовых чиновников средней руки. Я стоял чуть в стороне и ждал появления женщины. Она вышла, опираясь на руку Ясона, и вольным, хотя и тяжелым шагом спустилась по мосткам. Она была на сносях, вся бледная, изможденная, с запавшими глазами, переход по бурному морю измотал ее до крайности, женщины, хлопотавшие вокруг нее, всю дорогу боялись, что она разрешится от бремени прямо на этом то вздымающемся, то готовом опрокинуться в бездонные пучины корабле. Я видел, как она красива, и понимал Ясона. Потом она оказалась передо мной, и я увидел ее зеленые глаза и эти золотые искорки. Глаза у нее были очень живые и ясные.

— Пока у женщины ноги холодные, она не разродится, — сказала она, и это были первые слова, которые я от нее услышал.

Колхидцы сбились вокруг нее, как вспугнутые грозой цыплята вокруг наседки, темная сутулая толпа на сумрачном берегу под низко летящими облаками. «Изгнанники, — подумал я. — Только бы с нами такого не случилось».

Ясон назвал мне имена немногих аргонавтов, которые еще его сопровождали, и учтиво поблагодарил за прием, который они, беглецы, надеются у нас встретить. Пришлось мне напомнить ему, что он забыл представить мне свою супругу. Его это привело в страшное замешательство. Медея рассмеялась. Оказалось, что узнавать ее можно будет не только по глазам, но и по смеху. Теперь вот я давно этого смеха не слышал и знаю, знаю, это мы его задушили, к сожалению, иной раз приходится делать и то, что самому не по душе.

В ту же ночь она произвела на свет своих детей, это были близнецы, впрочем, почему были, просто близнецы, двое мальчиков, здоровых и крепеньких, один такой же белокурый, как Ясон, второй кудрявый и темноволосый — весь в нее. Она и по

этому поводу почему-то страшно смеялась. Роди́ны были не тяжелые. Мы, толпившиеся по такому случаю под дверями, слышали, как женщины, находившиеся в комнате Медеи, беззаботно болтают друг с другом, а то даже и поют. Лисса, опрошенная дворцовой челядью о причинах столь необычной веселости, в ответ дала понять, что родины — это праздник, значит, надо праздновать. И меня теперь совсем не удивляет, что иные из наших женщин, в том числе и из знати, зовут к себе колхидок и учатся у них рожать на колхидский манер, однако во дворец наши высокоученые лекари все это колхидское бабье знахарство не допускают. И совершенно правильно делают, ибо их врачевание нам не подходит. Когда у них рождается ребенок, можно подумать, что единственное его жизненное предназначение — просто быть на белом свете, и за одно только это он достоин всеобщей любви и всяческого радения. Все это, возможно, мило и прекрасно, однако, конечно, примитивно до крайности, ибо какой же смысл после всех усилий, затраченных на то, чтобы выбраться из этого хотя и теплого, но стесняющего родильного лона, стремиться при первой же возможности впасть в него обратно. Другое дело наши женщины. Иные из них, словно запамятовав все приличия, вдруг обнаруживают странную тягу к обществу чужестранцев. И эти задумчивые, отчужденные взгляды, которыми они стали посматривать на собственных супругов. Мне-то со стороны даже забавно за этим наблюдать. Хотя я отнюдь не поклонник этих простецких мужчин. И тем более не поклонник этих столь надменных с виду женщин. Но что-то в этих сомнительных, липких знакомствах мне претит. Агамеда это чувствует. Тут мы с ней схожи. Как бы там ни было, а скоро тайной славе Медеи-целительницы придет конец. Кто же пойдет к женщине, которая убила собственного брата. Иной раз приходится делать и то, что самому не по нутру.

Вначале она мне доверяла, и в этом, безусловно, были свои большие прелести. Мне было странно видеть наш город ее глазами. «Почему, — могла она спросить, — почему у вас будто два разных Креонта? Один, словно каменный, на троне, второй, такой раскованный, за столом, когда вокруг только свои». Мне и в голову не могло прийти, что может быть как-то иначе. Дело в том, что в ту пору Креонт трапезовал вместе с Ясоном, Медеей и со мной, чувствовал себя в нашем обществе прекрасно и позволял себе расслабиться. Иногда с нами бывала и бедняжка Глаука, питавшая к Медее нервическое обожание. Отец-то, государь, ее и не замечал почти. Ходят слухи, что Медея тайком лечит Глауку от падучей, и, похоже, девочке и вправду стало лучше, жаль, что мне придется это пресечь. В ответ на ее наивные расспросы пришлось растолковать Медее, что в качестве царя Креонт вовсе не Креонт и не кто-либо еще, вообще не частное лицо и не личность, а инстанция, то есть государь. «Бедняга», — сказала она на это. И лишь недавно Агамеда мне сказала, что при этом Медея, наверно, думает о своем отце, царе Колхиды. Чудачка.

Я уступил превратным побуждениям и разъяснил Медее, как строится управление в Коринфе, в связи с чем неизбежно обязан был постепенно дать ей понять, каким образом осуществляется моя власть, суть которой в том, что она незрима и все вокруг, в особенности же царь, твердо убеждены, что именно он, Креонт, и есть единственный правитель Коринфа. Я не устоял перед щекоткой соблазна нарушить обет одиночества и молчания, на который, казалось, обречен пожизненно, и сделать эту женщину, которая в буквальном смысле не от мира сего, поверенной своих секретов; а то, что она не смогла оценить мой подарок, приняв его просто как должное, меня даже развеселило. Это было время, когда мы еще разрешали себе подобные вольности с чужеземцами. Мы были уверены в себе и в нашем городе, главный царский астроном мог позволить себе роскошь разъяснить приезжей особе, которая, казалось, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет представлять для нас опасность, на чем зиждутся блеск и богатство нашего города. Ибо все зависит от того, чего ты на самом деле хочешь и что считаешь полезным, то есть хорошим и правильным. Это предложение Медея целиком не оспаривала, она только возражала против важной связки «то есть» в его середине. То, что полезно, совсем не обязательно хорошо. О боги! Как же она меня, а прежде всего саму себя мучила этим словечком «хорошо». Она пыталась растолковать мне, какой смысл якобы вкладывался в это слово у них в Колхиде. Хорошим считалось все, что способствует раскрытию всего живого.

— То есть плодородие? — уточнил я.

— И плодородие тоже, — ответила Медея и принялась рассказывать о неких силах, которые связуют нас, людей, со всеми другими живыми существами и должны иметь свободное русло, чтобы жизнь не заглохла.

Я понял. И у нас в Коринфе есть горстка своих чудачек, которые ведут схожие речи, но стремиться к чему-то подобному всерьез, возразил я ей, означало бы сделать для человека, каким он устроен, невозможным всякое существование в людском сообществе.

Она задумалась.

— Это зависит... — произнесла она задумчиво.

— От чего, Медея?

— Погоди, — сказала она, — что-то брезжит, но я не могу пока этого выразить.

Говорить с ней всегда увлекательно. Но я понимаю, что иным людям она способна действовать на нервы. Креонту — само собой, оно и понятно, он не светоч мысли, чуть что — и уже загнан в тупик, уже озирается, чтобы я его выручил, а я тогда позволил себе удовольствие не заметить его бедственных сигналов и прикинулся дурачком.

— Уж больно хитра, да и дерзкая, — пробурчал царь недовольно. Главное же, ему было не по себе в ее присутствии. Она была, как бы это поточнее выразиться, слишком женщиной, и это окрашивало все ее мышление. Она, например, считала — но почему, собственно, я все время говорю о ней в прошедшем времени, — она считает, что мысли образовались из чувств и не должны терять связь с чувствами. Устарелая точка зрения, конечно, вчерашний день.

— Животная сумятица, — изрек я.

— Нет, творческий исток, — парировала она.

Ночи напролет простаивала она подле меня на террасе моей подзорной башни, объясняя мне звездную науку колхидцев, основанную на фазах луны, а от меня хотела знать наши названия созвездий, описание их движений и выводы относительно людских судеб, которые я делаю из их расположения, из их констелляции. Мы слушали музыку сфер, их хрустальный звон, к которому не приспособлен человеческий слух и который, однако, в мгновения высшего напряжения чувств человеку иногда дано услышать. Медея была первой женщиной, распознавшей эти звуки в ту же секунду, что и я.

— Словно гигантский смычок тронул дрожащую струну, — сказала она.

Так оно и было. В ту ночь, не скрою, переживание небесной музыки потрясло меня сильнее обычного и каким-то иным образом.

Меня обижало, что она не хочет следовать предсказаниям, которые я читал для нее в звездном небе. В конце концов, у нас в Коринфе древняя школа толкования звезд, череда моих предшественников, имена которых с почтением передаются из поколенья в поколенье, уходит далеко в прошлое, и если я иной раз и позволяю себе той или иной мыслью отойти от канонических предначертаний, то это вовсе не упраздняет моего желания когда-нибудь к этой славной череде примкнуть и так продолжить свою жизнь в памяти моих земляков.

— Зачем? — спросила она.

Пришлось мне ей сказать, что в своих расспросах она иногда приближается к сфере, доступ в которую не дозволен никому. Я мог бы еще добавить: ее расспросы дали мне почувствовать, что подобная сфера, оказывается, существует, и снова пробудили в памяти мучительные и постыдные поводы, заставившие меня прибегнуть к такой защите. На миг я даже позабыл всякую учтивость.

— Зачем, зачем? — вскричал я. — Зачем людям хочется жить как можно дольше? Тут не о чем спрашивать!

Она промолчала, но так, что молчанием своим лучше всяких слов дала мне понять: она с этим не согласна.

— Ну, в чем еще дело? — продолжал кипятиться я. — Разве ты не хочешь жить в памяти твоих людей, или что?

Она об этом еще не думала. Пусть рассказывает об этом кому угодно, только не

мне. Опять это молчание. Оно начало вызывать во мне нечто вроде ярости или какое-то иное побуждение, от которого я, посчитав его недостойным, давно себя отучил. А она — много позже и совсем в другой связи — могла вдруг заметить:

— Знаешь, у нас ведь всех предков почитают.

Иной раз ее нельзя слушать без смеха.

Конечно, коринфяне наши разглядывали новоприбывших, словно диковинных зверей — не то чтобы враждебно, но и не сказать чтобы приветливо. У нас тогда как раз выдалось несколько хороших лет, это всегда лишь задним числом понимаешь, и мы, видя изумление колхидцев, тем больше наслаждались нашим благополучием. Как это бывает: несколько урожайных годин подряд, закрома битком, цены на продовольствие низкие, тут и даровая кормежка для бедняков иной раз не расход, и зависимость от хеттов почти не ощущается. И что для меня ничуть не менее важно: злосчастная история с Ифиноей наконец-то стала забываться, в том числе и мной самим, почти. Никто больше не вопрошал, вправду ли ее похитили чужеземные мореходы, чтобы с почестями выдать замуж за молодого заморского царя. И даже более того: люди, во что я лично ни за что не мог поверить, смирились с мыслью, что Меропа, столь любимая ими царица, надолго заболела, живет в уединении в отдаленном крыле дворца и, кроме двух своих жутких старух, никого, без всяких исключений, никого к себе не допускает. Даже я толком не знаю, был ли на сей счет государев приказ, и в таком случае ее затворничество оказывалось ссылкой, или это она сама после несчастья с Ифиноей бежала от всего, что относится к царскому дворцу, как от чумы. Со временем я перестал задаваться этим вопросом.

Я был молод, когда все это случилось. Мы жили в беспокойное время, народы вокруг нашего Средиземного моря были охвачены брожением, тревожно было и в нашем городе, где назревали междоусобные распри. В совете противоборствовали две партии, одна была предана Креонту, вторая же стояла за царицей Меропой, которая имела тогда большой вес, поскольку, согласно древнему, давно уже утратившему вся-кий смысл обычаю, считалось, что царь получил корону от царицы лишь взаймы, а престол наследовался по материнской линии. А тут вдруг эти старые, давно забытые законы снова почему-то должны были обрести силу, и обе партии из-за этого яростно спорили. Дело в том, что как раз тогда представилась возможность союза с соседним городом, что обеспечивало Коринфу военную неуязвимость, но с одним условием: Ифиное надлежало выйти замуж за молодого царя этого города, а со временем сменить Креонта на царстве. Многие члены совета, среди них и Меропа, считали эти предложения разумными, а вероятность обезопасить Коринф от окружения могущественных и грозных соседей весьма желательной. Но Креонт был против. А без него или против его воли совет ничего предпринять не мог. Меропа была в ярости, она понимала — отказ царя направлен против нее. Я стоял на стороне Креонта. Какой прок, признался он мне в минуту откровенности, тратить столько тяжких усилий, хитрости, терпения и упорства на то, чтобы постепенно удалить Меропу от влияния и власти, если теперь надежда на новое бабье господство возродится и укрепится в лице Ифинои и окружающих ее женщин. Не то чтобы он что-то имел против женщин, вовсе нет, история народов, проживающих по берегам нашего моря, дает достаточно примеров могущественных и вполне успешных женских династий. И движет им не своекорыстие, а лишь забота о будущности Коринфа. Ибо кто умеет понимать знамения времени, тот не может не видеть, что вокруг в пучинах битв и кровопролитий образовались новые государства, тягаться с которыми по старинке управляемый женщинами Коринф просто не в силах. Противиться ходу времени бессмысленно. Остается одно — пытаться своевременно разгадать, куда оно движется, и идти туда же, пока тебя не затоптали. Правда, цена, которую за это приходится платить, бывает почти непомерной.

Нашей ценой была Ифиноя.

— Весь Коринф пошел бы прахом, не принеси мы ее в жертву, — сказал я Медее.

— Откуда у тебя такая уверенность? — спросила она, и я знал, что она это спросит.

У меня буквально волосы на голове дыбом встали, когда эта налившаяся нена-

вистью Агамеда и этот неописуемый Пресбон явились ко мне с доносом и когда я начал понимать, что Медее все известно. Что она теперь в западне. И притом по своей собственной вине, что меня еще больше бесило. Откуда у меня такая уверенность, вскричал я, и об этом она спрашивает меня, того, кто все эти события пережил и, да, я вправе так сказать, выстрадал? Пусть лучше она еще раз как следует подумает, ей ли поучать кого бы то ни было истинному отношению к родине и к своему царскому дому. Это мое замечание странным образом нисколько ее не задело. Ее отношения с Колхидой и ее бегство оттуда пусть меня не волнуют, с этим она как-нибудь разберется сама; но я же должен понимать, что все эти науськивания людей против нее, построенные на заведомо ложном обвинении, совершенно излишни. У нее и в мыслях не было рассказывать о том, что она нашла в пещере, и о том, что в связи с этим разузнала. И она умеет молчать, уж это-то я должен знать. Но для самой себя ей нужна была ясность. Или мы даже молчаливого знания не в силах ей простить.

Мы стояли друг против друга, как враги. И я не имел права показывать ей моего сожаления по этому поводу.

— Зачем же так надменно? Зачем столько самоуверенности, моя дорогая Медея? — сказал я ей. — Ты говоришь: «науськивания». А что, если твои земляки в один прекрасный день без всякой подначки с нашей стороны вдруг сами усомнились? Или, по-твоему, с их стороны так уж нелепо поинтересоваться, а не обманом ли, не искажением ли истинных обстоятельств побудили их в свое время покинуть родину? Не преследовался ли тут чей-нибудь сугубо личный интерес — смыться поскорее, покуда братоубийство не предано огласке?

Я ожидал вспышки ее пламенного гнева, но снискал только издевку. Нелепо? Еще как нелепо! После стольких-то лет, зато как удачно совпадает с нашими интересами. Которые, кстати, мы защищали бы куда умней, если бы так панически не боялись разоблачения. Потому что если все действительно так, как мы утверждаем, если без убийства Ифинои — она так и сказала: «убийства» — нельзя было сохранить Коринф, почему же в таком случае мы не решаемся сейчас, после стольких лет, рассказать обо всем нашим коринфянам — неужто они бы нас не поняли? Неужто у них не хватило бы ума сделать выбор между собственным выживанием и нынешним благополучием — и жизнью юной девушки? Или мы хотим и дальше изворачиваться и лгать, невзирая на все жертвы, которые это за собой повлечет. Ибо одно-то я уж должен понимать: добром эта ложь не кончится, в том числе и для нас.

Она знала, что говорит. У меня и в мыслях не было отвечать на подобные вопросы. От нее и без того, надо полагать, не укрылось, что благополучие моих дорогих коринфян прямо связано с их святым убеждением, что праведнее их нет народа на белом свете. И право же, смешно предполагать, будто людей можно сделать лучше, говоря им горькую правду. Такая правда только обескуражит их и озлобит, лишит почтения и веры, сделает неуправляемыми. В этом смысле я твердо убежден: правильным, единственно верным выходом было совершить жертвоприношение Ифинои втайне, поэтому и те, кто так распорядился, и те, кто это распоряжение выполнял, достойны всяческой похвалы, ибо они сняли с нас всех тяжкое бремя, переложив его на свои плечи. Меня там не было. Говорят, это было не слишком красиво. Да я же видел, как жертвуют на алтаре молодого бычка.

Алтарь соорудили в том самом подземелье, так что говорить об убийстве просто кощунственно. Девочка, милое дитя, я ведь ее знал, вела себя очень кротко. Меропу, ее мать, в том крыле дворца, где она поныне и обитает, пришлось силой держать четверым мужчинам, говорят, она кричала так, что потеряла голос и с тех пор считается немой. Креонт, отец девочки, в это время находился на корабле по пути к хеттам, куда направлялся заключать трудные соглашения, которые только злопыхатели способны были называть кабальными. Это сейчас, что правда, то правда, хетты, ссылаясь на оговорки и клаузулы, предусмотренные в заведомо невероятных, как тогда казалось, случаях, это сейчас они, используя изменения вокруг нашего Средиземного моря, норовят укрепить свое господство, наша зависимость от них усугубляется, положение у Креонта незавидное, настроения в Коринфе смутные. Медея сеет беспокойство в самое неблагоприятное время, так я ей и сказал. Возможно, ответила она, только

благоприятных времен она впереди не видит. Ни для меня, ни для Коринфа. Да и для себя тоже.

— Тем более, что я тут всем чужая, — добавила она.

— Но ты могла бы стать нам своей, — сказал я.

Она мне на это:

— Ты в самом деле так думаешь, Акам?

Нет, я так не думаю.

Кормилица Ифинои до конца была с ней. «Должно же дитя в свой смертный час хоть одно близкое лицо видеть» — так, по рассказам, эта женщина сказала. И все время с девочкой разговаривала и пела ей ее любимые колыбельные. Держала ее за руку и вела по освещенному факелами подземному ходу — впереди жрецы, избранные совершить жертвоприношение, позади царские стряпчие, призванные его засвидетельствовать. Девочка, говорят, только однажды спросила: «Куда мы идем?» — на что кормилица успокаивающе погладила ее по руке; «Что они делают?» — спросила Ифиноя в самом конце, когда кто-то схватил ее за темя и прижал голову к алтарю, и дернуло же меня, несчастного, расспрашивать молодого стряпчего об этих подробностях, он-то был рад от них избавиться и вот перевалил на меня. Кормилица не выпускала ее руки, которая вздрогнула, когда нож глубоко вонзился в шею. «Воистину, даже старейшины Коринфа не упомнят, когда здесь приносили в жертву человека, — сказал верховный жрец, — и оправдать происшедшее можно лишь тем, что таким образом мы избавляем себя от других человеческих жертв, куда более страшных и многочисленных». Кормилица, конечно, лишилась рассудка; простоволосая, с безумными глазами, она целыми днями бродила по улицам Коринфа в окружении стражников, не допускавших, чтобы кто-либо к ней обращался. Видеть царицу она отказывалась, а в один прекрасный день ее размозженное тело обнаружили у подножия прибрежных скал. Не вынесла разлуки со своим молочным чадом — такое было распространено из дворца объяснение, то есть, правда, с той лишь оговоркой, что, как и многие другие правды, она основывалась на лживых предпосылках. Ибо прежде Коринфу была преподнесена весть о том, что юная Ифиноя похищена, с царским домом, который вознамерился взять ее замуж, ведутся переговоры, оснований для беспокойства нет.

Меня этот случай многому научил. В частности, тому, что нет такой — самой нелепой — лжи, которую люди не способны проглотить, ежели она отвечает их тайному желанию в эту ложь поверить. Я-то был убежден — исчезновение малютки Ифинои, которая могла одна ходить по улицам Коринфа, оберегаемая лучше всякой охраны волнами народной любви, трогательным восхищением людей при виде такого нежного и хрупкого создания, — я был убежден: исчезновение Ифинои вызовет беспорядки, поскольку небылица, которую на сей раз пытались скормить народу, ни в какие ворота не лезла. Ничего подобного. То есть если бы коринфяне считали, что девочка все еще где-то здесь, в городе, — они бы взяли приступом любое здание, в котором ее, по их мнению, прятали, включая дворец. Самоубийство кормилицы в этом смысле сослужило нам неоценимую службу: каждый поверил, что Ифинои в городе нет. А ради того, кого нет, нормальные люди жизнью рисковать не будут. Они предпочтут воображать себе дитя в счастливом браке, в цветущей стране, при молодом красивом царе, нежели мертвым гниющим тельцем в мрачном подземелье их родного города. Такова уж человеческая природа. Поелику возможно, человек старается себя щадить, таким его создали боги. Иначе его давно бы уже не было на этой земле. В народе появились песни, воспевающие Ифиною в образе юной красавицы невесты. Песни эти облегчали души коринфян, переплавляя самые мрачные их подозрения и чувство вины в сладкую скорбь. Не устану изумляться, не перестану восхищаться мудростью богов, которые устроили мир так, а не иначе. Это почти как наваждение — однажды распознав истинный ход вещей, затем наблюдать его снова и снова.

Да, я распознал истинный ход вещей, это можно сказать. Но соблазн наблюдать за ним снова и снова давно прошел. До чего же мне уже сейчас тошно при мысли о том, что станется с Медеей! До чего тоскливо предвидеть каждую из отдельных ступеней ее безудержного падения в пропасть. Она потребовала от меня, чтобы я при-

людно заявил то, что мне прекрасно известно: она не убивала своего брата. Она все еще не поняла: это горная лавина, она уже пришла в движение и погребет под собой всякого, кто вздумает попытаться ее остановить. Хочу ли я попытаться? Странный вопрос. Ответа не знаю. Не я ли устроил лавину? По крайней мере, я был одним из первых, кто понял: ее необходимо устроить. Не всякому по душе то, что необходимо, однако я призван исполнять долг службы не по личной прихоти, а из высших соображений, это мое непреложное убеждение.

Этот тщеславный глупец Пресбон. Эта ослепленная ненавистью Агамеда. Отдаются своим влечениям почем зря. А я — с каким удовольствием я не только отклонил бы их донос, но и велел бы обоих за злостную клевету побить камнями! А эта особа, Агамеда, если бы она знала, какие сладострастно-жестокие картины разыгрываются в моем воображении, покуда я ее удовлетворяю. Однако я живу на свете не ради собственного удовольствия. Да, говорит Медея, я знаю. И в этом ваше несчастье.

Неужели она всегда была такая? Или стала такой несносной за то время, что жила у нас? И нет ли тут и моей вины, раз я столько всего ей спускал? Турон, мой молодой подручный, целеустремленно продвигающийся к статусу моего преемника, пользуясь при этом, правда, средствами, которые для меня, да и вообще для людей моего поколения, считались недопустимыми, — Турон именно так и полагает. Для этой молодежи нет ничего недозволенного, иногда я смотрю на них — и будто вижу молодых хищников, что шастают в дебрях, раздутыми ноздрями вынюхивая добычу. Подобные сентенции я высказываю Турону прямо в лицо. Он тогда корчит гримасу, словно от зубной боли, и абсолютно невозмутимо спрашивает меня: а что, разве жизнь в нашем дивном городе Коринфе не напоминает дебри? Может, я назову ему кого-нибудь, хоть одного, кто поднялся наверх, не следуя законам джунглей? Или и вправду решусь посоветовать молодому человеку, одаренному для стези общественного управления, но не имеющего родни в царском доме или покровителя в высших кругах, всерьез соблюдать все правила, законы и нравственные заповеди? И смотрит на меня всей своей бледной, наглой, не ведающей ни забот, ни сомнений физиономией. И я отворачиваюсь, чтобы по ней не врезать.

То, о чем мы и подумать не смели, они запросто произносят вслух. У них это называется честностью. Я говорил об этом с Леуконом, которого почти одновременно со мной еще почти мальчиком взяли в обучение к царскому звездочету, мы видимся все реже, я не слишком рвусь к этим встречам, по-моему, он втайне возомнил себя совестью Коринфа. «Честность? — повторил Леукон. — В этом случае честность неотличима от бесстыдства. У таких людей, как Турон, очень простая метода: средства, которые людьми старших поколений разработаны для совершенно иных целей, хладнокровно обратить против нас. А иной цели, кроме собственного продвижения наверх, они и не знают».

Это было очень любезно со стороны Леукона — то, что он сказал «нас» и тем самым меня тоже как бы к своим причислил. Хотя мы оба прекрасно знали: я давно уже не из тех, кого он имеет в виду. В жизни нельзя иметь все сразу — и главным астрономом государя состоять, и с таким, как Леукон, на приятельской ноге оставаться.

Когда вся эта история с Ифиноей произошла — вот тогда, уж никак не позже, надо было мне решаться. Леукон, само собой, принадлежал к той неугомонной группе коринфян, которые не переставали задавать вопросы об Ифиное. Возникло даже что-то вроде заговора, который был раскрыт и обезврежен, в этом я не участвовал. Леукон был придан тому кружку астрономов, которые всю свою жизнь проводят в наблюдении за звездами, дополняют и совершенствуют наши звездные карты, но от толкований, особливо же от политики, обязаны воздерживаться. Ему, похоже, эта участь пришлась по душе, там, у них, понятное дело, собрались самые талантливые, да и самые острые на язык, они дискутируют между собой на отвлеченные темы, тон самый непринужденный, товарищеский. Я, конечно, и намеком не даю почувствовать Леукону, как при виде его спокойной, только своим внутренним требованиям подчиненной жизни испытываю даже что-то вроде зависти. Нельзя иметь все сразу.

Кстати, у дверей его башни я недавно повстречал Медею. Не нравится мне это. Если она утешения у него ищет — всегда пожалуйста. Но если там зреет союз, дабы

перечеркнуть меры, которые мы вскорости вынуждены будем принять, — тогда я и Леукона не смогу защитить, однако хочу надеяться, что до этого не дойдет. Невольно, но все чаще — со смесью гнева, удивления и стыда — я вспоминаю вопрос Медеи, который она мне задала на прощанье после нашей долгой беседы. Она спросила:

— От какой напасти вы все бежите?

6

Он забрал все мои достояния.
Мой смех, мою нежность, мое умение радоваться,
мое сострадание и умение помочь, мою животность,
мою лучистость, он растоптал все это уже в ростках,
пока ни одного росточка не осталось.
Зачем такое могло понадобиться — ума не приложу.

Ингеборг Бахман. Франца. Фрагмент

Глаука

Это все моя вина. Я знала, будет мне кара, мне к карам не привыкать, кара начинает бесноваться во мне задолго до того, как я увижу ее в лицо, теперь вот я ее вижу и падаю ниц перед алтарем Гелиоса, и рву на себе одежды, и в кровь исцарапываю себе лицо, и молю божество отвести кару от моего города и наложить ее только на меня, которая одна во всем виновата.

Чума. Ох нет, это уж слишком. Какая же это должна быть вина, чтобы повлечь за собой чуму в виде кары, надо бы спросить Турона, который теперь не отходит от меня ни на шаг, Акам его приставил за мной присматривать, он моих примерно лет, бледный, невероятно тощий молодой человек со впалыми щеками, длинными костлявыми пальцами и липким взглядом, я должна быть признательна ему за его неотступную заботу, царь беспокоится обо мне, так и велел передать, государственные дела не отпускают его навестить меня лично, оно и понятно, да и если бы он вдруг пришел, я не смогла бы признаться ему, до чего мне жутко при виде липких костлявых рук Турона, которые он норовит положить мне то на руку, то на плечо, а то и вовсе на лоб, чтобы меня успокоить, так он говорит, и до чего мне омерзительна потная, прелая вонь, шибающая из его подмышек, ни один человек так не пахнет, напротив, бывают люди, чьим запахом невозможно насытиться, но об этом лучше не думать, только не об этой женщине, которая клала мне ладонь на лоб, нет, ее нужно забыть, я обязана ее забыть, все, кто мне так советуют, конечно, правы, особенно Креонт, отец прав, я должна вытравить имя этой женщины из своей памяти, я должна выбросить из головы эту особу, вырвать ее из своего сердца, пусть любой меня спросит, пусть я сама себя спрошу — как могло случиться, что я открыла ей свое сердце, ей, которая всегда останется нам чужой, Турон, вероятно, прав, называя ее предательницей, обвиняя ее в черной магии, но что говорит Турон, мне, собственно, безразлично, вернее, меня это не так волнует, как взволновало отчаяние отца, ибо безудержный гнев, который он на меня обрушил, конечно же, шел только от отчаяния, его никто еще в таком гневе не видел, я и припомнить не могу, тронул ли он меня прежде хоть пальцем, он избегал ко мне прикасаться, это я всегда понимала. Какой мужчина, пусть даже и отец, станет прикасаться к бледной, нечистой коже, к жидким, обвислым волосам или к неуклюжим рукам, пусть даже это кожа, волосы и руки дочери, верно ведь, ибо это самое первое мое знание: я безобразна; сколько бы та женщина, имя которой я больше не хочу произносить, меня ни высмеивала, сколько бы ни обучала всяким хитростям — как мне держаться, как ходить, чем мыть волосы и как их носить, — и я ведь на эту приманку попалась, почти ей поверила, уже почувствовала себя не хуже всякой другой девчонки, в этом и есть моя слабость — я верю тем, кто мне льстит, хотя вообще-то это не лесть, что-то другое, гораздо тоньше и проникало глубже, затрагивало самое сокровенное у меня в душе, самое больное, до чего прежде только

божество могло досягать, и отныне тоже только божество сможет этого коснуться, отныне и вовеки, какой страшный приговор, но я не должна так думать, она учила, что от этого у меня болезнь, нельзя снова и снова вызывать в себе картины, где видишь себя несчастной, убогой тварью, с чего бы это, сказала она и рассмеялась, как умеет смеяться только она, задорно и — тут Турон прав — немного дерзко, пусть в своих дремучих горах так смеется, говорит он, но с какой стати мы здесь должны терпеть этот ее непочтительный смех; зачем — говорила она мне, — зачем ты хочешь задушить всю свою жизнь в этом черном тряпье, и стягивала с меня мои черные платья, которые я ношу, сколько себя помню, она приводила Аринну, дочь Лиссы, у той были с собой ткани, какие только колхидские женщины умеют ткать, такие краски, глаз не оторвать, они прикладывали ко мне материю, подводили к зеркалу, но это все не для меня, сказала я, они только рассмеялись, ей нужен искристо-голубой, летящий, сказала Аринна, с золотой каймой вокруг шеи и понизу. Она шила мне платья, и им обеим приходилось еще долго меня уговаривать, чтобы я их носила, боясь поднять глаза, мчалась я по галереям, один из молоденьких поваров меня не узнал и присвистнул мне вслед, это же неслыханно, неслыханно и чудесно, ах, как чудесно, но это все как раз и была ее черная магия, она дала мне почувствовать что-то, чего на самом деле не было, не было и нет, почему-то мои конечности разом перестали быть неуклюжими, так мне, во всяком случае, казалось, но это все был обман, издевательство, говорит Турон и жалостливо гладит меня по голове и, конечно, имеет в виду — издевательство над убогой, несчастной, богами обиженной, а доказательством служит то, что с тех пор как меня вывели из-под ее порочного влияния и снова вернули мне темные платья, которые мне идут, — с тех пор и мои руки-ноги снова утратили свою прежнюю обманчивую ловкость, и теперь никакому глупому мальчишке-повару и в голову не придет мне вслед присвистнуть, что по отношению к царской дочери было бы в высшей степени неподобающим, кричал Креонт, когда наконец раскрыл козни этой женщины, когда ему донесли, что она меня регулярно и часто навещала, до чего мы докатились, кричал он, каждый творит что хочет, я эту бабу в дверь гоню, а моя родная дочь ее в окно впускает; Креонт схватил меня за плечи и тряс, мой отец ко мне прикоснулся, такого никогда еще не было, я испытала страх и радость вперемешку. Мне это удалось, я заставила его к себе прикоснуться; как жаль, что она этого не видит, подумала я, ей, той, кого я больше не должна видеть, ей, которая хотела избавить меня от страха перед отцом, ей я хотела показать, что теперь испытываю при виде отца только радость, а уж вместе с радостью страх. Я должна была испугаться, но не испугалась, вот в чем дело; я со всем согласна, я с ними не спорю, но я больше не боюсь — ни себя, ни ее, а еще я все время задаюсь вопросом, осознает ли она вообще, что как только она входит в помещение, люди тут же начинают вести себя иначе, и даже мой отец, государь, в ее присутствии никогда не позволил бы себе вспышку такого необузданного, да-да, необузданного гнева, даже он старается при ней сдерживать свои истинные чувства, потому что ему вдруг делается неловко, я сразу это заметила, ведь если я мало говорю, это еще не значит, что я ничего вокруг не замечаю и своих мыслей не имею, она мне, кстати, при первой же нашей встрече так прямо и сказала. Я каждое слово ее помню, с самого начала.

Никто ведь даже не догадывается, как я ждала ее и остальных колхидцев, как всей душой их призывала, я подкупила молоденькую служанку, которая тогда мне прислуживала, чтобы она отдала мне свое старое платье, и так, пряча лицо под косынкой, как простая девушка из народа, я прошмыгнула в порт сквозь оцепление, я ведь могу быть очень смелой, когда я не Глаука. Там, стоя у самых причальных мостков, я видела, как она, с огромным животом, сошла на берег, опираясь на руку мужчины, блеск которого сразу меня ослепил и будто что-то во мне разорвал, я видела ее статную фигуру на фоне неба, как же я его ненавижу, это коринфское небо, я никому об этом не рассказывала, только ей, снова и снова только ей, ей, ей, ведь это она хотела научить меня ненависти, но не к небу же, Глаука! — воскликнула она и опять рассмеялась этим своим смехом, ведь это она, она убеждала меня, что я могу, имею право спокойно подумать: «Я ненавижу своего отца», ничего с ним от этого не случится, я не должна из-за этого чувствовать себя виноватой. Вот так и началось ее пагубное

влияние, сегодня мне кажется невероятным, чудовищным, что я этому влиянию отдалась, с упоением отдалась, это дурное во мне, неведомо как, вдруг сумело прикинуться хорошим, мое щегольство, жажда развлечений и детских игр, к которым она побуждала меня с Аринной, Аринной, которую она привела мне в подружки; никогда прежде у меня не было подружки — такой, чтобы брала с собой на море и учила плавать, это полезно, услышала я, и какое-то время действительно казалось, что они правы, ведь верно, даже постыдный мой недуг давал о себе знать все реже, а она утверждала, что он совсем пройдет, и действительно, уже бывали дни, а то и недели, когда я не прислушивалась к себе спозаранку, с ужасом ожидая, как меня что-то схватит, затрясет, бросит в судорогах на землю, однако Турон говорит, можно ли больного человека такой бессовестной ложью обнадеживать, он очень обо мне заботится и всегда рядом, когда на меня снова находит, подхватывает меня, держит, он же отвечает, чтобы я не повредила себе ничего, зовет на помощь, по-моему, уже весь дворец знает, как часто у меня это бывает, я же вижу по их сочувственным, жалостливым взглядам, одна я теперь уже и шага не смею ступить, и спать одной мне тоже нельзя, до того отец, так мне передали, боится, как бы я чего с собой не сделала, а ведь та женщина, если б они только знали, подбивала меня одну-одинешеньку ходить тайной тропкой к морю, где меня ждала Аринна, которая иной раз, когда я приближалась к ней в сумерках, даже бывала не одна, подле нее была мужская тень, силуэт, контуры которого я узнавала, он удалялся при моем появлении, и Аринна не упоминала его ни словом, только бывала взволнована, радостно возбуждена и не могла этого скрыть, и хотя мы с ней на короткой ноге, что-то удерживало меня от расспросов, я с трудом верила тому, что видела своими глазами, но как-то Аринна сама об этом заговорила, впервые в жизни другая женщина поверяла мне свои тайны, да, она влюблена в Ясона, сердце мое дрогнуло, я старалась ни слова не упустить, я училась. «А его жена?» — отважилась я спросить. «Она знает», — услышала я в ответ. Однако никак этого не показывала, встречая нас обеих. Слушала нашу болтовню, могла вдруг, ухватившись за самое пустячное слово, начать расспрашивать, какое самое первое событие в своей жизни я помню, такие странные вопросы, я смеялась, кто же это помнит, говорю, а она, как-то особенно, по-своему массируя мне голову и шею, отчего мне ужасно приятно было и проходила дрожащая тяжесть из самой глубины мозга, которая обычно никогда меня не покидает, а иногда, кажется, готова разнести мою бедную голову на куски, тогда-то на меня и накатывает, — а она говорит, ах, тут не о чем особенно беспокоиться, просто ей интересно знать первое событие, которое я запомнила в жизни и что при этом чувствовала, надо дать себе время, собраться с духом и по внутреннему канату — это вполне можно себе представить — начать спускаться в мои собственные глубины, которые на самом деле не что иное, как моя прошлая жизнь и моя память об этой жизни. Вот так она говорила, нечестивая, и все это как бы невзначай и приводила что-то в движение, за что потом не ей отвечать, тут отец, конечно, прав, он вне себя был, когда они с Акамом меня выспросили и поняли, к чему она меня влекла. Я имею в виду — внутренне влекла, потому что внешне она даже сдерживалась, только давала мне свои травяные отвары, то приятные на вкус, то горькие-прегорькие, и ни разу не помянула больше про тот канат, а он для меня на некоторое время обрел большую явность, чем все предметы внешнего мира. Спускаться, скользить вниз, проваливаться... Не только когда я лежала в своей постели, но и днем, когда я ходила с открытыми глазами и даже с кем-нибудь разговаривала, я могла, нет, я должна была одновременно не спускать глаз с крохотного образа меня самой, упорно в меня же углубляющейся. Иногда я брала ее за руку, и она не отнимала руки. Она хотела внушить мне, что не надо их отрицать, эти тени, столь часто омрачающие самые радостные, самые светлые мои дни, и не надо убегать, когда во дворе нашего дворца, всякий раз в одном и том же месте, недалеко от колодца, меня охватывает один и тот же чудовищный страх, вот я постепенно и приучила себя это место обходить. Можно ведь жить и так, большинство людей даже не представляют себе, сколько всего на свете можно избегать, но потом это было уже не только определенное место у колодца, но и весь прилегающий к нему круг, а в конце концов и весь дворцовый двор, при одной мысли о котором меня трясло, и я стала очень изобретательной по

части поводов и отговорок, чтобы на этот двор, через который каждый из нас проходит по многу раз на дню, моя нога не ступала. Я не признавалась в своем постыдном страхе никому, даже ей, она сама заметила — по неслышному вскрику, который я издала, и по моему содроганию, я даже удивилась, как пристально она за мной наблюдает. Мое уверение — «я не могу!» — она приняла всерьез, не пыталась уговорить меня отмахнуться от моего страха, я знаю, сказала она, это все равно, как если бы у тебя не было руки или ноги, просто никто этого не видит. Она была со мной терпелива, в этом-то, ясное дело, и был весь ее расчет, и я теперь сама не могу объяснить, как ей удалось в один прекрасный день заставить меня пересечь двор — с ней об руку. Она держала меня очень крепко, это я еще помню, и тихо со мной говорила, когда мы к тому месту приблизились и руки у меня все мокрые стали, а ноги сами начали в землю упираться, она успокаивала меня своими тихими словами, да нет, не просто успокаивала, это было одно из ее колдовских ухищрений, теперь-то мне ясно, ибо я вдруг ничего больше не ощущала, кроме зияющей тишины, а когда вернулись звуки, я сидела рядом с ней на каменной скамье на другом конце двора в тени древнего оливкового дерева, очевидно, я все-таки побежала и миновала то место, не впав в одно из тех своих состояний, которых я так страшусь, тогда же мне этого моего припадка даже не хватало, казалось, с ним было бы правильней, но она сказала, теперь мне это не нужно, и положила мою голову к себе на колени, гладила меня по лбу и тихо говорила что-то о маленькой девочке, ребенке, которым я когда-то была и для которого с этим местом у колодца связано какое-то невыносимое воспоминание, которое мне пришлось забыть, чтобы иметь силы жить дальше, что, кстати, было бы даже и безвредно, если бы в голове ребенка, пока он рос, не подрастало и его забвение, темное пятно, которое делается все больше, ты понимаешь, Глаука, пока не завладевает ребенком, девочкой всецело, ах, как я ее понимала, слишком хорошо понимала, она бросила мне канат, и мне надо было спускаться по ее вопросам, она хотела провести меня по опасным местам, где мне одной не пройти, хотела сделаться для меня незаменимой, уж это-то я должна осознать.

Прошло много времени, прежде чем я признала, что и в этом я в ней обманулась, дала себя обмануть, только что́ тогда не обман на свете, могу ли я вообще верить своим глазам, могу ли хоть на кого-нибудь в жизни положиться?

Я не знаю, я правда не знаю, как она этого добилась, как заставила говорить, я имею в виду, говорить о том, что я напрочь забыла, что приходило мне в голову лишь в тот миг, когда я ей это рассказывала. Может, я это все сейчас придумываю, спросила́ я, это неважно, ответила она, моя голова покоилась у нее на коленях, я никому еще не клала голову на колени, да нет, может, все-таки клала, сказала она, может, ты так с мамой сидела, просто забыла. «Откуда ты знаешь?» — вскричала я, она не ответила, на некоторые вопросы она никогда не отвечала, по этому сразу видно, до чего она расчетливая, она знала, рассчитывала, что я не выдержу молчания и поневоле заговорю дальше, заговорю, пытаясь засыпать словами собственное смущение, я говорила, говорила без умолку, пока не обронила какую-то фразу, что-то случайное, неважное, но она ее тут же выдернула и сплела из нее для меня петлю.

— Это был первый раз, когда твои родители ссорились?

— То есть как, — растерялась я, — что ты имеешь в виду?

Значит, я ей рассказала, как мама однажды, — видимо, она тогда еще жила с нами во дворце, такая красивая со своими длинными, волнистыми, черными как смоль волосами, — как мама однажды стояла вот тут, во дворе, вздымала руки к небу, рвала на себе свои красивые волосы и страшно кричала. Голова моя на коленях той женщины стала сама собой перекатываться, это всегда так начинается, еще чуть-чуть — и меня рвануло бы к себе утешительное забвение, но она, та женщина, этого не потерпела, она крепко держала мою голову, она остановила забвение своею силой и твердым, гневным голосом вымолвила:

— Нет! Дальше, Глаука, дальше!

И я увидела мужчину, на которого мама бросилась, он испуганно окликал ее по имени и пытался оттащить от себя, а она впилась ногтями ему в лицо.

— Кто был этот мужчина, Глаука?

Мужчина? Мужчина? Какой мужчина?

— Спокойно, Глаука, только спокойно, что ты видишь?

Мужчина — это был царь. Отец.

Я ненавижу ее. Как же я ее ненавижу! Да-да, это она убила своего братика, я верю. Такая на все способна. Такая, как она, еще, пожалуй, навлечет на город все бедствия, какие посылают боги, в отместку за то, что ее всего-навсего понуждают исчезнуть, словно ее и не было никогда, она сама меня учила, не нужно запрещать себе никаких мыслей, о самых постыдных своих желаниях надо уметь думать, но я спрашиваю себя — осталась бы она подле меня, знай она о всех моих постыдных желаниях? Ибо в том и было мое тайное торжество, но и моя глубочайшая тревога — в вожделении своем я от нее ускользнула, она, знавшая обо мне, казалось, больше меня самой, понятия не имела, куда посягают мои желания, какой они приняли образ, или, вернее, к чьему образу они прилепились. Или к чьему голосу, ибо первое, что я услышала, когда очнулась от своего забытья, — голова моя по-прежнему доверчиво покоилась у нее на коленях, у-у, гадина, — был голос.

— Она приходит в себя, — произнес мягкий и озабоченный мужской голос, мой взгляд узрел дивное лицо, надо мною склонившееся, и утонул в этих [illegible]описуемо синих глазах: Ясон. Я увидела его будто впервые, я ловила звуки его голоса, слушала, как он переговаривается с этой женщиной о моем самочувствии, и на душе у меня стало так — не найду слов, я поднялась, мне было и лучше, и хуже одновременно, ведь нельзя же, невозможно направить свое вожделение на мужчину, который принадлежит той, этой женщине, и невозможно, уже нельзя его оставить.

— Ты столько лет, — сказала она мне, — пыталась соединить несоединимое, от этого и болела.

После той дикой ссоры с отцом, свидетельницей которой я стала почти в младенчестве, моя красавица мама отдалилась от меня, казалось, она избегает малейшего со мной соприкосновения. Вскоре я вся, с ног до головы, покрылась сыпью, которая чесалась и страшно меня мучила, только тогда мама снова пришла ко мне, делала мне примочки с творогом и молоком, пела мне песенки, которые я вот сейчас снова припомнила, только не знаю, от чистого ли сердца, или она всегда ту, другую, любила больше...

— Какую другую? — конечно же, тут же спросила та женщина, мы ведь теперь беседовали непрестанно, где бы ни встречались, впрочем, в дворцовом дворе уже никогда, и у меня в комнате тоже почти нет, похоже, она стала дворца избегать, вызывала меня через Аринну, но тоже так, чтобы никто не знал, снова и снова неведомо как побуждала меня рассказывать ей все подряд, все, что в голову взбредет, я заметила, что все чаще про маму говорю, которая меня покинула и о которой я больше знать ничего не желаю.

— Может, все-таки желаешь, — обронила она, — желаешь хоть что-то о ней знать. Ты хоть знаешь, почему она в этих мрачных покоях живет и никого к себе не допускает?

— Этого, — быстро сказала я, — я знать не хочу, Турон говорит, она не совсем в своем уме, и я думаю, так оно и есть, ведь видно, я же сама ее видела за праздничной трапезой, сидела подле отца, как мумия, на отца жалко было смотреть, а когда она, даже не взглянув в мою сторону, даже головы ко мне не повернув и вообще не поинтересовавшись, есть я или нет, взяла и ушла, просто встала и ушла, и на меня опять моя напасть накатила, да — крикнула я ей с гневом, — это она наколдовала, всякий раз, как я ее вижу или о ней говорю, на меня накатывает...

— Раньше, может, так оно и было, — сказала эта колдунья, — но не сейчас.

Невероятно, но она, похоже, почти обрадовалась, когда у меня опять высыпала эта мерзкая сыпь, я была вне себя от ярости, когда она снова началась, сперва в складках кожи, потом все шире расползаясь чуть ли не по всему телу, отвратительная, мокрая, зудящая, это, утверждала она, признак выздоровления, «как ты говоришь — молоко и творог?» — и она стала делать мне те же примочки, что и мама, пела мне мамины песенки, поила меня самыми противными своими настоями, показывала места на моем теле, уже полностью очистившиеся от сыпи, новая кожа, совершенно чистая,

«да ты шелушишься, Глаука, — приговаривала она весело, — шелушишься, как змейка». А еще говорила о втором рождении. Это были дни, исполненные надежды, пока она меня не бросила, не оставила в беде, как покинула когда-то мама, никогда, никогда не надо было со мной так поступать. Ненавижу ее.

Ничего, теперь весь гонор с нее вмиг слетит. Все громче молва, будто это она убила своего младшего брата, а теперь вот раздаются голоса, называющие ее имя в связи с чумой, что уже пожала первые жертвы в нижних, бедняцких слободах нашего города, Агамеда, которая так трогательно обо мне заботится, упомянула об этом вроде бы невзначай, а сама, как мне показалось, пристально за мной наблюдала, но я и бровью не повела, хотя у меня дыхание перехватило от ликования и ужаса. Теперь она получит по заслугам. Теперь я навсегда ее потеряю. Они все что-то против нее затевают. От меня они это таят, но я все равно все разузнаю, с глупейшей физиономией буду задавать челяди самые наивные вопросы, они настолько привыкли держать меня за дурочку, да просто за слабоумную, что без стеснения обо всем говорят в моем присутствии. Когда тебе страшно, надо очень хорошо знать, что творится вокруг, как слабому зверьку в дремучих дебрях, та женщина хорошо это понимала, она-то знала, как трудно прогнать страх, как глубоко он гнездится, как внезапно выпрыгивает, и она пыталась, я не отрицаю, доколе возможно, не упускать меня из поля зрения — даже тогда, когда у нее самой появились причины для страха.

Как-то раз Аринна, притворно наивная, как всегда в таких случаях, спросила, нет ли у меня желания посмотреть одного из лучших скульпторов и каменотесов нашего города за работой. Его звали Ойстр, и я много о нем слышала, он ваяет надгробья для знатных особ, боги дали ему золотые руки, так о нем говорят, но первое, что увидела я, были глаза, серо-голубые, проницательные глаза, приветливые, да, но не только приветливые, еще и пытливые, хотя я не обнаружила в них и тени того любопытства, той назойливости и зависти, которые поблескивают в глазах большинства коринфян.

— А-а, — сказал он, — Глаука, хорошо, что ты пришла.

Волосы у него ржаво-рыжего цвета, в Коринфе это редкость и считается недостатком, но не у Ойстра, к нему издевки и дурная молва не пристают, он водил меня по своей мастерской, рассказывал про различные сорта камня и для чего какой сорт применяется, показывал, как работать резцом, подводил к разным глыбам и заставлял гадать, какая фигура в какой глыбе прячется, ибо отнюдь не в каждом камне таится какая угодно фигура, для меня это было внове. «Это как у людей, — сказал Ойстр, — не из каждого куска плоти можно извлечь человека, иногда бывает утешительно это знать, ты не находишь?» Он обходился со мной как с равной, смеялся громко и заразительно, на раскаты его смеха из двери соседней комнаты выглянули две женские головки. Я обмерла от страха. Она была здесь, эта женщина. Вторую я не знала.

— Ах да, — сказал Ойстр, — тебя, по-моему, ждут, — и подтолкнул меня к двери.

Я и представить себе не могла, что в нашем городе может быть такое красивое помещение. Аретуза, которая здесь жила и, похоже, была в самых дружеских отношениях с той женщиной, имя которой я называть избегаю, оказалась резчицей по камню, ее точеная головка в профиль очень напоминала геммы, которые она вырезала из камня, темные курчавые волосы были искусно завязаны в высокий пучок, платье на ней подчеркивало талию и щедро приоткрывало грудь, я просто глаз от нее не могла оторвать. «Почему я раньше тебя не видела», — вырвалось у меня невольно, Аретуза улыбнулась. «По-моему, — сказала она, — мы вращаемся в разных кругах, к тому же я много работаю и редко выхожу». Просторная ее комната имела большой проем на запад, весь заставленный редкими растениями, так что не сразу можно было понять, где находишься, в доме или на улице, тут хорошо было бы жить, подумала я, и сердце мое тоскливо сжалось, потому что места вроде этого, где так покойно и уютно живется, мне заказаны, но теперь мне и об этом надо думать в прошедшем времени, ведь дом, где жили Аретуза и Ойстр, как я слышала, сильно пострадал от землетрясения, и мне даже некого о них расспросить. Что до меня, то в моих окрестностях совсем другое землетрясение произошло, от которого дома не рушатся, зато исчезают люди. Всех людей, кто был связан с этой особой, будто слизнуло, я бы сочла, что это жутко, ког-

да бы все не делалось ради моей же пользы, ибо что мне теперь с Ойстром и Аретузой обсуждать, кроме судьбы этой женщины, судьбы, которая, я очень ясно предчувствую, движется прямиком к катастрофе, а я этой катастрофы и страшусь, и страстно жажду. Так пусть же она наконец грянет!

Вот это, я наверно знаю, единственное чувство, которое я разделяю с Ясоном. Ясон, который теперь чаще стал около меня появляться, отчего у меня всякий раз радостно подпрыгивает сердце, слишком глупое, чтобы понять и помнить: это отец его ко мне посылает. Что он другую любит и всегда будет любить, я же знаю, от нее не избавишься. Но не мне, не такой, как я, отвергать подарок богов, лучше довольствоваться крошками с чужого стола, они хоть и горьки, но как же при этом сладки, тем слаще, чем больше он от меня удаляется, тогда он со мною в моих мыслях, и говорит со мной так, как никогда не говорил, и трогает меня так, как никогда не трогал, даруя мне счастье, какого я не ведала, о Ясон.

Та женщина погибнет, и это хорошо. Ясон останется. Коринф получит нового царя. А я займу подле этого нового царя свое законное место и смогу, наконец-то снова смогу забывать, забывать, забывать. Чего она, та женщина, мне ни за что не хотела позволить, мне просто худо делается, стоит мне вспомнить, как она меня мучила, особенно в тот день у Аретузы, когда мы, все пятеро — к нам присоединился Ойстр, а еще, к моему изумлению, Леукон, тот самый, который про звезды больше всех в Коринфе знает и перед которым я всегда немного робела, — сидели на воздухе, в красиво вымощенном внутреннем дворике, обставленном со всех сторон скульптурами Ойстра, словно стражниками, апельсиновое дерево дарило нам свою тень, мы пили дивное питье, которое Аретуза приготовила, я чувствовала себя словно в другом мире, застенчивость моя улетучилась, я говорила наравне с другими, спрашивала. Я узнала, что Аретуза попала сюда с Крита, она и еще несколько счастливцев успели на последнем корабле спастись с этого острова, которому угрожала гигантская волна, Аретуза была ещѐ очень юной тогда, почти ребенком, но все-таки сумела привезти с родины некоторые обычаи, секреты блюд и напитков, а также искусство резьбы по камню. «Но главное, саму себя», — вставил Леукон и мягко погладил ее по плечу, она же, перехватив его руку, прижалась щекой к его ладони. У меня словно пелена с глаз спала, да я тут среди любовных пар! Ибо, хотя Ойстр и та женщина, чьего имени я не называю, редко касались друг друга, взгляды их почти не разлучались. Я едва верила своим глазам: Ясон свободен!

Вот так мы сидели и беседовали, и пили, и ели вкусные лепешки с мясом, которые подала Аретуза, послеполуденная жара постепенно спадала, свет меркнул, собеседники один за другим выходили из комнаты. Я осталась с женщиной наедине. Она отвела меня на несколько шагов в сторону, к искусственному ручейку, что вытекал из оправленного камнем родника, мы присели на лоскуток свежей травы, я что-то говорила о прекрасном дне и о том, как я по таким вот дням тоскую, потому что у меня их так мало бывает, и, наверно, я снова раскрыла ей душу, и она опять сумела спровадить меня в ту глубь, где дремлют картины прошлого. В ту бездну, где я увидела себя, еще совсем маленькую, на каменном порожке между одним из покоев дворца и длинным стылым коридором — я сидела на этом порожке и плакала. Что это за комната, на пороге которой я сижу, пожелала она знать, но я не хотела оборачиваться, мне было страшно, тут она опять околдовала меня своими тихими увещеваниями — и я против воли оглянулась. Это была комната, в которой жила девочка. Дивными красками расписанный ларь, на спальном ложе брошенные платья, маленькое зеркальце в золотой оправе, но ни малейшего признака, кто здесь живет.

— Ты это знаешь, Глаука, — сказала та женщина, — ты это очень хорошо знаешь.

— Нет! — выкрикнула я. — Нет! — заорала я. — Не знаю я, откуда мне знать, она ведь пропала и никогда больше не показывалась, никто никогда о ней даже не упоминал, и комната исчезла, я, наверно, все это просто выдумала, ее, наверно, и не было никогда...

— Кого «ее» , Глаука? — спросила та женщина.

— Сестры, — выкрикнула я, — Ифинои!

Ифиноя. Я ни разу с тех пор этого имени не слышала и не произносила, даже мысленно, поклясться могу, с тех пор ни разу, да и с какой стати, ее же не было, старшей сестры, красивой, умной, которую мама всегда любила больше, чем меня. И которая в один прекрасный день исчезла, уплыла на этом корабле, говорит Турон и пялит на меня свои близко посаженные глаза, с этим прекрасным юношей, говорит он и придвигается совсем близко, обдавая меня кислым дыханием, с этим царским сыном из могущественной, но очень далекой страны, в которого она влюбилась, тут уж ничего не поделаешь, говорит Турон, сила любви, тебе ведь это тоже известно, и растягивает губы в тошнотворной улыбке, вот так все и получилось, она вспорхнула на корабль и была такова, похищена, исчезла, растворилась в утренней мгле, даже не попрощавшись с тобой.

Я делаю вид, будто ему верю, но всего он тоже не знает, глупец Турон, ибо она со мной попрощалась, моя сестра, тогда, в утренней мгле. Я, доверчивая душа, той женщине даже это рассказала в тот теплый летний вечер во внутреннем дворике у Аретузы, в темноте так легко говорить, легко, как никогда прежде, легко, как никогда впредь.

— Какой-то шорох в коридоре вырвал меня из сна, — вспоминала я, — я подошла к двери и выглянула, — и тут я снова увидела перед собой картину, которую так давно забыла: сестра, тоненькая, бледная, в белом платьице, одна в окружении мужчин, вооруженных, меня это удивило, двое впереди, двое по бокам, то ли схватили ее за локти, то ли поддерживают, вплотную за ними наша кормилица, с таким лицом — я ее такой никогда не видела, меня это напугало, — сказала я женщине, которая схватила меня за руку и не отпускала, но я заметила, что и ее рука дрожит. — А потом, — сказала я, — когда они почти все уже мимо прошли, сестра вдруг обернула ко мне голову и улыбнулась. Улыбнулась так, как я всегда мечтала, чтобы она мне улыбнулась,— сказала я, — по-моему, она вообще впервые меня по-настоящему заметила, я хотела побежать за ней, но что-то внутри подсказало мне, что этого нельзя, они быстро, очень быстро удалялись, вот уже свернули за угол, я слышала только гулкие шаги стражников, потом все стихло. А потом мамин крик. Как зверь, которого режут, я как сейчас ее слышу, — всхлипнула я, вся в слезах. Я плакала, плакала и не могла остановиться, а она, та женщина, крепко держала меня за плечи, которые тряслись как в лихорадке, она молчала, я видела — она тоже плачет. Потом она сказала: самое худшее у меня уже позади.

— Ифиноя умерла? — спросила я.

Она кивнула. Я так и знала, все это время.

Но что значит знала? Внушить себе можно что угодно, не так ли? Тут Турон, конечно, прав. Она, эта особа, хотела подчинить меня своей воле, таким только того и надо. Это она внушила мне все эти картины, все эти чувства, ей это ничего не стоит с ее отварами да настоями, которые у меня теперь, конечно, отобрали. Именно она укрепила во мне всякие нехорошие подозрения, а что, звучит вполне правдоподобно.

— Или ты, Глаука, предпочтешь думать, что живешь в волчьей яме? — спрашивает Турон, скроив гримасу, которую он почему-то считает улыбкой. — Что наш прекрасный Коринф, который этим чужестранцам в жизни не понять, на самом деле все равно что бойня?

Нет. Так я не хочу думать. Конечно, я себе все это просто внушила. Да и как такой крохе, какой я была тогда, воспринять столь тяжелые картины и пронести в себе столько лет? Забудь об этом, говорит Турон. Забудь об этом, говорит отец, для тебя теперь наступают лучшие времена, сама увидишь, что я для тебя задумал, тебе понравится. Вот так он теперь со мною говорит, мой отец, о боги.

Но что там на улице, что там происходит? Что означает этот набирающий силу рев из множества глоток? Что они кричат, что мне до этого проклятого имени? Они требуют ее выдать. Боги! Они требуют выдать им эту женщину. Гелиос, помоги!

Снова оно, опять, я чувствую, вот оно, уже душит, уже трясет меня, неужели никого нет, кто мне поможет, кто меня подхватит, Медея!

7

Людям очень хочется верить, что за все их несчастья в ответе один-единственный виновник, от которого легко избавиться.

Рене Жирар. Святость и насилие

Леукон

Чума расползается. Медея обречена. Исчезает. Тает у меня на глазах, и я не могу ее удержать. Я ясно вижу все, что с ней произойдет. И все это мне придется увидеть наяву. Таков уж мой удел — все видеть, все предугадывать и ощущать полное свое бессилие, будто у меня нет рук. Ибо кто пускает в ход руки, тот окунает их в кровь, хочет он того или нет. Я не хочу, чтобы у меня руки были в крови. Хочу стоять вот тут, на террасе моей башни, и с высоты взирать при свете дня на суету коринфских улочек, а с наступлением ночи услаждать взор небесной тьмой, из которой постепенно, как лики близких людей, проступают очертания созвездий.

И если бы дано мне было право испросить у своенравных этих богов еще хоть одно желание, я назвал бы имена двух женщин и молил бы даровать им защиту. Я сам себе удивляюсь, никогда прежде имя женщины не имело в моей жизни особого значения. Не то чтобы я воздерживался от радостей, которые дарует нам извечная игра между полами, но имена девушек, что навещали меня — кто однажды, а кто неоднократно, и кстати всегда с готовностью и даже восхищением, — имена эти скоро забывались, да и посещений становилось все меньше, что меня не особенно и печалило. Медея говорит, я из тех мужчин, что боятся боли. Хотел бы я, чтобы она побольше ее боялась.

Вот она, пока еще сидит против меня на террасе, после нестерпимого знойного дня повеяло легкой свежестью, наконец-то стало чуть легче дышать, на низеньком столике из пинии между нами горит масляная лампадка, язычок ее пламени почти неподвижен, мы попиваем холодное вино, тихо разговариваем или просто молчим. Мы не изменили ритуалу наших ночных встреч, хотя большинство людей вокруг норовят сейчас отсиживаться в своих норах, избегая друг друга. Непривычная, зловещая тишина разлита над городом. Иногда только слышен грохот ослиной повозки, перевозящей дневной урожай трупов за черную полосу реки, на ту сторону, в город мертвых. Я считаю повозки. В последние ночи число их увеличилось. Медея обречена.

— Что будет с нами, Леукон, — спрашивает она, и у меня не хватает духу поведать ей то, что я знаю, что вижу, — то, что будет с нею. Она приходит, сияя красотой, еще разгоряченная любовью, от Ойстра, обнимает меня, а я в ответ обнимаю ее — ту, которой уже нет. Она делает все, чего ей делать нельзя, от всех моих предостережений только отмахивается, ну а с Ойстром вообще говорить невозможно. Своим резцом, который у него, похоже, просто сросся с кончиками пальцев, он извлекает из камня образ богини и, судя по всему, даже не отдает себе отчета, чей образ воссоздается под его руками на самом деле. Она у него в кончиках пальцев, Медея, она всецело им завладела, он сам так говорит, такого с ним в жизни не случалось, упоение этой женщиной подарило ему новое упоение жизнью и своей работой, подходя к его дому, я слышу, как он насвистывает и поет в своей мастерской, и только когда Медея к нему заходит, наступает тишина. Ойстр, человек без роду без племени, которого это нисколько не заботит, которого не угнетает его судьба подкидыша, оставленного кем-то под дверью каменотеса, чья жена была бездетна, приняла младенца как дар богов и вырастила как родного сына, который еще в детстве постиг в мастерской своего приемного отца основы его ремесла, а вскоре — как старый каменотес сам охотно и не без гордости признавал — и перерос их. Теперь самые знатные коринфяне заказывают у него семейные надгробья, он давно бы мог разбогатеть, и никто не может взять в толк, как это ему удается жить по-прежнему скромно и без запросов, как невозможно уразуметь и причины, по которым другие каменотесы ничуть ему не завидуют. К нему не пристают ни деньги, ни зависть, зато липнут люди, он неизменно окружен молодежью, для которой в его мастерской всегда найдется занятие. Меня тоже пленил его легкий нрав, в его обществе я сразу излечивался от своей хандры и мрачных

мыслей, которых он, казалось, за мной не замечает, во всяком случае, он ни разу ни словом их не помянул, именно в этом и сказывалась благотворность его присутствия — он с каждым обходился одинаково и как с равным, я уверен, забреди к нему ненароком сам царь, он и тогда никакого переполоха бы не поднял. Странно наблюдать, как это его спокойное и независимое дружелюбие ровным светом проливается на всякого, кто бы к нему ни зашел, неважно, высокого он или низкого звания.

Медея говорит: ему удалось стать взрослым, не погубив в себе ребенка, для нее это было как дар судьбы, только остается ли сейчас? Не мне задавать такие вопросы. Стал бы я возмущаться, если б кто-то спросил, остается ли для меня Аретуза даром судьбы, невзирая на запрет, который она на меня наложила. Мы без слов условились держать нашу связь, которая таковой не является, в тайне, тогда как Медея ходит к Ойстру почти без всяких предосторожностей. Беззаботность ее становится опасной, да что там опасной — наказуемой.

Несчастье какое-то. Словно в отместку за то, что я так долго воздерживался от чувств, сердцем своим я теперь привязываюсь к людям, которые совсем не знают коринфской жизни и даже понятия не имеют, на что коринфяне способны, когда чувствуют, что им что-то угрожает, как вот сейчас. Медея пьет вино, улыбается, молчит. Акам, как бы случайно повстречавшись со мной на лестнице башни, в полутьме, уже потребовал от меня объяснений по поводу моих знакомств, что ж, время и место он выбрал отлично. Похоже, я предпочитаю именно тех людей, которые весьма далеко, так он выразился, наш хитрюга Акам, отошли от нашего царского дома, не так ли, мой дорогой Леукон. А я, все чаще одолеваемый приступами бессильной ярости, на его хамский вопрос отвечать не стал, а задал вместо этого встречный: уж не хочет ли он упрекнуть меня в небрежении служебным долгом? Уж не намерен ли взвалить на меня ответственность за сомнительные выводы, которые кое-кто делает на основании моих безупречных расчетов? Акам тут же стушевался, но мы оба знали — я этой победе совсем не рад, не так-то уж часто могу я себе позволить ткнуть Акама носом в его вопиюще ошибочные предсказания, прикидываясь, будто понятия не имею, кто именно вычитал из моих звездных карт то, что угодно было услышать государю: счастливый год для Коринфа, год благоденствия, процветания и краха всех государевых недругов. Вместо этого мы получили землетрясение, а в придачу теперь вот еще и чуму. Звезда Акама при дворе клонилась к закату, вот-вот готова была сорваться и упасть на наших глазах, а он же жить не может, если не блаженствует на самом верху в лучах царской милости, он мне однажды так прямо и сказал, как раз тогда, когда в Коринфе, в нашем славном Коринфе, на алтарь власти была положена жизнь молоденькой девушки, и те, кто об этом знали, должны были решать — оставаться ли им в сфере притяжения этой власти или отступить в тень.

— Ты знал об этом, — сказала Медея тоном утверждения, а я попытался втолковать ей, что бывают разные ступени знания, знал, да, но только до определенной меры, не в подробностях. И снова забыл. Да и что мы могли бы сделать? — спрашиваю. Она отвечает: не знаю. Но просто жаль. Жаль? — переспрашиваю я. Ну да, жаль, что уговор столь непрочен и при малейшей угрозе от него просто отмахиваются. Какой еще уговор? — спросил я. Да ты же знаешь. Уговор, что не должно больше быть человеческих жертвоприношений. Я удивляюсь тому, что она принимает подобные уговоры всерьез, но ей об этом не говорю. Не нравится мне, как она сегодня рассуждает, настроение ее не нравится — она будто пеленой окутана.

Надо ее встряхнуть. Я говорю ей — Акам сейчас опасен, он, чтобы вновь укрепить свое положение во дворце, никакими средствами не побрезгует. Поскольку я ему нужен, меня он до поры до времени щадит. Чего я ей не говорю, так это того, что мне приходится ради этого призывать на помощь весь мой опыт, весь мой ум, а вдобавок еще и то мое умение, которое ей во мне отвратительно и которое я сам в себе не люблю, — умение молчать и отсиживаться. Через тщательно отмеренные промежутки времени я представляю Акаму расчеты, на основании коих он может делать благоприятные предсказания, которые затем действительно подтверждаются, — например, о заключении торгового соглашения с Микенами или о хорошем приплоде скота. И стараюсь, чтобы Акам был убежден: это он, он и никто другой, сделал эти предсказа-

ния, они привиделись ему во сне, мне приходится прятать свою лампадку, чтобы тем ярче сияла его звезда. Но сейчас вся звездная система при дворе Креонта сильно видоизменилась — к невыгоде малых планет, которые оттеснены в опасные пределы, ближе к краям. И совсем уж внятно, почти телесно осязаемо еще кое-что: для любого становится все опаснее попадать в тот световой нимб, который исходит от Медеи. Она, да, именно она и есть центр притяжения опасности. И что самое страшное: она не хочет этого замечать.

— Не знаю, что еще должно случиться, чтобы ты стала осмотрительнее, — говорю я ей, а она исхитряется даже возразить: мол, именно потому, что с ней уже столько всего случилось, она вправе рассчитывать, что ее наконец-то оставят в покое. Ведь она тише воды ниже травы, что еще ей надо сделать или, наоборот, чего ей не делать. Все-таки чего-то этой женщине недостает, что мы, коринфяне, впитываем с молоком матери, в себе-то мы этого не замечаем, и лишь сравнение нас с колхидцами, а с Медеей в особенности, меня на эту особенность натолкнуло — это некое шестое чувство, тончайший нюх на малейшие перемены во всемогущих верхах, от которых все мы, все до единого, зависим с потрохами. Это нечто вроде беспрерывного испуга, объясняю я ей. Вот почему настоящий испуг, землетрясение, к примеру, многими воспринимается как избавление.

— Странные вы люди, — говорит она.

А я ей:

— Вы тоже.

Мы смеемся.

Я не хочу говорить ей, что уверенность в себе, которая от нее исходит, большинство коринфян успели уже прозвать высокомерием и ненавидят ее за это. Ни об одном другом человеке я столько не думал, сколько об этой женщине, но и не только о ней одной, и другие колхидки дают пищу моему уму, они делают здесь самую черную работу, а ходят с высоко поднятой головой, словно жены наших высших придворных, и, что самое поразительное, иначе ходить они просто не умеют. Мне-то эта повадка нравится, но в то же время она меня и тревожит слегка.

— Рядом с тобой, — говорю я Медее, — меня обуревают только смешанные чувства.

— Ах, Леукон, — отвечает она, — твои чувства давно в плену у твоих мыслей. Надо просто выпустить их на свободу.

И мы снова смеемся, и мне больше всего на свете хочется забыть, в каком она переплете, хочется дать свободу своим чувствам и просто насладиться возможностью дружбы с этой женщиной, которая близка мне, как никто другой, и навсегда останется чужой.

Как и Аретуза, но это нечто иное. Чуждость возлюбленной только обостряет ее очарование, которое, кстати, и от других мужчин не укрылось, все они понимают, что я ею покорен, даже Акам позволил себе снисходительно-одобрительное замечание о моем любовном счастье, еще чуть-чуть, и он, чего доброго, похлопал бы меня по плечу, покровительственно, как мужчина мужчину, мой взгляд вовремя его остановил. Так что все, все они про нас знают и сплетничают про меня, про мою страсть, которая наконец-то меня настигла, мне это прямо нож острый. Знали бы они, что мне приходится делить Аретузу со Старцем, которого все они именуют просто критцем, а многие считают своим отцом, это самый первый ее любовный покровитель, так она его называет. Она была почти ребенком, когда он подобрал ее, а вернее, вытащил из-под развалин ее дома, который, как и все здания на Крите, как и дворцы, непревзойденные в своем великолепии, был разрушен подводным землетрясением, весь Крит превратился в груду развалин и был усеян трупами, мне это известно только по описаниям Старца, Аретуза никогда об этом не говорит, как не рассказывает и о переходе по морю на корабле, места на котором Старец, в ту пору еще мужчина в расцвете лет, для них отбил. «Силой» — вот и все, что удалось на этот счет из него вытянуть. Бывает, он без видимой причины напивается и говорит тогда больше обычного, но только не в присутствии Аретузы. Я даже представлять себе не хочу сцен, разыгрывавшихся при отправлении этого корабля.

Старец все еще довольно крепкий, хотя и рано состарившийся, опустившийся

мужчина, когда-то вид его, должно быть, был устрашающ, на Крите он принадлежал к числу атлетов, что на ежегодных празднествах во дворце ублажали царскую семью и весь собравшийся народ своими представлениями, слава о которых шла по всем средиземноморским странам. Аретуза ему предана, это незыблемо, как закон природы. У меня один выбор: либо смириться с этим, либо вовсе ее оставить. И то и другое для меня невозможно. Я не знал, что жизнь способна преподнести такую боль, и говорить об этом могу лишь с Медеей. Она, кстати, даже и не думает меня жалеть. Да, говорит она, ты страдаешь, но представь себе, с тобою никогда бы не приключилось то, что заставляет тебя так страдать. Кроме того, благодаря тому, что ты делаешь, ты ведь познаешь себя, не так ли? Да ничего я не делаю, попробовал я возразить. Просто жду. Но она моих возражений не приняла. Ожидание — тоже дело, деятельность, которой должно предшествовать решение, вполне осознанное: буду ждать, не уйду, не брошу. Вообще-то я открыто ищу близости с Аретузой, не таю ни своих чувств, ни своих вожделений, часами торчу в ее мастерской и смотрю на ее руки, когда она вырезает из камня свои геммы. Эти руки столько мне говорят — ни один человек не способен такое вообразить. Аретуза улыбается, никогда меня не гонит, лицо ее все время радостно вспыхивает, когда она замечает меня в дверях, она ласково прижимается ко мне в знак приветствия.

— Ты это можешь понять, Медея? — вопрошаю я.

— Да, — отвечает та. — Аретуза любит двух мужчин, каждого по-своему.

— А-ты? — спрашиваю я с вызовом.

Она хранит невозмутимость.

— Я — нет.

Она обнимает Аретузу, они любят друг дружку как сестры, она отбрасывает дверной полог и уходит к Ойстру.

В одном Акам, безусловно, прав: я здесь оказался среди людей, которые не дают себя втянуть в коловращение коринфского космоса. Весь его движитель скрипит и трясется, туда попал песок, и их это, похоже, ничуть не заботит, а меня вот тревожит не на шутку. Аретузу я за это легкомыслие не корю, ее я вообще корить не могу, а вот Медее, бывает, в глубине души посылаю упреки: как она может с такой невозмутимостью наблюдать предвестья коринфского распада, из которых самый явный знак — стремление от нее, Медеи, избавиться. Неужто и впрямь все те годы, что я учил себя ни во что не вмешиваться, пошли насмарку? Неужто моя душевная сопричастность этому нелюбимому городу никогда не кончится?

Наши мысли, судя по всему, разными путями пришли к одной точке, Медея говорит, я, мол, наверно, тоже давно подметил: во всяком худе есть крупица добра. Как бы она познакомилась с Ойстром, а я с Аретузой, если бы не эта вспышка народного гнева, заставившая ее искать укрытия? Не ощущай она себя гонимой, она никогда не забрела бы в эту окраинную слободку, где прячутся в зелени садов крохотные глинобитные лачуги, в которых ютятся беднейшие из коринфян, бывшие пленные рабы и их потомки, и куда прибиваются все сколько-нибудь сомнительные личности, среди которых люди вроде Ойстра, Аретузы и Старца не слишком бросаются в глаза.

Это было ясным, прозрачным днем в начале лета, в час, когда дневной свет почти без сумеречного перехода сменяется тьмой, но прежде успевает еще раз собрать силы для последнего ровного и мягкого сияния, от которого даже мне, с детства ко всему здесь привычному, хочется дышать полной грудью. В эти мгновения я благодарен судьбе за то, что живу здесь, и не могу представить ничего иного, и именно с таким чувством стоял я на площадке своей башни, с которой уже столько ночей созерцаю ночное небо, покоренный неземной красотой звездных перемещений, сокрытые законы которых я давно тщусь разгадать, в этом вся моя жизнь. Ведь я еще не стар, во всяком случае Аретуза так говорит, однако в прежней жизни дошло до того, что друзья у меня оставались лишь среди звезд, но не среди людей. Я держался на дружелюбном отдалении от молодых людей, которые у меня учатся, хотя некоторые из них выказывают хорошие задатки и жажду знаний, а не только обычный безудержный интерес лишь к собственному восхождению, как Турон, один из самых умных, но и из самых бессовестных.

И вот в тот предзакатный час ко мне, запыхавшись на лестнице, ворвался один из моих учеников, хотя все они знают, что меня в этот час раздумий тревожить нельзя. Он крикнул:

— Они гонят Медею через город!

И я еще спросил:

— Кто? — Хотя уже и так все знал. Толпа. Чернь. Так и должно было случиться.

Я сбежал вниз по лестнице и без всяких церемоний вторгся в рабочий кабинет Акама, в этот его огромный зал с множеством окон и окаймляющей террасой. Я сказал:

— Ну что, теперь ты доволен?

Он сперва хотел прикинуться, будто ничего не понимает, но я — сейчас я и сам с трудом в это верю — пошел на него, очевидно, с таким лицом, что он отступил к стене, уверяя меня, что ничего поделать не может, народ слишком разъярен.

— Народ? — переспросил я, и тогда он принялся с самым серьезным видом потчевать меня байкой о братоубийстве, которая в этих же вот стенах высижена и отсюда пошла гулять по белу свету. — Ах вот как, — заметил я язвительно, — выходит, все эти люди сами додумались сбиться в кучу, подкараулить женщину и с руганью и позором погнать ее по улицам, так?

Так оно, вероятно, и было, осмелился заявить Акам мне в лицо, я ведь и сам прекрасно знаю: нельзя преграждать дорогу разнузданной толпе. Надо дать ей промчаться мимо, в пустоту.

— В пустоту! — вскричал я. — Для тебя, значит, та женщина — пустота? Они же ее убьют.

— Да нет же, — возразил Акам. — Этот сброд слишком труслив, ничего с ней не случится.

Я был вне себя наконец-то. Это он, кричал я, именно он весь этот сброд науськивал, а то и оплачивал. И тут я испугался. Конечно, я был прав, мы оба это знали, но я зашел слишком далеко. И Акам это понял, он разом весь подобрался, медленно двинулся в мою сторону и холодно произнес:

— А вот это, друг мой, тебе еще придется доказать.

Он выиграл. Никогда мне не сыскать свидетеля, который покажет, что он, великий Акам, подкупал чернь и натравливал народ на ту женщину. А если вдруг чудом и найдется такой безумец — он почитай что уже труп. И вот в те мгновения, пока я перебирал в голове все возможности уличить Акама, чтобы в конце концов все их отбросить, лишь тогда я по-настоящему узнал мой родной Коринф. И только тогда я понял, что Медее выпало раскрыть некую тщательно скрываемую правду, которая определяет всю нашу коринфскую жизнь, и что мы этого не перенесем. И что я тут бессилен.

Неохотно вспоминаю я тот день, неохотно говорю об этом с Медеей, хотя за тот словесный поединок с Акамом мне и по сей день перед собой не стыдно. Пусть я не смог публично привлечь его к ответу, однако не стал от него скрывать, что всю его игру насквозь вижу. Что я знаю, почему именно сейчас Медея подверглась чудовищным обвинениям, а теперь вот и произволу толпы: потому что все боятся, как бы она не подбросила в костер беды имя, которое мы очень хотели бы забыть, — Ифиноя. Я испытал облегчение, когда в том разговоре с Акамом впервые это имя произнес, когда отважился ему сказать, что тогда, еще в пору нашей молодости, я сидел в его приемной и многое слышал, правда, не сразу понял, а когда понял, когда из множества странных частностей вдруг разом сложилась картина, перед которой я оцепенел, — тогда было уже слишком поздно.

— До чего мы, спрашивается, дошли? — спросил я его с гневом. Он ответил только взглядом, который означал: ты и сам прекрасно знаешь. Я описал Медее эту сцену, я признался ей, что отвага моя вдруг разом улетучилась, меня сковало чувство обреченности и бессмысленности любых усилий, я ушел, оставив Акама на полуслове, и уже вскоре не мог сказать, что именно — мудрость или трусость — заставило меня внезапно смолкнуть, выйти вон и начать разыскивать ее.

— Этого иной раз и нельзя знать, Леукон, — сказала она, — особенно в таких обстоятельствах. — Мы помолчали. — Когда они гнали меня по городу, — сказала она, — мне было страшно, и я бежала что есть мочи, как бежала бы на моем месте

всякая гонимая тварь, спасая свою шкуру, однако какая-то часть меня сохраняла при этом мертвецкое спокойствие, ибо со мной происходило то, что и должно было произойти. Какой-то тихий голос во мне говорил: «Могло быть и хуже». Разве утешительно знать, что люди повсюду не соблюдают своих же уговоров? Что никакое бегство тебе не поможет? Что совесть утрачивает всякий смысл, коли одним и тем же словом, одним и тем же поступком можно и предать, и спасти? Не осталось основы, на которую совесть могла бы опереться, я хорошо это поняла уже тогда, когда собирала по полю косточки моего братца, и поняла еще раз, когда нащупала здесь, в вашей пещере, хрупкие косточки той девочки. У меня и в мыслях не было нести это свое знание в люди. Я только хотела уяснить для себя, в каком мире я живу. Ты сидишь в своей башне, Леукон, окружив себя своим небосводом, это надежное укрытие, не так ли, я тебя понимаю, я видела, как с каждым днем, с тех пор как я здесь, уголки твоих губ опускаются все ниже. Мне повезло меньше, а может, больше, это как посмотреть. Все шло к тому, что для моего способа жить на свете уже не было образца, или пока не было, как знать. Я мчалась по улицам, все шарахались от меня, все двери передо мною захлопывались, силы мои были на исходе, я оказалась уже где-то на окраинах. Узенькие тропки, приземистые глиняные лачуги, преследователи мои уже близко, за углом, и вдруг передо мной вырос человек, сильный мужчина с всклокоченной рыжей шевелюрой, этот не шарахнулся, не сошел с дороги, а сгреб меня в охапку, протащил несколько шагов до своей двери и внес в дом. Остальное ты знаешь. С тех пор для меня снова есть место в этом городе.

А немного погодя — землетрясение. Оно длилось лишь секунды, центр его пришелся на южную часть города, где живет распоследняя беднота, в том числе и колхидцы. Башня моя покачнулась, но устояла. Неописуемое чувство, когда почва уходит из-под ног, до сих пор сковывает ужасом все мои члены, я выскочил на улицу, кругом металась орущая толпа, казалось, настал конец света, странно, что звезды об этом умолчали. Дворцу был нанесен умеренный ущерб: стены не рухнули, несколько раненых среди прислуги и один убитый. Однако царь Креонт при его любви к собственной дражайшей особе и при его непогрешимой вере в собственное бессмертие был глубоко потрясен мыслью, что его бесценную жизнь мог оборвать какой-то презренный камень, случайно упав ему на голову. Беспричинный гнев на всех и каждого вскипал в нем поминутно, страх смерти, видимо, уже не покидал его, он стал раздражителен и опасен, и первым, кто на себе ощутил эти перемены в государевом норове, был Акам. Не могу отделаться от подозрения, что это именно он, дабы отвлечь от себя царскую немилость, внушил людям мысль, будто землетрясение на Коринф могла наслать Медея чарами своего злого колдовства. Я спросил Медею, известно ли ей об этом навете. Она кивнула.

Однажды мне выпал случай поговорить о ней с Лиссой, это было как раз вечером после землетрясения, которое застигло Медею у Ойстра, где я ее и обнаружил, когда, миновав сплошные развалины по пути, примчался сюда проведать Аретузу. Она, Аретуза, была без сознания, подземные толчки вновь оживили в ее памяти бедствие, погубившее чуть ли не весь Крит, Медея привела ее в чувство, натерев ей лоб живительным снадобьем, после чего предоставила ее моему попечению, поскольку саму ее тянуло к землякам, в разрушенные улицы и переулки, она попросила меня приглядеть за Лиссой и детьми. Ее крохотная лачуга, цела и невредима, все так же лепилась к стене дворца; после стенающего, истерзанного ранами города я вдруг очутился в обители покоя. Лисса кормила детей скромным ужином, на который пригласила и меня, только тут я заметил, как я проголодался и сколь благотворно действует на меня исходящее от нее ровное, спокойное тепло. Она из тех женщин, которые сумеют подтолкнуть землю, если та вдруг остановится, до того надежно держит она в своих руках вверенные ей жизни, так что остается только завидовать каждому, кто вырос под ее материнской опекой.

Лисса умело скрывала от обоих мальчиков свою тревогу за Медею, поэтому дети были беззаботны и жизнерадостны, один, похожий на Ясона, был покрепче, тогда как другой, черноволосый и кудрявый, в свою очередь превосходил брата живостью повадок и буйством нрава. Они наперебой рассказывали о землетрясении, которое вос-

приняли как увлекательное приключение. Потом вдруг очень быстро сникли, устали и отправились спать. Внезапно наступила глубокая тишина. Мы сидели на крохотной кухоньке, угли в очаге еще тлели, домашняя змея шуршала в золе, после пережитой опасности оба мы чувствовали облегчение, о том, что ждет нас завтра, пока старались не думать, мы молчали, потом понемногу начали говорить — обо всем, что в голову взбредет, и о Медее, и тут выяснилось, что мы, исходя из различных предпосылок, почти сходимся в выводах. Лисса, как и я, считала, что Коринф подтачивает какая-то хворь, однако никто не желает замечать эту болезнь и вникать в ее причины. Лисса боялась, что недуг этот со дня на день может выплеснуться вспышкой саморазрушения, она знает, как это бывает, все непотребные силы, которые при упорядоченной общей жизни держатся в узде, вырвутся на волю, и тогда Медее конец. Впервые я обсуждал дела нашего города с чужестранкой и, раз так, решил пойти еще дальше и спросил ее, в чем она видит причину нашего падения. Она считала, что ответ лежит на поверхности.

— Причина в вашем самомнении, — сказала она. — Вы же возомнили себя выше всех, это и мешает вам видеть жизнь, и себя в том числе, в истинном свете.

Она права, этот ее ответ я и по сей день слышу.

Однако не столь страшным оказалось само землетрясение, как его последствия. Царский дом был поглощен только своими заботами, с небывалой пышностью прошло погребение важного царедворца, погибшего под развалинами, разгул траурных торжеств явил Пресбона, который утратил остатки чувства меры, во всем необузданном размахе его таланта и одновременно во всем его скудоумном бесчувствии, ибо даже он мог бы догадаться, что такое расточительство подстегнет праведный гнев тех коринфян, кто лишился во время бедствия последнего своего имущества и чьи мертвые неделями разлагались под рухнувшими родными стенами. Медею с ее предостережениями, разумеется, никто не слушал, но даже царские лекари высказывались в том смысле, что этих мертвых надо как можно скорее убрать и похоронить, по опыту они знали, что это большая опасность для живых, и действительно, первые очаги заразы вспыхнули в непосредственной близости от тех наиболее разрушенных мест, где чудом выжившие люди ютились в развалинах по соседству с крысами и трупами.

У меня просто волосы на голове зашевелились, когда Акам, вызвав меня к себе, поверил мне государственную тайну: в городе чума. Этого я никогда не забуду. С дрожью в голосе спросил я Акама, что он, что они с государем намереваются предпринять, а тот, скривив губы, сказал, словно это самое естественное решение на свете:

— Мы покидаем город. — Оказывается, уже приняты необходимые меры, чтобы всякую панику, буде она начнется, подавить в зародыше. Отряды службы безопасности усилены. А затем Акам произнес фразу, которую я и по сей день не решился Медее передать. Он сказал: — А на месте твоей Медеи я бы тоже убрался из Коринфа подобру-поздорову.

Я понял его в ту же секунду. Я знаю это мышление, я с ним вырос, оно до сих пор во мне сидит, я пролепетал:

— Но ведь вы же не станете... — и из суеверия не решился выговорить свое подозрение вслух.

Акам понял меня и так, он сухо обронил:

— Почему же не станем?

Чума расползается. Медея в эти недели сделала больше, чем кто-либо другой, больные ее зовут, требуют, и она идет к ним. Однако многие коринфяне утверждают: она тащит за собой болезнь. Оказывается, это именно она привела чуму в город.

Быть не может, чтобы она этих голосов не слышала. Осторожно, издалека завожу я с нею разговор о странной потребности людей перекладывать вину за свои несчастья на кого-то другого. Вот и теперь кто-то уже предложил из каждой сотни пленных рабов одного принести в жертву, дабы умилостивить богов и уговорить их отвести от города свои карающие десницы. Но это же ничего не даст, возражает Медея. Да она этого и не допустит. Меня бросает в холод. Я убеждаю, я заклинаю ее не поступать против законов Коринфа. Она бы и сама рада этого не делать, отвечает она коротко и ясно.

— Медея, — увещеваю я, — если они не принесут в жертву рабов, они подыщут кого-то другого.

— Я знаю, — роняет она.

Тогда я говорю:

— Да знаешь ли ты, на какие зверства способны люди?

— Да, — звучит в ответ.

— Но у человека только одна жизнь! — восклицаю я.

— Как знать.

Я смотрю на нее во все глаза. Что известно мне об этой женщине, об ее вере? Я хотел бы ее спросить, бывает ли такая вера, чтобы освобождала от страха смерти, которым все мы одержимы. Я смотрю на нее в дымке первого предутреннего света — и не задаю свой вопрос. И в первый раз думаю: быть может, она ведает какую-то тайну, которая мне недоступна. Ибо я живу убеждением, что нам не уйти от закона, который вершит нами столь же непререкаемо, как и бегом светил. Наши действия или бездействия бессильны что-либо в этом изменить. А она вот противится. И это ее погубит.

— Ты можешь делать что угодно, Медея, — говорю я ей, — тебе это не поможет, до скончания времен. То, что движет людьми, сильнее всякого разума.

Она молчит.

Ночь тает, мы все еще сидим друг против друга. Солнце встает, крыши города искрятся и посверкивают. Так нам уже никогда больше не сидеть. Теперь я понимаю, что это значит, когда говорят: у меня тяжело на сердце. Я не вижу выхода, который не был бы гибельным. Все, что я мог сказать, я уже сказал. Что случилось, того уже не переиначишь. А что должно случиться, решено давным-давно и без нас.

Мы выплескиваем остатки вина из наших кубков в направлении солнца и не говорим друг другу, что каждый из нас при этом загадал. Я себе ничего не загадывал. Я думаю, тут пришли в движение такие колеса, которые никому уже не остановить. Руки у меня будто отнялись. Может, пожелать Медее такой же вот усталости?

Она говорит:

— Так я пойду.

— Иди, — говорю я.

Я стою у перил и смотрю, как она пересекает площадь под моей башней, такую же безлюдную, как и весь наш город. Страх чумы вымел город подчистую.

8

Праздник утратил все свои ритуальные признаки и может плохо кончиться, поскольку грозит вернуться к своим насильственным истокам. Он уже не препона для разнузданных сил зла, а их верный союзник.

Рене Жирар. Святость и насилие

Медея

Я жду. Сижу в каморке без окон, куда меня определили, и жду. Перед дверным проемом, что обозначен слабым проблеском света, стоят двое стражников, спиной ко мне. Там, в большом зале, они меня судят.

Теперь все ясно. Им нужна я. Нельзя мне было ходить на их жертвенный праздник, считает Лисса, это, мол, чистейшей воды гордыня. И я ей уже не возражала, как в то утро, когда ж это было — вчера? позавчера? третьего дня? — в то утро, когда я, проснувшись спозаранку, сочла, что, видимо, готова принять приглашение жриц Артемиды и в качестве гостьи, чужестранки, пожаловать на большой весенний праздник коринфян. Гордыня? Да нет, скорее в то утро я чувствовала в себе уверенность. Силу для примирения. Вот моя протянутая рука, думала я, с какой стати им ее отвер-

гать. Сегодня я знаю с какой. Потому что свой страх они могут заглушить только яростью, которую на ком-то надо выместить.

Утро было дивное. Сон, развеянный пробуждением, словно отворил во мне плотину, в меня хлынула радость, без причин, но это ведь всегда так. Я отбросила овчину, под которой сплю с тех самых пор, что покинула Колхиду, легко вскочила со своего ложа, прохлада глиняного пола пронзила меня всю, я с наслаждением свела ноги вместе, потянулась и вступила в прямоугольник смутного света, сочившегося в дверь. Вот оно, бледное светило, полумесяц, чуть склоненная отверстая чаша, парящая в ночной сини, ущербная, как и мои уже далеко не юные годы, моя колхидская луна, одаренная силой каждое утро вытягивать солнце из-за края земли. И каждое утро одна и та же вечная тревога — по-прежнему ли верны противовесы, не нарушилась ли за ночь их выверенная соразмерность, не сместились ли предписанные пути, ибо даже ничтожный сдвиг сулит земле страшные времена, о которых так много рассказывают древние предания. Но на этот вот день добрые законы, сопрягающие движения светил, еще сохранят свою силу; с радостью смотрела я на ночной горизонт, постепенно озаряющийся дневным светом. По крайней мере, этот день будет таким же, как предыдущий и последующий, даже точнейшими инструментами моего Леукона нельзя будет измерить крохотный зазор, на который увеличится дуга, каждый день вздымающая солнце над Коринфом, пока не достигнет своей вершины и не настанет солнцеворот.

И меня тогда уже здесь не будет. Ни Гелиос, бог солнца, ни моя любимая лунная богиня даже не заметят моего отсутствия. Трудно, долго, но зато окончательно я рассталась с верой в то, что наши людские судьбы сопряжены с движением созвездий. Что там живут души, схожие с нашими, и определяют все наше бытие — пусть даже только тем, что своенравно спутывают нити, которые держат в своих всесильных руках. Акам, первый астроном царя, думает точно так же, как я, я знаю это с тех пор, как мы с ним переглянулись на жертвенном празднике. Мы оба с ним прикидываемся, но по-разному и из разных побуждений. Он представляется самым ревностным из всех служителей богов от глубочайшего, бездонного равнодушия ко всем и вся, я же, уклоняясь от участия в ритуалах сколько могу, храню молчание, когда уклониться невозможно, — из сострадания к нам, смертным, ибо человек, отринувший от себя богов, проходит через такие пределы ужаса, что не всякий их перенесет. Акам думает, что знает меня, однако самоослепление мешает ему узнать кого бы то ни было, а меньше всего самого себя. Теперь вот он хочет насладиться моим страхом. Придется мне запереть в себе страх. Только не прекращать думать.

В то утро, мельчайшие подробности которого мне теперь так дороги, я слышала, как Лисса за стенкой раздувает угли, как жадно похрустывает пламя оливковыми сучьями, которые она тщательно сложила, как она поставила на плиту горшок с водой и принялась то ли ударами, то ли шлепками взбивать тесто для ячменных лепешек. По камышовым половичкам, которые она сплела и от которых так отдыхают мои ноги, я прошла к ларю со своими пожитками, где хранится и белое платье, которое я носила только по большим праздникам: Лисса взяла его для меня, но в последнее время я почти его не надевала. Я вынула его, встряхнула, ощупала. Пожалуй, нитки с течением лет немного истончились, но ткань еще хорошая, неизношенная. Я невольно рассмеялась, осознав, что голая стою на половичке и сперва взглядом, а потом и ладонями ощупываю себя, свою уже не молодую, но все еще упругую плоть, расцветшую под перстами Ойстра, — уже не стройное, отяжелевшее в бедрах тело, груди, которые пришлось приподнять руками, однако кожа моя по-прежнему сохранила красивый смуглый оттенок, лодыжки и запястья все такие же сильные и тонкие, «как у горной козы», говорит Ойстр, а волосы снова густые и курчавые, как всегда. А еще совсем недавно я могла выдергивать их клочьями, и в козьем молоке, которым Лисса промывала мне голову, их была тьма, мы обе знали, нет снадобья от того лиха, от которого у меня полезли волосы после горячки и о котором я не могла говорить. Это была смертная боль — не только обо мне и не только о бедняжке Ифиное, чьи косточки в пещере эту боль во мне отворили, нет, боль была всеобъемлющая, она расползалась, уходила вглубь, становилась все нестерпимей, ибо усугублялась ненавистью

Агамеды, предательством Пресбона, подлостью Акама, которые все вместе старались натравить на меня тупую ярость толпы. Перелом наступил, когда эта толпа погнала меня по улицам. Я вдруг поняла, что хочу жить. А потом Ойстр. Ойстр, конечно, очень весомая причина. Я не впервые переживаю это любовное возрождение, вот и волос мой больше не падает. Теперь меня за волосы хоть через весь город тащить можно.

Окунув лицо, а потом и руки в лохань с родниковой водой, я надела платье, окинула взглядом его ниспадающую красу, повязала волосы белой повязкой жрицы, как и положено на праздничный день, и отправилась на половину Лиссы, которая, спиной ко мне, колдовала у плиты над первой порцией лепешек, чей пряный, слегка пригорелый дух всегда служил у нас в доме предвестьем праздника. Ведь для колхидцев и колхидок тоже наступал праздник весны, однако в этих краях наши обычаи, сколь бы строго, порой, пожалуй, даже слишком строго мы их ни соблюдали, дарят лишь слабый отблеск той торжественности, из которой прежде, в Колхиде, они и черпали свою жизненность. Но все же слабый отблеск лучше, чем совсем ничего, так чувствует большинство, а я в их чувства не встреваю.

Лисса обернулась, узрела меня в праздничном одеянии — и перепугалась. Я что, собралась сегодня вот так идти? Да. Но куда? На праздник Артемиды к коринфянам. Лисса молчала. Я взглянула на нее внимательней — она постарела немного, округлилась, но одновременно и окрепла. Ведь это она до последних мелочей хранит в своей памяти все наши, порой весьма сложные, ритуалы, передает их молодежи и с твердокаменным упорством настаивает на их соблюдении. Уж она-то никогда не одобрит, если кто-то из колхидцев, а уж тем паче я, направится на большой праздник к коринфянам, никакую причину для этого не сочтет убедительной и ни за что не согласится, что примирительное отношение нам, колхидцам, может пойти на пользу. С горечью она сказала: напрасно я от колхидцев удаляюсь, коринфяне все равно этого не оценят. Что ж, она оказалась права, а я ошиблась. И все же я и снова поступила бы так же. И снова кончила бы свои дни здесь, в этой жалкой конуре, где даже воздуха почти не осталось, отлученная от всех — от Лиссы и моих колхидцев, от Ойстра и Аретузы, от коринфян, которые теперь меня судят, и даже от Ясона и от наших детей, моих и его. Чему быть — того не миновать.

Аромат свежих лепешек приманил моих мальчишек, «как два жеребенка, учуявшие сено», сказала я, и они тут же объединились с Лиссой, «это тебе за сено», кричали они, и мы весело еще раз разыграли роли, которые столько раз играли, они трое против меня, голоса наши ссорились, а глаза смеялись. Только потом малыши разглядели мой наряд, умолкли, ходили вокруг меня, щупали ткань платья, восхищенно цокали язычками, мне это было приятно — долго ли еще суждено этим детям восхищаться своей мамой?

Потом они разодрали первую лепешку, набили ею рты, я тоже вдруг проголодалась и начала есть, оглядывая всю кухню и видя каждую вещь удивительно отчетливо, будто в последний раз, всю эту нехитрую утварь, глиняную посуду, горшки на полке, деревянный, весь в зазубринах, стол, такую родную Лиссу и особенно, конечно, детей, таких разных, словно они не от одной матери. Мермер немного покрупней, белокурый, голубоглазый, его Ясон с особым удовольствием называет «мой сынок», часами ездит с ним верхом, никак не перенося на него отчуждение, пролегшее между нами. И я тоже стараюсь ничем не омрачить радостное восхищение мальчика своим отцом, эту боль я умею держать в узде. Зато Ферет — мой мальчишка, плотный, смуглый и кругленький, как орешек, пахнущий свежей травой, густоволосый, темноглазый, отдающийся наслаждению едой, как и всякому другому занятию, как и любой игре, — всецело и беззаветно, с таким же сосредоточенным, отрешенным лицом, которое я так в нем люблю, с той же стремительной сменой света и тени в его чертах, с той же мгновенностью переходов от серьезности к веселью, от безутешного плача к безудержному хохоту. Они оба осаждали меня просьбами взять их с собой на праздник, мне пришлось прибегнуть к отговоркам. Вот уж кого я не хотела видеть рядом с собой на празднике коринфян, так это их.

Быть может, это и впрямь милостивый дар судьбы, что на краю бездны человека обуревает высокое упоение. В то утро все тяготы с меня спали: я жива, дети здоровы,

бодры и любят меня, да и такой человек, как Лисса, никогда меня не оставит, — скромная моя хижина заключала в себе нечто вроде счастья, слово, которое уже много лет не приходило мне на ум. Быть может, тому, кто умеет терпеть и ждать, и впрямь всякая утрата воздастся обретением, а боль радостью, — такие вот мысли проносились у меня в голове, покуда я вместе с толпой коринфян, жаждавших посмотреть на жертвенный праздник, поднималась вверх по улице к храму Артемиды.

Но о чем это я? Что понуждает меня именно сейчас и именно здесь снова и снова, по минутам, воскрешать в памяти то утро, после которого, кажется, миновала целая вечность? В дверной проем я видела, как все они мимо меня проходили, слышала их приближающиеся шаги, стражи у моей двери, для пущей внушительности — смех сказать — вооруженные копьями, эти молодые смущенные ребята могли бы загородить от меня приближающееся шествие, но они этого не сделали. Я увидела их всех. Царь Креонт с перекошенным лицом, в своей судейской мантии, окруженный своей личной охраной и сопровождаемый старейшинами, которые имеют право выносить приговоры. Свидетели, среди них верховный жрец храма Артемиды, и, конечно же, злосчастный Пресбон, в чьи руки было вверено безупречное течение праздника, которое я, надо понимать, нарушила. А потом одна из немногих женщин, Агамеда. Она, единственная, бросила взгляд в мой застенок — высокомерный, торжествующий, исполненный ненависти взгляд. Казалось, раскромсай меня сейчас на куски прямо у нее на глазах — ей и тогда своей ненависти не избыть. Последними шли Ясон и Глаука, сердце мое встрепенулось. Вид у нее был бледный, измученный, он обнимал ее за плечи и так вел, оба смотрели только вперед, губы плотно сжаты. Ну и пара... Больше всего мне хотелось, собрав остатки своего прежнего гонора, крикнуть ему: «Эй, Ясон, во что тебя втравили?» Значит, слухи не врут, он возьмет бедняжку Глауку в жены и после смерти Креонта будет править Коринфом. У них нет выхода, им надо от меня избавляться.

Я была совершенно спокойна, когда поднималась к святыне. Я должна это сделать, эта мысль всегда меня успокаивает, даже сейчас, хотя это спокойствие больше похоже на оцепенение. Красивый и жуткий город Коринф. Я еще раз оглядела его с высоты, «в последний раз», подсказал мне внутренний голос — или мне это сейчас пригрезилось? Я шла среди нарядно одетых людей, многие меня узнавали, некоторые здоровались, большинство отводили глаза, мне это было безразлично. У многих в одежде приметы траура, чума редкий дом пощадила; если верить последней бодрой депеше из дворца, сейчас она пошла на убыль. Чем выше мы поднимались, тем отчетливее становились видны окрестности города, сочная весенняя зелень, которая вскоре пожухнет, и мы видели вдали повозки, влачащие к реке трупы последней ночи, и челны, переправляющие их в город мертвых. Никто не хотел замечать эти мертвецкие возы. Мне же в золотом блеске коринфских башен мерещилось сияние самой смерти, а стадо из двадцати быков, которых гнали к храму на заклание по другой дороге, и их испуганный рев, до нас доносившийся, казались предвестьем несчастья. Чем ближе подходили мы к пределам храма, тем явственней покидала меня благодать того утра и тем вернее передавалась мне подавленность бредущих рядом людей. Может, все мы жертвы, доведенные до терпеливого смирения и влекомые сейчас на убой? Я сказала себе: «Я Медея, волшебница, раз уж вам так этого хочется. Я дикарка, чужачка. Но страха моего вы не увидите!»

И все-таки. Сейчас, вот на этой скамье ожидания, в этой каморке, которая так напоминает застенок и очень легко может в него превратиться, я спрашиваю себя, действительно ли такой конец был неизбежен? Стечение ли обстоятельств, против которых я бессильна, загнало меня на эту скамью, или нечто из меня самой, над чем я сама в себе не властна, влекло меня в эту сторону? Бесполезно теперь об этом думать. Однако уничтожение внешними силами мне было бы легче вынести, это правда. Легче, тяжелей — слова из прежней жизни.

Ойстр и милая Аретуза, которую теперь вот тоже свалила болезнь и которую мне пришлось бросить, в долгих ночных разговорах мы все трое так и этак перебирали опыты нашей коринфской жизни. Вместе дивились тому, сколь неожиданно светлое, сияющее, соблазнительное обличье этого города в один миг оборачивается мрачным,

грозным, убийственным оскалом. И как постоянное ожидание опасности вынуждает его жителей прятать друг от друга свои истинные чувства под непроницаемой маской, за которой, как выяснилось, накапливается тупая и дикая ярость. Ойстр прервал мои рассуждения о том, не следовало ли мне вести себя иначе, чтобы настроить их миролюбивей.

— Знаешь, что единственное могло бы тебя спасти? — сказал он. — Если бы ты сделалась невидимой, как вот мы с Аретузой. Живи тихо, слова не скажи, губ не криви, вот тогда они тебя терпят. Или просто забывают. Это был бы лучший для тебя выход. Но тебе это не по плечу.

Он прав. Что они там так долго обсуждают? Или, чего доброго, у них разногласия? Кто-то решился возразить. Только кто? Может ли быть, что это мой милый Ясон собрался с духом и оспаривает приговор? Только ему-то с какой стати? Чтобы что-то загладить? Маловероятно. Один из стражников приносит мне кружку воды. Я жадно ее осушаю. Как же хочется пить. И как с той же жаждой ищу я в чертах молодого стражника хоть тень сострадания. Не нахожу. Он делает, что велят. Но и отвращения в его лице я тоже не вижу, одно равнодушие. После беспорядков во время жертвенного праздника коринфяне вновь обрели душевное равновесие. В то утро в бесконечной процессии к святыне Артемиды я ощутила гибельный сгусток насилия, накапливавшегося в толпе и уже искавшего выхода в мелких ссорах, в стычках на обочине, но явственней всего читавшегося в ожесточенном молчании большинства людей, в вихлявой судорожности их движений, в их холодных, замкнутых, потерянных лицах. Я чуяла испарения страха, которые облаком висели над шествием, и начала ощущать твердый кулак, упершийся мне прямо в желудок, он и сейчас давит, но я иду ему навстречу, как училась сызмальства, закрою глаза и вижу, как я бреду берегом реки, всегда одной и той же, похожей на наш Фасис с его пологими береговыми склонами, пышной зеленью крон, обращенными ко мне лицами людей — и давление кулака постепенно ослабевает. Когда я однажды посоветовала это упражнение Глауке, она после нескольких попыток разразилась рыданиями, ибо видела перед собой только нескончаемую пустынную дорогу, по которой она бредет в город мертвых. Больше я не могла ей помочь, моя целительная сила покинула меня.

Многие в толпе несли с собой скромные жертвенные дары, запасы еды в городе после засухи двух последних лет почти иссякли, так что мало кто мог преподнести богине что-то более существенное, нежели пучок колосьев, ветку оливы с плодами, несколько сушеных фиг, никто, в отличие от прежних лет, не вел с собой козленочка. Двадцать быков, которые прибыли на гору раньше нас и которых незамедлительно потащили к жертвенникам, сулили для большинства собравшихся первую мясную трапезу за много недель. Я тоже была голодна и поймала себя на мысли, что надо бы стащить пару кусков жертвенного мяса для моих мальчуганов. За спиной я слышала перешептывание двух коринфян о том, что жертвенные быки будто бы откормлены из тайных дворцовых закромов, местоположение которых один из собеседников якобы знал, что второго безумно напугало и он умолял товарища никому, а уж ему тем более, эту тайну не выдавать. Ибо кто прознает эту тайну, не имея на то полномочий, тот считай что покойник. Ха, нахально отвечал второй, да прежде чем они его схватят, он во все горло проорет, как они там во дворце в эти голодные времена пожива-ют, как-никак сын его сестры один из подсобных поваров при дворцовой кухне, уж он-то знает, чем там потчуют. Однако не успел он поразить своего до смерти перепуганного собеседника новыми подробностями, как слова его перекрыл оглушительный рев быков, от которого у людей кровь разом застыла в жилах. Ибо знающие свое дело жрецы закололи всех быков одновременно.

Я много слышала в жизни жутких звуков, однако ничего более чудовищного, чем этот рев убиваемых на жертвенниках тварей, мне слышать не доводилось — казалось, все наши беды, боли, все наши укоры слились в этом направленном в небо вопле. Шествие остановилось как вкопанное. Зато когда наступила тишина, люди, как безумные, сорвались с места и ринулись вперед, все выше, пока наконец высоко над стеной храма мы не узрели статую богини, величавую Артемиду. Тут же возник и, нарастая, начал приближаться клич: «Слава Артемиде, великой богине Коринфа!» Я его

не подхватила, чем вызвала неприязнь окружающих. Одна из старух, которые тесной, сплоченной стаей давно уже толклись неподалеку от меня, на меня зашипела: что мне, жалко, что ли, восславить их богиню. Я ответила, нет, не жалко, но старуха ничего не желала слушать, в это время очередное шараханье толпы развело нас в разные стороны. Мне стало не по себе, но повернуть — такая мысль даже не пришла мне в голову. А почему бы ей, собственно, не прийти?

Агамеда вот считает, это тоже своего рода гордыня — не отвечать на ненависть ненавистью и тем самым как бы подниматься над чувствами обычных людей, которым ненависть нужна ничуть не меньше, чем любовь, а то и больше. Это она, разумеется, не со мной так откровенничает, мы давно уже стараемся друг друга избегать, однако доброхотки исправно доносят мне сплетни, которые она обо мне распускает. На том празднике я снова ее повстречала. Только одно слово она швырнула мне в лицо: когда празднество вышло из берегов и превратилось в один бурлящий котел насилия, она вдруг очутилась на жертвенном дворе прямо передо мной и выкрикнула: «Изуверка!»

Со мной всегда так — отдельные слова сидят во мне, как занозы. Сейчас она, Агамеда, быть может, как раз стоит перед старейшинами и обзывает меня именно этим словом, которого они все ждут, которое они все с жадностью подхватят. Чтобы именно колхидка сказала обо мне то, что все они давным-давно думают — для них ничего лучше и придумать нельзя. И ее, Агамеду, я даже не вправе упрекнуть в лицемерии. Она злословит обо мне искренне, говорит то, что думает, не ведая ни тени сомнений. Я пыталась втолковать это Ойстру, который питает к Агамеде глубочайшее отвращение, но он пришел в ярость. В чувства иных людей не обязательно вживаться, сказал он мне резко.

По-моему, мы оба знали, что я в западне. И Лисса знала. Отпустила меня сегодня утром с гневным, мокрым от слез лицом, не дала попрощаться с детьми. Я уверена, это она все сказала Аринне. Аринне, которая вот уже несколько недель как исчезла: ходили слухи, что она с горсткой других колхидок ушла в горы. А тут вдруг, откуда ни возьмись, стоит передо мной, отощавшая, почти черная от загара, со спутанными волосами. Требовала идти с ней. Решила меня спасать. И я испытала сильный соблазн ей подчиниться, в считанные миги передо мной промелькнула жизнь, которую мне пришлось бы вести, суровая жизнь, полная лишений, но свободная, к тому же под защитой Аринны и других молодых женщин.

— Не получится, Аринна, — сказала я ей.

— Почему не получится?

Я не могла ей объяснить.

— Да очнись же, Медея! — почти прикрикнула она на меня.

Так со мной еще никто никогда не разговаривал.

— Не получится, — повторила я снова.

Аринна в отчаянии пожала плечами, повернулась и ушла.

Теперь вот я устала, ведь я почти не спала. Мое тело все еще помнит дикую ночь того празднества. А ведь день прошел спокойно, богине с большими почестями преподнесли лучшие куски жертвенных туш, украсили ее ожерельем из бычьих яиц в три ряда, Агамеда, я видела, оказалась единственной колхидкой, кому удалось затесаться среди коринфских девушек, которым была доверена честь эти яйца чистить, а потом на образ богини вешать, чтобы после пронести эту фигуру по улицам города в залог грядущего плодородия. Покуда бычьи рога укреплялись в храмовой стене, а на жертвенной горе разводили костры, чтобы жарить на них мясо, народ проводил время за песнями, плясками и игрищами. Пресбон подготовил представление, каких Коринф еще не видел, огромные толпы участников в костюмах шествовали по праздничному лугу, напоминая коринфянам славные деяния их прошлого, это он подогрел воинственное настроение, которое обернулось побоищем, когда незадолго до наступления темноты из города, задыхаясь от усталости, прибежали двое мужчин, судя по их одежде, стражники. Они принесли известие, что группа пленных рабов силой оружия, которое им кто-то доставил, вырвалась из застенков и, пользуясь безлюдьем на улицах, проникла в город мертвых на том берегу, где взломала и разграбила не-

сколько самых богатых могил. Над толпой празднующих после первого мига мертвой тишины взвился рев, который уже давно ждал своего повода и часа. Неминуемое пришло. Толпа искала жертв, дабы утолить жажду отмщения. Пока еще она бестолково колыхалась, не зная, куда бы направить свой гнев, я с ужасом подумала о нескольких колхидках, которые пришли сюда следом за мной, однако всеобщая ярость обрушилась не на них. Кто-то вспомнил о рабах, которые в поисках защиты от произвола хозяев находили убежище в храме и справляли там всякую черную работу, этому пора положить конец, вот они и искупят злодеяние. Я кинулась к храмовым воротам, заклиная перепуганных жриц, в большинстве своем молоденьких девушек из лучших коринфских домов, не допускать этого зверства, немедленно замкнуть ворота и припереть их балкой. Они послушались, ведь никого другого, кто бы мог им приказать, в храме не было, я же потайным ходом, что за алтарем, выскользнула на улицу и там попыталась заставить толпу меня выслушать, нельзя омрачать великий праздник богини, кричала я в эти раззявленные рты, в эти искаженные ненавистью лица, только страхом, думала я, страхом, который пуще их ненависти, можно заглушить в них жажду убийства, но тут, потрясая кулаками, на меня пошел старик, беззубый, выдубленное солнцем лицо избороздили морщины. Предки приносили богине в жертву людей, и той это очень даже нравилось, так почему бы и сейчас не возродить древний обычай. Толпа одобрительно взревела, я поняла, что проиграла. Все разом надвинулись на меня, орали, обзывали, ну и пусть, решила я, если уж так суждено, тогда пусть сразу, прямо сейчас, вот здесь. Но тут они взломали ворота храма, жрицы разбежались, рабы в ужасе теснились у алтаря, к ним уже тянулись руки. Меня вместе с толпой тоже внесло в храм, в какой-то миг я вдруг оказалась с глазу на глаз прямо перед их головорезом-предводителем, тот не скрывал торжества.

— Ну, что теперь скажешь? — крикнул он мне.

— Возьмите только одного, — сказала я тихо.

— Только одного? — рявкнул он. — Это еще почему?

Я сказала, что их предки тоже приносили в жертву богине лишь одного избранника, убивать многих — святотатство, а убийство в храме карается как самый тяжкий грех. Они изумились, заколебались, начали шепотом совещаться, доверили решать старику, который до этого витийствовал, он надулся, потом наконец кивнул. Они выхватили из кучи пленных одного, тот отбивался как бешеный, кричал, молил, ссылался на право убежища в храме, это был здоровый детина с выстриженным затылком и окладистой курчавой бородой, лицо его, эти направленные на меня налитые кровью глаза я никогда не забуду. Его подтащили к алтарю, я не стала отворачиваться, я видела, как головорез его заколол. Кровь, человеческая кровь потекла по жертвенному желобу.

Теперь этот убиенный всегда будет на моей совести. Случилось непоправимое, и я тоже приложила к этому руку. Других я спасла, но меня это нисколько не утешало. Зачем только я бежала из Колхиды... Там мне казалось невыносимым выбирать меньшее из двух зол. Дура я дура. Теперь мне пришлось выбирать всего лишь из двух преступлений.

Не помню, как я снова вернулась во двор храма, как подошла к статуе Артемиды. Первое, что я увидела, были яйца жертвенных быков, которые гирляндой висели на богине, словно размножившиеся груди. Омерзительные подвески. К тому же они воняли, эти бычьи яйца. Я плюнула на них. Пусть они и меня прирежут, эти утонченные коринфяне, сейчас самое время, я готова. Однако выяснилось, что я все еще их не знаю. Теперь они боялись меня, как прокаженной. Незримая рука очертила вокруг меня рубеж, который ни один из них не смел преступить. Не помню уж, сколько я там, у подножия статуи Артемиды, против них простояла — они в кровавом угаре, я спокойная, как смерть. Я была страшнее ночи, сказала мне потом Лисса, которая тайком за мной последовала и все время держалась вблизи. Разверзлась темнота, жареное бычье мясо уже срезали с вертелов, уже отдирали клочьями, вырывали из рук у детей, то, что сочилось кровью, пожирали сырым. От усмиренной личины до кровожадного нутра — как же близко. Мне жутко. Я у них в руках.

Я чувствовала, как сотни пар глаз следят за мной из мерцающего полумрака,

поэтому вышла из круга пламени, они мне не препятствовали. Пошатываясь, я побрела в кустарник, там меня вырвало, я пошла дальше, вниз, под гору, пересекла оливковую рощу, наконец-то перестала слышать их гвалт. Полная луна была моей провожатой. В ложбине я повалилась в траву и то ли заснула, то ли впала в беспамятство. А когда очнулась, прямо над моей головой в ночном небе темное чудовище пожирало луну, уже отхватило большой шмат и вгрызалось дальше. Да будет ли конец этому кошмару!

Нашу лунную богиню стерли с неба — и как раз в ту ночь, когда она полнее, утешительнее, могущественнее всего. Неизъяснимый ужас пронизал нас, колхидцев, до костей, мы ожидали конца света, и ужаснулись гораздо сильнее, чем коринфяне, для которых весь этот устрашающий небесный морок тоже, конечно, был карой богов, но не за их вину, а в наказание чужеземцам, протащившим в их город чужих идолов, чем их коринфских богов и прогневили. Вот почему, чтобы не трепетать в бездейственном ожидании, некоторые молодые коринфяне прямо здесь же, у храма, принялись искать виновников столь неимоверного гнева богов и самолично этих виновников карать.

Мне уже не удастся спросить у Акама, почему он, зная о предстоящем лунном затмении, держал это знание в такой тайне, почему под страхом смерти запретил своим астрономам извещать об этом своих земляков. Неужто он хотел, чтобы случилось то, что случилось? Способен ли человек на такое?

Леукон, произведший свои расчеты, не сдержал обет молчания, помчался к Ойстру, где предполагал и меня найти, хотел нам все сказать, хотел с нами посоветоваться, как быть. Но обнаружил только Ойстра, тот боролся за жизнь Аретузы, которую тоже подкосила чума. Там он узнал, что они даже от меня утаили: первым заболел Старец, Аретуза настояла на том, что сама будет за ним ухаживать, а когда тот умер, они похоронили его во внутреннем дворике, не отдав в руки похоронных дружин, что каждый день прочесывают город. Леукон, рассказал мне Ойстр, в слезах припал к Аретузе, гладил ее, целовал, умолял жить, жить хотя бы ради него, она еще смогла улыбнуться и шепотом обещала ему исполнить его просьбы, он воспринял эти ее слова как залог любви, тут она лишилась чувств, он остался при ней. Он и сейчас при ней. А Ойстр той ночью, когда померкла луна, кинулся меня искать. И под утро нашел. Слишком поздно.

У меня мало времени.

Как же все это было... Очнувшись от своего забытья, я поднялась и только тут обратила внимание на странный шум, который, по-видимому, меня и разбудил и на который я, все еще с ужасом наблюдая за исчезновением луны, теперь пошла. Что-то знакомое, музыка, ритмы, отзывавшиеся в моей крови и приведшие меня в конце концов к горстке колхидских женщин, которые праздновали здесь, на противоположном от города склоне горы, в глухом, малодоступном месте, наш, колхидский праздник весны, праздник Деметры, который по обычаю начинается с танца на тлеющих углях. Я смотрела на них со стороны, из колючих кустов, окаймлявших опушку леса. Взявшись за руки, женщины с пением, смехом и радостными возгласами набегали на бороздку тлеющих древесных угольев. Я увидела Лиссу, Аринну. Сердце мое неистово забилось, я хочу, я должна быть вместе с ними! Я подбежала к женщинам, они нисколько не удивились, приветствовали меня, будто давно ждали, я протянула руки, двое приняли меня в середку, я вся подобралась, вспомнив, как часто проделывала это дома, крикнула «и-и раз!», мы все вместе помчались на угли, я снова, в который раз, пережила это чудо неуязвимости и кричала от счастья вместе с ними, «еще раз!» — крикнула я, мои соседки схватили меня за руки, мы помчались, а потом еще раз, и еще, и мои босые ступни оставались безупречно белыми. В тот же миг и небо подало нам добрый знак: узенький ломтик луны вспыхнул на небе серебряным серпом, который быстро увеличивался. Мы встретили его ликующими криками. Значит, мы не погибли. Я взяла лавровый лист, который мне дали пожевать и который погрузил всех нас в пьянящий дурман, так что потом мы видели летящую по небу Деметру, и ликовали вместе с ней, и начали наш танец, с каждым ритмом все более необузданный и уводивший нас в глубь прошлого, как лабиринт. Наконец-то мы среди своих, наконец-то я снова стала сама собой. Утро уже близко...

И тут мы услышали стук топора.

Ойстр говорит, он бы нас не нашел, если бы тоже не услышал этот стук и не пошел на него, одолеваемый недобрым предчувствием, которое не покидало его от самого Коринфа и с каждым шагом только усиливалось. Примерно то же чувствовала и я. Пьянящий дурман, наша радость — все это вмиг улетучилось. Я не хотела верить собственным ушам. В нашей священной роще кто-то рубил дерево. Бедняга был обречен. Я не знала, как его спасти, и попыталась снова громко затянуть нашу оборванную на полуслове песню, лишь бы заглушить этот стук. На меня яростно зашипели, женщины заткнули мне рот, я видела их искаженные гневом лица, они ненавидели меня, я ненавидела их. Как хищная стая кинулись они к роще, увлекая с собой и меня, промчались мимо Ойстра, который отпрянул, почему и не был ими замечен, он схватил меня, держал, я вырывалась, не видела ничего, зато слышала. Слышала яростные вопли женщин, моих колхидок, потом дикий, нечеловеческий крик мужчины, голос которого я знала. Турон, это был Турон. Я знала, что произошло. Они его оскопили. Отрезали мужское естество, а потом, нанизав на прутик и победно неся этот трофей перед собой, в полубеспамятстве, издавая воинственные вопли, двинулись вниз по направлению к городу.

Сегодня в слободе колхидцев царит замогильная тишина. Облава последовала тем же утром. Все, кто попал в руки царских карателей, были прикончены на месте. Утешительно знать, что немногим женщинам и девушкам удалось бежать к Аринне в горы.

Впрочем, о чем это я? Что это за слово — «утешительно»? Вместе со многими другими словами оно теперь из меня вытравлено. Меня ждет безъязыкость. Турон, чудом спасший свою шкуру Турон назвал мое имя. Ибо первое, что он увидел, когда пришел в себя, было мое лицо. Презрев мольбы Ойстра оставить этого человека, ему все равно уже не помочь, презрев его яростные приказы, я подошла к почти бездыханному Турону. Он лежал рядом с поваленным деревом нашей священной рощи, пинией, которую срубил, дабы покарать нас, колхидцев, за то, что мы навлекли на Коринф чуму-лихоманку, а теперь вот еще и затмение, — так он объяснял потом на допросе. Он, впрочем, не умрет. В котомке, с которой я никогда не расстаюсь, у меня имелся настой из разных трав, останавливающий кровь. Я заставила Ойстра соорудить из двух жердин и сучьев носилки и вместе со мной отнести Турона в город. Утренний сумрак сменился утренней зарей, когда мы вошли в город — как в осажденную крепость. На всех углах часовые, повсюду вооруженные отряды, которые тянулись в направлении городских окраин. Какой-то молодой сотник внял моим уговорам и отправил двух воинов вместе с носилками во дворец. Что самое удивительное: нас он просто-напросто отпустил. На рыночной площади мы расстались. Мы даже не обнялись. Ойстр тяжело положил руки мне на плечи, он даже не просил меня идти с ним. Он понимал — мне надо к детям. С тех пор я его не видела. И об Аретузе ничего не знаю.

Нашу лачугу облава пощадила, теперь я знаю, это Ясон постарался. Лисса не осталась с обезумевшими женщинами, она убежала домой, к детям. Этого я ей вовек не забуду. Она молчала как немая.

И я была как немая, когда они пришли меня брать. Оказывается, это я повела за собою женщин, учинивших надругательство над Туроном. Я не возразила ни слова. Все шло по замыслу, повлиять на который я уже не в силах. Сегодня спозаранку меня куда-то повели. На судебное заседание, так мне они сказали, и бросили в эту тесную темную клетушку.

Они все еще совещаются. Я слышу шаги в коридоре. Усталые, шаркающие мужские шаги. Они приближаются, и вот мимо моей двери проходит, нет, плетется старик, замечает стражников, потом меня, останавливается, прислоняется к косяку, смотрит... Леукон. Призрак, который когда-то был Леуконом. Мы долго молчим, прежде чем я могу прошептать:

— Аретуза?

Он кивает, отталкивается от косяка, идет дальше, в совещательные покои.

Потом, наверно, прошло еще сколько-то времени. Теперь наконец большие две-

ри судейских чертогов распахиваются. Теперь вестнику, ждавшему под дверями своего часа, сообщают приговор. Вот он тронулся с места, приближается. Теперь меня вдруг охватывает тоска по всем дням, которые они у меня отнимут. По всем восходам солнца. По всем трапезам с детьми, объятиям с Ойстром, по всем песням, которые поет Лисса. По всем простым радостям, которые и есть главное, самое прочное в жизни. Теперь я их все оставляю позади.

Вестник уже здесь.

9

Ясон: Когда б рождать детей иначе, совсем без женщин, —
Как счастливо жилось бы на земле!

Еврипид. Медея

Ясон

Ничего из того, что случилось, я не хотел. Но что я мог поделать? Она сама навлекла на себя свою погибель. Неистовая. Хотела мне доказать. Решила во что бы то ни стало меня раздавить. Да ее хоть на куски разруби — глаза все равно останутся. И будут смотреть на меня, неотступно.

С той самой секунды, когда она, сопровождаемая вестником, вступила в зал, она искала глазами только меня и даже заставила встать, одним только своим взглядом. Словно этот приговор и мне тоже выносили. На царского глашатая не смотрела, только на меня. Норов свой она тут, конечно, явила во всей красе, но с другой стороны — что ей было терять?

Никому не было бы ни малейшей пользы, вздумай я на совете распинаться и ее защищать. Да и чем? Да и в чем? В том, что она причастна не к позору бедняги Турона, а, напротив, скорее к его спасению? Да кто мне поверил бы? Еще, чего доброго, и меня бы эдак удалили из зала. Они вон и так вовсю глядели, как я себя держу.

О боги! Безумные колхидки. Отрезать у мужчины мужское естество! Мы все, все мужчины Коринфа, вместе с ним испытали эту боль. Ручаюсь — в те ночи, пока колхидок не постигло возмездие, пока не вынесен был приговор Медее, здесь, в Коринфе, не был зачат ни один ребенок, ибо ни один мужчина не был способен к зачатию. Жен своих враз приструнили, многие коринфянки по домам попрятались, а которые по улицам шмыгали, те глаза прятали, будто это они, каждая из них, беднягу Турона обесчестили, словом, жены как шелковые стали и во все горло приветствовали суровое наказание виновных, а для Медеи так и вовсе требовали высшей меры, причем в первую очередь и громче всех именно те, которые ей больше всех обязаны, это уж как водится. Так что если эти худые времена все-таки когда-нибудь кончатся и все мы помаленьку успокоимся, коринфские мужчины опять станут всем верховодить, а женщины еще больше в тень уйдут, вот и весь сказ.

И мне бы это вроде даже по душе должно быть, так ведь нет. Ничто меня больше не радует. Она мне так и предсказала. И без всякого злорадства, скорее грустно, а то даже и с состраданием, что уж совсем ни в какие ворота. К себе-то никакого сочувствия не допускала, высмеивала, отшучивалась. Мне на совете так сразу и заявили, едва я заикнулся попросить для нее о снисхождении, и это при том, что я не упустил подчеркнуть тяжесть ее деяний, иначе они просто разорвали бы меня в клочья. Акам тут же недвусмысленно напомнил мне о наших с ней отношениях, с пониманием, как мужчина мужчине, так что я стоял перед ними, как баран, и только глазами лупал, когда он, Акам, очень прозрачно дал всем понять, что главные достоинства Медеи, безусловно, таятся в ее сугубо женских способностях, и никто не бросит в меня камень за то, что я ими попользовался. Однако именно поэтому я, конечно, не могу судить о деле беспристрастно. Больше всего мне хотелось врезать ему по морде. Вместо этого я сел и больше не то что слова не просил — глаз не поднимал. Да и о чем гово-

рить, когда все обговорено заранее. И роли расписаны. И приговор ясен. Не знаю, зачем им этот театр понадобился. Распинались так, будто их собственная жизнь от приговора зависит.

Зачем только я после еще раз к ней пошел? Почему не удержался? Она как раз котомку свою укладывала. На меня едва взглянула. Ах, Ясон, говорит, неужто я еще твою совесть должна успокаивать? А я всего лишь хотел объяснить ей, как оно все вышло и почему простой смертный вроде меня тут уж ничего поделать не может. Она рассмеялась.

— Простой смертный вроде тебя, — повторила она, — за которого вскоре царскую дочку выдадут. Только вот что я тебе скажу: не смей обижать Глауку, слышишь. Она-то тебя по-настоящему любит, и она хрупкая, очень хрупкая девочка. Царица из нее, правда, никакая, да и ты, мой дорогой Ясон, для Коринфа не царь, и это еще самое лучшее, что я сейчас о тебе могу сказать. И радости тебе все это не принесет. У тебя вообще очень немного радостей осталось. Так уж все устроено: не рады своей жизни не только те, кто претерпевает несправедливости, но и те, кто их творит. Я вообще часто спрашиваю себя: желание разрушать чужие жизни не тогда ли возникает, когда в своей желаний и радостей почти нет...

Вот так она говорила, а я, слушая ее, приходил в ярость. Рискуешь, не считаешься с запретами — и все ради того, чтобы тебя же поставили на одну доску с мрачными фигурами вроде Акама или вроде этого необузданного в своем тщеславии Пресбона, которого пригласили на совет свидетелем и который прямо раздулся от важности. Я давно его не видел и был неприятно поражен тем, как изменились, отвратительно расплылись черты его лица. Этот готов был дать против Медеи любые показания. Члены совета с презрительным одобрением внимали, как обвиняемую честит и поносит один из ее земляков. Во дворце такие выражения не приняты, этот тщеславный болван возомнил, будто ему теперь все дозволено, ну ему сперва дали поглумиться вволю, но едва он принялся возмущаться тем, что Медея помешала коринфянам поубивать всех рабов в храме, Акам оборвал его на полуслове грубым окриком «Хватит!», и Пресбон тут же послушно захлопнул свою грязную пасть. Он сделал свое дело. Однако время его на исходе, просто он этого не знает. А я знаю, находясь подле государя, я научился распознавать приметы.

Совсем другое дело Агамеда. Эта умнее Пресбона. Лучшей свидетельницы против Медеи коринфский царский дом и пожелать не мог — именно потому, что Агамеда тщательно избегала обронить хоть слово подозрения или тем паче обвинения против своей заклятой врагини. Я поневоле ею восхищался. Ей удалось скрыть, что она Медею ненавидит и до тех пор, пока та находится в стенах города, всегда будет видеть в ней соперницу. Я понял: в одном городе этим двум женщинам не жить. Думаю, Агамеда высказалась бы за смерть через побитие камнями, не существуй в Коринфе иной кары, приравниваемой к смертной казни, — изгнания; холодная жажда убийства светилась в ее глазах, покуда она, внешне очень спокойно, обрисовывала картину жизни и деяний Медеи в Коринфе, очень похожей на ту Медею, какой мы ее знаем, однако все ее поступки или, наоборот, бездействия перетолковывались так, что в конце концов перед нами предстала злоумышленница, которая давно и планомерно вела царский дом к погибели. Один раз я даже не выдержал и засмеялся, это когда Агамеда заботу Медеи о царевне Глауке назвала особо изощренным средством в достижении своей коварной цели. Однако укоризненные взгляды присутствующих ясно дали мне понять, насколько мой смех неуместен. Глаука рядом со мной и бровью не повела. И уж совсем мне стало не до смеха, когда Агамеда стала утверждать, что и меня Медея лишь использовала под предлогом супружества как орудие для проникновения в узкий круг приближенных царской семьи, а на самом деле давно уже утоляла свои женские прихоти на стороне. Так что я в итоге сидел, как петух ощипанный, и еще должен был выслушать имя любовника Медеи, ибо у Агамеды на каждый вопрос запасен немедленный ответ и каждое свое утверждение она готова подкрепить необходимыми именами и точным изложением всех обстоятельств. Это не женщина, а кобра, вместе с неприязнью к ней во мне росло и невольное восхищение. Так значит Ойстр. Этот каменотес. О боги...

Почти каждому из членов совета Агамеда как бы невзначай, вскользь и между прочим подбросила какую-нибудь мыслишку, имя, подозрение, с Медеей связанное, чтобы тому было над чем призадуматься, а главное, чтобы никто — вот и я тоже — о Медее ничего хорошего не то что сказать, даже помыслить не смел. Так что когда Медею наконец ввели, я ничего, кроме ярости, не испытывал. Теперь перед всем честным миром я был обманутый муж, а не она брошенная жена, что было бы в порядке вещей. А коли так, думал я, и поделом ей, потаскухе!

Изгнание.

Так-то вот. Это еще не самое худшее. Побледнела ли она? Я на нее не смотрел.

А дети?

Тут она встрепенулась, снова поискала глазами мои глаза, но искала напрасно.

— Без детей, — молвил Креонт. Это был единственный раз, когда он высказался самолично. — Дети Ясона получат подобающее им воспитание. Во дворце.

Тут я увидел, как она покачнулась, но снова выпрямилась, прежде чем стражники успели ее подхватить.

Однако, ко всеобщему удивлению, Агамеда и Глаука вдруг стали ратовать за то, чтобы детей она забирала с собой. Причины у них были, конечно, разные. Хотя, если как следует поразмыслить, одна-то причина у обеих общая: они не хотят, чтобы сыновья Медеи когда-нибудь претендовали на коринфский престол. Да кто сказал, что я этой худосочной Глауке ребенка сделаю, когда она моей женой станет? Что-то не больно меня одолевает желание, когда я под этими бесформенными черными тряпками ее косточки прощупываю. Я видел пренебрежительный взгляд Агамеды, скользнувший с Глауки на меня, видел, что и Глаука этот взгляд перехватила и точно так же, как я, расценила, а потом вдруг слышу — она говорит, хоть и тихонько так, но одно то, что она вообще отважилась заговорить на этом мужском собрании, само по себе вещь неслыханная.

Матери нужно оставить ее детей, говорила она. Не следует проявлять жестокость без нужды. Она действительно так думает, я не сомневаюсь. Только за этой мыслью еще кое-что кроется: ее неуверенность в том, способна ли она сама подарить Коринфу наследника, именно эта неуверенность и придала ей духу против неоправданной жестокости выступить. Только тут я начал понимать, что эта Глаука, пожалуй, будет не такой уж удобной женой, как я рассчитывал, отвлекся мыслями и не вполне хорошо запомнил фразу Акама, с помощью которой тот снисходительным тоном, каким говорят с неразумными детьми, отказывая им ради их же пользы в какой-нибудь вздорной просьбе, неожиданное и дерзкое заступничество обеих женщин отверг. Потом было еще одно маленькое, лишь немногими замеченное происшествие: Леукон, который явился позже других и выглядел очень измученным, внезапно поднялся со своего места неподалеку от двери и просто вышел. Невероятно, такое себе позволить, это же вопиющее неуважение к государю и против всех правил. Похоже, никто не захотел обратить на это внимание.

Медею вывели. Царь и его свита покинули зал. Надменные затылки, окаменевшие лица. Я с Глаукой следовал за ними. Глаука плакала. Когда мы пересекали двор и подходили к колодцу, она начала дергаться, руки вскинулись, и прямо около меня она грохнулась наземь, изо рта пена. Агамеда была тут как тут, словно ждала припадка. А у меня и без того уже черепушка раскалывалась. Это что же меня дальше-то ждет?

Я шел по городу, люди от меня шарахались, внезапно я очутился перед той лачугой у стены. Лисса хотела заступить мне дорогу, но Медея сказала:

— Впусти его. — Она спросила: — Чего ты еще хочешь?

Ее тон меня взбесил. Я хотел, чтобы она осознала свою неправоту. Хотел, чтобы она признала: я не в силах ей помочь. Она собирала свою котомку. Потом повязала голову платком. Сказала только: — Мне жаль тебя, Ясон.

Это уж слишком. Такое я не должен выслушивать. Ведь я мог и иначе. Дать выход своей ярости. Встряхнуть хорошенько, притиснуть к стене. Чтобы знала: никому не дозволено безнаказанно оскорблять Ясона. Чтобы зарубила себе на носу: на все эти бабьи хитрости у Ясона в запасе есть неистовый мужской гнев, он умеет быть очень

сильным, когда чувствует, как мягкая плоть, в которую он вцепился, вдруг становится податливой, когда он наконец-то видит в глазах женщины что-то вроде изумления, прежде чем она эти глаза закроет и отвернет голову, давая свершиться неизбежному. Мол, да. Я все поняла. Именно так и никак иначе. Женщин надо брать. Обламывать. Только так, силой, из самых недр, мы и извлекаем то, что пожаловано нам природой, — нашу всепоглощающую усладу.

Ни взгляда, ни слова больше. Я ушел. Больше я ее не видел.

10

В известном смысле эта планета напоминает «Арго»: посланная с второстепенной миссией, она влачится бесцельно, подверженная конечным превратностям времени.

Дитмар Кампер

Леукон

Вот они снова, высыпали, мои созвездия. Как я их ненавижу, эти пустоглазые повторения. Как мне все это опротивело. Я никому не мог бы в этом признаться — да и не осталось никого, кто захотел бы меня выслушать. Сидеть одному, пить вино и глазеть на бег светил. И снова и снова, хочешь не хочешь, видеть одни и те же картины, слышать одни и те же голоса, которые меня преследуют. Я не знал, сколько человек способен вынести. И вот теперь сижу и внушаю себе, что на этой способности выносить невыносимое, и жить дальше, и делать то, что привык делать, на этой противоестественной привычке и зиждется все существование рода человеческого. Когда я говорил это прежде, то были слова стороннего наблюдателя, ибо ты в этой жизни всего лишь наблюдатель, покуда не обретешь близкого себе, близкого настолько, что его несчастья будут надрывать тебе сердце.

Самой яркой из звезд, у которых еще не было имени, я дал имя Аретуза, и каждый раз испытываю одну и ту же боль, когда она закатывается на западном небосклоне, как вот сейчас. Меж всех этих дальних миров я один в этом, моем мире, который нравится мне тем меньше, чем яснее я его познаю. Познаю и, не стану отрицать, понимаю. Сколько себя ни испытываю. И сколь бы ни были ничтожны итоги этих испытаний, среди всех злосчастий и злодеяний последней поры, коих я был свидетелем, нет ни одного, где я не понимал бы обе стороны. Не извинял, чего нет — того нет, но понимал. Понимал людей в их ослеплении. Эта тяга все понимать иногда кажется мне пороком, от которого мне никогда не избавиться и который отделяет меня от других. Медее ведомо это чувство.

Разве смогу я когда-нибудь забыть последний взгляд, который она мне бросила, когда двое стражников, держа ее за плечи, вышвырнули ее из южных ворот города, но сперва ее, как принято у нас со всеми козлами отпущения, провели по улицам моего родного города Коринфа, что кишели толпами брызжущих ненавистью, орущих, харкающих, потрясающих кулаками людей. И я — кто бы мог поверить, — я испытал в своем роде зависть к этой женщине, когда ее, замаранную, заплеванную и измученную, под проклятья верховного жреца стражники пинками выбрасывали из города. Зависть, потому что она, ни в чем не повинная жертва, была свободна от внутреннего разлада. Потому что пропасть зияла не внутри нее, а между нею и теми, кто ее оклеветал, приговорил, тащил по улицам города, осыпал ругательствами и плевками. Потому что из грязи, в которую ее бросили, она смогла подняться и, вскинув руки и собрав остатки голоса, провозгласить: Коринф погибнет. И мы, стоявшие у ворот, расслышали эту угрозу и молча пошли по домам в мертвой тишине города, который, как мне казалось, без этой женщины разом обезлюдел. Но вместе с камнем, которым лежала у меня на душе судьба Медеи, я чувствовал и сострадание к коринфянам, этим несчастным, заблудшим, обманутым людям, которые в силах избавиться от своего

страха перед чумой и непостижимым небесным явлением, перед голодом и государевым произволом только одним способом — выместив свой страх на этой женщине. Все так прозрачно, до того очевидно лежит на поверхности, что от этого впору с ума сойти.

Чума идет на убыль, из богатых кварталов она уже отступила, со своей башни я уже вижу одну, от силы две повозки с трупами, тянущиеся перед наступлением темноты к городу мертвых. Любой может убедиться — мы правильно истолковали волю богов, когда изгнали колдунью из города. «Мы» — говорю я и почти не пугаюсь. Мы, коринфяне. Мы, справедливые. И я тоже пальцем не пошевельнул, чтобы ее спасти. Я же коринфянин. Куда как лучше признать это, лучше смаковать свою скорбь и стыд, который из ночи в ночь загоняет меня сюда, на башню. Чтобы снова и снова проворачивать в голове мысль, которая лишает меня рассудка: Аретуза, будь она жива, меня бы такого не захотела. Но я и с этой истиной смогу жить, я знаю. И сколько бы ни хватался за перила этой террасы и ни глядел вниз, я знаю: я никогда туда не брошусь. Я всегда оберегал невредимость моего тела. Так уж мы устроены, значит, какой-то в этом заложен смысл. И иногда я спрашиваю себя: что дает человеку право, что давало этой женщине право ставить нас перед решениями, до которых мы не доросли, но одна необходимость которых разрывает нам душу надвое, оставляя после себя чувство поражения и вины?

Почему я не могу быть как Ойстр? Ойстр работает как одержимый, заперся в своей мастерской, как медведь в берлоге, и никого не пускает. Себя запустил совершенно, не моется, бороду и рыжую шевелюру не расчесывает, почти не ест, только пьет из большой кружки, что стояла у Аретузы, и с яростью, которая меня просто пугает, рубит и рубит огромную, бесформенную каменную глыбу. Он не разговаривает, только смотрит, набычась, своими красными, воспаленными от каменной пыли и бессонницы глазами, я даже не знаю, узнает ли он меня вообще. Сам-то он изменился до неузнаваемости. Выйди он сейчас на улицу — дети в страхе и с визгом разбегутся. Не знаю, что он там хочет из своей глыбы извлечь, но в последний раз я вроде бы смог различить очертания двух фигур в неистовом объятии, все члены сплелись в каком-то безысходном противоборстве, в смертельной схватке. Спрашивать нельзя. Он уработается вусмерть. Так он хочет.

Ойстр утратил чувство всякой меры, как и Медея. В конце она не знала никакого удержу и была именно тем, кто коринфянам и требовался, — фурией. Такой ее и запомнили — как она, ведя за руки своих бледных, запуганных мальчиков, ворвалась в храм Геры, оттолкнула в сторону жрицу, которая пыталась ее остановить, и, подведя детей к алтарю, крикнула богине — скорее тоном угрозы, чем молитвы, — пусть она, Гера, защитит ее детей, раз она, мать, не в силах этого сделать. Как обязала жриц принять детей на попечение, что те с перепугу и из сострадания ей пообещали. Как потом говорила с детьми, пыталась их успокоить, потом обняла и, ни разу больше не оглянувшись, вышла из храма, чтобы тут же передать себя в руки стражников. Как все то время, когда ее вели по городу, исторгала из себя какое-то жуткое песнопение, вызывавшее у людей на улицах желание немедленно ее задушить. Похоже, она на то и рассчитывала, чтобы ее убили, но у стражников был строжайший приказ выдворить ее из города живой.

Позже, когда непоправимое уже случилось, из дворца были срочно высланы отряды — разыскать Медею, они искали и Лиссу, которая тоже исчезла, подвергли допросам с пристрастием немногих из оставшихся в живых колхидцев, чтобы выбить из них тайну местопребывания обеих женщин. Но те как сквозь землю провалились, хотя, казалось бы, за городскою стеной хоть день-деньской шагай — и то жилья не сыщешь. Теперь вот рьяно ищут пособников обеих беглянок, которые, быть может, увезли их верхом на лошадях, словом, делают хоть что-то, лишь бы только не признавать собственного бессилия и невозможности отомстить за погибель царской дочки. А еще — потому что хотят в зародыше уничтожить легенды, которые уже на все лады перепевает суеверный люд: будто сама богиня Артемида унесла их на своей запряженной змеями колеснице в самые безопасные края, в небесные кущи.

Бедняжка Глаука. Это было в тот самый день, когда изгнали Медею. Я сидел как

пришибленный в одной из дворцовых галерей. В своем жгучем презрении ко всему, что связано с царским домом, я не обратил внимания на крики женщин, доносившиеся со двора. И встрепенулся, лишь когда увидел Меропу, старую государыню, которая, опираясь на своих служанок, еле живая, тащилась через двор прямо к колодцу, вокруг которого суетилась горстка вопящих женщин. Потом я увидел, как эта горстка расступается, увидел трех рабов, которые тянут на веревке из колодца что-то необычно тяжелое, фигуру, всю в белом, — Глауку.

Безжизненное тело положили к ногам царицы, та опустилась на колени и прижала голову дочери к своему материнскому лону. И так застыла, надолго, и по двору постепенно расползлась тишина, какой я здесь еще не слыхивал. Мне показалось даже, что-то вроде скорби по всем жертвам, павшим на слепой стезе неразумия человеческого, кроется за этим молчанием. Потом в этой тишине я увидел Ясона — он шел через двор пошатываясь, будто его оглушили. Никто на него даже не оглянулся. Теперь, говорят, он день и ночь валяется под полусгнившим остовом своего корабля, за ненадобностью вытащенного на берег, а Теламон, его старый товарищ, худо-бедно снабжает его едой и выпивкой. Иногда, в ночи, я думаю, что ему тоже не спится, что, вероятно, и его глаза обшаривают сейчас черное небо и взгляды наши, быть может, встречаются где-нибудь в созвездии Ориона, которое в этом месяце стоит в зените. На Ясона я не в состоянии злиться. С таким противником, как Акам, где уж ему тягаться.

Этот теперь полный хозяин положения. Это он огласил заключение о смерти Глауки, которого теперь под страхом смерти обязан придерживаться каждый: Медея якобы послала Глауке пропитанное ядом платье, такой вот жуткий прощальный подарок, и когда Глаука его надела, яд сжег ей всю кожу, отчего бедняжка, вне себя от жгучей боли, в поисках спасительной остуды, и бросилась в колодец.

Однако дворец — место непростое, там сотни ушей и сотни уст, а каждые уста шепчут свое. Так вот, уста брошенной в самое глубокое подземелье и строжайше охраняемой служанки бедняжки Глауки нашептали кое-что другое: что это белое платье, которое было на Медее в день праздника Артемиды, она незадолго до суда действительно передала Глауке в подарок, сказав, пусть, мол, это будет ее свадебное платье, и пожелала царевне счастья, а Глаука со слезами ее за это платье благодарила. Только потом, когда Глаука после суда домой вернулась, после того, когда приговор уже был вынесен и изгнание Медеи приближалось, она на глазах с каждым часом становилась все беспокойнее. Начала бродить по дворцу и заползала в самые отдаленные уголки, где ее с трудом находили, дабы водворить обратно. Ясона ни за что на свете видеть не желала, а от Креонта отшатнулась чуть ли не с ужасом. Разговаривала только сама с собой, очень быстро и невнятно. Словом, совсем была не в себе, и непонятно, что она воспринимает, а что нет. От еды с явным отвращением отказывалась. О том, что происходит за стенами дворца, ей никто не рассказывал, это строжайше запрещено, однако у нее, должно быть, какое-то свое чутье было, так что в день, когда Медею по городу вели, Глаука, вся в слезах, металась по своей комнате и руками размахивала, а потом велела принести ей белое свадебное платье и, несмотря на увещевания служанки, надела. Только после этого она вдруг совершенно успокоилась, словно поняла, что́ ей теперь делать, в очень разумных выражениях сказала служанке, что хочет выйти во двор немного подышать воздухом, чему все, кто был к ней для охраны и присмотра приставлен, разумеется, только обрадовались. Так что она пошла во двор, за ней служанка и несколько стражников, она вела их очень хитро, кругами, незаметно приближаясь к колодцу. И вдруг — два быстрых шага, и она уже на краю. А следующий шаг — уже в пустоту, в пропасть. Говорят, ни звука не проронила.

Царя с тех пор никто не видел, он вроде бы в самом дальнем из своих покоев сидит и только Акама к себе допускает. Дни его сочтены. За его спиной уже идет борьба за его наследство. Меня это не волнует. Мне даже не любопытно, что еще такого Акам придумает для усиления своего влияния. Он, конечно же, первым делом постарается стереть память о недавних событиях. Пресбона и Агамеду, своих пособников, он уже из города сплавил. Вход в пещеру, где захоронена Ифиноя, с гибели которой все и началось, приказал замуровать. Меропа, престарелая государыня, теперь под домаш-

ним арестом. Всякий, кто был свидетелем неприглядных дел Акама, теперь вправе трепетать за свою жизнь. И я тоже. В тот день, когда бедняжка Глаука нашла свою смерть, он мне ясно дал это понять. У гроба мы стояли друг против друга. Что-то в моем взгляде заставило его содрогнуться. Меня пока что защищает эта его дрожь, а еще — мое равнодушие к собственной судьбе. Меня защищает то, что я вижу людей, в том числе и Акама, насквозь, и именно потому, как ни странно это звучит, не представляю для них опасности. Поскольку я не верю, что я сам или кто-либо другой может их изменить, я не стану соваться в убийственные жернова, которые они вращают. Нет, я сижу у себя, пью вино, которое мы с Медеей пили, и из каждой чаши отплескиваю несколько капель в память об умерших. Мне довольно смотреть на исчислимые перемещения звезд и дожидаться, когда тиски боли мало-помалу ослабнут. Уже скоро настанет утро, город начнет пробуждаться всегда с одними и теми же движениями, одними и теми же шумами, и так будет всегда, что бы ни случилось. Люди в своих утлых жилищах обратятся к повседневным заботам, ночью кто-то из них успел зачать ребенка, так оно и должно быть, для того они и живут.

Но нет, что-то там сегодня иначе, чем обычно. Толпа людей движется из храмового города. Я подхожу к перилам. Вот они уже столпились на площади, явно в победном настроении. По какому поводу торжество? От них исходит гул, как от роя потревоженных пчел. У меня взмокли ладони, что-то тянет меня вниз, к этим людям. В них все еще какое-то беспокойство, они не в силах разойтись, сбиваются в кучки и славят самих себя за то, что они совершили. Толпа колышется, я перебегаю от одного сборища к другому, хочу понять, о чем они говорят, — и боюсь понять. Так было надо, слышу я то и дело со всех сторон. Давно уже было ясно, что терпеть дольше нельзя. Только сделать никто не решался, вот и пришлось им.

Сквозь пелену перед глазами вижу я нового поверенного Акама, разбитного, хитрого малого, сквозь буханье собственного сердца слышу, как он, подойдя, спрашивает, что случилось, но так, словно уже все знает. Толпа на миг замирает, потом слышно много голосов сразу:

— Кончено дело. Им каюк.

— Кому? — спрашивает малый.

— Деткам, — слышится в ответ. — Пащенкам ее проклятым. Мы избавили Коринф от этой заразы.

— И как же вы их? — спрашивает малый с заговорщической миной.

— Камнями! — ревет толпа. — Как и положено!

Солнце встает. Как сверкают в первых утренних лучах гордые башни моего города...

11

Мужчины, отлученные от таинства рождения жизни, видят в смерти некое вместилище, которое, раз уж оно поглощает жизнь, кажется им могущественней самой жизни.

Адриана Каварера. Платону вопреки

Медея

Мертвы. Они их убили. Забили камнями, говорит Аринна. А я-то думала, их жажда мести пройдет, как только я уйду. Плохо же я их знала.

Меня Аринна не узнала, зато узнала Лиссу, свою мать, по родимому пятну на сгибе локтя. Как же она испугалась... Здешняя жизнь сильно изменила нас. Пещера. Беспощадное солнце летом, холод зимой. Лишайники, жуки, мелкие зверушки да муравьи — вот и вся наша пища. Мы стали бесплотными тенями наших прежних лет.

Мы, самонадеянные слепцы. Говорили о наших детях как о живых. Воображали, как они взрослеют из года в год. Видели в них наших грядущих мстителей. А оно вон

как: не успела я выйти за стены города, а их уже убили.

Какой изверг прислал сюда Аринну? Ужели это боги вздумали преподать мне такой урок, чтобы я снова в них поверила? Смех да и только. Я теперь выше этого. Сколько бы ни ощупывали они меня своими жуткими присосками, они не найдут во мне ни тени страха, ни тени надежды. Ничего, ровным счетом ничего. Любовь разбита, и даже боль кончается. Я свободна. Не ведая желаний, вслушиваюсь в пустоту, которая заполняет меня всецело.

А коринфяне, оказывается, все еще никак меня не прикончат. Чего только обо мне не говорят. Это, оказывается, я, Медея, убила своих детей. Я, Медея, хотела таким образом отомстить Ясону за его неверность.

— Да кто же этому поверит? — спрашиваю я.

— Все, — отвечает Аринна.

— И Ясон тоже?

— Его никто не слушает.

— А колхидцы?

— Эти все убиты, кроме нескольких женщин в горах, да и те совсем одичали.

Аринна говорит, на седьмой год после смерти моих детей коринфяне отобрали по семь мальчиков и семь девочек из самых знатных семей. Остригли им волосы. Отправили их в храм Геры, где они должны провести год, поминая в молитвах моих убитых детей. И так будет теперь каждые семь лет.

Вот оно, значит, как. Вот к чему все идет. Они позаботились о том, чтобы и последующие поколения звали меня детоубийцей. Но что им будет до такой безделицы супротив тех ужасов, на которые им самим придется оглянуться. Потому как мы ведь неисправимы.

Что мне остается? Проклясть их. Будьте вы все прокляты. Особенно же будьте прокляты — ты, Акам; ты, Креонт; ты, Агамеда; ты, Пресбон. Да будет вам послана скверная жизнь и жалкая смерть. Пусть до небес вознесется вопль вашей муки и оставит небеса безучастными. Я, Медея, вас проклинаю.

Куда мне теперь? Можно ли помыслить такой мир, такое время, где я пришлась бы к месту? Некого спросить. Это и есть ответ.

КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС

Пока мы лиц не обрели

Пересказанный миф

Перевод с английского И. КОРМИЛЬЦЕВА

От переводчика

Это последнее большое произведение известного английского писателя и апологета христианства Клайва С. Льюиса (1898 — 1963). Многие полагают, что и самое лучшее. Хотя мир Льюиса настолько разнообразен (как говорит один критик, писатель мог бы трижды сменить свое литературное имя и никто бы из почитателей не догадался, что и «Хроники Нарнии» и «Просто христианство» написаны одной рукой), что всякие хвалебные оценки здесь вряд ли уместны.

Существует красивая легенда: Льюис писал эту книгу, когда его жена Джой (сама история их отношений вполне могла бы стать другой легендой) умирала от рака, и читал ей готовые главы. Когда была написана и прочитана последняя глава, случилось чудо — болезнь отступила. Эта легенда не случайна — ведь в «Пока мы лиц не обрели» речь идет об искуплении Любовью. И об искуплении Любви.

На самом деле роман был написан весной 1954 года, еще в счастливые для Льюиса и Джой времена, а сам миф о Психее и Амуре заворожил Клайва (как и многих других писателей и художников до него), когда он был еще школьником: он наткнулся на краткий пересказ этой чарующей истории, листая «Мифологический словарь» Уильяма Смита. Неоднократно он возвращался к этому сюжету: пытался написать то балладу, то поэму и даже пьесу, но всегда бросал свой труд на середине. Может быть, для того, чтобы эта книга обрела свое лицо, нужно было самому столкнуться лицом к лицу с Любовью.

Посвящается Джой Дэвидмен

I

Глава первая

С тех пор как я стала старухой, месть богов более не страшит меня. Разве боги в силах повредить мне? У меня нет ни мужа, ни сына, ни друга, на которых мог бы обрушиться их гнев. Моя иссохшая плоть по привычке желает, чтобы ее мыли, питали и не по разу в день облачали в нарядные одежды, но мне не жаль моего тела — боги властны отнять у него жизнь, когда им заблагорассудится. Я уже позаботилась о наследнике — корона моя перейдет к сыну моей сестры.

Вот почему я не страшусь гнева богов, и вот почему я решилась написать эту книгу, ибо человек, которому есть что терять, никогда не осмелится написать подобную. В книге этой я буду обвинять богов: в первую очередь того, который обитает

© И.Кормильцев. Перевод, 1997

на Седой горе. Словно перед строгим судьей, я расскажу без утайки обо всем том зле, что этот бог причинил мне. Увы! Нет в мире такого суда, который рассматривал бы тяжбы между богами и смертными людьми, а бог Горы — я уверена — не ответит на мои обвинения. Болезни и страдания, которыми он волен меня наградить, — разве это достойный ответ? Я пишу на греческом языке, которому меня обучил мой наставник. Может случиться, что какой-нибудь странник из Греции посетит наш дворец, прочтет эту книгу и перескажет ее у себя на родине, где людям не возбраняется вести вольные речи даже о бессмертных богах. И может статься, тамошние мудрецы разберутся, справедливы ли мои обвинения, и удалось ли бы оправдаться богу Седой горы, снизойди он до ответа.

Меня зовут Оруаль, и я старшая дочь Трома, царя Гломского. Город наш Глом расположен на левом берегу реки Шеннит, в дне пути на северо-запад от Рингаля, селения у южных пределов нашего царства. Сам город отстоит от берега на расстояние, которое женщина проходит за треть часа; ближе к реке строить нельзя, ибо Шеннит по весне разливается. Летом же она пересыхает, и на илистых берегах, поросших камышом, во множестве гнездятся дикие утки. На том же удалении от Шеннитского брода, что и город, но на другом берегу реки стоит священный Дом Унгит. За ним на северо-востоке начинаются отроги Седой горы. Бог этой горы, возненавидевший меня, приходится Унгит сыном. В доме матери он, однако, не живет — Унгит там всегда одна. Она восседает в дальнем углу храма, окутанная мраком, и ее почти не видно. Только летом, когда свет высокого солнца проникает в капище через дымовые отверстия, богиню можно рассмотреть. Она из черного камня, и у нее нет ни головы, ни рук, но это могущественная богиня. Мой старый учитель, которого прозвали Лисом, утверждал, что греки зовут ее Афродитой, но я решила оставить все имена так, как они звучат на нашем языке.

Я начну повествование с того дня, когда умерла моя мать и мне обрили волосы на голове, как велит обычай. Лис (впрочем, тогда он еще не жил у нас) говорил, что этот обычай позаимствован нами у греков. Батта, наша нянька, вывела нас за ограду дворца, в сад, устроенный на склоне холма. Пока она брила голову мне и Редивали, младшей сестре моей, дворцовые рабыни толпились вокруг, причитая и бия себя в грудь — так они оплакивали смерть царицы. Редиваль была младше меня на три года: других детей, кроме нас, у царя тогда не было. В перерывах между рыданиями рабыни щелкали орешки, хихикали и перешептывались. Когда сверкнула бритва и золотые кудри Редивали упали на землю, все рабыни вздохнули и сказали: «Ах, какая жалость!» Когда же стали обривать голову мне, ни одна из них не проронила ни слова. Но больше всего мне запомнилось, как холодна была выбритая кожа на моей голове и как солнце пекло мне открытый затылок, когда мы с Редивалью копались в грязи на берегу реки вечером того же дня.

Наша нянька Батта была крупная женщина со светлыми волосами и грубыми большими руками. Отец купил ее у торговцев с Севера. Когда мы изводили ее своими проказами, она ворчала:

— Ну погодите! Вот приведет ваш отец в дом новую царицу, тогда узнаете! Поживете с мачехой, наедитесь прогорклого сыра заместо медовых пряников, да напьетесь кислого молока заместо красного вина...

Но не успела еще во дворце появиться новая царица, как наша жизнь уже изменилась. В тот день, помню, стоял ужасный мороз. Редиваль и я даже надели сапожки (обычно мы ходили босиком или в легких сандалиях). Мы катались по льду на заднем дворе в старой части дворца, там, где стены сложены из бревен, а не из камня. От двери стойла и до большой навозной кучи все заледенело, но лед был неровным от отпечатков копыт, застывших луж молока и свежих коровьих лепешек, так что кататься нам было нелегко. И тут на двор вышла Батта; кончик носа ее пламенел от мороза. Она крикнула нам:

— А ну-ка, замарашки! Умойтесь и идите к Царю. У него для вас кое-что есть, чтоб мне провалиться! Скоро у вас начнется совсем другая жизнь!

— Неужто мачеха приехала? — спросила Редиваль.

— Нет, куда хуже! — ответила Батта, утирая Редивали нос краем своего фарту-

ка. — Ну и достанется вам шлепков, щипков и зуботычин! Вот уж наплачетесь вдосталь!

Затем она отвела нас в новую часть дворца, туда, где стены все из побеленного кирпича, а на каждом углу — дворцовые стражи, облаченные в доспехи. В Столбовой зале, у очага, над которым висят звериные шкуры и охотничьи трофеи, стоял наш отец и с ним еще трое. Эти люди в одежде путников были нам знакомы; трижды в год они являлись во дворец с товарами. Торговцы укладывали в мешок весы, на которых отвешивают серебро, и мы поняли, что только что состоялась сделка. Один из них сворачивал цепь, на которой водят пленников. Мы увидели стоявшего рядом низенького щупленького человечка и поняли, что наш отец купил нового раба. На ногах у раба были язвы от колодок, но в остальном он ничуть не походил на тех рабов, к которым мы привыкли. Глаза у него были совсем голубые, а волосы — там, где их еще не тронула седина, — рыжие.

— Скоро в моем доме появится наследник, — сказал, обращаясь к рабу, наш отец. — Я хочу, грек, чтобы ты передал ему всю премудрость твоего народа. А покамест можешь поучить вот этих (тут он показал на меня с Редивалью). Если ты сумеешь вбить хоть что-нибудь в голову девке, то ты и верно учитель.

Перед тем как отослать нас, отец прибавил:

— Займись в первую очередь той, что постарше. Может, она хоть будет умной — ни на что другое она не годна.

Я не поняла, что именно имел в виду отец, но уже привыкла к тому, что люди всегда говорят обо мне как-то странно.

Я полюбила Лиса (такое прозвище дал греку мой отец) так, как не любила до той поры никого другого. Можно было ожидать, что человек, рожденный в Греции свободным, но попавший на войне в плен и проданный в рабство варварам, должен был отчаяться. Отчаяние действительно временами завладевало Лисом, и, может быть, гораздо чаще, чем я, маленькая девочка, могла заметить. Но я никогда не слышала, чтобы он роптал на судьбу, никогда не слышала, чтобы он хвастал, как это делали другие рабы, высоким положением, которое занимал у себя на родине. Он часто утешал себя высказываниями вроде «Весь мир — одна деревня, и мудрец в нем нигде не изгнанник» или же «Вещи сами по себе ни дурны, ни хороши — мы только мним их таковыми». Но я полагаю, что бодрость духа он сохранял не благодаря этим рассуждениям, а потому, что был необычайно любознателен. Я никогда не встречала другого человека, который задавал бы столько вопросов. Он словно хотел знать все на свете не только о нашей стране, языке нашего племени, наших богах и предках, но даже о цветах и деревьях, растущих в нашем краю.

Вот как получилось, что я рассказала ему об Унгит, о девушках, которые живут в ее доме, о подарках, которые невесты приносят богине, и о том, что, если страну постигает какое-нибудь бедствие, мы перерезаем горло жертве на алтаре богини и окропляем Унгит человеческой кровью. Он содрогнулся, когда услышал это, и что-то пробормотал в сторону, но затем сказал вслух:

— И все-таки она — Афродита, хотя в ней больше сходства с Афродитою вавилонян, чем с нашей богиней. Послушай, я расскажу тебе про Афродиту греков.

Тут голос его стал глубоким и нежным, и он поведал мне, как греческая Афродита влюбилась в царевича Анхиза, пасшего стада отца на склонах горы Ида. Когда богиня спускалась по травянистым кручам к пастушьей хижине, львы, рыси, медведи и прочие твари подползали к ее ногам, покорные, как собаки, а затем расходились парами и предавались любовным утехам. Но Афродита скрыла свою божественную природу и явилась в хижину Анхиза в образе смертной женщины и возлегла с ним на ложе. На этом, как мне показалось, Лис хотел закончить рассказ, но, поддавшись очарованию предания, поведал, что было дальше: Анхиз, проснувшись, увидел Афродиту — богиня стояла в дверях хижины, сбросив с себя обличье смертной женщины. Тогда царский сын понял, с кем он провел эту ночь. Он в ужасе закрыл глаза рукой и вскричал: «Лучше убей меня сразу!»

— Конечно, ничего этого на самом деле не было, — поспешил прибавить грек. — Все это выдумки поэтов, дитя мое. Такое противоречит природе вещей.

Но и того, что он сказал, хватило мне, чтобы догадаться: хотя богиня греков красивее, чем наша Унгит, она так же жестока.

Таков уж был Лис — он словно стыдился своей любви к поэзии. («Все это сказки, дитя мое!» — не уставал повторять он.) Мне приходилось немало корпеть над тем, что он называл «философией», для того чтобы уговорить его почитать мне стихи. Так, понемногу, я познакомилась с песнями греков. Превыше всего мой учитель ставил стихотворение, которое начиналось словами «Труд человеку стада добывает и всякий достаток»[1], но я знала, что он кривит душой. По-настоящему он волновался, когда декламировал «В стране, где в ветках яблонь шумит прохлада» или же:

Луна и Плеяды скрылись,
А я все одна в постели...[2]

Когда он пел эту песню, глаза его блестели, а в голосе почему-то звучала неподдельная жалость ко мне. Лис любил меня больше, чем мою сестру, потому что Редивали не нравилось учение, и она постоянно осыпала Лиса издевками и насмешками и часто подговаривала других рабов против нашего учителя.

Летом мы обычно занимались в саду, сидя на маленькой лужайке в тени грушевых деревьев; там мы и попались как-то раз на глаза Царю. Разумеется, мы тут же вскочили на ноги, скрестили руки на груди и опустили глаза долу. Так было положено встречать повелителя детям и рабам. Царь дружелюбно похлопал Лиса по спине и сказал:

— Радуйся, грек! Волей богов тебе скоро доведется учить наследника! Возблагодари небо, ибо не часто простому греческому бродяге выпадала столь великая честь. Мой будущий тесть — великий человек. Тебе-то до этого, конечно, и дела нет. В величии ты понимаешь не больше вьючного осла. Все греки — бродяги и оборванцы, верно?

— Разве не одна и та же кровь течет в жилах у всех людей, хозяин? — спросил Лис.

— Одна и та же кровь? — изумился Царь, выпучив глаза. Затем он грубо захохотал и сказал: — Пусть я сдохну, если это так!

Вот и вышло, что не Батта, а сам Царь известил нас о скором появлении мачехи. Мой отец очень удачно посватался. Ему отдавали в жены третью дочь царя Кафадского, самого могущественного властителя в наших землях. (Теперь-то я знаю, почему властитель Кафада снизошел до нас. Единственное, что не перестает меня удивлять, — как сам царь Гломский не заметил, что сосед согласился на этот брак не от хорошей жизни.)

Свадьбу сыграли очень скоро, но в моей памяти приготовления к ней тянулись целую вечность. Дворцовые ворота выкрасили в ярко-красный цвет, в Столбовой зале по стенам развесили новые шкуры, а за брачное ложе мой отец заплатил куда больше, чем мог себе позволить. Ложе было сделано из редкого дерева, которое привозят с Востока. Говорили, что оно обладает волшебными свойствами и что из каждых пяти детей, зачатых на нем, четверо — мальчики. («Все это сказки, дитя мое! — сказал мне Лис. — Такие вещи зависят от естественных причин».) День свадьбы приближался; во дворец сгоняли целые стада, двор был уже залит бычьей кровью и завален шкурами, а бойне все, казалось, не будет конца. На кухне варили и жарили мясо, но нам, детям, не удавалось даже толком поглазеть на эти увлекательные приготовления, потому что Царь вбил себе в голову, что Редиваль и я вместе еще с двенадцатью девочками из благородных семейств должны будем петь свадебный гимн. И не обычный, а греческий, на зависть всем окрестным царям.

— Но, хозяин... — пытался спорить Лис со слезами в глазах.

— Грек, ты должен научить их! — неистовствовал отец. — Зря я, что ли, набивал твое греческое брюхо вином и мясом? Я хочу греческих песен, значит, они у меня будут! Никто не заставляет тебя учить их греческому. Зачем им понимать слова — главное,

---

[1] *Гесиод*. Труды и дни. (*Перев. В.Вересаева*).
[2] *Сафо*. (*Перев. В.Вересаева*).

чтобы пели погромче. Берись за дело без промедления, иначе я велю порезать твою шкуру на ремни!

Это была безумная затея. Позже Лис не раз говорил, что он окончательно поседел, пытаясь обучить варваров греческому пению.

— Я был рыжим, как лис, — вздыхал он, — а стал седым, как барсук.

Когда мы наконец разучили гимн от начала до конца, отец пригласил во дворец Жреца Унгит, чтобы тот послушал, как мы поем. Я боялась Жреца, но совсем не так, как боялась своего отца. Ужас внушал мне запах, который источал Жрец. Это был запах святости, запах храма, запах жертвенной крови (обычно голубиной, но иногда — человеческой), запах горелого жира, паленых волос и прогорклого ладана. Это был запах Унгит. Еще ужаснее были одежды Жреца, сделанные из звериных шкур и сушеных рыбьих пузырей, а на груди у служителя Унгит висела страшная маска в виде птичьей головы. Казалось, что клюв растет у этого человека прямо из сердца.

Разумеется, он не понял ни слова, музыка тоже оставила его равнодушным. Он спросил только, будем ли мы петь с покрытыми лицами или нет.

— Ну и вопрос! — воскликнул отец, громко захохотав по своему обыкновению. — Неужто ты думаешь, что я хочу насмерть перепугать невесту? — и с этими словами он ткнул пальцем в мою сторону. — Конечно, они покроют лица. И я сам позабочусь, чтобы нигде ничего не просвечивало.

Одна из девушек захихикала, и, кажется, именно тогда я в первый раз поняла, что родилась уродиной.

После этого я стала бояться будущей мачехи еще пуще прежнего. Мне казалось, что из-за моего уродства она будет обходиться со мной строже, чем с Редивалью. Дело было не только в том, что нам сказала Батта: и от других мне доводилось слышать страшные рассказы о мачехах. В ту ночь, когда мы столпились под портиком дворца и пели гимн, стараясь петь, как учил нас Лис, — ужасные вещи, которые творили мачехи с падчерицами в этих сказках, проносились у меня в голове. Мы ничего не видели, ослепленные ярким светом факелов, а Лис бегал перед нами, кивая нам в знак одобрения или вздымая руки, когда мы делали что-то не так. Снаружи доносились приветственные крики, затем принесли еще факелов, и мы увидели, что невесту поднимают с колесницы и ведут во дворец. Она была укутана в покрывала еще плотнее, чем мы, и я смогла понять только, что это — крохотная женщина, почти ребенок. Страхи мои от этого стали только сильнее, ведь у нас говорится, что маленькая змея жалит злее. Затем, не прекращая петь, мы проводили невесту на брачное ложе и там сняли с нее покровы.

Теперь я понимаю, как она была хороша собой, но тогда я этого не заметила. Я только поняла, что невеста испугана еще больше, чем мы сами. Ее маленькое личико не выражало ничего, кроме ужаса. Я догадалась, что она увидела моего отца, когда тот вышел навстречу свадебному поезду к воротам, увидела его грубое лицо, мощное тело, услышала его громкий голос, и все ее девичьи страхи разыгрались тут же с новой силой.

Мы сняли с невесты бесчисленные одежды, отчего она стала еще меньше, оставили ее дрожащее бледное тело на царской постели и выскользнули из опочивальни, чувствуя на себе взгляд ее огромных испуганных глаз. Пели мы в тот вечер, надо сказать, ужасно.

Глава вторая

Я не могу рассказать почти ничего о второй жене моего отца, потому что она не прожила в Гломе и года. Она понесла сразу же после свадьбы, отчего Царь пришел в наилучшее расположение духа. Встречая Лиса, он никак не мог удержаться, чтоб не поговорить с ним о еще не родившемся царевиче. Каждый месяц отец приносил Унгит богатые жертвы. Я не знаю, как ладил он с Царицей, и только однажды мне удалось подслушать их разговор. Я сушила волосы на солнце после купанья, выставив голову в окно, выходившее в сад. Царь и Царица в это время прогуливались под окном.

— Похоже, девочка моя, меня крупно надули, — говорил отец. — Мне сказали, что тесть мой потерял уже два или три города, хотя сам он пишет мне, что дела идут как нельзя лучше. С его стороны было бы честнее сказать мне сразу, что лодка идет ко дну, прежде чем приглашать прокатиться.

Так или иначе, люди говорили, что Царица томится от тоски по своей южной родине и с трудом переносит нашу суровую зиму. Она бледнела и сохла, и я окончательно убедилась в том, что мачеха не представляет для меня никакой угрозы. Наоборот, первое время дочь Кафадского царя сама очень боялась меня, но потом привыкла и даже полюбила робкой сестринской любовью. Она вообще казалась мне скорее сестрой, чем мачехой.

Когда настал день родов, никому из нас не позволили лечь в постель. Поверье гласит, что, если в доме будут спать, душа родившегося младенца не сможет проснуться и он умрет. Мы собрались в большой комнате, между Столбовой залой и опочивальней Царицы. На потолке плясали отблески факелов, постоянно шипевших и гаснувших от жуткого сквозняка, потому что в доме были настежь открыты все двери. Двери нельзя закрывать, иначе может затвориться чрево роженицы. Посреди залы развели огромный костер. Каждый час Жрец Унгит девять раз обходил вокруг очага и что-то бросал в огонь. Отец сидел неподвижно в своем кресле. Он даже ни разу не пошевелился за ночь.

Я сидела рядом с Лисом.

— Дедушка! — шепнула я ему. — Мне страшно!

— Не следует бояться того, что в природе вещей... — тоже шепотом ответил он мне.

Должно быть, после этого я задремала и проснулась только оттого, что вокруг меня женщины выли и били себя в грудь, как это они делали, когда умерла моя мать. Все кругом переменилось, пока я спала. Костер погас, кресло Царя опустело, дверь опочивальни наконец закрыли, и оттуда уже не раздавались ужасные крики и стоны. Видимо, пока я спала, совершили жертвоприношение, потому что на полу была кровь, а Жрец Унгит деловито обтирал свой священный нож. Я была сама не своя после тяжелого сна, и мне почему-то пришло в голову пойти и навестить Царицу. Но не успела я дойти до двери, как меня настиг и остановил Лис.

— Доченька! — прошептал он. — Не надо, я прошу тебя. Ты сошла с ума. Ведь Царь...

В это время дверь распахнулась и на пороге показался мой отец. Лицо его ужаснуло меня, оно было бледным от дикой ярости. Я хорошо знала, что, когда лицо Царя краснеет от гнева, он может кричать и топать ногами, но ничего страшного не последует. Но если от гнева он становился бледным, кому-то это могло стоить жизни.

— Вина! — сказал он тихим голосом, что тоже было дурным знаком. Перепуганные рабы вытолкнули вперед мальчика-слугу, любимца моего отца. Отрок, одетый в роскошное платье (мой отец одевал слуг весьма богато), был, пожалуй, даже бледнее своего господина и повелителя. Он схватил кувшин вина и царскую чашу и устремился с ними к моему отцу, но поскользнулся в луже крови, зашатался и выронил из рук свою ношу. Быстрее молнии Царь выхватил из ножен короткий клинок и вонзил его под ребра неловкому слуге. Мальчик рухнул в лужу вина и крови, в предсмертных судорогах толкнул кувшин, и тот с грохотом покатился по неровному полу. (Никогда до этого я не замечала, что пол в нашем дворце так плохо вымощен; став царицей, я немедленно повелела вымостить его заново.)

На мгновение мой отец уставился на окровавленный клинок; взгляд его казался удивленным. Потом он тихо подошел к Жрецу Унгит и вкрадчиво спросил:

— Что ты теперь попросишь у меня для своей богини? Пусть она лучше вернет мне то, что у меня забрала. Или, может, ты мне заплатишь за весь мой добрый скот?

Затем, помолчав, он добавил:

— Скажи мне, прорицатель, что ты будешь делать, если я повелю раскрошить твою Унгит молотом в порошок, а наковальней сделаю твое тело?

Но Жрец оставался бесстрастно-спокойным — казалось, он совсем не боится Царя.

— Унгит слышит тебя, повелитель, даже сейчас, — сказал он. — Унгит ничего не забывает. Ты уже сказал довольно для того, чтобы проклятие легло на весь твой род.

— Мой род? — переспросил Царь. Он не повысил при этом голоса, но видно было, что его всего трясет от гнева. — Ты говоришь о моем роде?

В этот миг краем глаза он заметил лежавший на полу труп мальчика.

— Кто сделал это? — спросил он, оборачиваясь к нам. Разглядев в толпе меня и Лиса, он не выдержал и наконец заорал голосом таким громким, что, казалось, крыша вот-вот рухнет на наши головы.

— Девки, девки, девки! — рычал он. — Мало мне их, так боги послали еще одну! Будет ли этому конец, я спрашиваю? Неужели бабьих душ на небе как дождевой воды? Ты... ты... ты... я... — и, задыхаясь от ярости, он схватил меня за волосы и рванул так, что я отлетела в другой конец залы и там упала. Я не заплакала: бывают такие мгновения, когда даже ребенок понимает, что лучше не подавать голоса. Когда я очнулась, я увидела, что мой отец уже вцепился в горло Лису и трясет изо всех сил бедного грека.

— Старый мошенник! — кричал отец. — Сколько времени ты жрал мой хлеб, а толку от тебя меньше, чем от собаки! Завтра же отправишься на рудники, бездельник! Неделю протянешь — и то польза!

Никто не проронил ни слова. Тогда Царь в гневе воздел руки к небу, страшно затопал ногами и заорал еще громче прежнего:

— Да что вы на меня все уставились, подлые рожи! У меня от вас на душе тошно! Прочь отсюда! Вон! Чтобы ни одного не видел.

Мы выбежали из залы, толкаясь и падая в дверях.

Я и Лис выскользнули через маленькую калитку, выходившую на огород, и оказались снаружи. Уже светало, накрапывал мелкий дождик.

— Дедушка, — сказала я, всхлипывая, — бежим! Прямо сейчас, пока они не пришли за тобой!

Старик покачал головой.

— Я слишком стар, — сказал он. — Далеко мне не убежать. А что делает наш Царь с беглыми рабами — не мне тебе объяснять.

— Но они отправят тебя на рудники! Бежим, я убегу вместе с тобой. Если нас поймают, я скажу, что я тебя подговорила. Стоит нам оказаться там, и они нас уже не догонят!

С этими словами я показала на кряжистую вершину Седой горы, темневшую в тусклом свете дождливой зари.

— Не говори ерунды, доченька, — ответил учитель и погладил меня по головке, как маленькую. — Они подумают, что я украл тебя, чтобы продать в рабство. Нет, если уж бежать, так в такую страну, где им меня не поймать. Ты должна мне помочь. Послушай, у реки растет трава с красными пятнышками на стебле. Мне нужен ее корень.

— Это яд?

— Разумеется. Ах, дитя, да не плачь ты так! Разве я не говорил тебе, что человек вправе расстаться с жизнью при определенных обстоятельствах? Разве я не объяснял тебе, что это не противоречит природе вещей? Мы должны смотреть на нашу жизнь как на...

— Говорят, что те, кто поступает так, там, в стране мертвых, осуждены вечно барахтаться в вонючей грязи.

— Ну что ты! Это все варварские предрассудки. Разве я не объяснял тебе, что после смерти мы распадаемся на составные элементы? Неужели я рожден на свет только для того, чтобы...

— Я знаю, я знаю все это, дедушка! Но разве ты не веришь хоть чуточку во все, что говорят о богах и нижнем мире? Я знаю, что веришь — иначе отчего ты дрожишь?

— Увы, это дрожит моя слабая плоть и предает мою богоравную душу! Какая жалкая слабость перед достойным концом! Но хватит об этом — мы только теряем попусту время.

— Послушай! — вдруг воскликнула я. — Что это такое?

Мне было так страшно, что я вздрагивала от любого шороха.

— Это скачут кони, — сказал Лис, напряженно всматриваясь во влажную мглу. — Вот всадники подъехали к главным воротам. Судя по одежде, это послы из Фарсы. Вряд ли их визит улучшит Царю настроение. Вот что, доченька... о Зевс! Поздно, уже слишком поздно!

Последние слова учитель промолвил, услышав, как во внутренних покоях кличут:

— Лиса, Лиса к Царю, срочно!

— Им даже нет нужды волочь меня волоком — я сам приду, — сказал Лис и поцеловал меня, как это принято у греков, в глаза и лоб.

— Прощай, доченька! — сказал он мне, но я все равно пошла за ним. Я не знала, что мне делать при встрече с отцом — умолять его на коленях, проклясть или убить. Когда мы вошли в Столбовую залу, мы увидели там много незнакомых людей. Заметив Лиса в проеме двери, Царь закричал:

— Эй, Лис, иди сюда! У меня для тебя полно работы!

Затем он заметил меня и прибавил:

— А ты, образина, проваливай на женскую половину, а то от одного твоего вида вино прокисает прямо в кружках!

Я не помню, чтобы мне когда-нибудь еще в жизни (если не говорить о делах божественных) доводилось прожить целый день в таком страхе, как тогда. Я не знала, как относиться к последним словам Царя: с одной стороны, они звучали так, словно гнев его поумерился, с другой — он мог разгореться в любое мгновение с новой силой. Кроме того, я знала, что иногда отец бывает жесток, даже когда не испытывает гнева: порой ему доставляло удовольствие поизмываться над жертвой, просто исполняя произнесенную им в порыве гнева угрозу. Ему случалось и прежде отправлять на рудники старых домашних слуг. Но мне не удалось надолго остаться наедине с моими страхами, потому что пришла Батта и стала обривать голову мне и Редивали, как она это делала в день смерти моей матери. Батта рассказала нам, цокая языком от упоения, как Царица умерла родами (о чем я знала уже с утра) и как она родила живого ребенка, девочку. Бритва прикоснулась к моей голове, и я подумала, что, если Лиса пошлют на рудники, это будет траур и по нему. Мои волосы падали на пол, тусклые, прямые и короткие, и ложились рядом с золотыми кудрями Редивали.

Вечером пришел Лис и сказал мне, что о рудниках и речи нет — по крайней мере пока. То, что мне прежде было в тягость, вдруг оказалось спасением: все чаще и чаще Царь заставлял Лиса прерывать занятия с нами и отправляться в Столбовую залу, потому что отец мой внезапно уразумел, что грек умеет считать, читать и писать (сперва только по-гречески, но вскоре он выучился писать и на языке нашего народа), а также, что лучшего советчика не найти во всем Гломе. В тот самый памятный день Лис помог моему отцу заключить с послами Фарсы такой договор, о котором Царь не смел и мечтать. Лис был истинным греком: там, где мой отец мог сказать только «да» или «нет», Лис говорил «да», которое ни к чему не обязывало, и «нет», которое было слаще, чем мед. Он умел заставить слабого поверить в наше расположение, а сильного — в наше несуществующее превосходство. Лис был слишком полезным рабом, чтобы посылать его на смерть в рудники.

На третий день тело Царицы предали огню, и мой отец дал имя ребенку. Он назвал дочь Истрою.

— Чудесное имя, — сказал на это Лис. — Просто чудесное имя. Ты уже знаешь довольно по-гречески, так скажи, как ее звали бы на моем языке.

— В Греции ее звали бы Психеей, дедушка, — сказала я.

Младенцы во дворце никогда не переводились; у нас было полно детей дворцовых рабов и незаконнорожденных отпрысков моего отца. Иногда отец в шутку ворчал:

— Похотливые распутники! Порою мне кажется, что этот дворец принадлежит не мне, а Унгит! Вот возьму и перетоплю всех выблядков, как слепых котят! — но на самом деле он испытывал даже нечто вроде уважения к тому рабу, которому удавалось обрюхатить половину наших рабынь, особенно когда у тех рождались мальчики. (Девочки, если Царь не брал их в свой гарем, обычно по достижении зрелости

продавались на сторону или посвящались Унгит и уходили жить в ее дом.) Я относилась хорошо к Царице, можно сказать, любила ее, поэтому, как только Лис развеял мои страхи, я отправилась посмотреть на ребенка. Так получилось, что в короткое время ужас оставил меня и на место его пришла радость.

Ребенок был очень крупным; даже не верилось, что его мать была такой хрупкой и маленькой. У девочки была чудесная кожа, словно излучавшая сияние, отсвет которого озарял тот угол комнаты, где стояла колыбелька. Малютка спала, и было слышно, как ровно она дышит. Надо сказать, что мне никогда больше не доводилось видеть такого спокойного младенца. Сзади ко мне подошел Лис и посмотрел через мое плечо.

— Пусть меня назовут дураком, но, клянусь богами, я и впрямь начинаю верить, что в жилах вашего рода течет кровь небожителей, — прошептал он. — Это дитя подобно новорожденной Елене.

Ухаживать за ребенком поручили Батте и кормилице, рыжеволосой мрачной женщине, которая (как, впрочем, и Батта) слишком часто прикладывалась к кувшину с вином. Я отослала ее, едва представилась возможность, и нашла для ребенка кормилицу из свободнорожденных, жену одного крестьянина, здоровую и порядонную женщину. Я перенесла ребенка в свою комнату, и он оставался там вместе с нянькой ночью и днем. Батта с удовольствием переложила заботу о девочке на наши плечи. Царь знал обо всем, но ему было все равно. Только Лис сказал мне:

— Доченька, побереги себя, не изводи столько сил на ребенка, даже если он прекрасен, как бессмертные боги!

Но я только рассмеялась ему в лицо. Кажется, я никогда больше в жизни так много не смеялась, как в те далекие дни. Беречь себя! Да один взгляд на Психею заменял мне ночной сон и придавал мне сил. Я смеялась вместе с Психеей, а Психея смеялась весь день напролет. Она научилась смеяться уже на третьем месяце жизни, а лицо мое стала узнавать на втором (хотя Лис в это так и не поверил).

Так начались лучшие годы моей жизни. Лис души не чаял в ребенке, и я догадалась, что давным-давно, когда грек был еще свободным человеком, у него тоже была дочка. Теперь он и впрямь чувствовал себя дедушкой. Мы проводили все время втроем — я, Психея и Лис. Редиваль и прежде не любила общества Лиса и приходила на уроки только из страха перед Царем. Теперь, когда Царь словно и думать забыл о том, что у него три дочери, Редиваль была предоставлена самой себе. Она вытянулась, грудь у нее налилась, длинные ноги подростка округлились — она хорошела на глазах, но было ясно, что ей никогда не стать такой же красивой, как Психея.

Красота маленькой Психеи — надо сказать, у каждого возраста есть своя красота — была той редкой красотой, которую признают с первой же встречи любой мужчина и любая женщина. Красота Психеи не потрясала, как некое диво, — пока человек смотрел на мою сестру, ее совершенство казалось ему самой естественной вещью на свете, но стоило ему уйти, как он обнаруживал, что в его сердце остался сладкий, неизгладимый след. Как любил говорить наш учитель, красота девочки была «в природе вещей»; это была та красота, которую люди втайне ожидают от каждой женщины — да что там! — от каждого неодушевленного предмета, — но не встречают почти никогда. В присутствии Психеи все становилось прекрасным: когда девочка бегала по лужам, лужи казались красивыми, когда она стояла под дождем, казалось, что с неба льется чистое серебро. Стоило ей подобрать жабу — а она питала странную любовь к самым неподходящим для любви тварям, — и жаба тоже становилась прекрасной.

Годы шли один за другим своим обычным чередом, случались, очевидно, и зимы, но я их не помню — в памяти остались только весны и лета. Мне кажется, что в те годы вишня и миндаль зацветали раньше и цвели дольше, чем теперь, и даже неистовый ветер не мог оборвать их розовые, как кожа Психеи, лепестки. Я смотрела в глаза сестры, голубые, как весеннее небо и вода ручья, и жалела, что я не жена Царя и не мать Психеи, жалела, что я не мальчик и не могу влюбиться в нее, жалела, что я довожусь ей только единокровной сестрой, жалела, что она — не моя рабыня, потому что тогда я смогла бы даровать ей свободу и богатство.

Лис пользовался к тому времени у Царя таким доверием, что, когда отец не нуждался в его услугах, учитель мог гулять с нами где угодно и даже вдали от дворца. Часто мы проводили летние дни на вершине холма к юго-востоку от Глома, откуда открывался прекрасный вид на весь город и на вершину Седой горы. Мы до того хорошо изучили ее зазубренный гребень, что знали там каждую скалу и каждую расселину, хотя никто из нас никогда не бывал так далеко от города. Психея влюбилась в Гору с первого взгляда.

— Когда я вырасту, — говорила она, — я стану великой царицей и выйду замуж за самого великого царя, и он построит мне дворец из золота и хрусталя на вершине этой горы.

Лис захлопал от восторга в ладоши и вскричал:

— Ты будешь прекраснее Андромеды, прекраснее Елены, прекраснее самой Афродиты!

Хотя полдень был жарким и скалы вокруг пылали огнем, я почувствовала при этих словах Лиса, будто чьи-то холодные пальцы прикоснулись слева к моей спине.

— Как бы тебе не накликать на нас беды такими словами, дедушка! — сказала я.

Но он, как я и думала, только рассмеялся и сказал:

— Это твои слова, доченька, принесут нам несчастье. Разве я не учил тебя, что боги не ведают зависти?

Но я осталась при своем мнении. Я знала, что Унгит не по душе такие разговоры.

Глава третья

Нашим счастливым дням скоро пришел конец, и не без помощи Редивали. У нее всегда был ветер в голове и одно распутство на уме, и вот она не придумала ничего лучшего, как целоваться и шептаться о любви с молодым человеком из дворцовой стражи по имени Тарин прямо под окном у Батты. Дело было за полночь; Батта, перепив вина, отправилась в постель еще до заката и поэтому проснулась ни свет ни заря. Заметив парочку, она, будучи прирожденной доносчицей, отправилась к Царю, разбудила его и поделилась с ним новостью. Царь, вне себя от гнева, осыпал Батту проклятиями, но все-таки поверил ей. Он оделся, взял с собой двух стражников, явился в сад и застал там любовников врасплох. Поднялся такой шум, что все во дворце проснулись. Царь послал за цирюльником и приказал оскопить Тарина прямо на месте преступления (когда рана зажила, юношу отправили в Рингаль и там продали). Не успели стихнуть крики и рыдания несчастного, как Царь явился в комнату, где находились я и Лис, и обвинил нас во всем случившемся. Почему Лис не уследил за своей воспитанницей? Почему я недоглядела за своей сестрой? Кончилось тем, что отец приказал нам не выпускать больше Редиваль из виду:

— Ходите, где вам вздумается, делайте, что вам придет в голову, но с этой суки глаз не спускайте. И знай, Лис, что если она потеряет девственность прежде, чем я найду ей мужа, то ответит за это твоя спина. А ты, пугало, можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Клянусь Унгит, это будет чудо, если найдется хоть один мужчина, которого не испугает твое лицо!

Гнев Царя был так страшен, что Редивали осталось только покориться. Теперь ей приходилось все время проводить в нашем обществе, отчего она вскоре избавилась от последних остатков любви ко мне и Психее. Она то и дело вызывающе зевала, заводила бессмысленные споры и без причины дерзила. Особенно ее раздражала Психея — ведь та была такой живой, веселой и послушной! По словам Лиса, это была сама Добродетель в человеческом образе. Однажды Редиваль ударила Психею. Я не помню, что было дальше, — помню только, что обнаружила себя сидящей на груди у Редивали. Лицо сестры было все разодрано в кровь, а руки мои вцепились ей в горло. Лис сумел все-таки оттащить меня в сторону и худо-бедно помирить нас.

Всякий покой и радость кончались с появлением Редивали. А затем последовали новые удары судьбы, которые окончательно погубили наше счастье. В тот год, когда я пыталась задушить Редиваль, случился неурожай. В тот же самый год мой отец дваж-

ды сватался и везде получил отказ. Мир сильно изменился, и союз с Кафадом превратился в петлю, готовую затянуться у нас на шее. Боги не благоволили Глому.

Тогда же случилось еще одно происшествие, доставившее мне немало волнений. Лис и я сидели в тени грушевых деревьев и занимались философией. Психея гуляла рядом на опушке царского сада и весело распевала. Редиваль шла за ней следом. Краем глаза я следила за ними и поэтому слушала Лиса вполуха. Затем мне показалось, что Редиваль и Психея говорят с кем-то на краю сада. Через некоторое время сестры вернулись к нам.

Редиваль, фыркая от негодования, упала на колени перед Психеей и принялась посыпать свою голову песком.

— Почему вы не падаете ниц перед богиней? — с насмешкой сказала она, посмотрев в нашу сторону.

— Что это тебе в голову пришло, сестрица? — спросила я нехотя, потому что не ожидала услышать ничего хорошего в ответ.

— Разве ты не знаешь, что теперь ты — сестра богини?

— О чем это она, Истра? — спросила я. (С тех пор как Редиваль проводила все время вместе с нами, я никогда не называла девочку вслух Психеей.)

— Ну, что же ты молчишь, божественная сестрица? — сказала Редиваль. — Я знаю, что ты никогда не лжешь, так что тебе стоит сказать правду! Расскажи, как тебе воздали божеские почести!

— Это неправда, — сказала Психея. — Просто женщина с ребенком подошла ко мне и попросила, чтобы я ее поцеловала.

— Да, но почему? — настойчиво переспросила Редиваль.

— Потому что... потому что тогда ее ребеночек станет красивым — так она сказала.

— Таким же красивым, как ты, — вот как она сказала. Не забудь это прибавить.

— И что ты сделала, Истра? — спросила я.

— Поцеловала ее. Она хорошая женщина. Она мне понравилась.

— И не забудь прибавить, что после этого она возложила тебе на голову миртовую ветвь, пала перед тобою ниц и посыпала свою голову пылью, — вставила Редиваль.

— Случалось ли такое раньше, Истра? — строго спросила я.

— Да, несколько раз.

— Сколько?

— Я не помню.

— Дважды?

— Нет, чаще...

— Раз десять?

— Нет, еще чаще. Я не знаю. Не могу вспомнить. Почему ты смотришь на меня так? Разве я сделала что-то дурное?

— Это опасно, это очень опасно! — сказала я. — Боги ревнивы. Они не терпят, когда...

— Доченька, ну что ты такое говоришь? — перебил меня Лис. — Божественной природе не присуща ревность. Боги, какими вы их себе представляете, это только вымысел и сказки поэтов. Мы говорили об этом тысячу раз!

— Ох-о-хо! — зевнула Редиваль, лежа на спине и задрыгав ногами в воздухе, так что можно было рассмотреть все ее прелести (она делала это для того, чтобы смутить Лиса, потому что старик был очень застенчив). — Ох-о-хо, сестрица богини и служанка раба! Откуда ты знаешь, кто будет наследницей в Гломе? Посмотрим, что думает Унгит насчет нашей божественной сестрицы!

— Кто может знать, что думает Унгит, — тихо сказал грек.

Редиваль устала кататься на спине. Она легла лицом в траву и тихо сказала, глядя снизу вверх на грека:

— Зато очень нетрудно узнать, что думает насчет этого Жрец Унгит. Может, мне стоит сходить и спросить?

Непреодолимый страх перед Жрецом снова проснулся в моем сердце и соединился со страхом за наше будущее.

— Сестрица! — сказала Редиваль, обращаясь ко мне. — Отдай мне бусы из голубых камней, те самые, которые тебе подарила наша мать.

— Я отдам их тебе, как только мы вернемся домой, — сказала я.

— А ты, раб, — продолжала Редиваль, глядя на Лиса, — научись вести себя с царевной. И почаще советуй отцу выдать меня замуж за какого-нибудь царя. Да не за любого, а за молодого, красивого жеребца с широкими плечами и густой золотистой бородой. Ты ведь вертишь моим отцом как хочешь, когда он запирается с тобой в Столбовой зале. Ни для кого не секрет, кто из вас двоих на самом деле царь Гломский!

На следующий год в стране случился бунт. Поводом к нему послужило увечье, которое мой отец нанес Тарину. Юноша сам по себе был такого незнатного рода, что даже не совсем понятно, как он умудрился попасть ко двору, но у его отца были дела с людьми более знатными, и ему удалось подговорить на бунт девять князей из северо-западных земель. Мой отец сам возглавил войска (надо сказать, что, когда я увидела его в полном боевом облачении верхом на его любимом коне, мое сердце зажглось до тех пор неизвестной мне дочерней любовью) и одержал победу. Обе армии понесли огромные потери — большие, чем наша страна могла себе позволить, — и победа эта никого не порадовала. Наше положение стало еще более шатким.

На этот год снова был неурожай и появились первые признаки лихорадки. Осенью Лис подхватил ее и чуть не умер. Я не могла ухаживать за учителем, потому что, как только он слег, отец сказал мне:

— Ну вот, девочка, ты уже умеешь читать, писать и болтать по-гречески. У меня есть для тебя работа: ты будешь вместо Лиса.

И после этого разговора я почти переселилась в Столбовую залу, потому что работы для меня в те дни выдалось очень много. Хотя я была вне себя от страха за жизнь Лиса, я не могла не заметить, что помогать отцу оказалось не столь уж неприятно. На время он даже перестал меня ненавидеть. В конце концов он стал говорить со мной если не с любовью, то с уважением: так, как мужчина мог бы говорить с мужчиной. Я наконец поняла, в каком отчаянном положении мы оказались. Ни один из соседних домов божественной крови (а только с такими наша семья могла сочетаться законным браком) не отдавал дочерей в жены моему отцу и не хотел просватать его дочерей за своих царевичей. Наши собственные князья шептались о том, кто займет Гломский трон после отца. Со всех сторон нам грозили войной, а у нас не было сил, чтобы противостоять этим угрозам.

Вышло так, что Лиса выхаживала Психея, хотя это и было ей строго запрещено. Она могла даже побить или покусать того человека, который рискнул бы стать между ней и дверью комнаты Лиса. В ее жилах тоже текла гневливая кровь нашего отца, хотя гнев Психеи всегда шел от любви ее сердца. Лис одолел хворь, только стал совсем седым и старым. Но бог, который преследует наш род, все хитро продумал. История о том, что Психея ходила за Лисом и он выздоровел, разлетелась по всему городу. Одной Батты хватило бы, для того чтобы растрезвонить эту новость повсюду, а таких, как Батта, во дворце было не счесть. В устах у людей эта история превратилась в сказку о прекрасной царевне, которая исцеляет лихорадку одним своим прикосновением. Не прошло и двух дней, как у дворцовых ворот уже столпилась добрая половина жителей столицы. Кто только не пришел ко дворцу! Из нор своих выползли самые диковинные калеки, выжившие из ума старцы вдруг вообразили, что их жизни стоят того, чтобы их спасать, люди несли своих грудных младенцев и агонизирующих больных. Я стояла и смотрела на них сквозь зарешеченные окна дворца, и жалость просыпалась во мне от этого печального и страшного зрелища, от этого неистребимого запаха чеснока и немытых тел, стоявшего над пестрой толпой.

— Царевна Истра! — кричали несчастные. — Пришлите нам царевну, руки которой исцеляют! Мы умираем! Спаси нас! Спаси!

— Хлеба нам! Хлеба! — кричали другие. — Откройте царские амбары! Мы умираем с голода!

Сперва они не решались приблизиться к воротам, но потом осмелели. Не прошло и часа, как они уже замолотили в них кулаками.

— Принесите огня! — кричал кто-то, но сзади другие голоса слабо твердили: — Исцели нас! Исцели! Царевна с волшебными руками!

— Ей придется выйти к ним, — сказал отец. — Нам не сдержать толпу. (Две трети дворцовых стражей к тому времени скосила лихорадка.)

— Может ли она исцелить их? — спросила я у Лиса. — Веришь ли ты сам, что именно ее руки исцелили тебя?

— Кто знает? — сказал Лис. — То, что руки некоторых людей исцеляют, вполне в природе вещей.

— Выпустите меня! — сказала Психея. — Это же люди!

— Какие это люди! Это сброд! — сказал отец. — Они поплатятся за свою наглость, дайте только срок! Но не будем терять времени — оденьте девчонку. Она хороша собой, и смелости ей не занимать.

Психею облачили в царские одежды, возложили на голову венок и отворили перед ней дверь. Бывает, что заплакать не можешь, но грудь словно сотрясают рыдания. Так было со мной тогда, и так случается до сих пор, стоит мне только вспомнить, как Психея, тоненькая и хрупкая, вышла из прохладной тьмы дворцовых покоев в тлетворный зной городской площади. Когда дверь открылась, люди в панике отхлынули назад. Они ожидали не иначе как толпу воинов с копьями, но, увидев то, что они увидели, упали на колени. Красота Психеи (а многие из них никогда не видели царевну прежде) повергла их едва ли не в ужас. В наступившем молчании хорошо было слышно, как в толпе поднимается тихий стон, почти рыдание, которое становилось все громче и громче, пока не превратилось в нестройный многоголосый крик:

— Богиня! Это богиня!

Рев толпы прорезал звонкий голос какой-то женщины:

— Сама Унгит в человеческом образе почтила нас!

Психея шла среди всего этого безумия, спокойная и торжественная, как дитя, идущее к доске отвечать урок. Она прикасалась к людям, и люди падали к ее ногам, пытаясь поцеловать если не ступни ее, то хотя бы край одежды, или тень, или землю в том месте, где ступила ее нога. А Психея продолжала прикасаться к больным, и казалось, что этому не будет конца, потому что толпа на площади, вместо того чтобы таять, все росла и росла. Это продолжалось несколько часов. Даже мы, стоявшие в тени портика, изнемогали от невероятного зноя того полудня. Вся земля молила о ливне, который (теперь мы это знаем) так и не пришел. Я заметила, что Психея бледнеет прямо на глазах, а походка ее становится нетвердой.

— Великий Царь! — обратилась я к отцу. — Она умирает!

— Если она не доведет дело до конца, тогда умрем мы всё. Нас просто растерзают, — сказал отец.

Все закончилось только на закате. Мы отнесли Психею в постель и уложили. На следующий день она уже металась в лихорадке. Но лихорадка не смогла одолеть ее. В бреду Психея часто говорила о чертогах из золота и янтаря на вершине Седой горы. Даже когда ей было совсем плохо, на ее лицо не падала тень смерти. Казалось, что смерть просто не отваживалась приблизиться к ней. И когда Психея окончательно выздоровела, ее красота стала еще более волшебной, чем прежде. Детство ее прошло — иной, более строгий и сильный свет излучало лицо девочки.

— «Нет, осуждать невозможно, — стихами пропел Лис, — что Трои сыны и ахейцы брань за такую жену и беды столь долгие терпят: истинно, вечным богиням она красотою подобна!»[1]

Часть заболевших лихорадкой выздоровела, часть умерла. Только богам ведомо, были ли выздоровевшие теми, к кому прикоснулась Психея, но боги, как всегда, отмалчиваются. Люди, однако, были уверены, что дело обстояло именно так. Каждое утро у стен дворца мы находили приношения для Психеи: ветви мирта, венки, а вскоре и то, что обычно жертвовали только Унгит, — медовые лепешки и голубей.

— Тебе не страшно? — спросила я Лиса.

---

[1] *Гомер*. Илиада. Песнь третья, 156—158. (*Перев. Н.Гнедича.*)

— Меня успокаивает одно, — ответил тот. — Жрец Унгит сам подхватил лихорадку, и вряд ли ему сейчас до нас.

В это время Редиваль вдруг ни с того ни с сего сделалась набожной и зачастила в Дом Унгит. Лис и я отнеслись к этому снисходительно, тем более что ее всегда сопровождал старый верный дворцовый раб, и мы не сомневались, что он не допустит ничего дурного. Мы полагали, что она молится о том, чтобы богиня послала ей мужа, или просто пользуется возможностью не видеть нас хотя бы несколько часов, а в этом наши желания вполне совпадали. Тем не менее я потребовала, чтобы она не заводила ни с кем разговоров во время этих паломничеств.

— Ах, сестрица, не беспокойся! — ответила на это Редиваль. — Мужчины, увидевшие хоть раз Психею, уже не делают никаких различий между мной и тобой. Мы с тобой не богини, нам жертв не приносят.

Глава четвертая

До тех пор я не имела никакого представления о нравах простых людей нашего города. Поэтому их преклонение перед Психеей, пугавшее меня, с одной стороны (и потому, что я с ужасом думала о том, как жестоко Унгит может покарать простого смертного, посягнувшего на положенные только ей почести, и потому, что я знала, как мстителен Жрец Унгит и сколько у него найдется вооруженных и сильных союзников среди многократно умножившихся недругов моего отца), с другой стороны, представлялось мне некоторой защитой от всех этих опасностей.

Спокойствие было недолгим, ибо мы не подумали о главном уроке, извлеченном чернью из случившегося: дворцовые врата открываются, если в них хорошенько постучать. Психея еще не успела полностью оправиться от недуга, а они уже снова ломились во дворец, требуя на сей раз зерна.

— Хлеба! Хлеба! Мы умираем с голоду! — кричала толпа. — Отворите царские амбары!

На этот раз Царь был вынужден уступить.

— В следующий раз вы ничего не получите! — сказал он собравшимся на площади. — Откуда у меня зерно, если земля не родит его?

— А почему? — громко выкрикнул в толпе кто-то.

— Где твои сыновья, Царь? Кто будет твоим наследником? — сказал другой.

— А вот у царя Фарса целых тринадцать сыновей! — сказал третий.

— У бесплодных царей и поля бесплодны, — подвел итог четвертый.

На этот раз Царь успел заметить, кто говорит; он незаметно кивнул стоявшим сзади лучникам. Быстрая стрела пронзила горло наглеца, и толпа обратилась в бегство. Но отец поступил неправильно: убивать нужно было или всех, или никого. В чем он был прав, мой отец, так это в том, что мы не могли больше раздавать народу зерно: после второго неурожайного года в царских амбарах осталось только наше собственное посевное зерно и ничего больше. Даже обитатели дворца вынуждены были довольствоваться луком, лепешками из бобовой муки и жидким пивом. С большим трудом мне иногда удавалось раздобыть лучшей пищи для выздоравливающей Психеи.

Дальше случилось вот что. Вскоре после того как Психея окончательно поправилась, я вышла из Столбовой залы, оставив там отца наедине с Лисом, и отправилась посмотреть, что поделывает Редиваль. Ведь моему отцу ничего не стоило задержать меня по делам на целый день, а затем накричать на меня за то, что моя сестра осталась надолго без присмотра. Но на этот раз она попалась мне сразу: Редиваль шла вместе с Баттой, возвращаясь из одного из своих обычных походов в Дом Унгит. Батту и Редиваль в те дни было водой не разлить; они так и шастали повсюду с вороватым видом по каким-то своим таинственным делам.

— А, сестричка-тюремщица! — воскликнула Редиваль. — Не извольте волноваться, я в полном порядке. Это не за мной стоило бы присматривать. Лучше скажи мне, где пропадает наша маленькая богиня?

— Полагаю, в царских садах, — ответила я. — И не такая уж маленькая — она тебя на голову выше.

— Ах, ужас-то какой! Не сказала ли я часом чего-нибудь богохульного? Как бы гром небесный не поразил меня! Да, я совсем забыла, что она у нас уже большая. Такая большая, что полчаса назад я безо всякого труда заметила ее на пустоши возле рынка. Царским дочерям не к лицу гулять одним по пустошам, но богини, разумеется, выше подобных предрассудков.

— Истра одна в городе! — воскликнула я.

— По крайней мере, была там, — визгливо добавила Батта. — Носилась как угорелая, задрав юбку.

И она попыталась показать, как носилась Психея. (Сколько я помню Батту, она всегда передразнивала всех, хотя была к этому совершенно не способна.)

— Я побежала за ней, за этой нахалкой, но она шмыгнула в чью-то дверь, и поминай как звали.

— Ладно, — сказала я. — Девочка, конечно, не должна была так делать. Но я не думаю, что она попадет в какую-нибудь беду.

— Не думаешь? — переспросила Батта. — Это как сказать.

— Ты спятила, няня! — сказала я. — Не прошло и шести дней с тех пор, как люди молились на нее.

— Я об этом ведать ничего не ведаю, — пробурчала Батта (которая, разумеется, прекрасно все знала). — Может, что и было, но нынче все по-другому. Я-то сразу видела, что ничего хорошего из этого волшебства не выйдет. Лихорадка-то пуще прежнего разыгралась! Вон вчера человек сто померло! Это мне шурин кузнецовой жены сказал. Люди поговаривают, что от ее-то рук все это и бывает — лихорадка то есть. Я тут говорила с одной старухой, так та говорит, что ее старика она тронула, а старик-то и помер сразу — даже до дому не донесли. И не одна она так говорит. А вот послушались бы старую Батту...

Но я уже не слышала брюзжания няньки; я вышла на порог и посмотрела в сторону города. Вид, знакомый мне с детства, показался мне в тот миг враждебным и чужим, странным и каким-то незнакомым. Наконец я заметила Психею, которая быстро шла к воротам дворца. По походке было видно, что сестра страшно устала. Когда Психея переступила порог, она сразу схватила меня за руку и поволокла во дворец. Она не сказала ни слова, пока мы не пришли в нашу опочивальню, но грудь ее сотрясали безмолвные рыдания, как у человека, у которого застрял ком в горле. Затем она заставила меня сесть в кресло, села сама у моих ног и положила голову мне на колени. Мне сперва показалось, что она плачет, но когда Психея подняла лицо, глаза ее были сухи.

— Сестра, — сказала она. — Что со мной?

— С тобой? Ровным счетом ничего, Психея, — ответила я. — Почему ты спрашиваешь?

— Почему они говорят, будто я проклята?

— Кто это посмел такое сказать? Мы прикажем вырвать ему язык! И где ты вообще была?

Психея рассказала мне все. Она пошла в город (что, по моему мнению, было весьма глупо с ее стороны), не сказав никому из нас ни слова. Пошла, потому что проведала, что ее кормилица (та самая, которую подыскала ей я) заболела лихорадкой и лежит в бреду. «Раз говорят, что мои руки исцеляют, кто знает — может, оно так и есть... Почему бы не попробовать еще раз, решила я...»

Я сказала ей, что она поступила очень плохо, но она не стала оправдываться, как провинившийся ребенок. Она просто посмотрела на меня спокойно и серьезно, и я впервые полностью осознала, что передо мной уже не дитя, а взрослая девушка. От этого у меня заныло сердце.

— Но кто же назвал тебя проклятой? — спросила я.

— Ничего особенного не случилось, пока я не вышла из дома кормилицы; разве что никто почему-то не здоровался со мной на улице, а еще — женщины, завидев меня,

подбирали юбки и переходили на другую сторону. Но когда я пошла домой, мне повстречался мальчик — очень милый мальчуган лет восьми. Он посмотрел на меня и плюнул мне под ноги. «Какой невоспитанный мальчишка!» — сказала я со смехом и протянула к нему руку. Он вытаращился на меня как на гадюку и с ревом убежал. После этого некоторое время никто мне не попадался, а затем я повстречалась с несколькими мужчинами. Они посмотрели на меня не по-доброму, а за спиной у меня начали шептаться: «Проклятая идет! Проклятая! Она вообразила себя богиней!» А один из них сказал: «Она навлечет проклятие на всех нас!» И они стали швырять в меня камнями. Нет, они не попали в меня, но мне пришлось убежать от них. Почему они себя так вели? Что я им такого сделала?

— Что ты такого сделала? — переспросила я. — Ты их вылечила и благословила, ты взяла на себя их поганую хворь. И вот их благодарность! Если бы они мне попались, я бы разорвала их на клочки! Встань, дитя, мне надо идти. Что бы ни случилось, помни — мы царские дочери. Я иду к Царю. Пусть он будет бить меня и таскать за волосы, но я заставлю его выслушать меня. А мы им еще хлеба дали! Да я...

— Тише, сестрица, тише! — сказала Психея. — Не могу слышать, когда он обижает тебя. Я так устала и хочу ужинать. Сядь, успокойся, не гневайся. Ты так похожа в гневе на нашего отца! Лучше поужинаем вместе. Нам грозит какая-то беда — я давно уже это чувствую, — но сегодня вечером мы в безопасности. Я сама позову служанок.

Хотя то, что сказала Психея про мой гнев, уязвило меня в самое сердце, я сдержала себя и постаралась успокоиться. Мы поужинали и немного развеселились, так что у нас нашлись силы даже для шуток и игр. Этого боги никогда не смогут у меня отнять — я навечно запомнила каждое ее слово и движение в тот вечер.

Но, как ни тревожно было у меня на сердце, ничего страшного не случилось и на следующий день (я до сих пор не могу понять, почему беда так долго медлила). Прошло еще немало дней, но ничего не произошло, хотя участь Глома становилась день ото дня все более и более незавидной. В Шеннит почти не осталось воды — река превратилась в чахлый ручеек, пробиравшийся через гниющие кучки водорослей; казалось, что река умерла и теперь разлагается на жаре. Рыба сдохла, птицы — тоже, а те, которые уцелели, улетели в другие края. В городе был перерезан весь скот, а тот, что остался, годился в пищу не больше, чем высохшие кости. На пасеках погибли все пчелы. Львы, о которых никто уже не слышал целую вечность, явились из-за Седой горы и порезали тех немногих овец, которых пощадила бескормица. Лихорадка, казалось, поселилась у нас навсегда. Все эти дни я прислушивалась и присматривалась, когда мне это удавалось, ко всем, кто входил и выходил из царского дворца. К счастью, в ту пору у отца было особенно много работы для меня и для Лиса. У нас не проходило и дня без гонца или письма из какого-нибудь сопредельного царства: наши соседи грозили нам, требовали от нас невозможного, напоминали о старых обещаниях, втягивали в раздоры, которые нас не касались. Они знали, как обстоят дела в Гломе, и кружились, как мухи над падалью. Отцу моему случалось в то время впадать в гнев по десяти раз на дню: в ярости он мог отвесить Лису пощечину или оттаскать меня за волосы, но потом ярость сменялась отчаянием — слезы стояли в его глазах. Тогда он начинал говорить с нами таким голосом, каким ребенок просит о помощи, забыв, что царь — он, а мы только его советники.

— Мы в западне! — воскликнул он как-то. — Нас сожрут по кусочку. Что такого я натворил, что боги гневаются на меня? Я всегда почитал богов и приносил им жертвы.

Единственный добрый знак заключался в том, что лихорадка, казалось, оставила наш дворец в покое. Много рабов умерло, но из воинов не пострадал почти никто. Только одного унесла болезнь, все остальные уже могли носить оружие.

Вскоре мы узнали, что Жрец Унгит также оправился от болезни. Болел он очень долго, потому что, уже перенеся лихорадку один раз, подхватил ее снова, так что чудом остался в живых. Самым страшным было то, что мор уносил по большей части детей и молодежь, а старики, как правило, выживали. На седьмой день после выздоровления Жрец пожаловал во дворец. Царь увидел в окно Жреца со свитой (я тоже заметила их), удивленно поднял брови и сказал:

— Хотел бы я знать, для чего старая развалина прихватила с собой стражу?

Надо сказать, что у Дома Унгит была своя, отдельная стража, подчинявшаяся только Жрецу. Стражники из ее числа, вооруженные копьями, в немалом количестве следовали во дворец; четверо несли паланкин, в котором восседал Жрец. Не доходя до ворот, стражники сложили копья, но сами последовали за паланкином.

— Что это? — спросил вслух отец. — Измена или просто бравада?

Затем он отдал какой-то приказ начальнику дворцовой стражи. Не думаю, чтобы он хотел довести дело до драки. Скорее этого хотелось мне. Я была еще молода и глупа и никогда не видела, как бьются между собой мужчины. Поэтому мне не было страшно — напротив, меня охватило какое-то приятное волнение.

Паланкин поставили на землю, и Жрец вышел из него. Он очень постарел и совсем ослеп, так что девушки из Дома Унгит вели его под руки. Я и раньше видела служительниц Унгит, но только при тусклом свете факелов внутри Дома. Под ярким солнцем они выглядели очень странно в своих огромных париках, уложенных при помощи воска. Лица их были так сильно накрашены, что казались деревянными масками. Только эти две девушки и Жрец вошли во дворец, воины же остались снаружи.

— Заприте за ними двери! — распорядился отец. — Не думаю, чтобы старый волк сам полез в западню, если у него недоброе на уме. На всякий случай будем все же осторожны.

Девушки ввели Жреца в Столбовую залу и усадили его в поставленное для него кресло. Напряжение утомило старца, и он долго переводил дыхание, перед тем как заговорить. В молчании он по-старчески двигал челюстями, словно жевал что-то беззубыми деснами. Девушки неподвижно стояли по сторонам кресла и смотрели на нас лишенными всякого выражения глазами. Запах старости, запах благовоний и притираний, которыми умащались девушки, наполнил дворец. Так пахла Унгит, так пахла святость.

Глава пятая

Отец приветствовал Жреца, сказал, что радуется вместе с ним его выздоровлению, и приказал подать вина. Но Жрец сделал протестующий жест рукой и промолвил:

— Не надо вина, Царь! Я дал обет, что не буду вкушать ни вина, ни пищи, пока не передам тебе то, что велела сказать богиня.

Голос его был тихим, речь — медленной, и тут я впервые заметила, как сильно исхудал он за время болезни.

— Как тебе будет угодно, слуга Унгит, — сказал Царь. — Говори!

— Я буду говорить с тобой, Царь, от лица Унгит, от лица всех старейшин и знатных людей Глома...

— А их волю как ты узнал?

— Мы все собрались — по крайней мере все те, от кого что-то зависит, — вчера вечером и совещались до зари в Доме Унгит.

— Вы совещались, чума вас побери! — вскричал мой отец, и лицо его перекосилось от гнева. — Что это за новости? Вы собираетесь, не спросив позволения у вашего Царя, более того — даже не оповестив его!

— Нам не было нужды в тебе, Царь! Мы собрались не для того, чтобы выслушать, что скажешь нам ты. Мы собрались, чтобы решить, что скажем тебе мы.

Глаза отца налились кровью.

— Мы собрались, — продолжал Жрец, — и вспомнили все беды, которые обрушились на нас. В стране голод, и ему не видно конца. В стране мор. В стране засуха. Стране грозит война не позже начала весны. Страну опустошают львы. И наконец, у нас нет наследника престола, и Унгит прогневана этим...

— Довольно, — закричал Царь. — Старый дурак, неужели ты думаешь, что только ваши ослиные головы болят от этих забот? Как ты сказал: Унгит прогневана? Так почему же Унгит не вмешается и не поможет нам? В жертвенной крови тельцов и овнов, которую я пролил для нее, мог бы плавать целый флот!

Жрец уставился на Царя так, словно видел его своими слепыми глазами. И только теперь я поняла, что худоба сделала его похожим на грифа-стервятника. И от этого он стал еще страшнее прежнего. Отец не выдержал слепого взгляда и отвел глаза.

— Ни бычья, ни баранья кровь не утолит жажды Унгит и не очистит нашей земли в ее глазах, — заговорил Жрец. — Я служу богине уже пятьдесят, нет, целых шестьдесят три года — и одно я знаю точно: гнев Унгит не бывает беспричинным и отвратить его может только очистительная жертва. Я приносил жертвы еще при твоем отце и отце твоего отца, и я знаю хорошо, о чем я говорю. Задолго до того как ты вступил на трон, в наши земли вторглось войско царя Эссурского. Это случилось потому, что один из воинов твоего деда познал собственную сестру, и она понесла и родила ребенка, которого воин убил. За это он был проклят богиней. Мы узнали, в чем дело, принесли проклятого в жертву, и гнев богини прошел. Наши воины перерезали эссурцев как стадо баранов. Твой отец мог бы рассказать тебе, как одна молодая женщина, еще совсем дитя, втайне прокляла имя сына Унгит, бога Горы. И через это случился потоп, ибо она была проклята. Мы нашли проклятую, и тогда Шеннит вновь вошла в свои берега. И ныне проклятие навлек на нас тот, кто возмутил Унгит своими поступками, но на этот раз гнев богини велик как никогда. Поэтому мы и собрались прошлой ночью в Доме Унгит, чтобы найти того, кто навлек на себя ее проклятие. Любой из нас мог оказаться проклятым, но это не остановило нас. И я тоже согласился с этим решением, хотя проклятым мог оказаться и я — и даже ты, Царь. Мы были ёдинодушны в своем решении, потому что знали: беды не оставят нашу страну в покое, пока не свершится очищение. Унгит должна получить причитающееся ей. На этот раз ей мало овна или даже тельца.

— Богиня просит человеческой крови?

— Да, — сказал Жрец. — Унгит просит человеческой крови.

— Но у меня нет сейчас в плену ни одного врага! Если поймают какого-нибудь вора, я сразу же велю зарезать его на жертвеннике Унгит, если таково ее желание.

— Вор не утолит голода Унгит. Ты это и сам прекрасно понимаешь. В жертву должен быть принесен проклятый. Или проклятая. А вор — это все равно что телец или овен. Речь идет не о простом жертвоприношении, нам нужна Великая Жертва. В горах снова видели Чудище. Это верный знак того, что нужна Великая Жертва. Проклятого нужно отдать Чудищу.

— Чудище? Мне ничего об этом не сказали...

— Видно, не все новости доходят до царей. Бывает, они даже не знают, что творится в их собственном дворце. Но я знаю все. Долгими ночами я лежу и не сплю, и Унгит рассказывает мне обо всем. Она поведала мне, что некоторые смертные дошли до подражания бессмертным богам. Они присваивают себе почести, на которые имеют право только небожители...

Я посмотрела на Лиса и беззвучно шепнула ему краешком губ:

— Редиваль...

Царь встал и заходил по зале, скрестив за спиной руки.

— Ты впал в детство, старик! Никакого Чудища нет — все это бабушкины сказки.

— Ты прав, Царь, — спокойно промолвил Жрец. — Именно во времена твоей бабушки Его в последний раз и видели. Мы принесли Великую Жертву, и Оно ушло.

— И на что же Оно похоже? — недоверчиво спросил отец. — Видел-то Его кто?

— Кто видел Его вблизи, ничего уже нам не расскажет, Царь. Но живы те, кто видел Его издалека. К примеру, видел Его начальник царских пастухов. Было это в ту самую ночь, когда появился первый лев. Пастух пошел на льва с горящим факелом и в свете факела увидел Чудище. Оно было позади льва — большое, черное и ужасное видом.

Когда Жрец сказал это, отец подошел к столу, где лежали таблички и другие письменные принадлежности. За этим столом сидели мы с Лисом. Отец наклонился, и Лис что-то шепнул ему на ухо.

— Хорошо сказано, грек! — воскликнул отец. — Повтори-ка это служителю Унгит!

— С царского позволения, — сказал Лис, вставая, — не следует придавать слиш-

ком много значения россказням пастуха. В руках у него был факел, следовательно, лев должен был отбрасывать большую черную тень. Человек этот был испуган и не вполне проснулся. Тень показалась ему чудовищной тварью.

— Это все греческая премудрость, — перебил его Жрец. — А у нас в Гломе не принято спрашивать мнения раба, даже если он — царский любимчик. Пусть это была тень — что с того? Многие полагают, что Чудище и есть тень. Но если эта тень придет к нам в город, всем нам не поздоровится. Ты сам ведешь свой род от богов, и тебе нечего бояться. Но простые люди устроены иначе. Страх сделает их неуправляемыми, и даже мое слово не сможет остановить их. Они сожгут твой дворец у тебя на глазах. Они сожгут тебя вместе с ним. Принеси Великую Жертву — и ничего этого не случится.

— Но как это делается? — спросил Царь. — На моей памяти Великую Жертву не приносили ни разу.

— Ее приносят не в Доме Унгит, — объяснил Жрец. — Жертву отдают Чудищу. Тайное знание говорит, что Чудище — сын Унгит, или сама Унгит, или они оба в одном лице. Жертву отводят на вершину Горы, привязывают к Священному Древу и оставляют. Чудище приходит за ней само. Вот почему ты оскорбил Унгит, Царь, предложив ей в жертву вора. Великая Жертва должна быть чистой, ибо она становится женихом Унгит, если это мужчина, или невестой ее сына, если это — женщина. Когда жертва мужского пола, то в Чудище вселяется Унгит, когда женского — сын Унгит, и Чудище возлегает с жертвой. Но Великую Жертву называют также Ужином Унгит, потому что Чудище пожирает ее... а может, и нет... много разного говорят об этом. Это — великая тайна, величайшая. Некоторые утверждают, что для Чудища пожирать и любить — одно и то же. Ибо на священном языке мы говорим, что, когда женщина возлегает с мужчиной, она пожирает его. Вот почему ты заблуждаешься, Царь, полагая, будто жалкий вор, или дряхлый раб, или трус, сдавшийся во время битвы, могут послужить Великой Жертвой. Самое чистое создание в наших краях — и то будет недостойно сочетаться с Чудищем.

Я заметила, что лоб отца покрылся испариной. В зале витало ощущение чего-то святого, таинственного и ужасного. И тут Лис не выдержал.

— Хозяин! — вскричал он. — Позволь мне сказать!

— Говори! — разрешил Царь.

— Неужели не ясно, хозяин, что служитель Унгит говорит бессмыслицу? Тень у него — это животное, которое притом еще и богиня и бог в одном лице, и любит оно, пожирая предмет любви! Да шестилетний ребенок не поверит таким сказкам! Еще недавно Жрец говорил нам, что в жертву должен быть принесен проклятый — иными словами, самый плохой и гнусный из наших граждан. Теперь же он говорит, что супругом Чудища может стать только самое чистое существо во всем нашем краю, и для него это будет не наказанием, а великой честью. Спроси его, где же здесь правда? Он противоречит сам себе!

Когда Лис только начал говорить, в моей груди проснулась надежда, но когда он смолк, эта надежда умерла. Лис повел свою речь не так, как было нужно. Я знаю, что с ним случилось: он забыл о своей обычной осторожности, забыл даже в какой-то степени о своей любви к Психее, о желании спасти ее. Просто слова Жреца настолько противоречили здравому смыслу, что грек не выдержал и вспылил. (Мне довелось узнать позже, что не только греки, но и все люди, наделенные ясным рассудком и живой речью, поступают в подобных случаях так же неосторожно.)

— Может быть, хватит с нас на сегодня греческой премудрости, Царь? — сказал Жрец. — Я не так глуп, и я не позволю рабу поучать меня. Я тоже люблю побаловаться тонкими рассуждениями, но от них поля не начнут приносить урожай, а небеса не прольются дождем. А жертва, как мы знаем, нужна именно для этого. Этот грек, твой раб, стал рабом, потому что на поле боя он бросил оружие, позволил взять себя в плен, вместо того чтобы пронзить себе сердце копьем, как настоящий воин. Что он может понимать в божественных делах, которые требуют от человека смелости и веры? Я имею дело с богами уже давно. Три поколения сменились на моей памяти. Я знаю, что боги крутят нами как хотят, что мы для них — не больше чем пузыри, которые на

миг возникают на речной глади. Воля богов не видна нам так ясно, как буквы в греческой книге, — трудно понять, чего они хотят от нас. Там, где пребывают боги, царит тьма, а не свет. Им принадлежат наши силы и наши жизни, а вовсе не наши речи и знания. Святое знание не такое, как вода, оно — не легко и прозрачно, оно — темно и вязко, как кровь. Нет ничего невозможного в том, чтобы проклятый был в одно и то же время и самым лучшим и самым худшим из нас.

В полумраке служитель Унгит казался мне похожим на ту самую зловещую птицу, которую изображала маска, висевшая у него на груди. Голос его, по-прежнему негромкий, обрел силу и больше не казался голосом дряхлого старика. Я посмотрела на Лиса и увидела, что тот опустил глаза вниз. Видно, то, что сказал Жрец про плен и про битву, задело его за живое. Если бы я была царицей, я бы не раздумывая приказала тут же повесить Жреца и провозгласить царем Лиса. Но тогда у меня еще не было никакой власти.

— Ладно, не будем спорить, — пробурчал Царь, не переставая расхаживать быстрым шагом по зале. — Я не жрец и не грек, я в этих делах ничего не понимаю. Мне всегда казалось, что я — царь, не так ли? Продолжай, старик!

— Для того чтобы найти, на кого пало проклятие, мы стали кидать священный жребий. Сперва мы спросили, не из простонародья ли проклятый, но оракул сказал, что нет.

— Так-так! Продолжай, продолжай!

— Я не могу говорить быстро, — возразил Жрец. — Мое горло еще слишком слабо. Итак, мы спросили у оракула, не следует ли нам искать проклятого среди старейшин. Но оракул снова ответил «нет».

Лицо Царя после этих слов пошло пятнами: казалось, что в нем борются друг с другом страх и гнев, и непонятно было, что возьмет верх.

— Затем мы спросили, не среди высокородных ли искать проклятого. Оракул снова сказал «нет».

— И что вы спросили тогда? — тихо сказал Царь, подступив к Жрецу и склонившись над ним.

Жрец спокойно продолжил:

— И тогда мы спросили, не следует ли нам искать проклятого в царском дворце. И оракул сказал нам: «Да!»

— Ага! — едва слышно сказал Царь. — Ага! Я так и думал. Я понял с самого начала, к чему ты клонишь. Измена, прикрытая божественными речами. Измена.

И тут мой отец сорвался на крик:

— Измена! Измена! Стража! Бардия! Где мои воины? Где Бардия? Бардию ко мне!

Гремя доспехами, стражники влетели в залу. Впереди бежал начальник стражи по имени Бардия — человек, безмерно преданный моему отцу.

— Бардия! — сказал Царь, обращаясь к нему. — У ворот дворца собралось слишком много народу. Возьми с собой отряд воинов и пронзи копьями изменников, которые засели у наших ворот. И чтобы ни один не остался в живых, понял? Пленных не брать!

— Ты приказываешь убить людей из храмовой стражи, повелитель? — переспросил Бардия, переводя взгляд с Царя на Жреца и обратно.

— Храмовых крыс! Храмовых евнухов! Как ты смеешь называть этот сброд храмовой стражей! — закричал Царь. — Может, ты боишься их? Да я тебя!.. Да я!..

— Не делай глупостей, Царь! — сказал Жрец. — Все люди Глома взялись за оружие. У каждой двери дворца уже стоит по отряду вооруженных воинов. Их в десять раз больше, чем твоих людей. К тому же твои люди не окажут сопротивления. Будешь ли биться против Унгит ты, Бардия?

— Неужто ты предашь меня, верный Бардия? — вскричал Царь. — Ты ел мой хлеб и пил мое вино. Мой щит спас тебя от смерти, когда мы бились с врагом в чащобе Варина.

— Ты спас мне тогда жизнь, Царь, — сказал Бардия. — Я никогда не забуду этого. Пусть Унгит поможет мне спасти твою. Мой меч всегда будет служить трону Глома и богам Глома. Но если и трон и боги не в ладу между собой, они должны сперва

разобраться сами, а затем звать меня на помощь. Я воин, а не колдун, я не обучен воевать с богами и духами.

— Ты не воин, а баба! — заорал Царь. — Убирайся! Я разберусь с тобой позже!

Бардия отдал честь и с достоинством удалился: видно было, что он обиделся на Царя не больше, чем взрослый пес обижается, когда зарвавшийся щенок укусит его за хвост.

Как только дверь затворилась за Бардией, Царь, с побелевшим лицом, встал, выхватил из ножен клинок (тот самый, которым он убил в свое время мальчика-виночерпия), одним кошачьим прыжком метнулся к креслу Жреца и приставил клинок к груди старика, так что острие его разрезало ткань священной одежды и уткнулось в дряблую кожу.

— Старый дурак! — прошипел он. — Чего стоит весь твой заговор теперь? Ты чувствуешь, как щекочет тебя мой клинок? А если я поверну его вот так? Или вот так? Я могу вонзить его в твое сердце медленно или быстро, выбирай сам. Чего сто́ят твои трутни, которые вьются вокруг дворца, если царица улья в моих руках? Что ты на это скажешь?

Я никогда не видела человека, который держался бы в подобном положении с таким спокойствием, как это делал Жрец. Люди начинают волноваться, если им между ребер приставить палец, не то что острый клинок. Но у Жреца на лице не дрогнул ни один мускул. Бесстрастным голосом он произнес:

— Вонзай клинок быстро или медленно, Царь, мне это все равно. Великая Жертва будет принесена, даже если ты убьешь меня. Моя сила от Унгит и слова мои от Унгит. И мертвый я не оставлю тебя, потому что жрецы умирают не так, как простые смертные. Они возвращаются. Тень моя будет посещать твой дворец ночью и днем. Она будет невидимой для всех, Царь. Для всех, кроме тебя.

Лис учил меня, что Жрец — просто очень хитрый человек, который произносит от лица Унгит то, что ему выгодно. Цель его, по словам учителя, заключалась в том, чтобы увеличить свою власть и богатство и извести своих врагов. Но в тот миг я поняла, что дела обстоят значительно хуже: Жрец на самом деле верит в Унгит. Я видела, как он сидит, не шелохнувшись, с клинком, приставленным к самому сердцу, и смотрит на Царя незрячими глазами, и я осознала, что я сама верю в богиню не меньше, чем Жрец. Не смертные люди ополчились против нас: зала была полна незримых сил, наполнена невидимым ужасом.

Зарычав, как раненый зверь, отец мой вернулся к своему креслу, устало откинулся и провел руками по лицу.

— Продолжай! — сказал он Жрецу. — Говори все.

— Затем, — сказал Жрец, — мы спросили у оракула, не Царь ли проклят богиней. И оракул сказал нам: «Нет!»

— Что? — изумленно спросил Царь. И дальше случилось то, о чем я до сих пор вспоминаю со стыдом. Лицо моего отца просветлело. Мне даже почудилось, что он с трудом удержался от смеха. Я полагала, что он чувствовал, что речь идет о Психее, и боялся за свою дочь, но оказалось, что все это время он думал только о себе. О нас он и не вспоминал. Однако при этом все утверждают, что на поле боя он был смельчаком, и у меня нет никаких оснований им не верить.

— Продолжай! — сказал он заметно изменившимся голосом, словно он помолодел на добрый десяток лет.

— Оракул сказал, что проклятие пало на твою младшую дочь, Царь. Проклятая — это она. Царевна Истра должна принести себя в жертву Чудищу.

— Какой ужас! — сказал Царь печальным и взволнованным тоном, но я видела, что он притворяется. Ему было просто стыдно, что кто-то может услышать облегчение в его голосе. И тут я обезумела. Я кинулась к его коленям, обняла их, как это делают просители. Я плакала, умоляла, говорила какие-то нелепые слова, называла его отцом первый раз в моей жизни. Мне показалось, он только обрадовался тому, что ему предоставился случай отвлечь внимание от собственной персоны. Он пнул меня ногой так, что я сильно ударилась о каменный пол, затем схватил за плечи и отшвырнул прочь.

— Ты! — прикрикнул он на меня. — Ты, дрянь! Как ты посмела поднять голос на совете мужей? Ведьмино отродье, ночное страшилище, жалкая тварь! Хватит с меня гнева богов, а тут еще ты на мою голову! Хорошо хоть, что не укусила! Бешеная дикая лисица; скажи мне спасибо, что я не велю наказать тебя плетями! Унгит всеблагая, мало мне жрецов, львов, черных чудищ, трусов и изменников, так тут на меня еще кусачие девки бросаются!

Я чувствовала, что, ругая меня, он просто отводит душу. От сильного удара у меня перехватило дыхание, и я не могла говорить. Даже разрыдаться не могла. Я лежала и слышала, как они сговаривались погубить Психею. Они хотели заточить ее в собственной комнате, но потом передумали и решили, что надежнее запереть ее в комнате с пятью стенами. Стражу будут нести наши воины вместе с охраной храма, поскольку ни тем ни другим доверять полностью нельзя — люди переменчивы. Может, найдутся и такие, что попробуют устроить побег. Они говорили обо всем этом так спокойно и рассудительно, словно готовились к какому-нибудь путешествию или пиршеству. Но тут сознание оставило меня, и я провалилась в гулкую темноту.

Глава шестая

— Она приходит в себя, — услышала я.

Это был голос отца:

— Возьми-ка ее с другой стороны, Лис. Нужно поднять ее в кресло.

Я почувствовала, что меня поднимают (глаза мои все еще не открывались). К моему великому удивлению, руки у отца оказались ласковыми и мягкими. Позже я узнала, что у бывалых воинов часто руки такие.

Я открыла глаза. Кроме нас троих, в зале уже никого не было.

— Пей, девчонка, тебе нужно выпить, — сказал отец, поднося чашу с вином к моим губам. — Фу, что ты морщишься, ты же не маленькая! Вот так-то будет лучше. Если в этом паршивом дворце остался хоть кусок сырого мяса, возьми его и приложи к ушибам. И запомни, дочь, ты зря встряла в это дело. Женщинам не стоит становиться на пути у мужчин, особенно у собственных отцов.

Я заметила, что ему стыдно, только не поняла, чего именно он стыдится: того ли, что он ударил меня, или того, что он отдал Психею врагам безо всякой борьбы. Мне стало жалко его: таким он был слабым и нерешительным, этот Царь.

Отец поставил чашу на стол и сказал:

— Что решено, то решено. Кусанье и царапанье делу не помогут. Спроси у Лиса — он тебе скажет, что такое случается даже в его хваленой Греции. Он мне только что рассказал о подобном случае.

— Хозяин, — промолвил Лис. — Я не успел довести до конца мой рассказ. Да, действительно, был в Греции царь, который принес свою дочь в жертву богам. Но потом жена царя убила его, а сын убил жену, свою мать, и боги Аида наслали безумие на сына.

Отец почесал затылок и слегка побледнел.

— Что ж, — сказал он. — Это вполне в духе богов. Сперва они заставляют тебя сделать что-нибудь, а потом наказывают за содеянное. Счастье мое, грек, что у меня нет ни жены ни сына!

Дар речи вернулся ко мне, и я заговорила.

— Царь, — сказала я, — ты не сделаешь этого. Истра — твоя дочь. Ты не имеешь права. Ты даже не попробовал спасти ее. Из любого положения есть выход. В нашем распоряжении еще несколько дней...

— Дура, — перебил меня отец. — Жертвоприношение состоится завтра!

Я чуть снова не потеряла сознание. Эта новость была такой же ужасной, как и первая. Даже ужаснее. До этого еще не все было потеряно; будь у нас в запасе хотя бы месяц — кто знает, что можно было бы предпринять!

— Так лучше, доченька! — шепнул мне на ухо Лис. — Так лучше и для нее, и для нас.

— Что ты там шепчешь, грек? — сказал Царь. — Вы смотрите на меня так, будто я — чудище о двух головах, которым пугают маленьких детей. А что мне оставалось делать? Вот ты, хитрец, что бы ты сделал на моем месте?

— Сперва я попытался бы выиграть время. Я бы сказал, что у царевны сейчас ее дни и она не может сочетаться браком. Я бы сказал, что во сне мне было повеление не совершать Великой Жертвы до конца новолуния. Я бы подкупил свидетелей, которые бы сказали под присягой, что Жрец сплутовал с оракулом. За рекой найдется человек шесть-семь, которые арендуют землю у храма и не в ладах с владельцем земли. Я бы устроил пир. Все что угодно, только бы протянуть время. Если бы у нас было в распоряжении дней десять, я бы отправил гонца к царю Фарсы. Я предложил бы ему взять все, что он хочет, без войны, лишь бы он явился с войском и спас царевну. Я бы предложил ему Глом и свою корону.

— Что? — зарычал Царь. — Чужое-то не раздаривай, раб!

— Хозяин, я бы отдал не только трон, но самую жизнь за царевну Истру. Зачем сдаваться без борьбы? Вооружим рабов, пообещаем им свободу, если они будут биться не за страх, а за совесть. Да одних дворцовых людей хватит, чтобы постоять за наше дело. В худшем случае мы умрем, но не запятнаем своих рук невинной кровью. В Нижнем мире не жалуют детоубийц.

Царь бессильно рухнул в кресло. Затем он начал говорить таким тоном, каким учителя говорят с особо тупыми учениками (раньше я уже слышала, как Лис разговаривал подобным же тоном с Редивалью).

— Я — царь. Я спросил у вас совета. Советники существуют для того, чтобы помогать правителю крепить царство и увеличивать владения. Для этого и берут советников. А ты мне советуешь зашвырнуть венец на печку и продать страну врагу, который не замедлит перерезать мне глотку. Так ты в следующий раз скажешь, что топор палача — лучшее лекарство от зубной боли!

— Понятно, хозяин, — сказал Лис. — Приношу мои извинения. Я как-то совсем запамятовал, что в первую очередь мы должны заботиться о твоей безопасности.

Я хорошо знала своего учителя, поэтому заметила, что во взгляде его при этом было такое презрение, какое хуже пощечины или плевка. Лис часто смотрел на отца подобным образом, но мой отец мало интересовался выражением чужих глаз. Я решила, что слова дойдут до него лучше.

— Царь, — сказала я, — в наших жилах течет кровь богов. Может ли наш род потерпеть такой позор? Когда ты умрешь, люди будут вспоминать тебя как царя, который прикрылся женщиной, чтобы спасти свою шкуру.

— Ты только послушай ее, Лис! — воскликнул Царь. — И она еще удивляется, что я ей глаз подбил! Она еще удивляется, что я ей испортил лицо, если такое лицо можно чем-то испортить! Послушай, дочь, не заставляй меня дважды на дню лупцевать тебя. Мне этого совсем не хочется.

Он встал и снова принялся мерить шагами залу.

— Чума вас всех побери! — сказал он. — Вы что, меня с ума свести хотите? Можно подумать, это вашу дочь отдают на растерзание Чудищу! Женщиной прикрылся, вы говорите? Никто из вас не хочет вспомнить, что она — моя дочь, плоть от плоти моей. Часть меня. Это я должен неистовствовать, а не вы. Да разве пошел бы я на это, если была бы хоть малейшая возможность увернуться! Что-то другое скрывается за вашими уговорами и причитаниями. Ведь не хотите же вы, чтобы я и на самом деле поверил, что между двумя единокровными сестрами возможна такая пылкая любовь? Это противоестественно! Но я выведу вас на чистую воду...

Не знаю, насколько верил он сам в то, что говорил. Вполне возможно, что и верил. Когда мой отец был не в себе, он был готов поверить во все что угодно. К тому же он, единственный во всем дворце, ничего не знал об отношениях между собственными дочерьми.

— Да, — сказал Царь, уже успокаиваясь, — кого здесь стоит пожалеть, так это меня. Это я приношу себя в жертву. Но я исполню свой долг до конца. Я не имею права губить страну даже во имя жизни собственной дочери. Мы ведем пустые разговоры. Все предрешено. Мне жаль девчонку, но Жрец совершенно прав. Унгит дол-

жна получить причитающееся ей. Разве безопасность страны не дороже жизни любого из нас? В каждой битве случается так, что один умирает, чтобы спасти многих.

Вино и ярость вернули мне силу. Я встала с кресла.

— Отец, — сказала я, — ты прав. Кто-то должен умереть, чтобы спасти свой народ. Отдай Чудищу меня вместо Истры!

Царь, не говоря ни слова, подошел ко мне, взял меня (ласково, как мне показалось) за руку и отвел меня к противоположной стене залы, где висело большое зеркало. Ты можешь сказать, что зеркало более уместно в опочивальне, но мой отец так гордился своим зеркалом, что хотел, чтобы его видел каждый посетитель дворца. Зеркало это было привезено из дальних стран, и ни у одного царя в наших краях не было подобного. Зеркала, которые делают у нас, дают только тусклое и кривое изображение; в этом же отражение невозможно отличить от оригинала. Поскольку раньше мне никогда не случалось оставаться в Столбовой зале одной, я никогда не смотрелась в него. Царь подвел меня к зеркалу и стал рядом со мной.

— Унгит просит себе лучшее, что у нас есть, а ты хочешь, чтобы я дал ей вот это, — сказал он.

Мы постояли у зеркала некоторое время в полном молчании; может быть, отец ждал, что я расплачусь или отведу взгляд. Наконец он промолвил:

— А теперь убирайся! Не выводи меня из себя снова. И не забудь приложить к лицу сырое мясо. Мы с Лисом остаемся здесь — у нас очень много работы.

Как только я вышла из Столбовой залы, я почувствовала резкую боль в боку. Очевидно, при падении я что-то себе повредила. Но я сразу забыла об этом, едва увидела, как переменился наш дворец за это малое время. Всюду было полно людей. Все дворцовые рабы шныряли по коридорам, собирались в кучки и беседовали между собой вполголоса с самым важным видом. (Так бывает всегда, когда что-то готовится, — теперь-то я это знаю.) У портика толпилась храмовая стража, а в прихожей сидело несколько девушек из Дома Унгит. От них пахло каждениями и святостью; казалось, что Унгит захватила весь наш дворец.

У лестницы я столкнулась с Редивалью, которая кинулась мне навстречу. Лицо ее было заплакано, и она тараторила без умолку:

— Какой ужас, сестрица, какой ужас! Бедная, бедная Психея! Речь идет только о ней, правда? Они же не собираются принести всех нас в жертву? У меня и мысли такой не было... Я не хотела ничего плохого... я тут вообще ни при чем — ох! ох! ох!

Я наклонилась, посмотрела ей прямо в лицо и сказала очень тихо и отчетливо:

— Редиваль, если мне хоть на час удастся стать царицей Гломской, я велю подвесить тебя за ноги над костром и поджаривать на медленном огне, пока ты не умрешь.

— Жестокая, жестокая сестрица, — зарыдала Редиваль. — Как ты можешь так говорить? Я и без того так несчастна! Лучше бы пожалела меня.

Я оттолкнула ее и прошла мимо. Я хорошо знала цену слезам Редивали. Не то чтобы они были совсем деланными, но стоили они не больше, чем вода из лужи. Сейчас я точно знаю (а тогда я только догадывалась), что именно она рассказала все жрецу Унгит и сделала это сознательно, желая причинить Психее зло. Я легко могу поверить, что она не подозревала, чем это может кончиться (она вообще никогда не думала о последствиях). Скорее всего, она по-своему жалела о случившемся, но новая брошка или новый возлюбленный в мгновение ока осушили бы слезы на ее глазах.

Когда я дошла до верхней ступеньки лестницы (в нашем дворце, в отличие от греческих, был второй этаж и даже галерея), я лишилась сил и боль возобновилась. Только тут я заметила, что я еще и прихрамываю на одну ногу. Так скоро, как только могла, я очутилась у дверей той пятиугольной комнаты, где заточили Психею. Дверь комнаты была заперта снаружи. (Я и теперь использую ее как дворцовую тюрьму.) Перед дверью стоял воин. Это был Бардия.

— Бардия, — взмолилась я, — впусти меня! Мне надо повидаться с Психеей.

Он ласково посмотрел на меня, но только покачал в ответ головой.

— Нельзя, госпожа! — сказал он.

— Но ты же можешь запереть нас обеих. Из комнаты нет другого выхода!

— Так и начинаются все побеги, госпожа. Мне жаль и тебя, и ту царевну, что внутри, но ничего не поделаешь. Приказ есть приказ.

— Бардия, — сказала я со слезами, держась рукой за бок, который болел все сильнее и сильнее, — завтра ее уже не будет в живых!

Он отвел глаза и сказал:

— Нельзя!

Я повернулась, не сказав ни слова. Хотя Бардия и был самым добрым человеком при нашем дворе (если не считать Лиса), в тот день я на какой-то миг возненавидела его сильнее, чем моего отца, или Жреца, или даже Редиваль. А затем я совершила совсем безумный поступок. Страдая от боли, я добежала до покоев Царя. Я знала, что там есть оружие. Я взяла плоский меч, прикинула его на вес, и он не показался мне слишком тяжелым. Я пощупала лезвие и сочла его достаточно острым, хотя настоящий солдат поднял бы меня на смех. Вскоре я снова очутилась у двери темницы. Несмотря на то, что женская ярость душила меня, я нашла в себе силы поступить по-мужски, вскричав «Берегись, Бардия!», перед тем как броситься с мечом на верного воина.

Разумеется, это было чистым безумием для девушки, которая никогда прежде не держала в руках оружия. Даже если бы я умела с ним обращаться, боль в боку и ноге не позволила бы мне осуществить задуманное. Мне было так больно, что я даже не могла глубоко вздохнуть. Однако Бардии все-таки пришлось воспользоваться своим военным искусством: в основном для того, чтобы не ранить меня. Одним ударом он выбил меч из моей руки. Я стояла перед ним, скрюченная, вся в поту и тяжело дышала. На лице же Бардии не выступило ни капли пота; этот поединок был для него просто детской забавой, не больше. Сознание собственного бессилия слилось с болью в теле, и я разрыдалась так же некрасиво, как прежде Редиваль.

— Какая жалость, госпожа, что ты не родилась мужчиной! — сказал Бардия. — У тебя мужская рука и верный глаз. Не всякий новобранец так хорош в первой схватке. Я бы с радостью поучил тебя воинскому искусству. Из тысячи...

— О Бардия! — рыдала я. — Лучше бы ты убил меня! Я бы не так мучилась!

— Не говори глупостей, — сказал воин. — Прежде смерти приходит умирание. Это только в сказках люди умирают мгновенно от удара стали. Смерть легка, разве только когда отрубят голову...

Я уже не могла говорить. Я ослепла и оглохла от собственных рыданий.

— Прекрати, — сказал Бардия. — Я не могу смотреть на это.

Слезы стояли в глазах уже у него самого: это был человек с чувствительным сердцем.

— Мне было бы намного легче, не будь одна из вас такой красивой, а другая — смелой. Прекрати, госпожа. Будь что будет, я рискну своей головой, и да падет на меня проклятие Унгит!

Я посмотрела на него, но по-прежнему была не в силах говорить.

— Я бы не задумываясь отдал жизнь за царевну, если бы в том был хоть какой-нибудь толк. Ты, наверное, удивлена, что я, начальник стражи, стою на часах у ее дверей как простой воин? Но я вызвался сам. Если царевна что-нибудь попросит или мне потребуется войти в комнату, ей будет приятнее увидеть меня, чем какого-нибудь незнакомого человека. Она часто сидела у меня на коленях, когда была маленькой... Великие боги, что за тяжкая ноша — честь воина!

— Ты позволишь мне войти? — спросила я.

— При одном условии, госпожа! Ты обещаешь мне выйти, как только я постучу в двери. Сейчас здесь никого нет, но позже могут прийти. Мне сказали, что к ней пришлют двух храмовых девушек. Я позволю тебе остаться с ней сколько захочешь, но как только это станет опасным, ты выйдешь по первому же моему требованию. Я постучу три раза — вот так.

— Я сделаю, как ты просишь.

— Поклянись на моем мече, госпожа.

Я поклялась. Он посмотрел по сторонам, отпер двери и сказал:

— Быстрее. Заходи, и да поможет вам небо!

Глава седьмая

Окно в пятиугольной комнате под самым потолком и такое маленькое, что даже днем в ней не обойтись без светильника; вот почему она и служит тюрьмой. Комната эта представляет собой второй ярус башни, которую начал строить мой прадед, да так и не достроил.

Психея сидела на разобранной постели; рядом стоял светильник. Разумеется, я сразу кинулась к ней в объятия, не успев толком даже рассмотреть обстановку, но эта картина — Психея, разобранная постель и горящий светильник — навеки впечаталась в мою память.

Прежде чем я обрела дар речи, Психея сказала:

— Сестра, что он с тобой сделал? Что это с твоим лицом? Что это с твоим глазом? Да он опять бил тебя!

Только тут я поняла, что она гладит меня по волосам и утешает, словно это меня должны скоро принести в жертву. И, несмотря на то, что боль моя и без того была уже велика, мне стало еще больнее. В пору нашего счастья мы любили друг друга иначе.

Психея сразу же догадалась, какие мысли посетили меня, и стала приговаривать:

— Майя, Майя!

(Это было мое детское имя, которому научил ее Лис: и первое слово, сказанное маленькой Психеей.)

— Майя, Майя, что он с тобой сделал!

— Ах, Психея! — ответила я. — Какая разница? Лучше бы он меня убил! Лучше бы они избрали меня, а не тебя!

Но Психея не отступилась. Она заставила меня рассказать все как было (кто мог устоять перед ее мольбами?). На этот рассказ и ушла большая часть времени, бывшего у нас в распоряжении.

— Довольно, сестра! — сказала я наконец. — Мне нет до него никакого дела. Что мы ему и что он нам? Я не считаю его нашим отцом и не боюсь опорочить этими словами доброе имя наших матерей. А если он все-таки наш отец, то слово «отец» отныне бранное для меня. Такому, как этот человек, ничего не стоило бы во время битвы спрятаться у женщины за спиной!

И тут (я этого никак не ожидала) Психея улыбнулась. Она почти никогда не плакала, разве что когда жалела меня. А сейчас она сидела спокойная и царственная, как будто ее совсем не страшила скорая смерть. Только вот руки у нее были холодные.

— Оруаль, — сказала она, — мне сдается, я усвоила уроки Лиса лучше, чем ты. Разве ты забыла, какие слова он заставлял повторять нас каждое утро? Сегодня мне придется встретиться со злыми людьми, с трусами и лжецами, завистниками и пьяницами. Они таковы, потому что не умеют отличать зла от добра. Их, а не меня ждет злая участь. Посему я должна жалеть их...

Психея сказала эти слова, подражая голосу Лиса, что у нее (в отличие от Батты) выходило очень хорошо. Она блестяще умела изображать других людей.

— Бедное дитя! — сказала я, и рыдания опять чуть было не задушили меня. Ведь Психея говорила обо всем этом так беззаботно, словно никакой беды не было и в помине. Мне казалось, что такая наивность неуместна сейчас, но что было бы уместным, тоже не знала.

— Майя, — промолвила Психея. — Обещай мне, что не будешь делать глупостей. Обещай, что не станешь накладывать на себя руки. Ради Лиса, не делай этого! Мы трое были друг другу хорошими друзьями. («Неужто только друзьями?» — подумала я.) Вы остаетесь вдвоем, так держитесь же друг друга и не потеряйтесь. Будь умницей, Майя. Вы должны выстоять в этой битве.

— У тебя железное сердце! — воскликнула я.

— Передай от меня Царю последний привет — или что там полагается. Бардия — человек осторожный и воспитанный, он подскажет тебе, какими словами пристало умирающей дочери прощаться с отцом. Я не хочу показаться невежей напоследок.

Передай Царю то, что тебе скажет Бардия, и ни слова больше. Наш отец — он мне совсем чужой. Мне ближе сын птичницы, чем он. Что же касается Редивали...

— Прокляни ее! Если мертвые могут мстить...

— Нет, ни в коем случае! Она не ведает, что творит...

— Сестра, даже ради тебя я не стану жалеть Редиваль, что бы там ни говорил Лис!

— Хотела бы ты стать такой, как Редиваль? Нет? Тогда она заслуживает жалости и снисхождения. Если мне позволят распорядиться моими драгоценностями по моему разумению, то забери себе на память все те, которые любишь, а Редивали отдай все большие и дорогие, которые тебе так не по сердцу. А остальное отдай Лису.

Это было уже свыше моих сил: я уткнулась лицом в колени сестре и снова заплакала. О, как бы я хотела, чтобы она тоже склонила ко мне на колени свою голову!

— Послушай, Майя! — сказала Психея внезапно. — Не расстраивай меня, ведь у меня завтра свадьба!

У нее еще хватало духу говорить о том, о чем у меня не хватало духу даже слушать!

— Оруаль, — сказала Психея, пытаясь меня утешить, — в наших жилах течет кровь богов, и мы не посрамим ее. Когда я была маленькая, именно ты учила меня никогда не плакать.

— Мне сдается, что ты совсем ничего не боишься! — воскликнула я, но эти слова против моей воли прозвучали так, словно я в чем-то упрекнула сестру, и мне самой стало тут же стыдно.

— Нет, одной вещи я очень боюсь, — ответила Психея. — Иногда меня посещает сомнение, и тогда словно холодная тень наползает на мою душу. Допустим — только допустим, — что нет никакого бога Горы и даже никакого Черного Чудища. Тогда тот, кого привязали к Древу, просто умирает медленной смертью от голода и жажды, зноя и пыли, обглоданный хищными тварями и растерзанный клювами воронов... И от этой мысли — ах, Майя, Майя!..

Психея разрыдалась и снова стала для меня ребенком, и я принялась утешать ее и плакать вместе с ней.

Мне стыдно даже писать об этом, но я все же признаюсь: в тот миг я испытала что-то вроде удовольствия — ведь именно для того, чтобы утешить сестру, я и пришла в темницу.

Но Психея очнулась куда быстрее, чем я. Она снова подняла голову, приняла царственный вид и сказала:

— Но я в это не верю. Жрец приходил ко мне. Прежде я его совсем не знала. Он совсем не таков, каким его считает Лис. Знаешь, сестра, чем дальше, тем больше я сомневаюсь в том, что Лису ведомо все на свете. Да, ему известно многое. Без него в моей голове царила бы такая же мгла, как в этой темнице. И все же... Я не нахожу нужных слов, чтобы объяснить тебе... Он говорит, что весь мир — это один город. Но на чем стоит этот город? Конечно, на земле. А что лежит за городской стеной? Откуда привозят еду для жителей города, откуда городу грозят беды и опасности? Все растет и гниет, крепнет и чахнет, набухает влагой — это ничуть не похоже на город, это похоже (хотя и сама не знаю чем) на Дом...

— ... на Дом Унгит! — закончила я за нее. — Все кругом провоняло этой Унгит! За что мы восхваляем богов? Нам не за что быть благодарными им, ибо они хотят разлучить нас. Я не вынесу этого! Нет ничего злее постигшей нас судьбы! О, как не прав Лис, как он не прав! Он ничего не знает о том, какова Унгит! Он видит во всем кругом только хорошее, старый глупец! Он считает, что богов или не существует вовсе, или они существуют и добры по своей природе. По доброте своей он и не догадывается, что боги существуют на самом деле и что они творят такие злодеяния, которые не снились и последнему мерзавцу!

— А может быть, — сказала Психея, — злодеяния эти творят вовсе не боги. Или боги творят их с неведомыми нам намерениями. Что ты скажешь, если я вдруг действительно стану невестой Бога?

Эти слова разозлили меня. Даже странно — я могла положить свою жизнь за

сестру (клянусь, что не лгу), я знала, что завтра она умрет, но при всем том я злилась на нее. Она говорила так спокойно, обдумывая каждое слово, словно вела философскую беседу с Лисом в тени старой груши и впереди у нее была целая вечность. В мою душу закралось подозрение, что разлука со мной нисколько не печалит Психею.

— Ах, сестра, — сорвалась я на крик. — О чем ты говоришь — эти трусы попросту собрались убить тебя! Тебя, которой они поклонялись, тебя, которая не могла причинить зла даже уродливым жабам! И теперь они хотят скормить тебя Чудищу!..

Вы скажете, что Психея просто не хотела думать о худшем и решила поверить в туманные намеки Жреца на свадьбу с богом Седой горы. И в этом случае, раз уж я пришла утешать ее, было бы разумнее укреплять в ней эту веру, а не пытаться развеять ее. Вы скажете так и будете правы. Сколько раз я упрекала себя за свое поведение в ту ночь! Но сделанного не воротишь: я не смогла совладать с собой. Может быть, мною руководила гордость того же рода, что помогала Психее спокойно смотреть в лицо смерти, — гордость, учившая нас трезвости взгляда, готовности встретиться с худшим, — более того, настоятельная потребность все время ожидать худшего.

— Я тебя понимаю, — тихо сказала Психея. — Ты думаешь, что Чудище пожирает жертву. Я и сама так думаю. Меня ожидает смерть. Я ведь не настолько ребенок, чтобы не понимать этого. Если я не умру, как я смогу искупить грехи Глома? И как можно прийти к богу, если не через смерть? И все-таки я верю в странные слова священных преданий. Возможно, что для бога пожрать и взять в жены — одно и то же. Есть вещи, которых мы не понимаем, вещи, о которых не знают ни Лис, ни Жрец.

На это мне нечего было возразить, и я прикусила язык. Непозволительная дерзость готова была сорваться с моих губ.

«Неужто ты думаешь, — хотелось сказать мне, — что похоть Чудища не так отвратительна, как его прожорливость? Неужто ты сможешь отдаться червю, гигантскому гаду, ползучей тени?»

— А что до смерти, — продолжила Психея, — так посмотри на Бардию (как я люблю этого человека!): он встречается с ней шесть раз на дню и только знай себе посвистывает. Немногому мы научились у Лиса, если по-прежнему страшимся смерти! Знаешь, сестра, он как-то обмолвился, что, кроме тех философов, учению которых он следует, в Греции есть и другие, и они утверждают, что смерть открывает двери из узкой темной комнаты — мира, в котором мы живем, — в другой мир, настоящий, светлый, солнечный. И еще они говорят, что там мы встретим...

— Бессердечная! — зарыдала я. — Ты хочешь оставить меня здесь одну, и тебе меня совсем не жалко! Скажи, Психея, да любишь ли ты меня?

— Тебя? Да я никого и не любила никогда, кроме тебя, Майя, да дедушки Лиса! — Не знаю почему, но в тот миг даже имя Лиса неприятно задело мой слух. — Но послушай, сестра, наша разлука не будет долгой. Вскоре ты отправишься вслед за мной. Сегодня ночью я поняла, что любая жизнь так коротка. Да и что хорошего в долгой жизни? Рано или поздно меня выдали бы замуж за какого-нибудь царя — такого же, как и наш отец. Разве есть особая разница между таким замужеством и смертью? Мне пришлось бы покинуть наш дом, расстаться с тобой и Лисом, стать женщиной, рожать детей — разве все это не другие имена для смерти? Честное слово, Оруаль, мне кажется, что мне выпала лучшая участь!

— Лучшая участь?

— Конечно! Что ждало меня в этой жизни? Стоит ли весь наш мир с его дворцами и царями (такими же, как наш отец) того, чтобы так печалиться о нем? Лучшее время нашей жизни уже миновало. Сейчас, Оруаль, я скажу тебе то, чего никому (даже тебе) не говорила прежде.

Я знала, что и у любящих сердец бывают друг от друга тайны, но той ночью эти слова Психеи прозвучали для меня как удар ножом в спину.

— И что же ты хочешь мне сказать? — спросила я, стараясь глядеть вниз, на переплетенные пальцы наших рук.

— Знаешь, — сказала Психея, — с тех пор как я помню себя, меня всегда манила мысль о смерти.

— Ах, Психея, — вскричала я. — Тебе было плохо со мной!

— Да нет же, — перебила меня она. — Ты не понимаешь. Я искала в смерти не утешения. Напротив, именно когда я была счастлива, мне особенно хотелось умереть. Такое часто случалось со мной, когда мы гуляли втроем по далеким холмам, где так много воздуха и солнечного света и откуда уже не виден ни Глом, ни царский дворец. Ты помнишь, как мы смотрели вместе на далекую вершину Седой горы, любуясь красками заката и наслаждаясь ароматом цветов? Так было там красиво, и именно поэтому мне хотелось умереть.

Возможно, в мире есть места и покрасивее, но это значит только то, что, окажись я там, я бы еще больше хотела умереть. Словно голос какой-то зовет меня и говорит: «Приди, Психея!» Но до сих пор я не знала, чей это голос и куда он зовет меня. И от этого мне было горестно. Так, наверное, чувствует себя перелетная птица, запертая в клетке, когда все ее подруги уже улетели в жаркие страны.

Психея поцеловала мои руки, выпустила их из своих и поднялась. От отца она унаследовала привычку ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух. И тут я поняла (как мне было больно, когда это случилось!), что Психея уже не принадлежит мне и что завтрашняя казнь только довершит то, что началось уже давно. Она была рядом со мной, но это только казалось — на самом деле она была где-то далеко. Я до сих пор не могу понять, с какого дня я начала терять ее.

Эту книгу я пишу для того, чтобы обвинить богов, но с моей стороны будет только справедливо, если при этом я не буду замалчивать и собственных прегрешений. Знайте: слушая Психею, я чувствовала, как во мне, несмотря на всю мою любовь к сестре, нарастает раздражение. Я прекрасно понимала, что с такими мыслями Психее будет легче встретить смерть, но именно эта легкость и раздражала меня. Мне казалось, что между нами стал кто-то третий. Если это грех, то боги покарали меня за него.

— Оруаль, — сказала Психея, и глаза ее при этом сияли. — Я ухожу на Седую гору. Как долго мы смотрели на нее, даже не мечтая взойти на ее вершину! Помнишь все наши разговоры о чертогах из золота и янтаря под самыми небесами, которые построит для меня величайший из царей? Если бы тебе только удалось поверить в это, сестра! Послушай, ты не должна позволить горю ослепить тебя и ожесточить твое сердце...

— Ожесточить мое сердце?

— Да, твое сердце. Не ко мне, конечно. Послушай, разве так ужасно то, что произойдет? Боги требуют человеческой крови. Не любой крови — тогда они были бы бессмысленно жестоки, — а именно того, кто и так был с детства готов отдать ее богам. С тех пор как ты носила меня на руках, Майя, самым горячим моим желанием было попасть на Седую гору, узнать, откуда исходит эта неземная красота...

— Так вот что всегда было твоей мечтой! Бессердечная, я ошиблась, сказав, что у тебя железное сердце: оно из холодного камня... — И я принялась рыдать, но Психея даже не услышала этого.

— ...именно там моя родина и там я хотела бы родиться вновь. Неужели ты думаешь, что меня влекло туда случайно? Нет, меня влекло домой. Попрощайся со мной и пожелай мне счастья. Всю жизнь бог Горы звал меня к себе, и вот — я иду к моему возлюбленному. Теперь ты понимаешь?

— Я понимаю только то, что ты никогда не любила меня, — воскликнула я. — Иди к своим богам, ты такая же жестокая, как они!

— Ах, Майя! — сказала Психея, и слезы снова заблестели в ее глазах. — Майя, ведь я...

Но Бардия уже постучал в дверь. Мы так и не успели найти лучших слов, так и не успели высказать все, что было у нас на сердце. А Бардия стучал все настойчивее и настойчивее. Я поклялась на его мече, и клятва эта сама была острой, как меч.

Мы обнялись в последний раз. Счастливы те, в чьей жизни не было подобных объятий. А те, кто с ними знаком, — смогут ли они дочитать до конца мою повесть?

Глава восьмая

Боль моя, умерившаяся было при виде Психеи, разыгралась с новой силой, когда я вышла на галерею. Даже мое горе отступило под ее натиском, и от этого я снова начала рассуждать ясно и трезво. Я решила, что отправлюсь вместе с Психеей на Седую гору к Священному Древу. Никто не сможет помешать мне, разве что и меня тоже заточат в темницу или посадят на цепь. Может быть, мне удастся затаиться среди скал и затем, когда Царь, Жрец и вся их свита отправятся восвояси, освободить сестру. «А если Чудище существует на самом деле, — думала я, — и мне будет не по силам справиться с ним, я убью Психею своей собственной рукой, прежде чем оно протянет к ней свои лапы». Чтобы выдержать подобное, мне нужно было хорошо подкрепиться и выспаться (уже светало, а я все еще была на ногах). Но прежде всего нужно было разузнать, на какое время они наметили свое злодеяние, пышно именуемое Жертвоприношением. Я похромала по галерее, держась за ребра, и натолкнулась на старого нашего раба, начальника над дворцовой прислугой. Он и сказал мне, что процессия покинет дворец за час до рассвета. Тогда я прошла в свою комнату и попросила служанку принести мне поесть. Я села на постель и стала ждать; чудовищная усталость навалилась на меня, я дрожала от холода и не могла ни о чем думать. Когда принесли еду, я принялась за нее, но кусок не шел в горло, и я глотала через силу. Но я поела и попила жидкого пива и потом еще воды, потому что пиво было очень плохое. Допивала я воду уже во сне; последнее, что я помню, — какое-то горе навалилось на меня, но я уже не понимала его причины.

Меня отнесли в постель (я билась и плакала при этом), и я заснула мертвым, тяжелым сном. Не помню, сколько я спала, но когда меня подняли с постели, мне показалось, что я не проспала и одного удара сердца, хотя меня разбудили, как я и велела, за два часа до восхода солнца. Я стонала не переставая, потому что ушибленные места совсем разболелись — стоило мне повернуться, как в тело будто впивались раскаленные щипцы. Один глаз так заплыл, что я ничего им не видела. Когда мои служанки поняли, что боль не дает мне встать с постели, они стали умолять меня полежать еще немного. Они говорили, что мне незачем спешить, поскольку Царь разрешил обеим царевнам не идти с процессией. Одна из служанок спросила, не позвать ли Батту. Я ответила ей очень грубо и, пожалуй, ударила бы ее, если бы достало сил; потом мне пришлось бы об этом жалеть, потому что она была хорошая девушка. (У меня всегда были отличные служанки, с тех пор как я стала подбирать их сама, без помощи Батты.)

Меня кое-как одели и попытались накормить. Одна из девушек даже достала где-то вина — подозреваю, что отлила тайком из царского кувшина. Все, кроме меня, плакали навзрыд. Одевали меня очень долго, потому что все тело мое болело. Едва я успела допить вино, как снаружи донеслись звуки музыки. Это играли храмовые музыканты — и это была музыка Унгит. Гремели барабаны, трещали трещотки, гудели трубы — мрачные, отвратительные звуки, сводящие людей с ума.

— Скорее! — вскрикнула я. — Они отправляются в путь. Ах, я не могу встать! Помогите мне! Да быстрее же! Не обращайте внимания на мои стоны!

Не без труда меня довели до верхнего пролета лестницы: отсюда я видела большую залу, находившуюся между Столбовой и опочивальней. Зала была ярко освещена факелами и переполнена людьми, среди которых там и тут виднелись стражники. Несколько девушек из благородных семейств нарядились подружками невесты, а отец мой облачился в самое свое парадное платье.

Но над всеми возвышался высокий старик с птичьей головой. От собравшихся чадно пахло — видимо, они уже принесли к тому времени в жертву животных на дворцовом алтаре. (Пища для богов находится даже тогда, когда в стране голод.) Главные дворцовые врата были распахнуты настежь. Клубы утреннего промозглого тумана вкатывались через них. Снаружи пели жрецы и храмовые девушки. Можно было догадаться, что там собралось немало городской черни; когда музыка смолкала, оттуда доносился нестройный гул толпы. Этот звук ни с чем не спутать: ни одна тварь, собравшись в стадо, не производит такого отвратительного шума, как люди.

Сперва я не заметила в толпе Психеи. Боги коварнее нас, смертных, — они способны на такие подлости, которые никогда и в голову не придут человеческому существу. Когда я наконец заметила сестру, мне стало совсем дурно. Психея сидела на открытых носилках как раз между Царем и Жрецом. А не заметила я ее сперва потому, что они размалевали и разукрасили ее, как храмовую девушку, и нацепили ей на голову пышный парик. Я не могла понять, видит она меня или нет, потому что выражения ее глаз невозможно было разобрать на неподвижном, маскоподобном лице; трудно было даже угадать, в какую сторону они глядят.

Нет предела хитроумию богов. Им мало было погубить Психею — они хотели, чтобы она погибла от руки собственного отца. Им мало было отнять ее у меня — они хотели, чтобы я потеряла сестру трижды: в первый раз — когда над ней прозвучал приговор, во второй — во время нашей странной, тягостной ночной беседы и, наконец, в третий — лишив ее дорогого мне облика. Унгит взяла себе самую дивную красу, когда-либо рожденную на свет, и превратила ее в уродливую куклу.

Позже мне сказали, что я попыталась спуститься вниз, но тут же упала. Меня отнесли и уложили в постель.

В болезненном беспамятстве я пролежала несколько дней. Но я не лишилась чувств и не погрузилась в сон — мне сказали, что я бодрствовала, но рассудок мой помутился. Я бредила, и бред мой был, насколько мне удается вспомнить, путаным и при этом мучительно однообразным.

Видения менялись, но одна навязчивая мысль пронизывала их. Вот вам лишнее доказательство того, как жестоки боги. От них нет спасения ни во сне, ни в безумии, ибо они властны даже над нашими грезами. Более того, именно тогда они обретают над нами наибольшую власть. Спастись от их могущества (если это вообще возможно) удается только тому, кто ведет трезвый образ жизни, всегда сохраняет ясный ум, постоянно трудится. Такой человек не слушает музыки, не смотрит слишком пристально ни на землю, ни на небеса и (это в первую очередь) никогда ни к кому не испытывает ни любви, ни привязанности. Теперь, когда они разбили мое сердце и отняли у меня Психею, они принялись издеваться надо мной, ибо в видениях Психея являлась мне моим злейшим врагом. Все мое возмущение несправедливостью судьбы обратилось против нее. Мне казалось, что сестра ненавидит меня, и мне хотелось отомстить ей за это. Иногда мне мерещилось, что я, Редиваль и Психея снова стали детьми и что мы вместе играем в какую-то игру, но вдруг сестры отказываются играть со мной, и вот — я стою совсем одна, а они, взявшись за руки, потешаются над моим горем. Иногда мне казалось, что я очень хороша собой и влюблена в человека, чем-то похожего на несчастного Тарина, а чем-то — на Бардию (наверное, потому, что Бардия был последним мужчиной, которого я видела перед началом болезни). Мы шли к брачному ложу, но на пороге опочивальни Психея, ставшая карлицей в локоть ростом, уводила у меня жениха, поманив его пальцем. И все гости показывали на меня пальцами и хихикали. Но в этих видениях был, по крайней мере, хоть какой-то смысл. Чаще же я видела только путаные, смутные картины, в которых Психея то сбрасывала меня с огромной скалы, то пинала меня и таскала за волосы по полу (при этом ее лицо становилось чем-то схоже с лицом моего отца), то гонялась за мной по долам и весям с огромным мечом или бичом в руке. Но неизменно она оставалась моим врагом, насмешничающим, издевающимся, измывающимся надо мной, — и я сгорала от жажды мести.

Когда я стала приходить в себя, большинство видений забылось, но оставило по себе горький осадок: мне помнилось, что Психея нанесла мне какую-то большую обиду, хотя я не могла никак вспомнить, какую именно. Мне потом сказали, что я часами твердила в бреду: «Жестокая девчонка. Злая Психея. Каменное сердце». Вскоре я совсем поправилась и снова вспомнила, что всегда любила сестру, что та никогда не причиняла мне сознательно зла, хотя меня слегка задело, что при нашей последней встрече она так мало говорила обо мне и так много — о боге Горы, о Царе, о Лисе, о Редивали и даже Бардии.

Вскоре я начала различать какой-то приятный шум и поняла, что слышу его уже некоторое время.

— Что это? — спросила я и сама испугалась своего собственного голоса, слабого и хриплого.

— О чем ты, дочка? — переспросил меня кто-то. Я поняла, что это Лис и что он все это время сидел подле моей кровати.

— Этот шум, дедушка. Там, на крыше.

— Это дождь, милая, — ответил Лис. — Да будет славен Зевс, пославший нам дождь и вернувший тебе рассудок. Знаешь... нет, сперва поспи. Выпей вот это.

Я увидела, что он плачет, и приняла из его рук чашу с питьем.

Кости мои не были сломаны, ушибы прошли, и с ними боль, но я все еще была очень слаба. Труды и болезни — это утешения, которых богам у нас не отнять. Я бы не стала этого писать, опасаясь подать им подобную мысль, если бы не знала, что они бессильны это сделать. Я так ослабла, что не могла ни гневаться, ни горевать. Пока силы не вернулись ко мне, я была почти что счастлива. Лис был очень ласков со мной и заботлив (хотя горе и его измотало), мои служанки тоже не оставляли меня заботами. Меня любили больше, чем я могла бы подумать. Сон мой стал спокойным, дождь шел не переставая, но порой на небе появлялось солнце, и тогда в окно залетал ласковый южный ветер. Долгое время мы не проронили ни слова о Психее. Когда случалось поговорить, мы говорили о всяких пустяках.

Я многое пропустила. Погода переменилась в тот же самый день, когда я слегла, и Шенѓит наполнилась водой. Дождь пролился слишком поздно, чтобы спасти сгоревшие хлеба, но в садах все зеленело и плодоносило. Трава пошла в рост, и удалось сохранить больше скота, чем мы смели надеяться. Лихорадка исчезла, будто бы ее и не было, — моя же хворь была совсем другой природы. Птицы вернулись в Глом, и теперь каждой хозяйке, муж которой владел луком и стрелами или умел расставлять силки, было что положить в похлебку.

Все это мне рассказали Лис и мои девушки. Когда у ложа оставался один Лис, он делился со мной и другими вестями. Народ снова полюбил моего отца. Его жалели и хвалили (тут мы впервые рискнули заговорить о том, что было всего важнее для нас), поскольку он решился принести Великую Жертву. У Священного Древа он, как говорили, рыдал и раздирал свои одежды, обнимал и целовал Психею без конца (чего никогда не делал прежде), но повторял при этом снова и снова, что не может пойти против воли богов и обречь тем свой народ на погибель. Все, кто видел это, не могли сдержать рыданий: самого Лиса там не было, поскольку его не допустили в процессию как раба и чужеземца.

— Дедушка, — сказала я, — неужели он такой лицемер?

(Мы вели свои беседы, разумеется, по-гречески.)

— Почему же лицемер, доченька? — возразил Лис. — Сам-то он искренне верил в то, что говорил. Слезам его можно верить не меньше, чем слезам Редивали. Или не больше.

Затем Лис поведал мне о вестях, пришедших из Фарсы. Тот глупец во время бунта выкрикнул, что у Фарсийского царя одиннадцать сыновей. На самом деле у него их было восемь, но один умер ребенком. Старший был слишком простым и недалеким человеком, и царь (говорят, такое возможно по их законам) назначил наследником третьего сына по имени Эрган. Тогда второй сын, Труния, разгневался и, опираясь на недовольных (а где и когда их не было?), поднял восстание, чтобы отстоять свои права на престол. Из-за этого в Фарсе стало не до Глома; более того — обе партии изо всех сил ищут у нас поддержки, так что на ближайший год никакая опасность уже нам не угрожает.

Через несколько дней, когда Лис снова навестил меня (чаще приходить он не мог, потому что Царю постоянно требовалась его помощь), я спросила:

— Дедушка, ты до сих пор считаешь, что Унгит — это только вымысел поэтов и жрецов?

— Почему бы и нет, дитя мое?

— Если она и вправду богиня, то она дала нам все в обмен на жизнь моей бедной сестры. Посуди сам — все напасти кончились. Ветер сменился в тот самый день, когда...

Тут у меня перехватило горло. Горе с новой силой обрушилось на меня. Лис тоже скривился от боли.

— Ужасное, ужасное совпадение, — пробормотал он, с трудом сдерживая слезы (греки слезливы, как женщины). — Такими совпадениями питаются суеверия варваров.

— Дедушка, ты учил меня, что случайных совпадений не бывает.

— Ты права. Это только слова. Я хотел сказать, что между ветром и жертвоприношением нет никакой связи. Все в мире — только части Целого, именуемого Природой. Юго-западный ветер прилетает к нам из-за гор и морей. Погода переменилась бы повсюду, если бы он никогда не задул. Это — как нити в паутине. Потянешь за одну — потянется и другая.

— По твоим словам, — сказала я, — смерть ее была напрасной. Если бы Царь смог отложить дело на несколько дней, ветер переменился бы сам собой и Психея была бы спасена. И так-то ты утешаешь меня?·

— Не совсем так. Злодейство их было напрасным и происходило от невежества, которое и порождает все зло в этом мире. Мы должны утешаться тем, что только они сами повинны в содеянном. Рассказывают, что она не проронила ни слезы и не дрогнула, когда ее повели к Древу. Даже когда ее привязали и так оставили, она не заплакала. Она умерла достойно, храбро, с терпением в сердце и — о! моя маленькая Психея, о!..

Тут любовь старого философа взяла верх над его рассудком, и он накинул плащ на голову, чтобы я не увидала его слез.

На следующий день он сказал мне:

— Видишь, доченька, как мало я преуспел в философии. Наверное, я начал заниматься ею слишком поздно. Ты моложе меня, ты добьешься большего. Любить и терять любимых — и то и другое в природе вещей. Если, принимая первое, мы не можем вынести второго, мы проявляем тем самым нашу слабость. Но Психея была не такова. Если мы посмотрим на то, что постигло ее, трезвым взглядом рассудка, сдержав порывы сердца, мы признаем, что все лучшее в жизни она уже имела, и имела сполна. Все было дано ей — целомудрие, умеренность, разумение, послушание, честность и мужество, — и хотя слава людская суетна, нельзя не сказать о том, что участь ее будет прославлена наравне с судьбами Ифигении и Антигоны.

Разумеется, эти греческие предания были мне знакомы. Часто я заучивала наизусть песни поэтов, прославлявшие этих героинь. Однако я попросила старика вновь рассказать мне об Антигоне и Ифигении, потому что к тому времени я уже знала, что мужчины (особенно греки) легко находят утешение в словах, которые слетают у них с языка. Но и меня рассказы эти успокоили, как успокаивает все хорошо знакомое и привычное, а я, как никогда, в этом нуждалась, поскольку после выздоровления безграничное отчаяние стало вновь посещать меня, отравляя своим ядом все мои мысли.

На следующий день, впервые встав со своего ложа, я сказала Лису:

— Дедушка, мне не удалось стать Ифигенией, так попробую стать хотя бы Антигоной!

— Антигоной? В каком смысле, доченька?

— Она похоронила своего брата — я похороню свою сестру. Что-нибудь да осталось: даже Черное Чудище не станет есть кости. Я должна отправиться к Древу. Я принесу оттуда останки и достойно похороню их. Или, если это будет мне не под силу, я вырою могилу прямо там.

— Это — поступок, угодный богам, — сказал Лис. — Он в обычае людей, если не в природе вещей. Но сможешь ли ты? В эту пору года путь на Гору нелегок.

— Вот почему надо спешить. Я думаю, снег выпадет не раньше чем через три недели.

— Но сможешь ли ты, доченька? Ты только что встала с постели...

— Должна смочь... — ответила я.

Глава девятая

Вскоре я уже поправилась настолько, что могла свободно ходить по дворцу и прогуливаться в саду. Царю я старалась на глаза не попадаться. Лис говорил ему, что я все еще больна, иначе он сразу бы призвал меня в Столбовую залу и запряг бы в работу. Отец часто спрашивал:

— Куда запропастилась эта девчонка? Она что, так и проваляется в постели до самой смерти? Не потерплю дармоедов в моем доме!

Потеря Психеи не смягчила его сердце. Любовь его ко мне и к Редивали не стала больше — скорее напротив.

— Послушать его, — говаривал Лис, — так ни один отец в мире не любил дочь так, как он Психею.

Боги, дескать, отняли у него любимую девочку и оставили ему всякую дрянь: потаскуху (Редиваль) и страшилище (меня). Но я хорошо знала отца и могла догадаться без рассказов Лиса, что он скажет по поводу случившегося.

Я непрестанно обдумывала, каким образом взойти на Седую гору, чтобы собрать останки Психеи. Когда я высказала свое намерение Лису, я сделала это в каком-то порыве и только теперь начала осознавать, какие трудности (и немалые) мне предстояло одолеть. Ездить верхом я не умела, так что меня ждал пеший путь. Я знала, что взрослый мужчина, знакомый с дорогой, может добраться от дворца до Древа за шесть часов. Я, слабая женщина, никогда прежде не ходившая туда, смогла бы совершить это путешествие не меньше чем за восемь. Еще два часа на поиски останков и, скажем, часов шесть на обратный путь. Всего шестнадцать часов. Это означало неизбежную ночевку на Седой горе, следовательно, я должна взять с собой запас пищи и теплую одежду. Выходило, что совершить задуманное я смогу, только когда полностью оправлюсь от болезни.

По правде говоря (теперь мне это ясно как день), я тайно желала отложить свою затею на возможно более поздний срок, и не потому, что она была трудна и опасна, но потому, что, похоронив Психею, я не знала бы, как и чем жить дальше. Задуманное мною дело стояло преградой между моим сегодняшним днем и мрачной безрадостной пустыней, которой мне представлялось дальнейшее существование. Похоронив Психею, я бы не знала, что мне делать дальше, чем заполнить такую пустоту и безотрадность, о которых я никогда и не помышляла ранее. Отчаяние мое было совершенно не похоже на все, что я испытывала до сих пор. Я не рыдала и не заламывала рук. Я была как вода в кувшине, забытом в погребе, которую никто уже не выпьет, не прольет, не встряхнет. Дни тянулись мучительно медленно. Даже тени не росли и не убывали, словно кто-то приколотил их гвоздями к земле. Само солнце, казалось, оцепенело вместе со мной.

В один из таких мертвенных дней я вошла во дворец через черный ход между казармой стражников и молочным двором. Открыв дверь, я присела на порог. Я не ощущала усталости (ибо беспощадные боги дали мне крепкое, выносливое тело), но безразличие и тоска сковали мои члены. Я не знала, куда мне пойти, да мне никуда и не хотелось. Жирная навозная муха медленно ползла у меня перед глазами по косяку двери. Мне подумалось, что вот так и я ползу — уныло, бесцельно, а может, и весь мир, подобно этой мухе, ползет неведомо куда.

И тут кто-то сказал у меня за спиной:

— Госпожа!

Я обернулась – это был Бардия.

— Госпожа, — сказал он. — Позволь мне быть с тобой откровенным. Я тоже знавал горе. Мне тоже доводилось вот так сидеть и страдать, и часы тянулись, как годы. Меня исцелила война. Думаю, от горя и нет другого лекарства.

— Бардия, но я же не воин! — ответила я.

— Почти воин, — сказал он. — Когда ты набросилась на меня у покоев Царевны (да пребудет с ней мир, с нашей благословенной!), я сказал, что у тебя верный глаз и твердая рука. Ты наверняка подумала, что я сказал это, чтобы ободрить тебя. Отчасти так. Но только отчасти. В это время казармы пусты. Там есть незато-

ченные мечи для занятий. Пойдем со мной, и я поучу тебя.

— Не надо, — сказала я безразличным голосом. — Не хочу. Какой в этом прок?

— Прок? Поживем — увидим. Знаю одно: когда тело занято делом и каждая мышца и связка напряжены, печаль оставляет душу. Это так, госпожа, уж поверь мне. К тому же я не прощу себе никогда, если не возьмусь обучать человека с таким прирожденным талантом, как у тебя.

— Не надо, — повторила я. — Оставь меня. Если хочешь, возьмем заточенные мечи, и тогда я согласна. Может статься, ты убьешь меня.

— Прости меня, госпожа, но это — бабьи речи. Возьмись за дело, и ты заговоришь совсем по-другому. Иди за мной, иначе тебе от меня не отделаться.

Сильный, уверенный и обходительный мужчина, старше вас к тому же, всегда сумеет переубедить упрямую, отчаявшуюся девчонку. Дело кончилось тем, что я встала и последовала за Бардией.

— Этот щит будет тяжеловат, — рассуждал Бардия, выбирая мне доспехи. — А вот этот как раз тебе впору. Держи его, вот так... И запомни с самого начала: щит — не стена, а оружие, такое же, как меч. Теперь смотри на меня: я постоянно покачиваю щитом. Он в моих руках — как крыло бабочки. Ведь в сече мечи, стрелы и дроты так и норовят ужалить тебя исподтишка. Теперь — меч. Нет, не держи его так! Хватка должна быть твердой, но легкой. Это же не зверь, который рвется у тебя из рук. Ну вот, так намного лучше. Выставь вперед левую ногу. И не смотри мне в глаза, смотри на острие моего меча. Я же не собираюсь разить тебя взглядом. Теперь я покажу несколько приемов.

Занимались мы около получаса. Так потеть мне в жизни еще не приходилось, и, понятно, все это время в голове у меня не оставалось места ни для каких мыслей. Я уже говорила, что труды и болезни — лучшие утешители. Но пот — еще более дивное творение богов. Он лучше любой философии излечивает от тягостных дум.

— На сегодня довольно, — сказал Бардия. — Хватка у тебя твердая. Я сделаю из тебя бойца, клянусь богами! Приходи завтра. Эта одежда стесняет тебя. Надень что-нибудь покороче, не ниже колена.

Я так разгорячилась, что, пройдя на молочный двор, залпом выпила кувшин молока. Это была моя первая существенная трапеза, с тех пор как я заболела. Возвращаясь назад, я заметила, как один из воинов (видно, он подсмотрел, чем мы занимались с Бардией) подошел к начальнику и что-то сказал ему. Бардия ответил, но слов я не расслышала. Затем он заговорил уже громче:

— Да, с лицом у нее беда. Но она честная и смелая девочка. Не будь она царской дочерью, не было бы лучше жены для слепца.

До сих пор мне не приходилось слышать от мужчины слов, которые больше бы походили на признание в любви.

После этого я стала заниматься с Бардией ежедневно; как он и обещал, уроки эти совершенно исцелили меня. Горе мое осталось со мной, но прошла оцепенелость чувств, и время возобновило свой обычный бег.

Вскоре я поведала Бардии о своем намерении посетить Седую гору и объяснила, с какой целью я хочу отправиться туда.

— Отличная мысль, госпожа, — сказал воин. — Мне стыдно, что она мне самому не пришла в голову! Мы все в неоплатном долгу перед благословенной Царевной. Но не беспокойся, я сам отправлюсь туда!

Я покачала головой.

— Тогда отправимся вместе, — предложил Бардия. — В одиночку ты заблудишься. Или, не ровен час, повстречаешь медведя, стаю волков или горных разбойников. Да мало ли опасностей на этом свете! Умеешь ли ты ездить верхом, госпожа?

— Нет, меня этому никто не учил...

Бардия нахмурил лоб и задумался.

— Поедем вдвоем на одной лошади, — решил он наконец. — Я сяду в седло, а ты поедешь сзади. Часов за шесть доберемся — я знаю короткий путь. Но поиски могут занять немало времени. Спать все равно придется под открытым небом.

— А Царь отпустит тебя? — спросила я.

Бардия хмыкнул:

— Ну уж Царю-то я найду что сказать! С нами он не такой, как с тобой. Он, конечно, несдержан в речах, но хороший начальник таким людям, как солдаты, пастухи, охотники. Он их понимает, а они его. Царь не умеет вести себя с женщинами, жрецами и послами, потому что побаивается их.

Я сильно удивилась про себя последним словам воина.

Через шесть дней после этого разговора мы отправились в путь на заре. День был такой пасмурный, что обещал быть немногим светлее ночи. Никто во дворце, кроме Лиса и моих девушек, не знал о нашем предприятии. Я накинула простой черный плащ с капюшоном и закрыла лицо платком. Под платье я надела короткую тунику, в которой обычно фехтовала, и подпоясалась солдатским ремнем с боевым мечом в ножнах.

— Скорее всего, мы не встретим ничего крупнее дикой кошки или лисицы, но безоружными в горы не ходят, — сказал Бардия.

Я села на коня, свесив ноги на сторону. Одной рукой я держалась за кушак Бардии, а другую положила на урну, лежавшую у меня на коленях.

Тишину городских улиц нарушал только цокот копыт нашего скакуна, но некоторые окна уже светились. За воротами начал накрапывать холодный дождь, но когда мы переходили Шеннит вброд, дождь перестал и облака начали редеть. Заря по-прежнему не хотела заниматься, потому что плотные тучи на востоке скрывали восходившее солнце.

Мы проехали мимо Дома Унгит, оставив его по левую руку. Дом Унгит выглядит так: огромные древние камни, в два раза выше и в четыре раза толще среднего человека, поставлены в виде овала. Это очень древние камни: никто не знает, кто принес их сюда и каким образом. Просветы между камнями заложены кирпичом, крыша же покрыта сухим камышом: она не плоская, а слегка покатая, так что весь храм в целом похож на огромного слизня, лежащего среди полей. Это священный образ: Жрец говорит, что он напоминает или (в священных таинствах) действительно является тем самым яйцом или маткой, из которых родился весь мир. Каждую весну Жреца запирают внутри, и он выбивает (или делает вид, что выбивает) западные ворота, и это означает, что наступил новый год. Из отверстия в крыше шел дым; он идет всегда, потому что огонь на жертвеннике Унгит никогда не гаснет.

На душе у меня полегчало, как только мы миновали Дом Унгит: оттого, что мы поехали по местности, еще незнакомой мне, и оттого, что вся эта страшная святость осталась позади. Гора еще подросла и виднелась впереди, темная, как и раньше, но сзади, за городом, на холмах, где мы проводили беззаботные дни с нашим учителем, уже разгоралось утро. Наконец и на западном скате неба слабое розовое свечение начало пробиваться сквозь толщу облаков.

Мы ехали то вверх, то вниз по холмистой местности, но по большей части все же вверх. Дорога была неплохая, обочины все поросли густой зеленой травой. Впереди показались темные заросли деревьев, и дорога повернула к ним, но Бардия съехал с проселка на траву и сказал, показывая на мрачный лес впереди:

— Священная Дорога ведет туда. По ней они несли Царевну (да будет мир с ней!). Наша дорога другая; она круче, но короче.

Потом мы долгое время ехали по траве, медленно, но неуклонно поднимаясь в гору. Перед нами встал кряж такой крутой, что самой горы из-за него не было видно. Когда мы поднялись на него и остановились ненадолго, чтобы дать лошади перевести дух, местность кругом полностью переменилась. Тут и начались мои мучения.

Мы оказались на солнце; свет его был нестерпимо ярким и жарким (мне даже пришлось снять плащ). Густая роса самоцветами горела в зеленой траве. Гора, еще далекая и огромная превыше всех моих ожиданий, почти касалась вершиной солнца и уже не выглядела темной однородной громадой. Между нами и вершиной лежали холмы и долины, леса и скалы и бесчисленное множество крохотных озер. Слева и справа нас окружало многоцветье холмов и синева небес, а далеко-далеко блестело то, что мы зовем морем (хотя куда ему до Великого Моря греков!). Пел жаворонок, но песня его лишь подчеркивала огромное и древнее молчание, царившее кругом.

Теперь о том, что мучило меня. Как нетрудно догадаться, я отправилась в путь в печали, ибо печальным было дело, ради которого я покинула дворец. Но теперь в ушах у меня все громче звучал проказливый и непочтительный голосок, и он будто нашептывал мне, хотя я не слышала слов: «Почему бы не пуститься в пляс твоему сердцу?» И безумие мое зашло так далеко, что сердце ответило: «И верно, почему?» Мне приходилось вдалбливать самой себе, словно непонятливому ученику, почему у меня нет ни малейшего права пуститься в пляс. Пускаться в пляс, когда у меня отняли мою единственную любовь, у меня, у царевны-страшилища, покорной служанки Царя, тюремщицы ненавистной Редивали? Пускаться в пляс мне, которую забьют насмерть или прогонят к нищим, как только мой отец умрет, — да кто знает, на какие еще подлости способен наш Глом? Но сердце мое не желало слушать доводы рассудка. Огромный мир, открывшийся передо мной, позвал меня, и мне хотелось идти все время вперед, встречать по пути все новые и новые вещи, странные и прекрасные, и так — пока я не достигну пределов этого мира. Свежесть и тугая влажность растений (а я не видела ничего, кроме сухой травы и выжженной земли, несколько месяцев перед моей болезнью) заставляли меня думать, что я недооценила мир; он оказался куда добрее и радостнее, чем я полагала, — он смеялся, а сердце его плясало вместе с моим. Я усомнилась даже в своем уродстве. Как можно ощущать себя уродливой, когда твое сердце танцует от радости? Там, в глубине неловкого тела, под маской уродливого лица притаилась совсем другая женщина — свежая, желанная, проворная.

Мы простояли на гребне совсем недолго. Но еще несколько часов после этого, пока мы поднимались на холмы и спускались по петляющей тропке, часто спешиваясь и ведя коня под уздцы, иногда рискованными кручами, во мне шла эта борьба.

Неужели я ошибалась, пытаясь победить в себе это дурацкое радостное чувство? Простые приличия требовали от меня именно этого. Могла ли я прийти на похороны Психеи с улыбкой на устах? Если могла, то чего стоила тогда моя любовь? Здравый смысл требовал этого. Я знала мир слишком хорошо, чтобы поверить его мимолетной улыбке. Кто поверит пошлым уловкам потаскушки, после того как был трижды ею обманут? Выдавшаяся хорошая погода, свежая зелень после долгой засухи, здоровье, вернувшееся после мучительного недуга, — уловки, которые не заставят меня забыть все, что я знаю об этом проклятом богами, зачумленном, жестоком, гниющем мире. Я знаю все, я не дурочка. Тогда я еще не понимала так хорошо, как понимаю сейчас, главную причину своего недоверия к миру: боги никогда не призывают нас к радостям и наслаждениям так властно, как тогда, когда готовят для нас новые муки. Они развлекаются нами, как мыльными пузырями. Чтобы мы лопнули и доставили им удовольствие, нас нужно сперва хорошенько раздуть. Я еще не знала об этом, но сдержала свой порыв. Я справилась с собой. Неужели они полагали, что на мне можно играть, как на флейте, в любой момент, когда им заблагорассудится?

Мучения мои прекратились только тогда, когда мы одолели последний подъем перед тем, что и было собственно Седой горой. Мы уже находились на такой высоте, что ветер холодил нам кожу, несмотря на яркое солнце. У наших ног, отделяя нас от вершины, лежала темная, мрачная долина — черные мхи и лишайники, огромные валуны, россыпи камней; казалось, что это — рана на теле Горы, огромная болячка, покрытая коростой. Сама же Гора высилась перед нами, и нам пришлось задрать головы, чтобы увидеть ее макушку, — она завершалась острыми зубцами, словно гнилой зуб старого великана. Склоны были довольно пологие, если не считать нескольких страшных на вид утесов слева от нас, стоявших неприступной, черной стеной. И тут боги оставили меня в покое, и радость покинула мою душу. Здесь не было ничего такого, от чего могло бы пуститься в пляс и самое беззаботное сердце.

Бардия показал куда-то направо. Там склон горы, спускаясь, образовывал седловину, которая была несколько ниже, чем наш гребень, но выше, чем все окружающие горы. За седловиной было только небо, и на его фоне отчетливо вырисовывалось одиноко стоявшее дерево с голыми ветвями.

Мы прошли черную долину пешком, ведя коня за собой, потому что путь пролегал по скользким каменистым россыпям, пока, достигнув самого дна распадка, мы вновь вышли на Священную Дорогу, которая входила в долину с севера, по левую

руку от нас. Мы уже почти пришли на место и поэтому хотели продолжить путь пешком, но несколько витков дороги привели нас на эту седловину, где тоже дул пронизывающий ветер.

Чем ближе было Древо, тем сильнее становилось моё беспокойство. Не знаю, чего я боялась, но мне казалось, что стоит мне найти тело или кости, как я умру от ужаса. Наверное, я поддалась бессмысленному детскому страху: мне казалось, что Психея может оказаться не живой и не мертвой — призраком.

И вот, наконец, мы достигли Древа. Железный обруч охватывал голый ствол, лишенный коры, а цепь свисала свободно, время от времени позвякивая на ветру. Под деревом не было ни костей, ни обрывков платья, ни следов крови — вообще ничего.

— Как это понимать, Бардия? — спросила я.

— Бог взял ее к себе, — побледнев, ответил он хриплым шепотом (Бардия был человек богобоязненный). — Ни одна земная тварь не способна так чисто вылизать свое блюдо. Остались бы кости. Зверь — кроме Священного Чудища, разумеется, — не сумел бы извлечь тело из оков. Зверь не забрал бы с собой драгоценностей. Человек — да, но человек не смог бы расковать эту цепь голыми руками.

Мне даже и в голову не приходило, что наше путешествие может закончиться вот так впустую: нечего собирать, нечего предавать земле. Жизнь моя снова стала ненужной и бесполезной.

— Будем искать, — сказала я, понимая, что выгляжу глупо; ведь я и сама не надеялась ничего найти.

— Конечно, конечно, госпожа, будем искать, — сказал Бардия, но я знала, что он согласился со мной только по доброте душевной.

И мы стали искать, двигаясь кругами: я в одну сторону, а он — в другую, не отрывая глаз от земли. Было очень холодно и ветрено; плащи хлестали нас по щекам и спутывали ноги.

Бардия был к востоку от меня, на другой стороне седловины. Когда он позвал меня, мне пришлось долго бороться с волосами, прежде чем удалось откинуть их с лица и увидеть, где находится мой спутник. Я побежала к Бардии, почти полетела, потому что западный ветер превратил мой плащ в парус. Бардия показал мне свою находку — ограненный рубин.

— Я никогда не видела, чтобы она носила этот камень, — удивилась я.

— Зато я видел. Он был на Царевне, когда она отправилась в последний путь. На нее надели тогда все священные драгоценности. Ремешки ее сандалий были красными от рубинов.

— Ах, Бардия! Значит, некто — или нечто — дотащил ее вот досюда...

— Или ее сандалии. Сорока, например...

— Будем искать дальше, в этой же стороне!

— Осторожнее, госпожа! Вперед пойду я, а ты лучше постой здесь.

— Почему? Разве нам что-то угрожает? Даже если так, я пойду с тобой!

— Насколько мне известно, никто из смертных еще не заходил на тот край седловины. Во время жертвоприношения даже Жрец не заходит дальше Древа. Мы уже совсем рядом с той частью Горы, которая опасна для нас. Там, за Древом, — святое место, владения бога Горы. По крайней мере, так говорят...

— Тогда я пойду вперед, а ты оставайся на месте. Мне, Бардия, бог уже не сделает хуже, чем сделал.

— Я пойду с тобой, госпожа. Не будем говорить много о богах. А еще лучше — не будем говорить о них совсем. Подожди, я схожу за конем.

Он ушел, и я на какое-то время осталась совсем одна в опасной близости от святого места. Бардия отвязал жеребца от куста, где мы его оставили, и привел ко мне. Мы тронулись дальше.

— Осторожнее, — снова сказал Бардия. — В любую минуту мы можем сорваться.

И верно, сначала нам чудилось, что небо вот-вот разверзнется под нами. Но затем мы внезапно очутились на краю пологого склона, и в тот же миг солнце (скрытое от нас с тех пор, как мы вошли в темную долину) вновь осветило все кругом.

Я почувствовала себя первооткрывательницей нового мира. У наших ног, по-

среди складок горных хребтов, лежала маленькая долина, сверкавшая, подобно самоцвету. К югу от нее в теплой голубоватой дымке виднелись далекие холмы, леса и луга. Долина вклинивалась в южные отроги Горы, и, несмотря на большую высоту, климат в ней, кажется, был гораздо мягче, чем даже в самом Гломе. По крайней мере, мне нигде не доводилось видеть такого зеленого дерна. Там, в долине, цвел дрок и дикий виноград, все деревья были в цвету. Там было много чистой свежей воды — маленьких озер и быстрых ручьев, несших свои воды через валуны. Мы вскоре нашли удобный спуск для нашего скакуна и пошли под гору, ощущая, как с каждой минутой воздух становится все теплее, все слаще и ароматнее. Здесь, за перевалом, уже не было ветра, и мы могли спокойно разговаривать друг с другом. Вскоре мы настолько приблизились к долине, что услышали, как журчат ручьи и пчелы гудят на лугах.

— Возможно, это тайное жилище бога, — сдавленным голосом сказал Бардия.

— Если он хотел спрятаться, это ему чуть было не удалось, — ответила я.

Мы уже почти достигли дна долины. Кругом было так тепло, что я с трудом удержалась от искушения окунуть руки и лицо в быстрые, благоуханные воды потока, который только и отделял нас от самой долины. Я уже подняла руки к платку, чтобы откинуть его, но тут услышала, как два голоса одновременно вскрикнули. Один из них, несомненно, принадлежал Бардии. Я оглянулась. Безымянное чувство (назовем его, весьма приблизительно, ужасом) охватило меня с головы до ног. Не более чем в шести футах от меня, на другой стороне ручья, стояла Психея.

Глава десятая

Мне теперь и не вспомнить, что я там лепетала заплетающимся от радости языком, захлебываясь слезами счастья. Мы все еще стояли на разных берегах ручья, когда голос Бардии вернул меня к жизни.

— Осторожнее, госпожа! А вдруг это только призрак? Нет, нет! — это она, невеста бога! Это сама богиня!

Смертельно побледнев, он упал на колени и принялся посыпать голову землей. Я не виню его: Психея предстала перед нами, как выражаются греческие поэты, «светозарная ликом». Но я не испытывала и тени священного трепета. Разве могла я трепетать перед моей Психеей, которую я носила на своих руках, моей маленькой сестрой, которую я учила говорить и ходить по земле? Кожа ее обветрилась от солнца и горного воздуха, одежды были разодраны, но лицо ее смеялось, а глаза горели, подобно звездам.

— Здравствуй, здравствуй, милая Майя! — твердила она. — Как долго я ждала нашей встречи! Только об этом я и мечтала! Я знала, что ты придешь. Ах, какое счастье! Милый Бардия, и тебе я рада! Это он помог тебе добраться сюда? О, я так и знала. Иди ко мне, Оруаль, иди на мой берег. Я покажу тебе брод. Увы, Бардия, тебе нельзя сюда. Милый Бардия, пойми...

— Нет, нет, благословенная Истра! — воскликнул воин (как показалось, не без облегчения). — Я простой солдат, куда уж мне! — Затем он сказал вполголоса в мою сторону: — Берегись, госпожа. Место это опасно. Может статься...

— Опасно? — перебила его я. — Да я бы пошла на тот берег, даже если бы ручей этот был из жидкого пламени!

— И то верно, — согласился Бардия. — Ты другая. В твоих жилах течет кровь богов! Я лучше постерегу коня. Здесь нет ветра и хорошие травы.

Я уже почти вошла в воду.

— Чуть выше по течению есть брод, Оруаль! — сказала Психея. — Обойди этот камень, только смотри не поскользнись. Нет, левее, тут слишком глубоко. Вот так, держись за мою руку!

Долгая болезнь и дни, проведенные в постели, ослабили меня. Вода была ледяная, у меня перехватывало дух, а течение сбивало с ног. Если бы не рука, протянутая Психеей, меня бы опрокинуло. Схватившись за нее, я успела подумать: «Какая Пси-

хея стала сильная! Сильнее меня. Боги дали ей все — и силу, и красоту».

Я плохо помню, что было дальше. Наверно, я целовала ее, говорила ей что-то, плакала, все одновременно. Но она отвела меня в сторону от потока и заставила сесть на теплый вересковый ковер, и так мы сидели, взявшись за руки, как в ту страшную ночь в комнате с пятью углами.

— Ах, сестра! — весело сказала Психея. — Порог моего дома холоден и неприветлив, но я согрею тебя и верну тебе дыхание!

Она вскочила на ноги, отбежала в сторону, что-то собрала в траве и принесла мне — это были маленькие черные ягоды гор. Холодные и круглые, они лежали на темно-зеленом листе.

— Съешь, — попросила Психея. — Это воистину пища, достойная богов!

— Какие они сладкие! — воскликнула я. Меня терзали и голод, и жажда, поскольку был уже полдень, а выехали мы на заре. — Но, Психея, объясни мне, как...

— Постой! — сказала она. — Пир будет неполным без вина!

Рядом с нами бил родник, чистый, как серебро. Он струился по камням, покрытым густым мягким мхом. Психея наполнила ладони этой водой и поднесла их к моим губам.

— Пила ли ты когда-нибудь лучшее вино? — спросила она. — Видела ли ты чашу прекраснее этой?

— Дивный напиток, — ответила я. — Но чаша еще чудеснее. Она мне дороже всех кубков мира!

— Тогда она твоя, сестра! — сказала Психея с такой непосредственностью и при этом с таким царским величием, что слезы вновь хлынули у меня по щекам, потому что мне вспомнились наши детские игры.

— Благодарю тебя, дитя! — сказала я. — Царский подарок. Но все же, Психея, поговорим всерьез. Нам есть о чем поговорить. Как тебе удалось бежать? Как ты не умерла в этом диком месте? Не дадим радости ослепить себя: нам необходимо решить, что делать дальше.

— Что нам делать дальше? Как что? Радоваться! Разве наши сердца не пляшут от радости?!

— Конечно, конечно! Радость моя так велика, что я даже готова простить самих богов. Да что там богов, я даже Редиваль готова простить. Но послушай — скоро начнется зима. Ты же не можешь... Да как вообще тебе удалось остаться в живых? Я-то думала... — Но сказать, что я думала, мне уже недостало сил.

— Тише, Майя, тише! — сказала Психея (снова она утешала меня, а не я ее). — Все страхи позади. Отныне все будет хорошо. И ты скоро это поймешь; останься здесь, пока не станешь такой же счастливой, как я. Ты же еще ни о чем не знаешь. Ты, вероятно, не ожидала найти меня в такой роскоши, верно? Ты наверняка очень удивилась.

— Да, Психея, я просто изумлена. И я очень хочу услышать, что же с тобой случилось. Но сперва все-таки мы должны принять решение.

— Как же ты серьезна, Оруаль! — с улыбкой сказала Психея. — Ты никогда не могла обойтись без того, чтобы принимать решения. Что ж, ты права — иначе с таким ребенком, как я, и нельзя было. Только благодаря тебе я стала взрослой.

И она поцеловала меня, отчего всю мою тревогу тут же как рукой сняло. Затем она начала свой рассказ.

— Я почти ничего не чувствовала, когда мы покинули дворец. Перед тем как накрасить меня, храмовые девушки дали мне что-то выпить — что-то пахучее и сладкое, вроде дурмана. После этого довольно долго я словно грезила наяву. Мне кажется, сестра, что они всегда дают это снадобье тем, чья кровь должна пролиться на алтарь Унгит, — вот почему жертвы умирают так безропотно. И еще эта краска на моем лице — мое лицо от нее стало как бы чужим, и я перестала осознавать, что это меня, а не кого-то другого приносят в жертву. И музыка, и курения, и горящие факелы — все это тоже на меня подействовало. Я видела, как ты стояла на лестнице, но у меня не было сил даже на то, чтобы помахать тебе рукой — руки стали словно свинцовые. К тому же я не видела в этом никакого смысла — мне казалось, что все это сон и мы скоро проснемся. И разве я была не права? Разве это не было сном? Почему ты не

улыбаешься? Но послушай меня дальше, а то, может, ты все еще спишь... Даже свежий воздух за воротами дворца не смог одолеть дурмана — напротив, снадобье только тогда вошло в полную силу. Я ничего не чувствовала: ни страха, ни радости. Мне было страшно, что я сижу на носилках, высоко над землей, что меня несут куда-то... все время гудели трубы и трещали трещотки. Я совсем не помню, как долго мы шли. Мне показалось, что очень долго, потому что я успела запомнить каждый камушек на дороге. С другой стороны, мне показалось, что мы в мгновение ока перенеслись к Древу. Но все-таки мы шли долго, потому что под конец рассудок начал возвращаться ко мне. Я почувствовала, что со мной делают что-то ужасное, и мне впервые захотелось заговорить. Я попыталась закричать, что вышла ошибка, что я бедная девочка по имени Истра и что меня не должны убивать, но с губ моих слетали только какие-то неразборчивые звуки. Затем человек с птичьей головой (а может, и птица с человеческим телом)...

— Это был Жрец! — воскликнула я.

— Да, Жрец. Если только он остается Жрецом и в маске. Возможно, надев маску, он становится богом. Кто бы он ни был, он сказал: «Дайте ей еще!», и молоденькая жрица, встав на чьи-то плечи, протянула мне чашу с липкой, сладкой жидкостью. Я не хотела ее пить, но знаешь, Майя, все случилось как тогда, когда цирюльник вытаскивал мне занозу, а ты держала меня крепко и просила потерпеть. В общем, я сделала так, как мне велели, и мне сразу же стало легче.

Затем я помню, как меня спустили с носилок, и поставили на горячую землю, и приковали к Древу цепью, обернув ее вокруг меня. Железо зазвенело, и от этого звука хмель улетучился. А затем Царь начал кричать, раздирать одежды и рвать на себе волосы. И ты знаешь, Майя, он так смотрел на меня тогда, словно в первый раз видел. Но мне хотелось только, чтобы он перестал и ушел, а с ним бы ушли все остальные и оставили меня плакать одну. Теперь мне уже хотелось плакать. Ум мой прояснился, и мне стало страшно. Я попыталась держаться, как те девушки в греческих легендах, о которых рассказывал нам Лис, и я знала, что у меня получится, но только если они уйдут сразу.

— Ах, Психея, ты же сама сказала, что все это позади. Забудь этот кошмар! Расскажи лучше, как тебе удалось спастись. У нас еще ничего не решено и совсем нет времени, чтобы...

— Оруаль! Да у нас полно времени! Неужели ты не хочешь услышать, что же со мной приключилось?

— Конечно, хочу. Я хочу знать все, и до мельчайшей подробности. Но сперва нам нужно уйти отсюда—здесь опасно...

— Разве? Это мой дом, Майя. И чтобы ты уразумела, какие чудеса со мной приключились, нужно, чтобы ты выслушала и про все мои несчастья. К тому же, знаешь, несчастья эти не были столь уж большими.

— Думай как хочешь, но мне все равно больно даже слушать об этом.

— Ну потерпи немножко. Итак, в конце концов они ушли, и я осталась одна под палящими небесами, среди выжженных, сморщившихся от зноя гор. Воздух был неподвижен, ни малейшего ветерка; ты, наверно, помнишь — это был последний день засухи. Мне очень хотелось пить из-за липкой гадости, которой меня напоили. И тут только я заметила, что меня привязали так, чтобы я могла только стоять. Вот тогда мне и вправду стало страшно, и я заплакала. Ах, Майя! Как мне не хватало тогда тебя и Лиса! И я молила, молила, молила богов, чтобы то, чему суждено случиться, случилось как можно скорей. Но ничего не происходило, кроме того, что от соленых слез мне еще больше захотелось пить. Прошло еще очень много времени, а потом стали появляться гости.

— Гости?

— Да, это было не так уж страшно. Сначала пришли горные козы. Несчастные, исхудавшие, бедные твари. Думаю, что пить им хотелось не меньше, чем мне. Они ходили кругами вокруг меня, но приблизиться не решались. Потом пришел какой-то зверь, которого я никогда прежде не видела, но думаю, что это была рысь. Она сразу направилась ко мне. Мои руки не были связаны, и я приготовилась бороться с ней,

но этого не потребовалось. Несколько раз (наверное, она боялась меня не меньше, чем я ее) она подходила и обнюхивала мои ноги, затем встала на задние лапы и обнюхала мне лицо. Затем она ушла. Я даже расстроилась — с ней было все-таки веселей. И знаешь, о чем я думала все это время?

— О чем?

— Сперва я утешала себя, вспоминая свои детские мечты о дворце на Горе... о боге... пыталась вновь поверить во все это. Но не могла поверить, не могла даже понять, как мне это удавалось прежде. Все эти мечты ушли, умерли.

Я взяла ее ладони в свои и ничего не сказала. Но внутренне я обрадовалась. Не знаю, может, эти грезы имели какой-то смысл в ночь перед Жертвоприношением, поскольку давали Психее опору и поддержку. Но теперь я была рада, что она оставила свои бредни. Я знаю, что радость моя была противна природе вещей и шла не от добра. Может быть, ее ниспослали мне злокозненные боги. Никто этого не знает, а боги молчат — как всегда...

— Меня спасла совсем другая мысль, — продолжала Психея. — Ее и мыслью-то не назовешь, потому что не выскажешь словами. В ней было что-то от философии, которой учил нас Лис, — все, что он говорил нам о богах и «божественной природе», — но было что-то и от речей Жреца о крови, о земле и о том, как жертва возвращает земле плодородие. Я не могу толком объяснить тебе, но мысль эта шла откуда-то изнутри, из самых глубин моего существа, она родилась не там, откуда приходили грезы о чертогах из золота и янтаря, не там, откуда являлись все мои страхи, — нет, глубже. Ее нельзя было выразить словами, но за нее можно было держаться. Затем все изменилось...

— Что? — Я не всегда понимала, о чем она говорит, но решила предоставить ей самой рассказывать, как ей нравится, и не задавать лишних вопросов.

— Погода, конечно. Я не видела неба, потому что цепь не позволяла мне поднять голову, но почувствовала, что внезапно похолодало. Я догадалась, что над Гломом собираются тучи, потому что все краски кругом поблекли и тень моя побледнела и пропала. И тут — как это было чудесно! — легкий ветерок, первый порыв западного ветра, коснулся моей щеки. Ветер все крепчал, в воздухе запахло дождем, и я поняла, что боги — это не выдумка и что это я вернула влагу земле. А затем ветер завыл в ветвях (но звук этот был так хорош, и воем я зову его, оттого что не могу найти другого слова), и хлынул ливень. Древо немножко укрыло меня, но, выставив вперед руки, я собирала в ладони дождевую воду и пила ее. А ветер все крепчал и крепчал. Мне подумалось, что, если бы не цепь, он унес бы меня. И тут — в этот самый миг — я увидела Его.

— Его?

— Западный Ветер.

— Ветер?

— Нет, не ветер. Бога Ветра, Западный Ветер во плоти.

— Тебе это не приснилось, Психея?

— Ах нет, это не был сон. Во сне такое не приснится. Он имел человеческий образ, но любой сказал бы, что это — не человек. Ах, сестра, ты бы поняла меня, если бы видела сама. Как же объяснить тебе? Тебе случалось видеть прокаженных?

— Да, разумеется.

— А ты замечала, как выглядят здоровые люди рядом с прокаженными?

— Ты хочешь сказать — они кажутся еще здоровее и красивее?

— Да. Так вот: рядом с богами мы — как прокаженные.

— Ты хочешь сказать, что у них такая смуглая кожа?

Психея звонко рассмеялась и захлопала в ладоши:

— Ну вот, ты так ничего и не поняла! Ну да ладно; когда ты увидишь богов своими глазами, Оруаль, ты все поймешь. А ты их увидишь — я тебе помогу. Не знаю как, но я придумаю. Ах вот — вдруг это поможет тебе понять. Когда я впервые увидела Западный Ветер, я не испытала ни радости, ни страха — по крайней мере вначале. Мне было просто стыдно.

— Но чего ты стыдилась, Психея? Неужели они раздели тебя догола?

— Нет, Майя, нет. Я стыдилась своего смертного облика, мне было стыдно, что я — смертный человек.

— Но разве ты виновата в этом?

— Неужели ты не замечала, что людям больше всего стыдно за вещи, в которых они не виноваты?

Я подумала о своем уродстве и промолчала.

— И тогда он взял меня, — продолжала Психея, — своими прекрасными руками, которые обжигали меня (но это не было больно), и вырвал меня из оков. И мне тоже не было ни чуточки больно. Я не понимаю, как это ему удалось. А потом он поднял меня в воздух и понес. Конечно, при этом он снова стал невидимым и подобным вихрю. Я видела его так, как глаз видит вспышку молнии. Но это было неважно: теперь я уже знала, что это не просто ветер, а бог, — и мне совсем не было страшно лететь в небесах, хотя вихрь иногда переворачивал меня вверх ногами.

— Психея, ты уверена, что все это было на самом деле? Может, это был сон?

— Если это был сон, сестра, как же я очутилась здесь? Скорее на сон похоже все то, что было со мной до этого, — Глом, наш отец, старая Батта. Но не перебивай меня, Майя. И вот он понес меня в вихре и бережно опустил на землю. Сперва я не могла отдышаться и была слишком потрясена, чтобы понять, что же происходит вокруг. Западный Ветер, он такой — веселый бог, неотесанный. (Наверное, сестра, богов в юности учат обращению с нами. Это наверняка так: ведь одно неосторожное прикосновение их рук — и мы обратимся в прах.) Но потом я пришла в себя и — о чудо! — увидела перед собой дворец. Я лежала на его пороге. Но это был совсем не тот чертог из золота и янтаря, о котором я мечтала. Если бы это был он, я бы решила, что грежу наяву. Этот дворец не был похож на чертог из моих снов. Ни на него, ни на наши дворцы, ни на греческие, как их описывал нам Лис. Он был такой необычный — да ты и сама видишь. Подожди немного, и я покажу тебе его весь. Зачем тратить время на слова?

Всякий бы понял, что это — жилище бога. Я говорю не о храме, где богу просто служат. Я говорю о доме бога, месте, где бог живет. Ни за какие сокровища на свете я не решилась бы сама войти в него, Оруаль. Но мне все-таки пришлось. Потому что изнутри прозвучал голос — слаще любой музыки... нет, слаще — не то слово. И хотя голос был так прекрасен, волосы встали у меня на голове дыбом, когда я услышала его. И знаешь, что он сказал? Он сказал: «Войди в твой дом (да, да, он так и сказал «твой»), Психея, невеста бога!»

Мне снова стало стыдно, что я — смертная, стыдно и страшно. Но еще страшнее мне было ослушаться. Я переступила порог, дрожа от холода и страха, поднялась по лестнице, прошла под портиком и вошла во двор. Там не было никого. Но затем зазвучали голоса — они приветствовали меня.

— Голоса?

— Да, голоса — женские голоса, хотя назвать их женскими — это то же самое, что назвать бога Ветра мужчиной. И они говорили: «Войди, хозяйка, войди, госпожа, не бойся!» И они двигались, хотя никого не было видно, и словно заманивали меня внутрь. И я прошла вслед за ними в прохладную залу со сводчатым потолком, и нашла там накрытый стол, фрукты и вино. Таких плодов я не встречала прежде нигде — да ты сама увидишь! Потом они сказали: «Отдохни перед купанием, госпожа, а после купания тебя ждет пир». Ах, Оруаль, как объяснить тебе мои чувства? Я знала, что это — духи, и мне хотелось пасть ниц перед ними, но я не смела, потому что они называли меня госпожой и хозяйкой и я должна была соответственно вести себя. При этом я все время боялась, что они вот-вот начнут надо мной смеяться.

— Ах! — вздохнула я.

Это чувство мне было слишком знакомо.

— Но я ошиблась, сестра. Я ужасно ошиблась — должно быть, стыд смертных навеял мне такие мысли. Они дали мне вино и плоды...

— Голоса?

— Да, духи. Я не видела их рук, но я догадалась, что чаши и блюда не сами собой парят в воздухе. Было заметно, что их двигают незримые руки. И (тут Психея

понизила голос) когда я взяла чашу, я почувствовала, как чья-то рука задела мою. И меня снова словно обдало пламенем, которое не причиняет боли. Это было ужасно.

Психея покраснела и засмеялась:

— Так мне казалось тогда. Теперь я не назвала бы это ужасным. Затем они повели меня в купальню. Ты должна обязательно посмотреть это место. Маленький дворик под открытым небом окружен дивной колоннадой, а вода в купальне подобна хрусталю и благоухает, как... как вся эта долина. Я страшно смущалась и не решалась раздеться, но...

— Ты же говорила, что духи были женщинами.

— Ах, Майя, ты все никак не уразумеешь! Это совсем не тот стыд. Он не от наготы, а от смертности, оттого, что мы какие-то... как это назвать?.. несовершенные. Наверное, так стыдно бывает сновидению, когда оно забредет в мир яви. А затем (Психея говорила все быстрей и быстрей) они одели меня — в прекрасные одежды — и начался пир — зазвучала музыка — затем они отвели меня на ложе — наступила ночь — а затем — пришел Он.

— Кто?

— Жених... мой бог. Не смотри на меня так, сестра. Для тебя я всегда буду твоей верной Психеей. Между нами все останется как прежде.

— Психея! — вскричала я, вскочив на ноги. — Я не могу больше ждать. Ты рассказала мне столько удивительного. Если это все — правда, значит, я заблуждалась всю свою жизнь. Мне придется жить ее заново. Но скажи мне, сестра, правда ли все это? Ты не шутишь? Покажи мне все, покажи мне твой дворец!

— Конечно! — сказала она, поднимаясь с колен. — Иди со мной и ничего не бойся!

— Это далеко? — спросила я.

Сестра с изумлением посмотрела на меня.

— Что далеко? —удивилась она.

— Твой дворец, дом твоего бога...

Если вам доводилось видеть, как потерявшийся ребенок в большой толпе бежит к чужой женщине, приняв ее за свою мать, и если вы заглянули ему в глаза в тот миг, когда женщина оборачивается и он понимает, что ошибся, тогда вы легко поймете, как смотрела на меня Психея в тот миг. Щеки ее побледнели, радостный румянец погас.

— Оруаль, — сказала она, и было заметно, что ее бьет дрожь, — Оруаль, что ты такое говоришь?

Я тоже перепугалась, хотя не могла еще сама понять, в чем дело.

— Я? — переспросила я. — Я говорю о дворце. Я спрашиваю, сколько нам до него идти.

Психея громко и испуганно вскрикнула. Затем, окончательно побелев лицом, она сказала:

— Но мы уже во дворце, Оруаль! Ты стоишь на главной лестнице у самых дверей.

Глава одиннадцатая

Постороннему бы показалось, что он видит двух врагов, изготовившихся к смертельной схватке. Мы неподвижно застыли в нескольких шагах друг от друга. Наши нервы были напряжены до предела, и каждый всматривался в лицо другого с отчаянным вниманием.

Отсюда, собственно говоря, и начинается мое обвинение богам, поэтому я постараюсь быть как можно правдивее и не упускать ни малейшей подробности. Тем не менее мне вряд ли удастся пересказать все, что мелькало тогда у меня в голове. Я слишком часто вспоминала те мгновения, и от частых повторений воспоминания мои несколько стерлись.

Кажется, первой моей мыслью было: «Она сошла с ума!» Так или иначе, все мое существо словно преградило собой незримые двери, за которыми стояло нечто жуткое, с полной решимостью не впускать это нечто, чем бы оно ни оказалось. Мне кажется, я просто боялась, как бы мне самой не сойти с ума.

Когда я вновь обрела голос, я сказала только (меня едва хватило на шепот):

— Пойдем отсюда! Это ужасное место.

Верила ли я в ее невидимый дворец? Грек только посмеялся бы над подобным предположением, но у нас, в Гломе, все иначе. Мы живем слишком близко к богам. В горах, возле самой вершины Седой горы, там, где даже Бардии становится страшно, там, куда не отваживаются заходить даже жрецы, могло случиться все что угодно. Я не сумела затворить двери до конца: легкое сомнение все-таки проскользнуло в щель, и теперь мне казалось, что весь мир вместе с моею Психеей ускользает у меня из рук.

Но Психея поняла мои слова очень по-своему.

— Ах, — воскликнула она. — Значит, ты его все-таки видишь?

— Что вижу? — задала я дурацкий вопрос, хотя прекрасно понимала, о чем идет речь.

— Как что — врата, сверкающие стены...

Тут, сама не пойму почему, меня охватила ярость — подобная отцовской, — и я заорала (хотя, клянусь, я и не намеревалась кричать):

— Перестань! Перестань сейчас же! Здесь ничего нет!

Моя сестра покраснела. На какое-то мгновение (но только на мгновение) ярость охватила и ее.

— Ну что же, если не видишь, так потрогай! — закричала она. — Потрогай! Разбей свою голову о стену, если хочешь. Вот здесь...

Она схватила меня за руки, но я освободила их.

— Перестань! Перестань, я тебе говорю! Здесь нет ничего! Ты лжешь! Ты сама в это не веришь!

Но лгала я. Откуда я могла знать, видела ли она то, чего не видела я, или просто сошла с ума? То, что началось потом, было постыдно и безобразно. Я кинулась на Психею, как будто грубая сила могла здесь что-то решить. Я схватила ее за плечи и начала трясти так, как трясут маленьких детей, пытаясь привести в чувство.

Но она была слишком большая и слишком сильная (я даже и не представляла себе, какой она стала сильной), и она стряхнула с себя мои руки в мгновение ока. Мы снова разошлись, тяжело дыша. Теперь мы были совсем уже похожи на двух врагов. Тут на лице у Психеи появилось такое выражение, которого я не видела никогда прежде. Взгляд ее стал подозрительным и колючим.

— Но ты же пила вино? Откуда я взяла его, по-твоему?

— Вино? Какое вино? О чем это ты говоришь?

— Оруаль! Я дала тебе вино. И чашу. Я дала тебе чашу. Где она? Где ты ее спрятала?

— Ах, перестань же, дитя! Мне сейчас не до шуток. Никакого вина не было.

— Но я дала тебе вино! Ты пила его. И медовые пряники. Ты еще сказала...

— Ты дала мне простую воду в твоих ладонях.

— Но ты восхищалась вином и тебе понравилась чаша. Ты сказала...

— Я восхищалась твоими руками. Ты играешь в игру и сама это знаешь. Я просто подыграла тебе.

Психея застыла, приоткрыв рот от удивления, но даже так она была прекрасна.

— Вот оно что... — медленно сказала она. — Значит, ты не пила никакого вина и не видела никакой чаши.

Я не ответила ей, но она и не ждала ответа.

Внезапно она сглотнула что-то, словно проглотила обиду (о, как прекрасна была ее тонкая шея!), и ее настроение резко переменилось; теперь это была сдержанная печаль, смешанная с жалостью. Она ударила в грудь сжатым кулаком, как это делают плакальщицы, и горестно воскликнула:

— Ай-яй! Так вот что он имел в виду. Ты ничего не видишь и не можешь потрогать. Для тебя ничего словно бы не существует. Ах, Майя... прости меня.

Я почти поверила Психее, ведь ей уже несколько раз удалось пошатнуть мою уверенность, а ее собственная вера оставалась такой же твердой, как вера Жреца в богиню Унгит в тот миг, когда кинжал моего отца был приставлен к его груди. Я стояла перед ней и была слабее, чем Лис, когда тот стоял перед старым Жрецом. Воистину ужасным местом была эта долина. В ней было слишком много священного и

божественного — больше, чем может выдержать простой смертный, в ней было слишком много того, что не дано было видеть моим глазам.

Сможет ли грек постичь весь ужас этого? Мне еще долгие годы снился один и тот же странный сон. Мне снилось, что я в каком-то хорошо знакомом мне месте. Чаще всего это была Столбовая зала. И все, что я видела, в последний миг оборачивалось чем-то иным. Положив руку на стол, я прикасалась к мягкому меху, затем из угла стола высовывался длинный влажный язык и облизывал меня. Видеть этот сон я стала после того, как столкнулась с незримым дворцом Психеи, потому что страх, который я испытывала во сне, был того же рода: болезненный разлад, скрежещущее столкновение двух миров, словно два конца сломанной кости скребутся друг о друга.

Но наяву, в отличие от сна, кроме страха, я испытывала еще и боль, которую ничто не смогло бы облегчить. Мир разлетелся вдребезги, и мы с Психеей оказались на разных его осколках. Горы и моря, безумие и болезнь, сама смерть не смогли бы так безнадежно разлучить нас, как это. Боги, это все боги... всюду они. Они украли ее у меня. Они не оставляют нам ничего. Догадка озарила меня, как вспышки молнии в кромешной ночи. А разве она не достойна, подумалось мне, того, чтобы уйти к богам? Разве не там ей место? Но печаль накатывала вновь, как огромная черная туча, и скрывала от меня этот проблеск понимания.

— О Психея! — вскричала я. — Прошу тебя, вернись! Где ты, милая сестра? Вернись!

Она устремилась ко мне и заключила в свои объятия.

— Майя, сестра моя, я здесь! Не надо, Майя, я не вынесу этого! Я...

— Ты... ты мне как дитя, как мой собственный ребенок. Да, ты здесь, я чувствую тебя, но ты так далеко! И я...

Она отвела меня туда, где мох рос гуще, и усадила на мягкий дерн. Затем, словами и ласками, она утешила меня как могла. И подобно тому как посреди бури или битвы вдруг наступает затишье, так и горе мое ненадолго улеглось. Я не слушала того, что она говорила, — сам звук ее голоса, любовь, звучавшая в нем, согревали мой слух. Голос ее был слишком низкий и глубокий для женщины, и от этого каждое слово становилось таким весомым и горячим, словно это было не слово, а прикосновение руки. Глубинное тепло этого голоса исходило из самых недр земли. Таким теплом пригоршня спелого зерна согревает ладонь руки.

Что она говорила мне?.. Она говорила:

— Может быть, Майя, ты тоже научишься видеть, как я. Я буду просить его, умолять его, чтобы он научил тебя. Он поймет. Он предупреждал меня, когда я просила его об этой встрече, что все может выйти совсем не так, как я хочу. Но я даже не думала... Простушка Психея... так он зовет меня... но я не догадывалась, что ты не сможешь даже увидеть. Наверное, он знал об этом. Он нам скажет...

Он? О *нем*-то я совсем и забыла или, по крайней мере, перестала думать, после того как Психея впервые сказала мне, что мы стоим у ворот дворца. А теперь она каждый миг говорила о *нем*, ни о ком другом, кроме *него*, как это делают все молодые жены. И тут что-то во мне ожесточилось, ощетинилось колючим льдом. Так (как я узнала позже) часто случается на войне, когда безликие «они» или «враги» вдруг превращаются в человека, стоящего в двух шагах от тебя и намеревающегося тебя убить.

— О ком это ты говоришь? — спросила я, подразумевая: «Зачем ты говоришь мне о нем? Какое мне до него дело?»

— Но я же тебе все объяснила, Майя. Я говорю о нем, о моем боге. О моем возлюбленном. О моем муже. О хозяине моего дома.

— О, это невыносимо! — вскричала я и снова вскочила на ноги.

Она произнесла это так ласково и с таким внутренним трепетом, что я пришла в бешенство. И тут (словно луч света просиял во мраке) я вспомнила свои первые мысли по поводу Психеи. Она сошла с ума, это несомненно. Это просто безумие, и ничего больше. И я сойду с ума, если поверю ее словам. Стоило мне подумать так — и даже дышать стало легче, словно из воздуха долины исчез наполнявший его священный ужас.

— Хватит, Психея! — сказала я строго. — Где этот бог? Где его дворец? Все это — только твои грезы. Где он? Покажи мне его! Как он выглядит?

Она оглянулась и сказала очень тихо, но так серьезно, словно все, что было сказано до сих пор, и вполовину не так важно, как это.

— Ах, Оруаль! — вздохнула она. — Даже я еще ни разу не видела его — пока. Он приходит ко мне только под покровом священной тьмы. Он сказал, что я не должна — пока — видеть его лицо или знать его имя. Мне запрещено приходить со светом в мои — в наши — покои.

Когда она подняла глаза и я заглянула в них, я увидела там непередаваемое, невыразимое счастье.

— Все это тебе померещилось, — сказала я громко и резко. — Не смей больше повторять эту чушь. Встань. Нам пора...

— Оруаль! — перебила меня она с царственным видом. — Я не солгала тебе ни разу в жизни.

Я сразу снизила тон, но слова мои были по-прежнему холодными и колючими:

— Нет, я не хотела сказать, что ты лжешь. Просто твой рассудок повредился, сестра. Ты бредишь. Ты пережила такой страх, ты была совсем одна, потом еще... они дали тебе этот напиток. Но мы тебя вылечим.

— Оруаль, — сказала Психея.

— Что?

— Если все это — только мой бред, как я смогла прожить здесь столько дней? Неужели ты думаешь, что я питалась одними ягодами и спала под открытым небом? Неужто мои руки так исхудали, а мои щеки так ввалились?

Я бы с удовольствием солгала ей и сказала бы, что так оно и есть, но это было невозможно. С головы и до пят она просто источала красоту, жизненную силу и здоровье. Неудивительно, что Бардия пал перед ней ниц, как перед богиней. Даже лохмотья на ней только подчеркивали ее красоту, а кожа отливала медовым, розовым и палевым, подобно слоновой кости, и выставляла напоказ все ее совершенство. Она даже (хотя это все же мне только показалось) стала выше. Ложь умерла у меня на губах, и тогда Психея посмотрела на меня с легкой тенью усмешки в глазах. Когда сестра смотрела так, она была особенно прелестна.

— Видишь? — сказала она. — Все это правда. И именно поэтому... да нет же, выслушай меня, Майя, — именно поэтому все будет хорошо. Он сделает так, что ты прозреешь, и тогда...

— Я не хочу! — закричала я, так низко наклонившись к Психее, что это выглядело почти как угроза. Устрашившись моего гнева, Психея отшатнулась. — Я не хочу. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Понятно?!

— Но почему, Оруаль, почему? Кого и за что ты ненавидишь?

— Да все это ненавижу — не знаю, все! И почему — ты знаешь! Или знала. Этот... этот... — И тут то, что она успела рассказать о нем (как же поздно я до этого додумалась!), сложилось в ясную картину. — Этот твой бог, который приходит под покровом тьмы... и тебе запрещено видеть его. Ты говоришь, священная тьма? Тьфу, да ты живешь, как прислужница в Доме Унгит. Тьма, боги, святость... От этого так и несет...

Чистота ее взгляда, прелесть ее, исполненная сострадания и в то же время безжалостная, лишили меня на мгновение дара речи. Слезы брызнули у меня из глаз.

— О Психея! — рыдала я. — Ты так далеко. Слышишь ли ты меня? Я не могу до тебя дотянуться. О Психея, сестра моя! Ты когда-то любила меня... вернись ко мне! Какое нам дело до богов и их чудес, до всех этих ужасных, мрачных вещей? Мы же простые, смертные женщины. Вернемся туда, где мы были счастливы.

— Но, Оруаль, подумай — как я могу уйти? Здесь мой дом. Здесь мой муж.

— Муж! И ты зовешь его так? — сказала я с отвращением.

— Если бы ты только знала его, — вздохнула она.

— Ты любишь его? Ах, Психея!

Она не ответила мне, но щеки ее покраснели. Ее лицо, все ее тело были ответом на мой вопрос.

— Тебе надо было пойти в жрицы Унгит! — выкрикнула я в бешенстве. — Ты должна была жить вместе с ними — в темноте, там, где пахнет кровью и ладаном, там, где бормочут молитвы и разит паленым салом. Тебе бы там понравилось — во мраке, среди невидимых и священных вещей. Тебе и дела нет, что ты покидаешь меня... что ты изменяешь мне. Что тебе наша любовь!

— Ах нет, нет же, Майя! Я не могу вернуться к тебе, это невозможно. Но ты можешь остаться со мной.

— Нет, это безумие! — воскликнула я в отчаянии.

Было ли это безумием? Кто из нас был прав? Как нужно было поступить? Наступил миг, когда боги, если только они желали нам добра, должны были вмешаться и помочь нам. Запомни, читатель, что они сделали вместо этого. Внезапно пошел дождь. Он был очень легким, но все для меня переменилось в миг.

— Сюда, дитя, — воскликнула я, — ко мне, под плащ. Твои лохмотья!.. Быстро, а не то ты вся промокнешь.

Она с удивлением посмотрела на меня.

— Почему это я промокну, Майя? Мы же сидим под крышей! Лохмотья? Ах да, я совсем забыла, ты же не можешь увидеть моих одежд.

Она говорила, а по лицу у нее стекали капли дождя. Если тот мудрый грек, который прочтет эту книгу, усомнится в том, что сердце мое переменилось, как только начался дождь, пусть он спросит у своей жены или матери. Когда я увидела ее, мое дитя, о котором я пеклась всю жизнь, сидящей под дождем с полным безразличием, не замечая текущей с неба воды, как не замечают ее коровы, я поняла, что нельзя более сомневаться в ее безумии. Я поняла, что (по крайней мере теперь) нужно остановиться на чем-то одном, а не терзаться в сомнениях. И я знала, на чем мне следует остановиться.

— Психея, — сказала я (совсем уже другим голосом). — Это полное безумие. Ты не можешь оставаться здесь: Скоро начнется зима. Холод убьет тебя.

— Я не могу оставить мой дом, Майя.

— Дом? Здесь нет никакого дома. Иди ко мне под плащ!

Она устало покачала головой.

— Бесполезно, Майя, — сказала она. — Я вижу, а ты — нет. Кто нас рассудит?

— Бардия! Я позову его.

— Мне не позволено впускать его. Да он и сам не войдет.

Тут она была права.

— Встань, девочка, — сказала я. — Ты меня слышишь? Делай, как я говорю. Ты же всегда слушалась меня раньше.

Она посмотрела на меня (она была уже совсем мокрой) и сказала мягко, но с твердой решимостью в голосе:

— Милая Майя, я теперь замужем. Теперь я более не обязана повиноваться тебе.

Только тогда я поняла, до какой степени можно возненавидеть того, кого некогда любил. Пальцы мои ухватили ее за запястье, другой рукой я вцепилась ей в плечо. Мы боролись.

— Ты пойдешь со мной, — хрипела я. — Мы тебя заставим — мы тебя спрячем. У Бардии есть жена — значит, должен быть дом. Мы запрем тебя там и приведем в чувство.

Но Психея была намного меня сильнее. «Говорят, —подумалось мне, — что сумасшедшие обретают двойную силу». Мы наставили друг другу синяков — и только.

Мы разошлись: Психея стояла и смотрела на меня с изумлением и упреком, я плакала навзрыд (так, как я плакала под дверьми ее тюрьмы) от стыда и отчаяния. Дождь прекратился; очевидно, я сделала именно то, что боги от меня хотели. Теперь я уже не могла ничего поделать. Психея, как всегда, справилась первой; она положила мне на плечо окровавленную руку (неужели я успела поцарапать ее?) и сказала:

— Милая Майя, сколько я тебя знаю, ты почти никогда на меня не злилась. Зачем же ты злишься теперь? Смотри, какие длинные тени уже лежат на полу. А я-то надеялась, что мы пообедаем вместе и повеселимся, прежде чем настанет ночь! Но, увы, — для тебя все мои яства будут холодной водой и ягодами. Хлеб и лук из припа-

сов Бардии доставят тебе больше радости. Но ты должна уйти до захода солнца. Я обещала ему, Майя.

— Ты отсылаешь меня навсегда, сестра? И ничего не скажешь мне на прощание?

— Посети меня снова, как только сможешь. Я поговорю с ним, и, может быть, он что-нибудь сделает. И тогда — о милая Майя — мы встретимся снова, и никакая тень уже не омрачит нашу встречу. А теперь — иди.

Что мне оставалось делать? Я подчинилась: физически она была сильнее, а того, что было у нее на уме, я не могла постичь. Она повела меня к реке через пустынную долину, которую называла своим дворцом. Я ненавидела эту долину всем своим сердцем. В воздухе похолодало. Солнце скрылось за черным вырезом седловины. Она подвела меня к самой воде.

— Возвращайся скорее, —сказала она. — Ты ведь вернешься, правда?

— Если смогу, Психея. Ты же знаешь, какие порядки у нас дома.

— Мне почему-то кажется, — сказала она, — что в ближайшие дни Царь не будет тебе препятствовать. Ну все, времени больше нет. Поцелуй меня, милая Майя. А теперь держись за мою руку. Постарайся нащупать ногой камень поудобней.

Снова я вошла в обжигающе холодную воду.

На другом берегу я обернулась.

— Психея! — вскричала я в последний раз. — Еще не поздно! Иди со мной. Мы не останемся в Гломе — мы будем бродить по свету, пусть нищими, или жить у Бардии, — пойдем куда угодно, куда ты сама захочешь!

Она покачала головой.

— Я не могу. Я больше не принадлежу самой себе. Ты совсем забыла, сестра, что я замужем. Но я по-прежнему твоя. Если бы ты только поняла это. Не грусти, прошу тебя, Оруаль! Все устроится, все будет лучше, чем ты могла мечтать. Возвращайся! До скорого свидания!

И она ушла от меня, вернулась в свою ужасную долину и исчезла за деревьями. На моем берегу наступили сумерки, потому что тень от хребта уже дотянулась до него.

— Бардия, — позвала я. — Бардия, где же ты?

Глава двенадцатая

Бардия возник в сумерках подобно серой тени.

— Ты покинула благословенную? — спросил он.

— Да, — коротко ответила я. Мне не хотелось объяснять ему ничего.

— Нам нужно решить, как устроиться на ночь. Верхом в сумерках через седловину не проедешь, да и зачем? Разве для того, чтобы заночевать в той, другой долине, у Древа. На самом гребне не выспишься — ветер. Да и здесь с часу на час похолодает. Боюсь, спать придется здесь. Негоже это, у богов под самым носом...

— Какая разница? — обронила я устало. — Везде одинаково.

— Тогда пойдем со мной, госпожа. Я там собрал немного хворосту.

Я пошла; в молчании близившейся ночи (все стихло, и только поток журчал громче прежнего) мы издалека услышали, как скрипит трава на конских зубах.

Нет в мире создания более дивного, чем мужчина-воин. Бардия выбрал для ночлега место там, где берег был самый пологий и две скалы, смыкаясь, образовывали нечто вроде пещеры. Мы сложили из хвороста костер и развели его; он легко разгорелся, хотя мокрые от недавнего дождя сучья шипели в огне. Из чересседельной сумки Бардия извлек снедь получше, чем хлеб и лук; даже фляга с вином нашлась у него. Я все еще была по сути дела девчонкой (а значит, в большинстве случаев — дурой), и мне стало стыдно, что, несмотря на мое горе, я так обрадовалась еде. На вкус все было отменным; мы ели возле костра, который погрузил окружающий мир в непроглядный мрак, оставив от него только освещенный круг, уютный и жилой, как дом. Что еще нужно людям, кроме тепла и пищи, чтобы согреть и напитать свое смертное тело? Зачем им тогда думать о богах, чудесах и неразгаданных тайнах? Для этого не остается ни места, ни времени.

Когда мы подкрепились, Бардия сказал, потупив глаза:

— Госпожа, ты непривычна к ночлегу под открытым небом; боюсь, ты умрешь от холода, раньше чем взойдет солнце. Поэтому, осмелюсь сказать, нам лучше лечь вместе, спина к спине, под одним плащом, как это делают воины в походе. Не стесняйся, госпожа, ведь я для тебя вроде отцовой собаки, не более того...

Я согласилась; ни у одной женщины в мире не было меньше причин ломаться. Меня удивило скорее то, что Бардия вообще нашел нужным что-то сказать. Я уже знала, что если ты в достаточной степени уродлива, то мужчины (если только они не питают к тебе особой неприязни) вскоре перестают воспринимать тебя как женщину. Бардия спал, как спят все воины: сон сразил его в мгновение ока; но он проснулся бы с тою же быстротой при малейшей опасности (позже я имела случай в этом убедиться). Я же никак не могла заснуть. Во-первых, земля была ужасно твердой и неровной. Кроме того, мне не давал заснуть хоровод безумных мыслей — о Психее, о загадочном дворце и о многом другом. Холод был такой пронизывающий, что я выползла из-под плаща (снаружи он весь намок от росы) и принялась расхаживать взад-вперед около костра. И тут, о мудрый грек, мой будущий читатель и судья, случилось следующее.

Уже светало, и в долине стоял густой туман. Когда я подошла к реке, чтобы напиться (а пить мне хотелось ужасно), речные омуты показались мне черными дырами на серой глади. Я выпила ледяной воды, и она то ли отрезвила мой рассудок, то ли окончательно отняла его у меня. Так или иначе, когда я подняла глаза и посмотрела за реку, туда, где клубился серый туман, я увидела такое, от чего у меня перехватило дыхание. Там, за рекой, высился дворец. Он был серый — в этот час и в тумане серым казалось все, — но явно настоящий, не призрачный. Я видела стены, бесконечные арки, могучий архитрав, целый лес колонн. Дворец был подобен прекрасному лабиринту. Шпили и башенки тянулись к высокому небу, такие стройные и неправдоподобно хрупкие, словно сам камень расцвел и пустил побеги. Ничего подобного я никогда не встречала прежде; Психея была права — ни один дворец в наших краях не мог сравниться с этим. Ни одно окно не светилось; казалось, все уснули. Где-то там внутри спало нечто или некто — божественное, ужасное, прекрасное, диковинное? — кто может сказать, — сжав Психею в своих объятиях. А я? Что я натворила! Позволила себе сомневаться и богохульствовать! Какая кара ждет меня теперь?

У меня не было сомнений: нужно переправиться через реку или хотя бы попытаться сделать это. Пусть я утону, но я должна упасть на ступени дворцовой лестницы и попросить прощения у Психеи и ее бога. Я оскорбляла мою сестру и — что намного хуже — обходилась с ней как с ребенком, а она все это время была высшим существом — может быть даже, одной из бессмертных. Если только то, что я вижу, не мираж... Мне было страшно. Я неотрывно смотрела на серую громаду, опасаясь, что она растает или начнет меняться на глазах. Затем я поднялась (ибо все это время я так и стояла на коленях там, где опустилась, чтобы напиться воды), но не успела выпрямиться в полный рост, как все пропало. Какое-то мгновение мне еще казалось, что я вижу в тумане воронки и сгустки, подобные стенам и башням, но — только мгновение. Передо мной вновь расстилался один туман.

Отдаю себя на твой суд, читатель. То, что я увидела дворец — или подумала, что его вижу, — говорит ли это против меня или против богов? Возможно, боги скажут (если снизойдут до ответа), что это был намек, подсказка, чтобы помочь мне разгадать тайну Психеи. Но что толку в таком намеке, который сам по себе — загадка? Я даже допускаю, что на какое-то мгновение облако, застилавшее от моего смертного взора истину, приподнялось и я прозрела. Все можно допустить. Но намного легче поверить, что в полумраке раннего утра мои не вполне пробудившиеся чувства придали густому туману очертания, пригрезившиеся мне в тревожном сне.

А еще легче поверить в то, что боги решили надо мной посмеяться. Это больше всего на них похоже: они ставят тебя перед загадкой, а затем насылают морок, который смущает ясность мысли и не дает найти правильный ответ. Если боги искренне хотят направить нас на верный путь, к чему вся эта игра? Психея умела говорить начистоту, когда ей было три года, — неужели небожители глупее трехлетнего ребенка?

Когда я вернулась, Бардия уже проснулся. Я ничего не рассказала ему (и никому другому) об увиденном до тех пор, пока не написала эту книгу.

Дорога домой не доставила особенной радости; ветер, пропитанный мелкой водяной пылью, дул нам в лицо. Бардия сидел впереди меня, так что ему пришлось намного хуже. Ближе к полудню мы присели отдохнуть и перекусить на опушке небольшой рощи. Все утро я терзалась неразрешимой загадкой; теперь, в тени деревьев, где ветер дул не так сильно и было немного теплее (а Психея? не замерзла ли она?), я рассказала Бардии все, что случилось, опустив только мое утреннее видение.

Я знала, что воин — человек честный, что он умеет хранить тайны и по-своему весьма не глуп. Он внимательно выслушал меня, но ничего не сказал. Мне пришлось спросить его напрямик.

— Бардия, — сказала я, — ты-то что обо всем этом думаешь?

— Госпожа, — ответил он, — я не привык говорить всуе о богах и божественном. Я чту богов. Даже если мне прикажет Царь, я не стану есть левой рукой, не приду на ложе жены в полнолуние, не буду потрошить голубя железным ножом — одним словом, не совершу нечистого или святотатственного дела. Я приносил жертвы так часто, как это может позволить себе человек моего положения. В остальном же, чем меньше тебе до богов дела, тем меньше им дела до тебя.

Но я твердо решила добиться от него правды.

— Бардия, — сказала я, — думаешь ли ты, что моя сестра сошла с ума?

— Знаешь, госпожа, — ответил воин, — лучше бы тебе не говорить таких слов. Разве может благословенная сойти с ума? Мы оба видели ее в здравом рассудке.

— Значит, ты считаешь, что в долине на самом деле есть дворец, которого я не могу увидеть?

— Я не очень понимаю, что такое «на самом деле», когда речь идет о дворцах богов.

— А что ты скажешь про ее любовника, который приходит к ней под покровом тьмы?

— Я ни слова не скажу о нем.

— Бардия, и это тебя считают храбрейшим среди царских копейщиков? Ты боишься даже шепотом обмолвиться о том, что у тебя на уме, а я так нуждаюсь в мудром совете!

— В каком совете, госпожа?

— Как разгадать эту тайну. Я хочу знать, приходит ли к ней кто-то на самом деле.

— Так утверждает благословенная. Кто я, чтобы не верить ей?

— Но кто же он такой?

— Ей виднее.

— Ей виднее? Да она ничего о нем не знает! Она призналась, что никогда не видела его лица. Бардия, скажи мне, что это за жених, который не позволяет своей невесте смотреть на себя?

Бардия молча чертил на земле зажатым в пальцах маленьким камешком.

— Ну? — сказала я.

— Не вижу здесь никакой загадки, — пробурчал он наконец.

— Тогда объясни!

— Мне кажется — но я только слабый и смертный человек, а богам виднее, — он делает так потому, что облик его и лицо не столь приятны на вид...

— Значит, он уродлив?

— Госпожа, твою сестру избрали в невесты Чудищу. Но пора, однако, в путь, а то мы еще и половины дороги не осилили.

С этими словами он встал. То, что он сказал, не было для меня неожиданностью: в голове у меня проносилось немало догадок, и эта была самой ужасной и очевидной. Но меня неприятно поразило, что и Бардия так считает. Я знала: он не стал бы говорить того, в чем не вполне уверен. Он молчал от страха, а вовсе не потому, что сомневался. Воин сам сказал, здесь никакой загадки, и, боюсь, устами его говорил весь Глом. Бардия, несомненно, думал так же, как и любой осторожный и богобоязненный подданный царя Гломского. Ему бы и не понять моих сомнений; ответ оче-

виден, ясен как день, так чего ж тут ломать голову? Бог и Чудище — одно и то же. Царевну отдали ему, а оно дало нам дождь, и воду, и (было на то похоже) мир с жителями Фарсы. Царевну же боги забрали в потаенное место, где некое существо, столь жуткое, что его даже нельзя видеть, священное и ужасное, похожее на духа, демона или зверя — или на всех трех сразу (кто их, богов, разберет), — забавляется с ней, как ему угодно.

Ответ Бардии отрезвил меня настолько, что мне было нечего ему возразить. Мы продолжали наш путь в молчании, и я чувствовала себя потерявшим сознание от пыток пленником, которого только что окатили ведром холодной воды: открываешь глаза и вновь осознаешь ужасную действительность, которая хуже любого беспамятства. Мне подумалось, что все остальные мои догадки были лишь утешительными снами, которые развеялись при пробуждении. Никакой загадки вообще не было — просто страх ослепил меня и заставил лгать самой себе.

Моя рука нащупала под плащом рукоять меча. Еще до болезни я поклялась себе, что, если другого выхода не будет, я скорее убью Психею, но не дам Чудищу надругаться над ней или пожрать ее. Теперь я вспомнила об этом, но тут же испугалась.

«Неужели я могла бы убить ее?» — подумалось мне. (Бардия к тому времени уже обучил меня смертельным ударам.) Любовь победила, и я заплакала, и плакала так долго и отчаянно, что вскоре перестала различать, слезы или капли дождя струятся у меня по лицу (а дождь к тому времени уже разошелся). В порыве любви я спросила себя, почему, собственно, я решила, что Психею надо спасать от Чудища или уговаривать оставить его; почему мне вообще до этого есть дело. «Она же счастлива, — сказало мне сердце. — Бог он, чудище или безумная мечта, но она счастлива. Ты видела это своими глазами. Она в десять раз счастливее, чем была рядом с тобой. Оставь ее в покое. Не мешай ее счастью. Не отнимай у нее того, что сама не можешь ей дать».

Мы были у подножия холмов, почти рядом с Домом Унгит, хотя самого Дома из-за дождя не было видно. Сердцу моему не удалось убедить меня, и я поняла, что есть любовь более глубокая, чем та, которая ищет для любимого человека только счастья. Согласился бы отец увидеть свою дочь счастливой шлюхой? Любящая женщина своего избранника — счастливым трусом? Рука моя снова потянулась к мечу. «Да, она счастлива, — подумала я, — но она не имеет на это права». Как бы там ни было, ценой ее или моей смерти или смерти многих, пусть придется столкнуться с богами лицом к лицу, но я должна вырвать Психею из объятий демона, хоть эти объятия и доставляют ей удовольствие (и в первую очередь, именно потому, что доставляют).

«Я все-таки царская дочь!» — сказала я, и момент для этого был самый что ни на есть подходящий, ибо мы переправились через Шеннит, и Бардия, который не упускал ни одной мелочи, сказал, что, когда мы поедем через город, мне лучше слезть с коня и незаметно проскользнуть через сады по тропинке, на которой Редиваль первая увидела, что люди поклоняются Психее, и войти на женскую половину дворца с черного хода.

Ведь нетрудно представить себе, что скажет мой отец, если узнает, что я, слишком больная, чтобы работать с ним в Столбовой зале, нашла силы для путешествия к Священному Древу.

Глава тринадцатая

Уже совсем стемнело, когда я оказалась дома. У двери моей опочивальни кто-то нетерпеливо спросил меня по-гречески: «Ну как?» Это был, разумеется, Лис. Он уже давно стерег под моими дверьми, словно кот у мышиной норки; так мне потом сказали мои служанки.

— Она жива, дедушка, — сказала я и поцеловала старика. — Приходи ко мне как только сможешь, я промокла до костей, мне нужно вымыться, переодеться и поесть. Приходи после, и я все расскажу тебе.

Когда я сменила одежду и поужинала, грек снова постучался в дверь. Я впустила его, усадила за стол и налила вина. Кроме нас, в комнате была только темнокожая служанка Пуби; девушка была мне очень предана и к тому же не знала ни слова по-гречески.

— Ты сказала, она жива, — начал Лис, поднимая кубок, — так совершим же возлияние Зевсу Спасителю.

И он пролил вино на пол ловким греческим жестом, так, что на землю упала только одна капля.

— Да, дедушка, она жива, здорова и, по ее словам, счастлива.

— Мое сердце, доченька, вот-вот выпрыгнет из груди от радости, — сказал старик. — Ты говоришь вещи, в которые с трудом верится.

— Не все розы, дедушка. Есть и шипы.

— Расскажи мне правду — я выдержу.

И я рассказала ему все, опустив, разумеется, призрачный дворец в тумане. Мне было больно видеть, как радость гасла на лице грека, и сознавать, что я тому виной. И я спросила себя, как же я собиралась отнять у Психеи ее счастье, если даже то, что я делаю с Лисом, причиняет мне боль.

— Увы, бедняжка Психея, увы! — воскликнул Лис. — Наша бедная девочка! Сколько она всего вынесла! Ей бы отдохнуть, выспаться, попить отвару чемерицы... Мы бы за ней ухаживали! И тогда бы она поправилась. Но как все это сделать, ума не приложу. Давай придумаем что-нибудь, доченька! Ах, почему я не Одиссей и не Гермес!

— Значит, ты уверен, что Психея сошла с ума?

Он кинул на меня быстрый взгляд:

— Почему ты спрашиваешь, доченька? А ты что думаешь?

— Дедушка, ты можешь и меня посчитать безумной, но ты же не видел ее! Она говорит обо всем так спокойно! В речах ее нет путаницы. Она чуть не смеется от счастья, и глаза у нее чистые, ясные. Если бы я была слепой, я бы легко поверила во все, что она говорит.

— Но ты не слепая, и никакого дворца ты не видела.

— А ты никогда не допускал — хотя бы на миг, хотя бы просто как возможность, — что существуют вещи, на самом деле существуют, которые мы не можем увидеть?

— Ну разумеется, существуют! Например, Справедливость, Равенство, Душа, Музыка...

— Ах, дедушка, я не о том! Скажи, если существуют души, может быть, существуют и невидимые дома, в которых эти души живут?

Он провел по лбу рукой знакомым, привычным жестом учителя, недовольного вопросом ученика.

— Доченька, — сказал он, — мне сдается, за столько лет учебы ты так и не постигла истинного значения слова «душа».

— Я прекрасно знаю, какой смысл ты вкладываешь в это слово, дедушка. Но разве ты знаешь все на свете? Разве не существует невидимых вещей — именно вещей?

— Таких вещей множество. То, что у нас за спиной. То, что слишком далеко от нас. Весь мир, когда стемнеет. — Старик наклонился вперед и взял мою руку в свою. — Мне кажется, доченька, что и тебе не мешало бы попить чемерицы, — сказал он.

У меня промелькнула мысль, не рассказать ли ему о моем видении, но я тут же поняла, что в целом мире не сыскать хуже слушателя для подобной истории. Он и так уже заставил меня покраснеть — я устыдилась своих сомнений. Но тут радостная догадка озарила меня.

— Но тогда получается, — сказала я, — что ее полуночный любовник ей тоже только мерещится?

— О, если бы это было так, — вздохнул Лис.

— Что ты хочешь сказать, дедушка?

— Ты ведь говорила, что она сыта и здорова, что на лице у ней румянец?

— Она хороша как никогда.

— Кто же кормил ее все это время?

Я онемела от неожиданности.

— А кто снял с нее оковы?

Об этом я даже и не думала.

— Дедушка! — вскричала я. — Что у тебя на уме? Изо всех людей ты последний стал бы утверждать, что речь идет о боге. Скажи я такое, ты бы поднял меня на смех.

— На смех? Да мне было бы горько до слез! Ах, доченька, доченька! Когда только мне удастся вытравить из тебя все нянькины сказки, все глупости, которые нашептали тебе жрецы и предсказатели? Неужто ты думаешь, что Божественная Природа... ах, какое невежество, какое смехотворное невежество! С таким же успехом ты могла бы сказать, что у Вселенной чесотка или что Суть Вещей упилась в винном погребе.

— Я не сказала, что к ней приходит бог, дедушка, — перебила я старика. — Я только спрашивала тебя, кто к ней приходит.

— Человек, разумеется, человек! — воскликнул Лис, стуча кулаком по столу. — Ты уже не ребенок! Тебе ли не знать, что в горах тоже есть люди!

— Люди! — воскликнула я.

— Да, люди. Бродяги, беглые рабы, разбойники, воры! Неужели ты этого не знаешь?

Я покраснела от негодования и вскочила на ноги. Для девушки из нашего рода будет большим бесчестьем, если она сойдется, пусть даже в законном браке, с человеком, в жилах которого нет хотя бы четверти божественной крови. То, что утверждал Лис, было невыносимо.

— Как ты смеешь? — вскричала я. — Психея скорее бросилась бы на острые колья, чем...

— Не горячись, доченька, — сказал Лис. — Она же ничего не понимает. По моему разумению, какой-то разбойник с большой дороги нашел бедняжку, обезумевшую от страха, одиночества и жажды, и снял с нее оковы. Несчастная уже бредила, а о чем она могла бредить в подобном положении? Конечно же, о золотом и янтарном дворце на Горе — она ведь мечтала о нем с самого детства. Парень сразу все смекнул и выдал себя за посланца богов — вот откуда взялся бог Западного Ветра! Он отвел ее в эту долину и нашептал ей, что сам бог, ее жених, придет к ней под покровом тьмы. Потом он ушел, а ночью вернулся.

— А как же дворец?

— Безумие заставило ее поверить в свой детский сон и принять его за действительность. А негодяй только поддакивал ей во всем. Возможно, и от себя что-нибудь прибавил, и тогда она совсем уверовала в свой бред.

Второй раз за этот день я впала в глубокое отчаяние. Лис объяснил все слишком правдоподобно и логично, он отнял у меня сомнения, а значит — надежду. Впрочем, так было и с Бардией.

— Похоже, дедушка, — сказала я понуро, — ты лучше меня справился с загадкой.

— Не нужно быть Эдипом, чтобы отгадать такую загадку. Куда сложнее решить, что нам теперь делать. Ах, мне ничего не приходит в голову! Видно, твой отец слишком часто драл мне уши и тем попортил мне мозги. Должен, должен быть выход... а времени совсем нет!

— Ни времени, ни возможности. Я не смогу долго притворяться больной. Как только Царь узнает, что я выздоровела, путь на Гору будет мне заказан...

— О, я совсем забыл!.. Такая важная новость! Снова появились львы.

— Что? — вскричала я в ужасе. — На Горе?

— Нет, нет, все гораздо лучше! Львы объявились на юге, к западу от Рингаля. Царь собирается отправиться на львиную охоту.

— Так, львы вернулись... значит, Унгит нас обманула. Может, на этот раз принесут в жертву Редиваль. Царь в бешенстве?

— В бешенстве? Нет. Когда ему сказали, что погиб пастух, десяток баранов и несколько добрых псов (а ты знаешь, как он их ценит), он так обрадовался, словно ему принесли радостное известие. Я давно его не видел в столь приятном расположении духа. Весь день он только и говорил, что о собаках, загонщиках, о погоде... и тому подобной чуши. То посылал гонцов к очередному князю, то вел глубокомыс-

ленные беседы с егерями, то наводил порядок на псарне, то проверял, как подковали коней. Пиво лилось рекой, и даже я удостоился дружеского хлопка по спине, от которого у меня до сих пор болят ребра. Но нам-то важнее всего, что два дня он пробудет на охоте, а если повезет, то дней пять или шесть. Он выезжает завтра засветло.

— Значит, мы должны торопиться.

— Да. Потом будет слишком поздно. Психея умрет, если зима застигнет ее в горах. У нее нет крыши над головой. К тому же не успеем мы и оглянуться, как у нее будет ребенок.

Эти слова ударили меня в самое сердце.

— Подлец, чтоб ему сгнить от проказы! — прорычала я. — Будь он проклят навеки! Неужто Психея родит от голодранца? Мы посадим его на кол, когда поймаем. Он будет умирать долго и медленно. О, я бы растерзала его на клочки собственными зубами!

— Ты омрачаешь темными страстями нашу беседу и свою душу, — остановил меня Лис. — Нам нужно придумать, где мы ее спрячем.

— Я уже придумала, — сказала я. — Мы спрячем ее у Бардии.

— У Бардии! Да он никогда не примет у себя в доме ту, что была принесена в жертву богам! Он боится собственной тени и верит в бабьи сказки, этот Бардия! Он — обыкновенный дурак.

— Бардия — не дурак, — отрезала я не без раздражения, потому что мне не нравилось, как пренебрежительно относится грек к смелым и честным людям, если они не обладали его ученостью.

— Даже если Бардия и согласится, — добавил Лис, — ему женушка не позволит. А кто не знает, что Бардия у жены под каблуком?

— Бардия? Я не могу поверить, что такой смельчак...

— Ба, да он влюблен, как Алкивиад! Парень женился на бесприданнице, взял за одну красоту, можно сказать. Весь город об этом знает. Она помыкает им как захочет.

— Должно быть, она очень дурная женщина, дедушка...

— Нам-то что за дело? Нам важно только то, что нашу голубку в этом доме не спрячешь. Более того, скажу тебе, доченька, что во всем Гломе такого места не сыщешь. Если хоть один человек в Гломе узнает, что она жива, ее найдут и снова принесут в жертву. Если бы мы могли отправить ее к родственникам матери... но это невозможно. О великий Зевс, если бы у меня было десять гоплитов и опытный командир в придачу!

— Я не знаю, — перебила его я, — как заставить ее покинуть Гору. Она упрямится, дедушка. Она больше не слушается меня. Я боюсь, что придется применить силу.

— Откуда у нас сила? Ты — слабая женщина, я — раб. У нас нет отряда в десять гоплитов, чтобы отправиться с ним на Гору. А если б он у нас был, мы не смогли бы сохранить это в тайне.

Мы долго сидели в молчании; огонь в очаге мерцал, Пуби сидела перед ним на корточках и подбрасывала дрова. Она играла в странную игру с бусами, принятую среди ее народа; я так и не смогла обучиться ей, хотя девушка не раз пробовала объяснить мне правила. Лис то и дело порывался заговорить, но так и не сказал ничего. Планы рождались у него быстро, и так же быстро он умел находить в них недостатки.

Наконец я нарушила молчание:

— Значит так, дедушка, я возвращаюсь к Психее и пытаюсь переубедить ее. Если она поймет, в какой она опасности, втроем мы что-нибудь придумаем. Возможно, нам придется отправиться странствовать, подобно Эдипу.

— Я пойду с вами, — сказал Лис. — Однажды ты подбивала меня на побег. Теперь моя очередь.

— Ясно одно, — сказала я. — Она не должна оставаться в руках обманщика и мерзавца. Все что угодно, но этого я не допущу. Это мой долг, ибо мать ее умерла и у нее нет другой матери, кроме меня. Ее отец недостоин зваться отцом, как, впрочем, и царем. Нет никого, кроме меня, кто мог бы позаботиться о безопасности Психеи и о чести нашего дома. Это нельзя так оставить. Я... я...

— Что с тобой, доченька? Ты побелела! Тебе плохо?

— Если не будет другого выхода, я убью ее.

— *Вавай*! — воскликнул Лис так громко, что Пуби бросила свою игру и уставилась на него. — Доченька, ты потеряла рассудок и погрешила против природы вещей. В сердце твоем на одну часть любви приходится пять частей гнева и семь частей гордыни. Ведают боги, и я люблю Психею. Ты это знаешь, и моя любовь ничем не меньше твоей. Ужасно, что наша возлюбленная дочь, равноподобная Артемиде и Афродите, должна прозябать с бродягой и делить с ним ложе. Но даже такая жизнь не столь презренна, как представляется тебе. Посмотри трезвым взглядом, прислушайся к голосу рассудка и естества, не дай страстям овладеть тобой. Быть бедной и жить в нужде, быть женой бедняка...

— Женой! Скажи лучше — подстилкой, потаскухой, наложницей!

— Природа не знает этих слов. Брак установлен обычаями людей, а не законами природы. Мужчина уговаривает, женщина соглашается — вот и все, что от природы.

— Уговаривает? А если принуждает и берет силой? Если этот мужчина — убийца, чужеземец, беглый раб или еще какая-нибудь дрянь?

— Дрянь? Видно, мы с тобой по-разному понимаем вещи. Я сам — чужеземец и раб, а скоро из любви к вам стану беглым рабом, и меня не устрашают ни плети, ни кол.

— Ты мне больше отца! — воскликнула я и поцеловала его руку. — Я не хотела обидеть тебя, дедушка, но есть вещи, в которых ты не разбираешься. Психея тоже так считает.

— Милая Психея! — сказал старик. — Я ей часто говорил об этом. Она запомнила. Она усвоила урок. Она всегда была хорошей ученицей.

— Ты не веришь в божественность нашего рода, — сказала я.

— Почему не верю? Охотно верю. Все люди ведут свой род от богов, и в каждом человеке есть частичка бога. Мы все люди. И тот, с кем живет Психея, — тоже человек. Я назвал его подлецом и мерзавцем и, скорее всего, не ошибся. Но случается всякое — бывает, что и хороший человек становится разбойником и изгоем общества.

Я молчала. Все эти рассуждения были мне неприятны.

— Доченька, — сказал внезапно Лис. — Сон приходит рано к старикам. У меня глаза слипаются. Отпусти меня — утро вечера мудренее.

Что оставалось мне делать? Я отпустила Лиса с мыслью, что ни одна женщина на его месте не поступила бы подобным образом. Но уж таковы мужчины: даже самые надежные из них подводят в такой час, потому что сердце их никогда не способно полностью сосредоточиться на чем-то одном. Еда, выпивка, сон, игра, новая баба всегда могут отвлечь их внимание, и с этим, будь ты хоть царица, ничего не поделаешь. Но тогда я еще не понимала этого и обиделась на старого учителя.

— Все от меня уходят, — сказала я себе. — Никому и дела нет до Психеи... Она для них значит меньше, чем Пуби значит для меня. Они на миг вспоминают о ней, а потом возвращаются к своим любимым занятиям — Лис в постель, а Бардия — к своей женушке. Ты одна в этом мире, Оруаль. Никто ничего не сделает за тебя. Ни на кого нельзя рассчитывать. Боги и смертные отступились от тебя. Тебе самой предстоит разгадать все загадки. Не жди ни от кого подсказки и не смей на них обижаться, не то они навалятся на тебя всем скопом, и обвинят тебя, и насмеются над тобой, и в конце предадут тебя казни.

Я отослала Пуби, а затем сделала недозволенное. Я думаю, почти никто не осмеливался сделать это. Я обратилась к богам сама, своими словами, наедине с ними, не входя в храм и не принося жертвы. Я распростерлась на полу и от всего сердца воззвала к ним. Я взяла назад все обидные слова, сказанные мною против небожителей. Я обещала им, что выполню любую их волю, если они дадут мне знак. Но боги молчали. Когда я приступила к молитве, пламя в очаге ярко пылало и дождь стучал по крыше. Когда я закончила, дождь по-прежнему шел, но пламя уже почти погасло.

Теперь, когда мне стало ясно, что я предоставлена самой себе, я сказала:

— Завтра... завтра я сделаю все, что нужно... а сейчас... спать.

Я легла в постель в таком состоянии, когда изнуренная плоть сразу уступает сну,

но встревоженная душа может разбудить ее в любое мгновение. Проснулась я глубокой ночью и сразу поняла, что не смогу больше заснуть. Огонь погас, и дождь прекратился. Я подошла к окну и долго стояла, вглядываясь в ночь и прислушиваясь к порывам ветра. Подперев виски кулаками, я напряженно думала.

Рассудок мой прояснился, и теперь я удивлялась, что приняла и объяснение Лиса, и мнение Бардии, хотя кто-то из них, несомненно, был не прав. Я не могла решить кто, потому что, если верно то, что говорят в Гломе, прав Бардия, но если верна философия греков — прав Лис. Но я не знала, за что держаться, — ведь я была дочерью Глома и ученицей Лиса. Тогда я впервые поняла, что все эти годы я состояла из двух половинок, которые плохо подходили друг к другу.

Мне не удавалось сделать выбор между Бардией и Лисом, но как только я отказалась от всяких попыток, меня осенило. Неважно, кто из них прав, потому что в одном они сходятся. Некто отвратительный и гнусный завладел Психеей. Какая разница, кто это — кровожадный разбойник или призрачное чудище? Ни воин, ни грек не верили, что ночной гость может быть порождением добра и красоты, и это было самое главное. Только мне могла взбрести в голову такая мысль. Существо это приходит в темноте и запрещает смотреть на себя. Какой любовник будет поступать так, если на то нет какой-то ужасной причины?

Я усомнилась в этом всего лишь на миг, когда увидела призрачный дворец на другом берегу реки.

«Она не будет больше его! — сказала я себе. — Она не останется в его мерзких объятиях. Сегодняшняя ночь — последняя».

Внезапно я вспомнила, как счастлива была Психея в горной долине, как сияло ее лицо и лучилась радостью улыбка. Искушение снова овладело мной: не лучше ли оставить все как есть, предоставить сестре тешиться безумными мечтами, не раскрывать ей глаза на весь ужас ее положения? Я всегда была Психее нежной матерью, так к чему становиться карающей фурией? Какая-то часть моей души нашептывала мне: «Оставь их в покое. Есть чудеса, которых тебе не дано понять. Не торопись: кто знает, что станется с ней и с тобой, если ты вмешаешься?» Но другая часть напоминала мне, что я для Психеи — и мать и отец, что любовь моя должна быть суровой и дальновидной, а не всепрощающей и близорукой, что иногда она должна быть даже жестокой. В конце концов, Психея — всего лишь ребенок. Если даже я не могу разобраться в этой загадке, что может она? Дети должны слушаться старших. Мне было больно, когда цирюльник вынимал занозу у Психеи. Но разве я отослала цирюльника прочь?

Я набралась решимости. Я знала теперь, что я сделаю на следующий день, потому что позже времени уже не будет. Мой замысел требовал только, чтобы Бардия не уехал вместе с Царем на львиную охоту и чтобы в это дело не вмешалась его женушка. Эта мысль о жене постоянно тревожила меня, как назойливая муха. А вдруг она воспрепятствует отлучке Бардии или задержит его?

Я легла в постель, чтобы скорее настало утро. Я была спокойна и твердо знала, что мне теперь нужно делать.

Глава четырнадцатая

Ночь показалась мне очень долгой, хотя тем утром из-за царской охоты шум поднялся ни свет ни заря. Я подождала, пока все встали и занялись сборами, после чего собралась сама. Я надела те же одежды, что и накануне, и взяла ту же самую урну, только на этот раз я спрятала в нее лампу, кувшинчик с маслом и широкую полотняную ленту, вроде тех, что у нас в Гломе невесты наматывают на себя в день свадьбы. У меня такая лежала в сундучке с того дня, когда мать Психеи выходила замуж за нашего отца. Затем я позвала Пуби и велела принести мне еды; часть я съела, часть тоже спрятала в урну. Когда звуки труб и конский топот возвестили, что царь со свитой отбыли, я надела плащ, прикрыла лицо платком и вышла из моих покоев. Первого же попавшегося мне раба я послала узнать, уехал ли Бардия, а если остался —

привести его ко мне в Столбовую залу. Мне было немного странно находиться там одной. Несмотря на все мои заботы и тревоги, я не могла не заметить, что дворец стал как бы светлее и теплее в отсутствие Царя. Даже рабы словно воспрянули духом.

Пришел Бардия.

— Бардия, — сказала я ему. — Мне снова нужно на Гору.

— Я не могу пойти с тобой, госпожа, — ответил воин. — Меня, к несчастью, не взяли на охоту только потому, что кто-то должен присматривать за дворцом. Я буду даже ночевать здесь, пока не вернется Царь.

Эта новость обескуражила меня.

— Ах, Бардия! — воскликнула я. — Что же делать? Я не могу не пойти — меня просила сестра!

Бардия потер указательным пальцем под носом, как он всегда делал в задумчивости.

— А ты не умеешь ездить верхом... — вздохнул он. — Не знаю уж... ах я дурак! Ни один конь не надежен, если не надежен всадник. Нельзя ли отложить поездку на несколько дней? Или поехать с кем-нибудь другим?

— Нет, Бардия, мне нужен именно ты. Дело это должно остаться в тайне, а я доверяю только тебе...

— Я могу отпустить с тобой Ирека на два дня и одну ночь.

— Кто это Ирек?

— Невысокий такой, черноволосый. Он хороший парень.

— Умеет ли он держать язык за зубами?

— Спроси лучше, умеет ли он говорить! Сколько он у меня служит, а я еще и десятка слов от него не слышал. Но он парень что надо, преданный, и никогда не забудет об одной услуге, которую я ему оказал.

— Было бы лучше, если бы поехал ты.

— Это все, что я могу предложить тебе, госпожа. Или изволь подождать.

Но я сказала, что ждать не могу, и Бардия послал за Иреком. Ирек был черноглазый человек с худощавым испуганным лицом. Похоже, он меня боялся. Бардия велел ему взять лошадь и ждать там, где дорога из города пересекает луга.

Как только Ирек ушел, я сказала:

— А теперь, Бардия, раздобудь мне кинжал.

— Кинжал? Зачем он тебе, госпожа?

— Для чего бывает нужен кинжал? Ты же знаешь, что у меня нет дурных умыслов.

Бардия искоса посмотрел на меня, но кинжал дал. Я повесила его на пояс вместо меча.

— Прощай, Бардия! — сказала я.

— Прощай? Разве ты не вернешься завтра, госпожа?

— Не знаю, не знаю... — сказала я и стремительно вышла, оставив воина в недоумении. На условленном месте меня поджидал Ирек. Он помог мне взобраться на коня, прикасаясь ко мне при этом (если только это не было плодом моего воображения), как будто я была змеей или колдуньей.

Это путешествие разительно отличалось от предыдущего. За весь день Ирек не сказал ничего, кроме «Да, госпожа. Нет, госпожа». Часто шел дождь, и даже когда его не было, ветер был насыщен влагой. Серое небо затянули низкие тучи — из-за этого все живописные холмы и долины превратились в один унылый пейзаж. На этот раз мы выехали немного позже, поэтому седловины достигли ближе к вечеру. Когда мы спустились в долину, небо расчистилось, словно по волшебству. Создавалось впечатление, что солнце сияло над долиной всегда, даже когда дождь стеной обступал ее со всех сторон.

Я привела Ирека туда, где мы ночевали с Бардией, и велела ему ждать меня там и ни в коем случае не пытаться переправиться через реку.

— Я пойду туда одна. Я могу вернуться скоро, а могу остаться на ночь на той стороне. Не ищи меня, пока я сама не позову тебя.

Он сказал, как всегда: «Да, госпожа», — но по выражению его глаз было видно, что вся эта затея ему совсем не по душе.

Я отправилась к броду, который отстоял не более чем на выстрел из лука от места, где я оставила Ирека. Мое сердце было холодным как лед, тяжелым как свинец и черным как сырая земля — оно больше не ведало сомнений и колебаний. Я ступила на первый камень и позвала Психею. Она была где-то неподалеку, потому что появилась на берегу почти в тот же миг. Мы были похожи на два олицетворения любви — любви счастливой и любви суровой. Психея излучала молодость и счастье, она вся светилась изнутри, я же была исполнена решимости, обременена ответственностью, и в руке моей притаилось жало.

— Видишь, я не ошиблась, Майя! — сказала сестра, как только я перебралась на ее берег. — Царь тебе не помешал. Можешь считать меня пророчицей.

Я совсем забыла ее предсказание и на миг растерялась, но решила отложить размышления на потом. Задача была ясна; для сомнений больше не оставалось места.

Она отвела меня от воды и усадила не знаю уж на какое из кресел своего призрачного дворца. Я отбросила капюшон, сняла платок и поставила урну перед собой.

— Ах, Оруаль! — воскликнула Психея. — Я вижу следы бури на твоем лице. Такое ощущение, словно я снова маленькая девочка, а ты на меня сердишься!

— Разве я когда-нибудь сердилась на тебя, Психея? Даже когда мне приходилось ругать тебя, мне было тяжелее, чем тебе, во много раз.

— Сестра, мне не за что обижаться на тебя.

— Тогда не обижайся и сегодня, потому что разговор предстоит очень серьезный. Наш отец — не отец. Твоя мать (мир с ней!) умерла, ее ты не знаешь. Я стала — и остаюсь до сих пор — и отцом, и матерью, и родней для тебя. И даже Царем.

— Майя, ты была для меня всем и даже больше, чем всем, со дня моего рождения. Ты и милый Лис — кроме вас, у меня никого не было.

— Да, Лис. О нем я тоже кое-что скажу. Так вот, Психея, если кто-нибудь в этом мире имеет право позаботиться о тебе, или защитить тебя, или объяснить тебе, что приличествует нашему роду, а что — нет, то это я, и только я.

— Но зачем ты говоришь все это, Оруаль? Неужто ты думаешь, что я разлюбила тебя только потому, что теперь у меня есть супруг? Напротив, я люблю тебя — и все и всех вокруг — только больше. Ах, если бы ты только могла меня понять!

От этих слов я задрожала, но попыталась скрыть это и продолжила.

— Психея, я знаю, что ты любишь меня, — сказала я. — Я бы умерла, если бы это было не так. Но поверь и мне.

Она промолчала. Мне не оставалось ничего, как перейти к сути этого ужасного разговора, но я словно онемела и никак не могла начать.

— Ты сказала мне при последней встрече, — выговорила я наконец, — что помнишь, как тебе вынимали занозу. Мы причинили тебе боль тогда, но мы не могли поступить иначе. Любящие иногда должны делать больно любимым. Сегодня как раз такой случай. Ты все еще ребенок, Психея. Ты не можешь решать за себя сама. За тебя многое должна решать я.

— Оруаль, но теперь я замужем!

Мне стоило немалого труда сдержать мой гнев при упоминании о муже. Я прикусила губу и сказала:

— Увы, именно о муже твоем (раз тебе нравится его так называть) и пойдет речь. — Я посмотрела сестре прямо в глаза и спросила резко: — Кто он? Знаешь ли ты, кто он?

— Бог, — сказала Психея тихим взволнованным голосом. — Я думаю, что он — бог Горы.

— Увы, Психея, тебя обманули! Если бы ты знала правду, ты бы скорее умерла, чем взошла с ним на ложе!

— Правду?

— Да, милое дитя, правду. Она ужасна, но тебе придется потерпеть, пока я не выну эту занозу у тебя из груди. Что это за бог, который не решается показать свое лицо?

— Не решается? Ты можешь рассердить меня, Оруаль!

— Но послушай, Психея, красивое лицо не прячут, честное имя не скрывают. Нет, нет, слушай меня! Сердце твое знает правду, как бы ты ни одурманивала себя слова-

ми. Подумай. Чьей невестой ты была? Чудища. Подумай еще. А кроме Чудища, кто еще живет в горах? Воры и убийцы — люди, которые опаснее всякого чудища, к тому же похотливые, как козлы. Если бы ты попалась им в руки, неужто ты думаешь, они отпустили бы тебя просто так? Вот каков он, этот твой возлюбленный, несчастная! Или жуткая тварь — может быть, неприкаянная тень из мира мертвых, — или прожженный мерзавец, одно прикосновение губ которого к твоим сандалиям способно осквернить весь наш род!

Некоторое время Психея молчала, опустив глаза.

— Вот так, Психея, — прибавила я как можно ласковее и положила свою ладонь на ее руку, но она живо отбросила ее в сторону.

— Ты ничего не поняла, Оруаль! Если я бледна сейчас, то только от гнева. Мне удалось совладать с собой, и я прощаю тебя, сестра. Я надеюсь, что ты не замышляла ничего дурного, но мне жаль тебя: ведь ты омрачила свою душу этими черными думами... однако не будем об этом. Если ты любишь меня, прогони их прочь.

— Черными думами? Что ж, не одну меня они посетили! Назови мне, Психея, двух самых мудрых людей из тех, кого ты знаешь.

— Лис, разумеется. А второй... мне трудно сказать, но, положим, Бардия. По-своему он тоже мудр.

— Ты сама сказала той ночью, в комнате с пятью углами, что он — человек разумный. Так вот, Психея, оба они, хотя они такие разные, согласны со мной в том, кто твой любовник. Согласны полностью. У них нет никаких сомнений. Это или Чудище, или проходимец с гор.

— Ты рассказала им обо мне, Оруаль? Это скверно. Я тебе не разрешала этого, и мой господин тоже. Ах, Оруаль, я могла ждать такого от Батты, но не от тебя!

Я ощущала, что мое раскрасневшееся лицо выдает мой гнев, но пыталась не потерять самообладания.

— Несомненно, — продолжала я, — этот твой муж, как ты зовешь его, хитер и изворотлив. Дитя, неужели его гнусная любовь настолько завладела тобой, что ты не хочешь видеть очевидных вещей? Бог? Что это за бог, который говорит «Молчи!», «Не говори никому!», «Не предавай меня!»? Так говорят беглые рабы, а не боги.

Я не уверена, слышала ли она меня, потому что в ответ она сказала:

— И Лис тоже! Как странно... Я думала, он не верит в Чудище совсем.

Я не говорила ей, что Лис верит, но раз она сделала такой вывод из моих слов, я не стала ее разубеждать. Не стоило так быстро сообщать ей главное — она просто не хотела ничего об этом слышать.

— Ни он, ни я, ни Бардия, — сказала я, — ни на мгновение не верили в то, что ты живешь с богом, не верили, что в этой глуши есть какой-то дворец. Знай, Психея, что, кого бы ты ни спросила в Гломе, все сказали бы тебе то же самое. Правда слишком очевидна.

— Но мне-то что до того? Что они могут знать? Он — мой муж. Это знаю я.

— Как ты можешь это знать, если никогда его не видела?

— Оруаль, неужто ты так наивна? Откуда я это знаю? Как откуда?

— И верно, откуда?

— Что я могу ответить тебе, сестра? Об этом не говорят... да ты и не поймешь... ведь ты еще девушка.

Эта женская умудренность в устах той, которую я считала ребенком, чуть не положила конец моему терпению. Мне показалось (теперь-то я знаю, что только показалось), будто Психея пытается поднять меня на смех. Но я все еще держала себя в руках.

— Хорошо, Психея, если ты так уверена, что тебе стоит произвести небольшую проверку?

— Какую проверку? Мне нечего проверять!

— Я принесла с собой лампу и масло. Смотри, вот они. Подожди, пока он — или оно — заснет. И посмотри сама.

— Я не могу.

— Ага!.. Вот видишь! Ты не хочешь. А почему? Да потому, что ты совсем не так

уверена. Если бы ты была уверена, ты бы сама настояла на этом. Если он, как ты утверждаешь, и верно бог, довольно будет одного взгляда, чтобы убедиться в этом. И для черных дум, как ты говоришь, больше не останется места. Но ты боишься.

— Ах, Оруаль, дурное ты задумала! Я не могу видеть его, потому что он запретил мне — вот и все. И я не обману его так подло, как ты предлагаешь.

— Я могу вообразить себе — и Лис и Бардия тоже — только одну причину для такого запрета. И только одну причину твоего послушания.

— Тогда ты ничего не знаешь о любви.

— Ты снова тычешь мне в лицо моей девственностью. Лучше девственность, чем грязный хлев, в который ты угодила. Ну ладно, — пусть я не знаю ничего о том, что ты зовешь любовью. Об этом тебе будет интереснее поговорить с Редивалью, или с храмовыми девушками, или с царскими наложницами. Я знаю другую любовь, и ты узнаешь, какова она. Ты узнаешь...

— Оруаль, Оруаль, гнев обуял тебя, — вздохнула Психея.

Сама она была совершенно спокойна и печально смотрела на меня, но в печали этой не было ни капли раскаяния. Со стороны показалось бы, что это она — моя мать, а не наоборот. Я поняла, что покорная, беззащитная Психея умерла навсегда.

— Да, — сказала я. — Это гнев. Я гневалась на тебя. Но я всегда считала, что любовь (ты меня поправишь, если я ошиблась) стремится отвести от любимых клевету, которую на них возвели. Скажи матери, что ее дитя некрасиво. Она тут же покажет его тебе, чтобы убедить, что ты ошибаешься. Никакой запрет ее не остановит. Если же она спрячет его, значит, дитя и вправду уродливо. Ты боишься, Психея, боишься увидеть его лицо.

— Нет, я боюсь другого. Я никогда не прощу себе, если ослушаюсь его.

— Хорошо же ты о нем думаешь! Хуже, чем о нашем отце. Ты считаешь, что он разгневается, если ты нарушишь такой бессмысленный и ничтожный запрет!

— Ты говоришь глупости, Оруаль, — сказала Психея, покачав головой. — Он — бог. Он знает, что делает. Мне не дано знать его помыслов. Я — всего лишь простушка Психея.

— Значит, ты не сделаешь этого? Ты не хочешь доказать мне, что он — бог, и избавить этим от беспокойства, которое иссушает мне сердце? Спасибо, сестра.

— Я бы сделала, но я не могу.

Я огляделась вокруг. Солнце уже скрывалось за седловиной. Еще немного, и она отошлет меня. Я встала.

— Пора положить этому конец, — сказала я. — Ты должна сделать это, Психея. Я приказываю тебе.

— Дорогая Майя, ты не можешь мне более приказывать.

— Тогда мне не стоит больше жить! — воскликнула я и отбросила с этими словами мой плащ. Выставив вперед левую руку, я вонзила в нее кинжал так, что проколола ее насквозь. Больнее всего мне было, когда я попыталась извлечь его обратно, но я вытерпела и это.

— Оруаль! Ты сошла с ума! — вскричала Психея, вскочив на ноги.

— В этой урне лежит лента. Перевяжи мою рану, — сказала я, садясь на мох. Раненую руку я выставила вперед, и кровь стекала с нее на землю.

Я думала, что Психея начнет кричать или упадет в обморок, но я ошиблась. Она побледнела, но не потеряла присутствия духа. Кровь лилась сильно, и ленту пришлось обмотать вокруг руки не один раз. (Мне повезло — я нанесла удар, не задев ни кости, ни сухожилий. Если бы я знала тогда о строении руки столько, сколько знаю сейчас, я бы не решилась на такое.)

На перевязку ушло немало времени, и когда мы закончили, солнце уже стояло низко, и в воздухе похолодало.

— Майя, — заговорила первой Психея. — Зачем ты сделала это?

— Чтобы показать тебе, девочка, что я не расположена шутить. Послушай, ты довела меня до отчаяния. Выбирай сама — поклянись теперь на этом клинке, влажном от моей крови, что ты сделаешь так, как я велела, иначе я убью сперва тебя, а потом себя.

— Оруаль, — сказала Психея с царским достоинством, высоко держа голову, — ты могла бы и не говорить, что убьешь меня. Не в этом твоя власть надо мной.

— Тогда поклянись! Ты знаешь, что мое слово твердо.

Выражение ее лица стало странным. Мне подумалось, что, должно быть, так смотрит мужчина на возлюбленную, которая изменила. Наконец Психея сказала:

— Да, видно, я и вправду не со всякой любовью знакома. По мне, такая, как твоя, ничем не лучше ненависти. Я словно в темную яму заглянула. Ах, Оруаль, ты взяла мою любовь к тебе, глубокую, из самого сердца, не меркнущую от того, что я люблю и другого, — эту любовь ты взяла в заложницы, чтобы обратить ее против меня. Ты превратила ее в орудие пытки — раньше я этого за тобой не знала. В любом случае, между нами произошло что-то непоправимое. Что-то умерло навсегда.

— Довольно болтовни, — сказала я. — Мы обе умрем здесь целиком и без остатка, если ты не поклянешься на этой стали.

— Я сделаю это, — сказала она с жаром. — Сделаю не потому, что я усомнилась в моем супруге и его любви. Я сделаю это только потому, что я думаю о нем лучше, чем о тебе. Он не так жесток, как ты, я знаю. Он поймет, с какой мукой в сердце я вынуждена была ослушаться его. Он простит меня.

— Может, он никогда и не узнает.

Надо было видеть, с каким презрением она посмотрела на меня. Мне было больно, но в то же время я гордилась — не я ли научила ее этому благородству? Ведь она была все же моим творением. А теперь она смотрела на меня так, словно ниже меня не было твари на земле.

— Ты думаешь, я скрою от него? Думаешь, не скажу ему? — воскликнула Психея, всаживая слова, словно гвозди в живую плоть. — С тобой мне больше не о чем говорить. Довольно. С каждым словом я узнаю слишком много нового о тебе. Я любила тебя, почитала, верила тебе, слушалась тебя, пока ты имела на это право. Теперь все кончено — но я не хочу, чтобы мой дом был обагрен твоей кровью. Ты хорошо придумала, чем принудить меня. Где твой кинжал? Я поклянусь.

Я победила, но сердце мое исходило кровью. Мне мучительно хотелось взять свои слова обратно и попросить у нее прощения. Но вместо этого я протянула ей кинжал (такая клятва считалась у нас в Гломе самой крепкой — ее называли «стальная клятва»).

— И даже теперь, — сказала Психея, — я делаю это, зная, на что иду. Я собираюсь предать моего возлюбленного, лучшего из всех. Возможно, не успеет и солнце взойти, как счастье мое разлетится вдребезги. Вот она, цена твоей жизни, и я заплачу ее.

Она поклялась, и слезы хлынули у меня из глаз. Я хотела заговорить с ней, но она отвернулась.

— Солнце почти зашло, — сказала она. — Иди на тот берег. Жизнь твоя спасена, уходи.

Я поняла, что боюсь ее. Я вернулась к реке и кое-как перебралась на мой берег. И тут ночная тень легла на всю долину.

Глава пятнадцатая

Очевидно, выйдя на другой берег, я сразу же потеряла сознание; ничем иным я не могу объяснить провал в моей памяти. Очнулась я от холода, жажды и страшной боли в раненой руке. Я с жадностью напилась из ручья и тут же захотела есть, но вспомнила, что вся еда осталась в урне вместе с лампой. Все во мне противилось тому, чтобы позвать на помощь Ирека, такого колючего и неприветливого. Мне казалось (хотя я уже понимала, что это самообман), будь со мной Бардия, все кончилось бы иначе, намного лучше. И я начала представлять, как бы это было, пока не вспомнила, зачем я, собственно говоря, здесь. Мне стало стыдно, что я забыла о главном.

Я собиралась сидеть у брода, пока не увижу свет лампы, зажженной Психеей. Затем Психея прикроет лампу, и свет на время исчезнет. Потом, скорее всего, свет

снова появится, когда она поднесет лампу, чтобы рассмотреть лицо своего коварного господина. А потом — по крайней мере я на это надеялась — я услышу шаги Психеи в темноте и ее сдавленный шепот, когда она позовет меня с того берега. В то же мгновение я окажусь рядом и помогу ей переправиться. Она будет плакать, и я утешу ее; она поймет, кто ей друг, а кто враг, и снова полюбит меня. Она будет благодарить меня за то, что я спасла ее от мерзавца, чье лицо она увидела при свете лампы. От таких мыслей мне становилось легко.

Но были и другие мысли. Как я ни пыталась, я не могла избавиться от страха. А вдруг я ошиблась? Вдруг он и вправду бог? Но о нем мне не очень-то хотелось думать. Я думала больше о том, что тогда будет с ней, с моей Психеей. Я представляла, как она будет страдать, если ее счастье кончится из-за меня. Не раз за эту ужасную ночь мне нестерпимо хотелось перейти ледяной поток и закричать, что я освобождаю ее от клятвы, что лампу зажигать не надо, что дала ей дурной совет. Но я боролась с этим желанием как могла.

Все эти мысли скользили по поверхности моего сознания, а в глубине, подобной тем океанским глубинам, о которых рассказывал мне Лис, лежало холодное, безрадостное воспоминание об ее презрении, о том, как она призналась мне в нелюбви — почти что в ненависти.

Как могла она меня ненавидеть, когда рука моя вся ныла и горела от раны, нанесенной любовью? «Жестокая, злая Психея!» — рыдала я, пока с ужасом не заметила, что вновь впадаю в то бредовое состояние, которое не оставляло меня, пока я болела. Я собрала волю в кулак и остановилась. Что бы ни происходило, я должна внимательно смотреть и не сходить с ума.

Вскоре в первый раз вспыхнул свет и сразу же снова погас. Я подумала (хотя я не сомневалась, что Психея сдержит свою клятву): «Так. Пока все идет как задумано». И тут я сама ужаснулась задуманному мной, но быстро отогнала эти мысли.

Ночной холод был нестерпимым. Рука моя пылала огнем, как головешка, остальное тело превратилось в сосульку, которая прикована к этой головешке, но все-таки не тает. Только сейчас я сообразила, что моя затея довольно опасна — ведь я могла умереть от раны и голода или, по меньшей мере, смертельно заболеть. Из этого зерна тотчас в моем сознании расцвел болезненный цветок самых диких фантазий. Мне представилось, что я лежу на большом костре, а Психея бьет себя в грудь и плачет, раскаиваясь в своей жестокости; Лис и Бардия тоже были там и плакали — даже Бардия! — потому что я умерла. Но мне даже стыдно говорить сейчас обо всех этих глупостях.

Очнулась я оттого, что свет появился снова. Моим глазам, обессиленным темнотой, он показался нестерпимо ярким. Костер ровно горел, наполняя пустошь вокруг неожиданным уютом домашнего очага, принося какое-то успокоение во весь мир. Но тут тишина взорвалась.

Откуда-то с той стороны, где я видела свет, прозвучал громкий, величественный голос; мурашки пробежали у меня по спине, а дыхание перехватило. Он не был страшным, этот голос; он был суров и непреклонен, но звучал литым золотом. Я забыла о боли; волна ужаса пронизала все мое существо; того ужаса, который испытывают люди перед лицом бессмертных. И тут же я различила сквозь трубные звуки этого голоса слабые женские рыдания. Сердце мое готово было разорваться. Но и голос, и плач — все это длилось какие-то мгновения, может быть, не дольше двух биений сердца (я говорю — биений сердца, хотя мое сердце не билось тогда — оно остановилось от ужаса).

Яркая вспышка осветила все вокруг. Удар грома, такой сильный, словно треснуло небо, раздался у меня над головой, и сразу же дождь из молний обрушился на долину. При каждой вспышке видны были падающие деревья; казалось, это падают колонны призрачного дворца Психеи. Из-за грома казалось, что стволы деревьев лопаются и падают беззвучно; более того — за раскатами грома я сперва не услышала, что раскололась сама Гора. Огромные скалы пришли в движение и покатились по склонам, сталкиваясь и подпрыгивая, как мячики. Река встала на дыбы и окатила меня с головы до пят ледяной водой, прежде чем я успела отпрянуть; но я все равно

бы промокла, потому что вслед за бурей хлынул беспощадный ливень. Вскоре меня уже можно было отжимать, как губку.

И все-таки, несмотря на то, что я была ослеплена и испугана, я посчитала случившееся добрым знаком. Все, все доказывало мою правоту. Психея разбудила какое-то чудовищное существо, и теперь оно гневалось. Оно проснулось оттого, что Психея слишком долго рассматривала его, а может быть (и это скорее всего), оно только притворялось спящим, потому что нечисть не нуждается в сне, в отличие от людей. Возможно, оно погубит нас обеих, но Психея узнает все. Если она умрет, то умрет, зная правду, прозревшая — и все это благодаря мне. А может, нам удастся ускользнуть — ведь не все еще потеряно! И с этой мыслью я бросилась в воду под проливным дождем, торопясь на другой берег.

Я думаю, мне не удалось бы преодолеть ревущую, пенную стихию, даже если бы мне не помешали. Но мне помешали. Передо мной возникло нечто, отдаленно напоминавшее застывшую молнию. Оно излучало свет — холодный, неземной, пронзительный, лишенный всякого тепла, беспощадно высвечивающий все вокруг до мельчайших подробностей. Он не был подвижен, как пламя свечи в комнате без окон, и не становился ни ярче, ни слабее. В середине этого света стоял некто, подобный человеку. Странно, но я не могу сказать, какого он был роста. Он смотрел на меня сверху вниз, однако я не помню, чтобы он показался мне великаном. Не могу я и вспомнить, где он стоял — на другом берегу или прямо на воде.

Хотя свет сиял с неизменной силой, лицо того, кто стоял в нем, показалось мне вспышкой молнии, и я тут же отвела глаза в сторону, не в силах вынести вида этого лица. Вид его был невыносим не только для моих глаз — вся моя плоть и кровь, весь мой разум были слишком слабыми для этого. Даже Чудище, каким его представляли у нас в Гломе, смутило бы меня меньше, чем дивная красота этого лица. Мне кажется, я легче снесла бы, будь это лицо гневным, но оно не выражало гнева. Бесстрастный и безмерно глубокий взгляд отторгал меня, и это было невыносимо. Хотя я скрючилась у самых его ног, он смотрел на меня так, словно я была бесконечно далеко. Он отторгал самое мое существо, зная при этом (что было самым ужасным) все мои помыслы, все, что я совершила, и все, чем я была. Один греческий поэт сказал, что даже боги не вольны изменить прошлое. Не знаю, прав ли этот поэт, но тот, кто явился мне, сделал так, словно я знала с самого начала, что возлюбленный Психеи — бог, а все мои терзания, сомнения и расспросы, вся моя суета — это пыль, которую я сама себе напустила в глаза. Читатель, будь мне судьей, скажи, так ли это? И было ли это так, до того как бог изменил мое прошлое? А еще скажи — если боги в силах изменить прошлое, почему они не меняют его хотя бы иногда из жалости к нам?

Гром стих, по-моему, в тот самый миг, когда вспыхнул свет, и в полной тишине бог обратился ко мне. Голос его, как и лицо, не ведал гнева, подобного людскому; он звучал мелодично и бестревожно — так певчая птица поет, усевшись на ветку, с которой еще не сняли повешенного:

— Отныне изгоняется Психея и суждено изведать ей голод и жажду, блуждая по тернистым дорогам. Пусть те, кто надо мной, совершат свою волю. А ты, женщина, вернись к себе и к трудам своим. Ты тоже станешь Психеей в свой срок.

Голос и свет исчезли одновременно, словно их отрезали, а затем в наступившей тишине я услышала чей-то плач. Я никогда не слышала, ни до, ни после, чтобы кто-нибудь так плакал — ни брошенный ребенок, ни мужчина, потерявший руку, ни девушка из захваченного города, которую волокут в рабство. Если бы женщина, которую ты ненавидишь больше всего в жизни, плакала так, ты бы кинулся, чтобы утешить ее, читатель, даже если бы на пути у тебя был ров с острыми кольями или река с текучим огнем. Хуже всего было то, что я знала, кто это плачет и почему и кто повинен в этих слезах.

Я кинулась к Психее, но плач ее слышался все дальше, и я поняла, что она уходит прочь, к южному выходу из долины — туда, где я еще никогда не была, — чтобы сорваться там с крутых утесов и разбиться насмерть. А я ничем не могла помочь ей, потому что взбесившийся поток не пускал меня на другую сторону. Он не пытался утопить меня — он просто забавлялся со мной, швыряя из стороны в сторону, как

щепку, и сковывал мои движения смертельным холодом. Наконец мне удалось ухватиться за скалу — от земли было мало толку, потому что время от времени огромные глыбы ее сползали в воду, которая стремительно уносила их, — и я обнаружила, что, несмотря на все мои старания, по-прежнему нахожусь на том же берегу. Я пошла вдоль берега, но в темноте скоро потеряла его. Дно долины, залитое водой, совсем раскисло, и я с трудом выбирала путь среди потоков воды.

Остаток ночи я плохо помню. Когда забрезжил рассвет, я увидела, что сталось с долиной, после того как на нее обрушился гнев бога. В мешанине из грязи, камней и воды плавали деревья, кусты, мертвые овцы, даже олень. Если бы я переправилась ночью через поток, я только оказалась бы на маленьком островке посреди грязи. Несмотря на все это, я упорно звала Психею, пока не сорвала голос. Я знала, что это глупо: Психея ушла в изгнание, как велел ей ее бог. Она бредет где-то по чужой стороне, льет горькие слезы по своему возлюбленному и даже не вспоминает (зачем лгать себе?) про свою сестру.

Я нашла Ирека, промокшего и дрожащего. Он украдкой бросил взгляд на мою перевязанную руку, но ничего не спросил. Мы подкрепились припасами из чересседельных сумок и отправились в путь. Небо к тому времени уже прояснилось.

Я пыталась посмотреть по-новому на все, что случилось. Теперь, когда стало ясно, что боги существуют и они ненавидят меня, не оставалось ничего иного, как ждать возмездия. Я гадала, на каком опасном месте лошадь подвернет ногу и сбросит меня в пропасть, какое дерево выбьет меня из седла веткой или когда моя рана достаточно воспалится, чтобы свести меня в могилу. Тут мне вспомнилось, что иногда боги мстят нечестивцам, обращая их в животных. Я то и дело ощупывала свое лицо под платком, ожидая, что оно вот-вот покроется кошачьим мехом, или собачьей шерстью, или даже свиной щетиной. При всем этом мне не было страшно. Даже странно, с каким иногда спокойствием человек смотрит на землю, траву, небо и говорит им в сердце своем: «Отныне вы все — враги мне. Вы ставите на меня силки и готовите мне казни».

Но потом я подумала, что слова «Ты тоже станешь Психеей в свой срок» надо понимать буквально; если она стала изгнанницей, то и я обречена бродить по свету. И ждать этого придется недолго, догадалась я, — достаточно, чтобы люди Глома не захотели видеть на троне женщину. Но бог сильно заблуждался — неужто и боги заблуждаются? — если думал, что такая участь будет мне особенно горька. Разделить участь Психеи... лучше этого могло быть только одно — понести наказание вместо нее. От этих мыслей какая-то новая сила и решительность пробудились во мне. Из меня выйдет отличная нищенка. Я достаточно уродлива для этого, а Бардия научил меня неплохо драться.

Бардия... Я задумалась, стоит ли рассказать ему все. А Лису? Об этом у меня еще не было времени подумать.

Глава шестнадцатая

Я тайком прокралась в жилые покои дворца, хотя по всему было видно, что отец еще не вернулся с охоты. Тем не менее я шла так тихо и осторожно, словно он был дома. И тут до меня дошло, что я прячусь вовсе не от Царя. Бессознательно я хотела избежать встречи с Лисом, моим извечным помощником и утешителем. Такая перемена в моих чувствах неприятно меня поразила.

Пуби, увидев мою рану, разразилась потоками слез, а потом наложила новую повязку. Только мы закончили и я принялась за еду (а я была голодна как волк), вошел Лис.

— Доченька, доченька, — запричитал он. — Да прославятся боги, вернувшие тебя домой. Я весь день места себе не находил. Где ты была?

— На Горе, дедушка, — ответила я, пряча за спиной левую руку.

Я не могла рассказать ему, что я с ней сделала. Я поняла (увы! слишком поздно), что Лис осудит меня за хитрость, какой я принудила Психею повиноваться. Одним из принципов нашего учителя было, что, если мы не можем убедить друг друга дово-

дами разума, нам следует смириться и не «прибегать к помощи коварных наемников» (под последними философ разумел страсти).

— Ах, дитя мое, почему так внезапно? — воскликнул грек. — Мы же уговорились оставить все до утра!

— Только потому, что тебе хотелось спать, — сказала я, и ответ мой прозвучал жестоко и грубо, словно я говорила голосом моего отца. Мне сразу же стало стыдно.

— Конечно, я виноват, — промолвил Лис с грустной улыбкой. — Ты наказала меня, госпожа. Но расскажи мне новости, расскажи! Выслушала ли тебя Психея?

Я не ответила на его вопрос, рассказав вместо того о буре и наводнении в долине. Я сказала, что вся долина превратилась в болото, что я попыталась пересечь поток, но не смогла, что я слышала плач Психеи вдали, на южной стороне, и он удалялся к выходу из долины. Что толку было рассказывать ему про бога: он бы решил, что я грежу или сошла с ума.

— Значит, доченька, тебе так и не удалось поговорить с ней? — спросил Лис недоверчиво.

— Да нет, — сказала я. — До этого мы немного поговорили.

— Дитя, что случилось у вас? Вы поссорились? Что произошло?

На этот вопрос ответить было труднее, но Лис настаивал, и в конце концов мне пришлось рассказать ему о моей затее с лампой.

— Ах, доченька! — вскричал Лис. — Какой *даймон* вложил в твою голову такое коварство? И на что ты надеялась? Ведь злодей наверняка был настороже — разбойники спят всегда вполглаза. Он наверняка связал ее и уволок в какое-нибудь другое логово! А может, он вонзил ей нож в сердце, чтоб она не выдала его преследователям. Да что там, одной лампы хватило бы ему, чтобы догадаться, что его тайна уже раскрыта. Может быть, несчастная плакала потому, что он ранил ее? Ах, если бы ты посоветовалась со мной!

Мне нечего было сказать. Я ведь ни о чем таком даже не думала — очевидно, потому, что с самого начала не верила во всю эту историю о разбойнике с гор.

Лис посмотрел на меня с недоумением — он не понимал, почему я молчу. Наконец он сказал:

— Легко ли она согласилась?

— Нет, — сказала я.

Для того чтобы поесть, я откинула платок с лица и теперь об этом сильно жалела.

— И как тебе удалось убедить ее? — спросил Лис.

Этот вопрос был для меня самым тяжелым: ведь я ни за что не сказала бы Лису правду. Я не могла признаться не только в том, что я сделала, но и в том, что я сказала. Ведь я сказала Психее, что Лис и Бардия сходятся в одном: ее возлюбленный — существо ужасное или гнусное. Но если бы я сказала так Лису, он заявил бы возмущенно, что мнение Бардии и его предположение не имеют ничего общего между собой; одно питается бабушкиными сказками, другое — здравым смыслом. И тогда вышло бы, что я солгала Психее. Где Лису понять, что там, на Горе, все выглядело иначе.

— Я... я поговорила с ней, — в конце концов вымолвила я. — И она меня послушалась.

Лис посмотрел на меня пристально и испытующе; в глазах его я не заметила той былой нежности, с которой он смотрел на меня, когда ребенком я сидела у него на колене и он напевал «Зашла луна».

— Ну что ж, у тебя есть от меня тайна, — прервал долгое молчание грек. — Нет, прошу тебя, не отводи взгляд. Неужто ты полагаешь, что я буду выпытывать твой секрет? Никогда в жизни. Друзья не должны ущемлять свободу друг друга. Моя настойчивость разобщит нас больше, чем твоя скрытность. Когда-нибудь потом, может быть... А пока слушайся бога, который внутри тебя, а не того, что внутри меня. Не надо, не плачь. Я не перестану любить тебя, даже если у тебя будет от меня тысяча тайн. Я дерево старое; лучшие ветви мне отрубили, когда обратили в рабство. Ты и Психея — вот все, что у меня осталось. Увы, Психея! И она теперь потеряна для меня! Но осталась ты.

Он обнял меня (я прикусила губу, чтобы не закричать, потому что он задел раненую руку) и ушел. Никогда прежде я так не радовалась его уходу. Но я не смогла удержаться от мысли, что Лис куда добрее Психеи.

Бардии я вообще ни слова не сказала о случившемся на Горе.

Перед тем как заснуть, я приняла одно решение, которое сильно переменило впоследствии мою судьбу. До тех пор, как и все женщины нашей страны, я ходила с непокрытым лицом; только во время моих поездок к Психее я покрывала его платком, чтобы не быть узнанной. Я решила, что больше его я снимать не буду. С тех пор я придерживалась этого правила как во дворце, так и за его стенами. Это было чем-то вроде сговора между мной и моим уродством. Пока я была совсем маленькой, я не знала о нем. Затем я подросла и тогда (а в этой книге я не собираюсь умалчивать ни об одном из моих безумств или заблуждений) поверила в то, что при помощи разных ухищрений в прическе или наряде я могу сделать его менее заметным. Девушки часто верят в подобные вещи — к тому же Батта всячески поддерживала во мне эту уверенность. Лис был последним мужчиной, который видел мое лицо, да и немногие из женщин могут этим похвастаться.

Моя рана быстро зажила (на мне вообще все заживает быстро), и через семь дней, когда Царь вернулся, я могла уже не притворяться больной. Царь приехал совершенно пьяным, поскольку он не мыслил себе охоту без попойки, и весьма не в духе, потому что охотникам удалось убить только двух львов, ни один из которых не пал от руки Царя. При этом лев загрыз любимого царского пса.

Через несколько дней отец приказал мне и Лису явиться в Столбовую залу. Увидев платок у меня на лице, он заорал:

— Эй, девчонка, в чем дело? Боишься кого ослепить своей красой? Ну-ка сними эту гадость!

И тут я впервые почувствовала, как изменила меня ночь, проведенная на Горе. Тот, кто лицезрел божество, вряд ли устрашится гнева старого царя.

— Это уж слишком — упрекать человека и за то, что он уродлив, и за то, что старается скрыть свое уродство, — бросила я, даже не пошевельнувшись, чтобы снять платок.

— Пойди сюда, — велел Царь, но уже обычным голосом. Я подошла к нему так близко, что мои колени почти касались его. Он сидел в кресле, а я стояла перед ним как каменная; я видела его лицо, а он не мог видеть мое, и это словно бы давало мне некоторую власть над ним. Отец тем временем белел на глазах: видно было, что он вот-вот впадет в страшное бешенство.

— Что, норов решила показать? — процедил он шепотом.

— Да, — сказала я так же тихо, но отчетливо. Ответ вырвался у меня сам, помимо моей воли.

Все это длилось недолго — ты бы, читатель, и до трех не успел сосчитать, — и мне казалось, что он вот-вот убьет меня, но тут отца передернуло, и он сдавленно прорычал:

— Ты такая же, как все бабы. Одна болтовня... вы луну с неба выпросите, если вам позволить. Мужчина не должен слушать баб. Эй, Лис, ты уже сочинил свои враки? Отдай ей, пусть перепишет!

Он не осмелился ударить меня, и страх мой перед ним прошел навсегда. С тех пор я ему и пяди не уступала, скорее наоборот. Вскоре я осмелилась сказать ему, что мы с Лисом не можем уследить за Редивалью, потому что все время заняты с ним в Столбовой зале. Он рычал и ругался, но в конце концов перепоручил это дело Батте. Батта в последнее время была с ним накоротке; она проводила многие часы в царской опочивальне, сплетничала, шушукалась, подлизывалась. Не думаю, чтобы между ними что-то было — даже в лучшие ее годы в Батте не было ничего такого, что мой отец называл «сдобностью», — но он начал сдавать, а Батта с ним нянчилась и потчевала его горячим молоком с медом. С Редивалью она тоже сюсюкала, но это была еще та парочка: то они готовы были друг другу глаза выцарапать, то снова шептали на ушко пошлости и сплетни.

Однако все, что творилось во дворце, не трогало меня нимало. Я, словно приго-

воренная к смерти, ожидала палача, потому что каждое мгновение ждала возмездия небес. Но дни шли, и ничего не случалось, и с большой неохотой я осознала, что мои судьи, наверно, дали мне отсрочку.

Когда я поняла это, я отправилась в комнату Психеи и расставила там все, как было до начала наших бед. Я нашла греческие стихи, похожие на гимн в честь бога Горы. Стихи я сожгла, как и одежды, которые она носила в последний год, — память о нашем счастье была для меня слишком тяжелой. Но остальные ее вещи и драгоценности — особенно те, которые она любила в детстве, — я привела в порядок и положила на место. Я сделала это на случай, если Психея вдруг вернется — тогда она нашла бы все таким, как было, когда мы обе были счастливы и любили друг друга. Затем я закрыла дверь и наложила печать. Чтобы не сойти с ума, я должна была забыть все, что произошло, и помнить только о счастливом прошлом. Если моим служанкам случалось произнести ее имя, я приказывала им замолчать. Если это случалось с Лисом, я делала вид, что не слышу, и тут же переводила разговор на другое. Общество Лиса мне было уже не так приятно, как прежде.

Правда, я охотно говорила с ним о той части философии, которую именуют «физикой»: что такое жизнетворный огонь и как душа зарождается из крови, о космических эпохах, о жизни растений и животных, о далеких странах, их почве и климате, о способах правления и о многом другом. Мне нравилось обременять себя знаниями, я хотела измотать себя.

Как только зажила моя рана, я вновь начала брать уроки боевого искусства у Бардии. Еще моя левая рука не могла удержать щит, а я уже занималась, ведь Бардия сказал, что бой без щита — тоже большое искусство. Воин очень хвалил меня, и я знала, что это не лесть.

Я хотела укрепить в себе ту жестокую и беспощадную силу, которую впервые ощутила в себе, выслушав приговор богов. Занятиями и трудами я хотела вытравить из себя женщину. Иногда, по ночам, когда дождь стучал по крыше или ветер завывал в трубах, я чувствовала, что возведенные мною плотины рушатся и меня захватывает идущее из самой глубины души беспокойство — жива ли Психея, где она этой холодной ночью? Я представляла, как жестокие деревенские женщины гонят ее, замерзшую и голодную, от своих ворот. Но, проворочавшись так с час в постели, пролив все слезы и призвав на помощь всех богов, я вновь отгораживалась плотиной от этого чувства.

Вскоре Бардия взялся обучать меня и верховой езде. Он говорил со мной, как с мужчиной, и это одновременно радовало и печалило меня.

Так все шло до Зимнего солнцеворота. В нашей стране это — большой праздник. На следующий день после него Царь, возвращаясь во дворец с пирушки у одного старейшины, поскользнулся на парадном крыльце. День был холодный, и ступеньки, которые мыли даже зимой, обледенели. Падая, он подвернул правую ногу и ударился об острую кромку ступени; когда слуги бросились к нему на помощь, он зарычал от боли и чуть было не укусил протянутую ему руку. Но в следующий миг он уже проклинал слуг за нерасторопность. Когда я подоспела к месту происшествия, я кивком приказала слугам поднять отца и отнести его в постель, что бы он ни говорил и ни вытворял. Это было сделано, хотя и не без труда, после чего пришел цирюльник и определил перелом бедра; впрочем, мы сразу так и подумали. «Мне это не вправить, госпожа, — шепнул цирюльник, — даже если он меня подпустит». Мы послали гонца в Дом Унгит за Вторым Жрецом, который слыл способным костоправом. Пока его ждали, Царь успел влить в себя такое количество крепкого вина, от которого обычный человек тут же умер бы. Когда прибыл Второй Жрец и принялся за сломанную ногу, Царь начал рычать и биться, как дикий зверь, и попытался выхватить кинжал. Тогда я кивнула Бардии, и шесть стражников навалились на Царя, чтобы тот не бился. В перерывах между стонами и звериным рычанием Царь выкрикивал, показывая на меня глазами:

— Уберите отсюда эту! Эту, с платком! Она хочет меня замучить. Я знаю ее, знаю.

Той ночью он не спал и на следующую ночь тоже. Кроме боли в ноге, ему не давал заснуть жуткий, разрывающий грудь кашель. Кроме того, Батта, пока мы не видели,

щедро подносила ему вино. Сама я старалась держаться подальше от царской опочивальни, потому что мне было противно смотреть на пьяного старика, который все время твердил, что знает, кто я такая, хоть я и занавесила лицо платком.

— Хозяин, — уверял его Лис, — это твоя дочь, царевна Оруаль.

— Э-э, это она так говорит, — бормотал Царь, — а я-то лучше знаю! Это она по ночам прижигает мне ногу каленым железом! Я знаю, кто она такая... Эй! Стража! Бардия! Уведите ее отсюда!

На третью ночь я, Бардия, Лис и Второй Жрец стояли под дверьми опочивальни и переговаривались шепотом. Имя Второго Жреца было Арном; это был черноволосый молодой человек моего возраста, безбородый, как евнух, но евнухом он не был (хотя в Доме Унгит евнухи и были, до жреческого служения допускались только полноценные мужчины).

— Похоже, — сказал Арном, — что Царь умрет.

Вот оно, подумалось мне. В Гломе будет новая власть, и я отправлюсь в изгнание, чтобы разделить с Психеей ее участь.

— И я того же мнения, — откликнулся Лис. — И ждать этого недолго. Впереди — немалые заботы.

— Большие, чем ты полагаешь, Лисиас, — сказал Арном (я в первый раз услышала, чтобы Лиса назвали его подлинным именем). — В Доме Унгит тоже есть умирающий.

— Что это значит, Арном? — спросил Бардия.

— Жрец при смерти. Если я что-то смыслю в искусстве врачевания, он протянет не более пяти дней.

— Ты будешь вместо него? — спросил Бардия. Арном утвердительно кивнул.

— Если на то будет воля Царя, — прибавил Лис.

Таков был обычай Глома.

— В такое время необходимо, — сказал Бардия, — чтобы Дом Царя и Дом Унгит ладили между собой. Иначе найдутся люди, которые захотят погреть на этом руки.

— Да, — согласился Арном. — Никто не решится выступить против обоих домов сразу.

— Нам повезло, — сказал Бардия, — что Царица и Унгит ладят друг с другом.

— Царица? — спросил Арном.

— Царица, — в один голос сказали Бардия и Лис.

— Ах, если бы царевна была замужем, — вздохнул Арном, отвесив мне любезный поклон. — Ведь женщина не может вести в бой войско Глома.

— Наша Царица может, — сказал Бардия и так угрожающе выдвинул вперед нижнюю челюсть, словно он сам был этим войском. Я почувствовала на себе пристальный взгляд Арнома и поняла, что в моем платке куда больше пользы, чем в самой дивной красоте.

— Между Домом Царя и Домом Унгит доброе согласие во всем, кроме Полян. Если бы не болезнь Жреца и несчастье с Царем, мы бы вернулись к разговору о Полянах.

Я знала, о чем шла речь. Поляны были спорным угодьем, из-за которого возникали раздоры между храмом и дворцом с тех пор, как я помню себя. Я всегда держалась того мнения, что Поляны должны принадлежать Унгит (вовсе, как ты понимаешь, читатель, не из любви к богине), поскольку эти владения облегчили бы храму расходы на жертвенных животных. Кроме того, мне казалось, что жрецы, разбогатев, будут меньше брать с простых людей за совершение обрядов.

— Царь еще жив, — заговорила я, и присутствующие вздрогнули, услышав мой голос. — Но поскольку он тяжко болен, от его имени буду говорить я. Он желает передать Поляны Унгит на вечные времена и скрепить договор в камне, но при одном условии.

Бардия и Лис изумленно посмотрели на меня, но Арном живо спросил:

— При каком условии, госпожа?

— При условии, что стражи Унгит отныне перейдут в подчинение главы дворцовой стражи, которого назначит Царь или его наследник.

— А платить им содержание будет тоже Царь... или его наследник? — с быстротой молнии отозвался Арном.

Об этом я не подумала, но посчитала, что скорый ответ в этом случае лучше мудрого, и сказала:

— В соответствии с часами службы в Доме Унгит и во дворце.

— Ты предлагаешь — то есть Царь предлагает — тяжелую сделку, — сказал жрец. Но я знала, что деваться ему некуда, потому что хорошая земля важнее для храма, чем воины. И Арном прекрасно понимал, что без поддержки дворца его не утвердят Верховным Жрецом. Тут Царь застонал и заметался в постели, и Арном поспешил к нему.

— Отлично, доченька! — прошептал Лис.

— Да здравствует Царица! — отозвался Бардия, и они последовали за Арномом.

Я вышла в большую залу; она была пуста, в очаге едва теплился огонь. Это было одно из тех странных мгновений, которыми так полна моя жизнь. Я стала Царицей, но на душе у меня было все так же горько. Может быть, эта перемена в моей жизни если и не скует темные воды в глубинах моего сердца, то хотя бы укрепит ту плотину, которую я выстроила, чтобы удержать их? Затем меня посетила совсем иная мысль — я впервые подумала о том, что мой отец скоро умрет. У меня закружилась голова. Мир словно распахнулся передо мной, и я увидела огромное синее небо, более не омраченное этой назойливой тучей. Свобода! Я глубоко и сладко — как никогда в жизни — вздохнула. От этого чуть было не прошла даже душевная горечь.

Но она не прошла. Было поздно, и почти все в доме спали. Мне показалось, что вдалеке кто-то плачет. Плакала женщина, и я поневоле прислушалась. Плач, судя по всему, доносился снаружи. В то же мгновение мысли о троне, о моем отце, об интригах храма покинули меня. В безумной надежде я кинулась в другой конец залы и отворила маленькую дверцу, которая вела в проход между молочным двором и казармами. Луна сияла ярко, но было ветрено, вопреки моим ожиданиям. Плача сперва не было слышно, но вскоре он раздался вновь.

— Психея! — позвала я. — Психея! Истра! — и побежала на звук, но уверенность уже оставила меня. Я припомнила, что подобный звук иногда издает (даже при легком ветерке) колодезная цепь. Неужели это всего лишь она?

Я остановилась и прислушалась. Плача не было слышно, но казалось, что кто-то крадется в темноте. Затем я ясно увидела человека в плаще, который метнулся через освещенный луною двор и скрылся в кустах. Я устремилась за ним во всю прыть. Пошарив рукой в густом кустарнике, я наткнулась на другую руку.

— Спокойно, милочка! — прошептал кто-то. — Отведи меня во дворец.

Голос показался мне совершенно незнакомым.

Глава семнадцатая

— Кто здесь? — воскликнула я, отдернув руку так быстро, словно дотронулась до змеи. — Выйди и покажись!

Первой моей мыслью было, что у Редивали стараниями Батты, которая перепутала обязанности надсмотрщицы с обязанностями сводни, есть любовник.

Из кустов выбрался высокий, статный мужчина.

— Я — скромный проситель, — сказал он таким бодрым голосом, каким просители и не говорят никогда. — Нет такой хорошенькой девчонки, которую я не просил бы о поцелуе, — закончил незнакомец свою мысль.

И тут же попытался привлечь меня к себе, но я была настороже. Увидев блеснувшее в лунном свете острие кинжала, пришелец рассмеялся.

— Зоркие же у тебя глаза, если ты рассмотрел мою красоту, — сказала я, поворачиваясь так, чтобы он отчетливо увидел, что мое лицо закрыто платком.

— Скорее чуткие уши, сестричка, — ответил гость. — Девушка с таким голосом не может быть уродиной.

Приключение было для меня настолько внове, что у меня появилось дурацкое

желание растянуть его. Это была странная ночь. Но я решила не терять головы.

— Кто ты? — повторила я свой вопрос. — Говори, или я позову стражу!

— Да не вор я, милашка, — так же весело ответил незнакомец, — хотя и крался по-воровски, ибо опасался встретить в саду кого-нибудь из моих любезных родичей. Я спешу с прошением к Царю. Отведи меня к нему, — и с этими словами он позвенел монетами в кулаке.

— Если не случится чуда и Царь не оправится от недуга, — сказала я, — то ты сейчас беседуешь с Царицей.

Он тихо присвистнул и рассмеялся.

— Если ты и верно Царица, то я и верно дурак! Прими мое прошение, госпожа. Я прошу о покровительстве и убежище на несколько дней. Я — Трунния Фарсийский.

Эта новость застала меня врасплох. Я уже писала, что царевич поднял мятеж против своего брата Эргана и старого царя, их отца.

— Значит, поражение? — спросила я.

— Я попал в засаду. Царские конники кинулись за мной, — сказал Трунния. — Я уходил от погони, сбился с пути и попал в Глом. К тому же конь мой охромел в трех милях отсюда, и его пришлось бросить. Увы, брат мой обложил заставами все пограничье! К полудню мои преследователи будут у твоих ворот. Если ты спрячешь меня от них на день-другой, то потом я тайно отправлюсь в Эссур и достигну кружным путем моих главных сил в Фарсе; тогда весь мир увидит, кто из нас сильнее в честном бою!

— Хорошо говоришь, князь, — сказала я сдержанно. — Но, оказав тебе покровительство, по закону и по обычаю мы должны будем защищать тебя силой оружия. Я хотя и недолго на троне, но слишком хорошо знаю, чем может кончиться для нас война с Фарсой.

— Ночи сейчас холодные. Трудно путнику под открытым небом, — сказал Трунния.

— Мы рады тебе как гостю, но не можем предоставить тебе убежище. Это обойдется нам слишком дорого. Порог моего дворца ты переступишь только пленником.

— Пленником? — воскликнул он. — Тогда до скорого, Царица!

И с этими словами он метнулся в кусты с прытью, неожиданной для усталого человека (а что он действительно устал, было слышно даже по его голосу). Я не попыталась остановить его, зная, что старый жернов сделает это за меня. Трунния растянулся на земле, попытался снова вскочить на ноги, но взвыл от боли, выругался и затих.

— Вывих, если не перелом, — простонал он. — Будь проклят тот бог, который делал ноги человеку! Ну что же, Царица, зови своих стражников. Пленник так пленник, лишь бы не попасть в лапы к палачу моего брата.

— Если представится хоть малейшая возможность, мы спасем твою жизнь. Мы постараемся сделать это, не вступая в войну с Фарсой, — сказала я.

Казармы были рядом, и я без труда позвала стражей, не сводя ни на миг глаз с царевича. Как только я услышала шаги воинов, я сказала Трунии:

— Накинь на лицо плащ. Чем меньше людей будет знать, кто мой пленник, тем легче мне будет вести переговоры о твоей судьбе.

Стражники подняли беднягу, и с их помощью он дохромал до залы. Я велела позвать цирюльника, чтобы он вправил сустав. Затем я прошла в царскую опочивальню. Арнома там не было. Царю стало хуже — лицо его было багрово-красным, хриплое дыхание с трудом вырывалось из груди. Говорить он не мог, лишь глаза его перебегали с одного из нас на другого, и я задалась вопросом: что он сейчас чувствует и о чем может думать?

— Где ты была, доченька? — сказал Лис. — Ужасные вести с заставы! Эрган Фарсийский с тремя или четырьмя отрядами конников пересек границу и идет к Глому. По его словам, он преследует своего брата Трунию.

Как быстро дает себя знать тяжесть царского венца! Еще вчера мне и дела не было бы до того, сколько вооруженных чужеземцев пересекло нашу границу, теперь же эта весть прозвучала для меня как пощечина.

— Для нас не так важно, — добавил Бардия, — действительно ли он гонится за Трунией или он пересек границу, только чтобы поправить свою пошатнувшуюся славу и показать, что с нами можно не считаться...

— Труния во дворце, — сказала я. Прежде чем они оправились от изумления, я вывела их из опочивальни, потому что взгляд отца был невыносим для меня. Остальные же обращали на больного внимания не больше, чем на покойника. Я приказала развести огонь в комнате, куда некогда заключили Психею (в той самой, пятиугольной), и отвести туда царевича, как только он отужинает. Затем мы начали совещаться.

По трем вопросам мы сразу пришли к согласию. Во-первых, мы не сомневались, что, если Труния вывернется из трудного положения, в которое попал, в дальнейшем его победа над Эрганом и восшествие на фарсийский престол более чем вероятны. Отец его совсем стар, его можно не брать в расчет. Чем дольше протянется смута, тем больше сторонников, скорее всего, соберет под свои знамена Труния. Эрган славится как человек жестокий и коварный и к тому же трус (это стало ясно в первой же битве). Многие его ненавидят и готовы бросить ему вызов. Во-вторых, мы согласились между собой, что Труния на фарсийском троне будет нам лучшим союзником, чем Эрган, особенно если мы протянем ему руку в беде. И в-третьих, мы были единодушны в том, что война с Фарсой нам сейчас не по силам, даже если воевать придется только с той частью войска, которая стоит на стороне Эргана. Мор погубил слишком много молодых людей, и зерна в наших амбарах было тоже не густо.

И тут ни с того ни с сего мне пришла в голову мысль.

— Бардия, — спросила я, — искусно ли царевич Эрган владеет мечом?

— Даже за этим столом найдется пара бойцов искуснее, моя Царица.

— Я полагаю, — продолжила я, — что царевичу смертельно не хотелось бы и дальше слыть трусом?

— Надо думать.

— Тогда, если мы предложим ему оспорить голову Трунии в поединке, он не решится на отказ?

Бардия задумался.

— Хм, — сказал он. — О таком я слышал разве что в старых песнях. Но затея мне нравится. Пусть мы слабы, но лишняя война и царевичу ни к чему, пока он не уладил домашние дела. Клянусь богами, у него просто не будет другого выбора! Он не рискнет опозориться перед своими людьми, тем более что они о его чести и так невысокого мнения. Уже то, что он пытается загнать родного брата, как лисицу на чужой земле, — презренно. Это не прибавит ему славы. А если он к тому же уклонится от честного поединка — его песенка спета. Твой замысел, Царица, может сработать.

— Мудрое решение, — сказал Лис. — Если даже наш воин будет убит в поединке и Трунию придется выдать, никто не сможет упрекнуть нас в том, что мы не пытались спасти ему жизнь. Мы сохраним доброе имя без страха ввязаться в войну.

— А если падет Эрган, — прибавил Бардия, — мы поможем взойти Трунии на престол и обретем союзника. Все говорят, что у Трунии голова в порядке.

— Чтобы наш план сработал, друзья, — заключила я, — вызов Эргану должен послать тот, кому отказать в поединке было бы особенным позором.

— Это слишком уж хитро, доченька, — покачал головой Лис. —Мы рискуем потерять Трунию и погубить того, кто вызовет Эргана на бой...

— Что у тебя на уме, Царица? — спросил Бардия, теребя по привычке ус. — Он не станет биться с рабом, если ты об этом.

— С рабом? — сказала я. — Нет, с женщиной.

Лис в изумлении посмотрел на меня. Я никогда не говорила ему о наших с Бардией занятиях: отчасти потому, что я вообще избегала упоминать имя Бардии в его присутствии. Учитель мог сказать, что Бардия — дурак и варвар, а мне было бы обидно это слышать (Бардия тоже называл за глаза Лиса «гречонком» и «словоблудом», но это почему-то меня так не задевало).

— С женщиной? — сказал наконец Лис. — Кто из нас сошел с ума, ты или я?

Широкая улыбка озарила лицо Бардии. Но он быстро загасил ее и помотал головой.

— Я слишком хорошо играю в шахматы, чтобы жертвовать королевой по пустякам, — сказал он.

— Что с тобой, Бардия! — воскликнула я, стараясь, чтобы мой голос звучал по возможности тверже. — Неужто ты льстил мне, утверждая, что мечом я владею лучше Эргана?

— Отнюдь нет, и больше того — дойди до боя, я бы не колеблясь поставил на тебя все деньги. Но, кроме умения, есть еще везение...

— А кроме везения — дерзание!

— Этого тебе не занимать, Царица.

— Никак не могу понять, о чем это вы говорите, — вмешался Лис.

— Царица хочет сама бросить вызов Эргану, Лис! — сказал Бардия. — И она способна на это. Я бился с ней не раз и могу поклясться, что боги еще не создали ни мужчины, ни женщины, более искусных в ратном деле, чем наша Царица. О госпожа, почему они только не сделали тебя мужчиной! (Он сказал это от всей души и желая польстить мне, но для меня эти слова были как ушат холодной воды на голову.)

— Это чудовищно! — возмутился Лис. — Это против всех обычаев, против природы, в конце концов!

В таких вопросах мой учитель был истинным греком — он до сих пор считал варварским и оскорбляющим добрые нравы обычай гломских женщин ходить с непокрытым лицом. Как-то, еще в счастливые времена, я сказала Лису, что ему больше пристало бы зваться бабушкой, чем дедушкой. Именно поэтому я никогда не рассказывала старику про мои занятия с начальником стражи.

— Рука природы ошиблась, когда лепила мое лицо, — сказала я. — Если в моих чертах нет ничего женского, почему бы мне не биться на мечах, подобно мужчине?

— Доченька, доченька! — вздохнул Лис. — Хотя бы из жалости ко мне выброси эту ужасную мысль из головы! Сам по себе замысел уже неплох, разве твоя безумная выдумка сделает его лучше?

— Да, лучше, — ответила я. — Неужто ты думаешь, что я по наивности полагаю отцовский трон своим? Бардия на моей стороне, Арном тоже. А народ? А старейшины? Они не знают меня, а я — их. Если бы жены Царя не умерли, у меня был бы повод познакомиться хотя бы с женами и дочерьми важных людей. Но мой отец не позволял мне встречаться даже с ними, не говоря уж об их мужьях и отцах. Друзей у меня нет. А этот поединок... он позволит мне завоевать их расположение. Им будет легче снести женщину на гломском троне, если они будут знать, что она билась за Глом и одержала победу.

— Тут ты права, — подтвердил Бардия. — Да они целый год только о тебе говорить и будут.

— Дитя, дитя! — сказал Лис, чуть не плача. — Речь идет о твоей жизни, разве ты этого не понимаешь? Сперва я потерял свою родину и свободу, затем Психею и вот могу потерять тебя. Неужели ты позволишь облететь последнему листку с моих старых ветвей?

Я понимала старика в самых тайных движениях сердца, потому что он умолял меня теми же словами, которыми в свое время я умоляла Психею. Слезы стояли в моих глазах — слезы жалости, больше к себе, чем к нему. Но я сдержала слезы.

— Решение принято, — сказала я. — Никто из вас не может предложить ничего лучше. Известно ли вам, где сейчас отряды Эргана?

— У Красного брода, — отозвался Бардия.

— Тогда пошли к нему гонца. Пустошь между городом и берегом Шеннит будет местом поединка, который состоится через три дня. Условия таковы: если паду я, Трунния будет выдан как незаконно вторгшийся в пределы страны. Если я убью царевича, Трунния получит свободу и отправится куда ему заблагорассудится — в Фарсу ли, к своим сторонникам, или в какую другую сторону. И в том и в другом случае все чужеземцы должны покинуть Глом через два дня после поединка.

Бардия и Лис посмотрели на меня, но ничего не сказали.

— Я отправляюсь спать, — сказала я. — Займись гонцом, Бардия, а потом иди спать и ты. Доброй ночи вам обоим.

По лицу Бардии я без слов поняла, что он повинуется. Я повернулась и вышла.

В одиночестве мне стало спокойно, как усталому путнику, наконец нашедшему приют после долгого дня в дороге под ветром и дождем. С тех пор как Арном сказал, что Царь умирает, прошло совсем немного времени, но я чувствовала, что во мне живет, говорит и действует уже другая женщина. Можешь назвать ее Царицей, но это была не Оруаль. (Интересно, знакомо ли это чувство всем властителям?) Теперь я снова превратилась в Оруаль и раздумывала над тем, что сделала Царица, не без некоторого удивления. Неужели она и вправду полагает, что ей по силам победить Эргана? Оруаль сомневалась. Она сомневалась даже в том, хватит ли ей смелости биться с ним. До сих пор я не билась заточенным мечом, и двигало мною в бою исключительно стремление порадовать моего учителя (а это было для меня немало). А вдруг в решающий миг, когда прозвучат трубы и будут обнажены мечи, смелость изменит мне? Все начнут смеяться надо мной; я уже представляла себе, как отведут глаза Лис и Бардия, я уже слышала, как они говорят: «А вот сестра ее бесстрашно позволила принести себя в жертву! Как странно, что она, такая слабая и хрупкая, оказалась сильнее, чем Оруаль!» И все увидят, что Психея превосходила меня во всем — не только в красоте и умении видеть невидимое, но и в силе духа и даже в обычной силе (я до сих пор помнила ее хватку, когда мы сцепились на Горе). «Психея?! — гневно возражала я им. — Да она меча в руках никогда не держала! Ей не доводилось делать никакой работы, беседовать о государственных делах... что она знала... девчонка... ребенок...»

Я насторожилась. «Неужели я снова заболеваю?» — подумалось мне, потому что мысли мои стали похожи на те навязчивые, злые сны, которые преследовали меня, когда жестокие боги внушили мне, что Психея — мой враг. Мой враг? Моя дочь, моя единственная, любовь моя, которую я предала и поругала, и за это боги вправе предать меня смерти. И тут я догадалась, что у предстоящего поединка совсем другая цель. Царевич, разумеется, убьет меня. Он послан богами именно для этого. И это прекрасно, я и не смела мечтать о подобной смерти, это лучше, чем все, что я себе представляла! Я даже и не надеялась, что конец моей пустой, ненужной жизни будет положен так скоро! И это было настолько в ладу с моим настроением последних дней, что я даже удивилась, как я могла отвлечься.

Это все власть, подумала я, — необходимость все время принимать решения, не успевая перевести дух, при этом легко, словно играючи, однако прилагая весь свой ум и силу воли. Я решила, что оставшиеся мне два дня я постараюсь процарствовать как можно лучше; тогда, если боги позволят и я не погибну в схватке, я сумею царствовать и дальше. Не гордость, не блеск венца двигали мной — или не только они. Царское звание было для меня как глоток вина для приговоренного к казни, как свидание с любовником для женщины, заточенной в темницу: царствовать и думать о смерти одновременно невозможно. Если Оруаль сумеет без остатка превратиться в Царицу, боги останутся с носом.

Но разве Арном сказал, что мой отец умирает? Нет, он сказал не совсем так.

Я встала и направилась в царскую опочивальню. В проходах было темно, а светильника я не взяла, потому что не хотела быть никем увиденной. В опочивальне горел свет; у постели больного сидела Батта. Она устроилась в своем любимом кресле у очага и шумно спала, как спят все пьяные старухи. Я подошла к кровати, и мне показалось, что отец не спит. Я не смогла понять, что он хотел мне сказать несколькими неразборчивыми звуками, но в выражении его глаз я не могла ошибиться — в них был написан ужас. Может быть, он узнал меня и решил, что я пришла убить его? А может, он принял меня за Психею, вернувшуюся из страны мертвых, чтобы забрать его с собой? Кто-то скажет (боги, например), что, если бы я убила его, это ничего бы не добавило к моей вине, поскольку я смотрела на него с не меньшим страхом — я боялась, что он выживет.

Не слишком ли многого ждут от нас боги? Час моего освобождения был слишком близок. Узник терпит свое заточение, пока нет надежды на побег. Стоит только ей появиться, стоит ему глотнуть воздуха свободы, как он в ужасе взирает на свое соломенное ложе и вздрагивает при звуке кандалов.

Я посмотрела на отца. Перекошенное, бессмысленное лицо его выражало меньше, чем морда животного. С облегчением я подумала: «Даже если он выживет, он будет идиотом».

Я вернулась к себе и заснула крепким сном.

Глава восемнадцатая

Наутро я вскочила с постели и устремилась назад в царскую опочивальню; никогда ни один врач, ни один влюбленный не следил с таким волнением за переменами в пульсе и дыхании больного. Я была еще у изголовья (я нашла отца таким же, как вчера), когда в комнату вихрем ворвалась растрепанная Редиваль.

— Ах, Оруаль! — запричитала она. — Правда, что Царь умирает? А что случилось во дворце ночью? А кто этот молодой человек? Говорят, он красавчик, силач и отчаянный храбрец. Он часом не царевич? Ах, сестра, что же мы будем делать, если Царь умрет?

— Я стану Царицей, Редиваль. А что станется с тобой, зависит от твоего поведения.

Я еще не закончила фразу, как она уже ластилась ко мне, целовала мне руки, желала мне счастья и твердила, что любит меня больше всех на свете. Меня чуть не стошнило. Даже последний раб не унижался при мне подобным образом. Когда я сердилась, никто из челяди не заискивал передо мной; они слишком хорошо знали, что это на меня не действует.

— Не будь дурой, Редиваль, — сказала я, отстранив ее рукой. — Я не собираюсь убивать тебя. Но если ты высунешь нос из дому без спроса, я повелю тебя высечь. А теперь — прочь!

У двери она обернулась и бросила:

— Тогда найди мне мужа, Царица!

— Целых двух, — отрезала я. — У меня кладовая ломится от царских сыновей. Убирайся!

Пришел Лис, бросил взгляд на Царя и пробормотал:

— Да он еще не один день протянет! — а затем сказал мне: — Доченька, я дурно вел себя вчера. Я считаю, что твой вызов Эргану глуп и — хуже того — неуместен. Но я не имел права принуждать тебя любовью, слезами и мольбами... Так пользоваться любовью нельзя...

Он не договорил, потому что в этот миг явился Бардия.

— Гонец с ответом от Эргана уже прибыл, — сказал он. — Царевич куда ближе, чем мы ожидали, да покарают его боги за торопливость.

Мы перешли в Столбовую залу (взгляд отца по-прежнему не давал мне покоя) и пригласили гонца. Это был высокий красавец, разодетый как павлин. В выспренних выражениях он объявил, что его повелитель принял вызов, но, поскольку не дóлжно обагрять меч воина женской кровью, он возьмет с собой веревку, чтобы повесить меня, после того как выбьет оружие из моих рук.

— Я не владею тем оружием, о котором ты говоришь, — сказала я. — И если твой хозяин придет с ним, он поступит несправедливо. Однако он старше меня (его первая битва была так давно, что трудно и вспомнить), поэтому я соглашусь на предложение из уважения к его годам.

— Я не могу передать этого царевичу, госпожа, — сказал гонец.

Я не стала настаивать, потому что знала: даже если гонец не передаст моих слов Эргану, постараются другие. Затем мы стали обсуждать все мелочи, имевшие отношение к поединку, а таких было немало. На это мы потратили не меньше часа, потом гонец удалился. Лис, как легко было заметить, волновался все больше и больше, по мере того как поединок становился неотвратимым. Я старалась быть Царицей, и только Царицей, но Оруаль все же умудрялась порой шепотом осаживать меня.

Затем пришел Арном. Он не успел и слова молвить, как стало ясно, что старый Жрец умер и Арном занял его место. Он был облачен в шкуры и рыбьи пузыри, а на

груди у него висела клювастая птичья маска. На меня внезапно нахлынули старые страхи: так ночной кошмар, забытый поутру, заставляет порой содрогнуться в полдень. Но со второго взгляда я успокоилась: это был уже не старый Жрец, а всего лишь Арном — тот самый Арном, с которым я заключила вчера тайную и выгодную сделку. Я поняла, что Арном никогда не будет внушать мне того страха, потому что вместе с ним в комнату не входит сама Унгит. Когда я поняла это, странные мысли заклубились у меня в голове.

Арном и Лис отправились в опочивальню и завели там беседу о состоянии Царя (грек и жрец понимали друг друга с полуслова), а мы с Бардией вышли из комнаты и отправились к маленькой дверце, через которую я и Лис вышли в утро, когда родилась Психея.

— Итак, Царица, — сказал после некоторого молчания Бардия, — это твой первый бой.

— Ты сомневаешься в моей храбрости?

— Тебе хватит храбрости умереть. Но хватит ли тебе храбрости убить? А убить придется.

— Ну и что?

— А то. Женщины и мальчишки говорят об убийстве с легкостью, но — уж поверь мне — одно дело сказать, другое — сделать. Убить человека нелегко — по крайней мере в первый раз. Что-то в нашей природе противится этому.

— Ты думаешь, мне станет его жалко?

— Я не назвал бы это жалостью. Но когда мне пришлось убить в первый раз, оказалось, что нет труднее дела на свете, чем вонзить сталь в живую плоть.

— Но ты вонзил.

— Да, потому что мой противник оказался увальнем, но если бы он был попроворнее — кто знает? Бывает так, что ничтожное промедление — и глазом моргнуть не успеешь — решает все. Одно мгновение — и бой проигран.

— Не думаю, Бардия, что у меня дрогнет рука, — сказала я, но сама попробовала представить себе, как это будет. Я представила, что мой отец набросился на меня в приступе бешенства, и задумалась, дрогнула ли бы тогда моя рука, чтобы поразить его. По крайней мере, она не дрогнула, когда я нанесла рану себе.

— Будем надеяться, — сказал Бардия. — Но я заставлю тебя пройти испытание, которое проходят все новобранцы.

— Испытание?

— Да. Тебе известно, что сегодня должны зарезать свинью. Резать будешь ты, Царица.

Я поняла, что стоит мне отступиться, и Оруаль сразу же возьмет верх над Царицей.

— Я готова, — просто сказала я. Как забивать скот, мы знали: это зрелище с детства было для нас привычным. Редиваль всегда ходила смотреть и визжала, я старалась не смотреть, но когда смотрела, молчала. Я пошла и зарезала свинью (от этих тварей у нас не принято отрезать часть в жертву Унгит, потому что они ненавистны богине; есть предание о том, почему это так). Затем я поклялась съесть на пиру, если выйду живой из поединка, лучшую часть туши с Бардией, Лисом и Трунией. Сняв фартук и смыв кровь, я вернулась в Столбовую залу и сделала то, что стало бы в случае моей гибели невозможным. При Арноме и Бардии как свидетелях я дала Лису вольную.

И тут меня постигло большое горе. Теперь мне трудно даже понять, как я была настолько слепа, чтобы не предвидеть дальнейшего. Я думала только о том, что, если я умру, Редиваль тут же избавится от Лиса, и хотела спасти старика от унижений. И только когда я услышала, что говорят Бардия и Арном, целуя и поздравляя старика, я начала прозревать. «Твоих советов будет так не хватать... Многие в Гломе будут скучать по тебе... Не стоит отправляться в путь зимой...» — что это они говорят?

— Дедушка! — закричала я, превращаясь на глазах из Царицы в Оруаль — куда там! — в маленькую Майю. — Ты покинешь меня? Ты уйдешь?

Лис посмотрел на меня, и лицо его исказилось от бесконечной муки.

— Свободен? — промямлил он. — Значит, я мог бы... я могу... пусть я даже умру в дороге... хотя бы до моря добраться... Тунцы, оливки... Нет, оливки еще не поспели... Но запах, запах соли... Прогулки по рынку, беседы, умные беседы — ах, что я говорю, разве вам понять! Доченька, ты ждешь от меня благодарности, но если ты любишь меня, подожди до завтра. Не будем говорить сейчас. Завтра. Отпусти меня...

Он прикрыл лицо плащом и выбежал из залы.

И тут игра в Царицу, которая помогала мне держаться на плаву все утро, перестала помогать. Приготовления к поединку были закончены — оставалось только ждать. А ждать предстояло весь вечер и еще следующий день. Ждать, зная, что, даже если я останусь жива, в моей жизни уже не будет Лиса.

Я вышла в сад. Ни за какие сокровища я не смогла бы пойти сейчас под грушевые деревья, где мы втроем были так счастливы когда-то. Я повернула в другую сторону и стала бродить к западу от яблоневой рощи, пока холод не загнал меня обратно во дворец. День был пасмурный, морозный, солнца не было совсем. Мне стыдно и страшно вспоминать, что я думала тогда. В невежестве своем я и не предполагала, что моего учителя может с такой силой тянуть на родину, — ведь я прожила всю жизнь там, где родилась. Глом был для меня чем-то само собой разумеющимся и слишком живо напоминал обо всех моих страданиях, унижениях и страхах. Я не имела ни малейшего представления о том, как вспоминает родину человек, разлученный с ней. Мне было горько, что Лис желает покинуть меня, ведь он был опорой, на которой держалось все мое существование. Я всегда наивно полагала, что опора эта нерушима и вечна и потому благодарить Лиса за его любовь так же странно, как благодарить солнце за то, что оно восходит, или землю — за то, что она есть. Мне казалось, что и Лис относится ко мне точно так же, как я к нему. «Дура! — восклицала я про себя. — Неужели тебе все еще не ясно, что ты никому не нужна? Что ты значишь для Бардии? Да не больше, чем Царь, твой отец! Сердце его отдано дому, жене и пащенкам, которых она ему наплодила. Если бы он любил тебя, разве бы он позволил тебе участвовать в поединке? Что ты значишь для Лиса? Сердце его полно Грецией. Ты была для него просто утешением в дни неволи. Говорят, узники в темнице развлекаются тем, что приручают крыс. Пока двери тюрьмы закрыты, они проникаются к крысам чем-то вроде любви, но стоит им выйти наружу, они и не вспомнят о крысах».

И все же, неужели ему ничего не стоит расстаться с нами навсегда? Я вспомнила, как он держал на коленях Психею, приговаривая: «Прекраснее, чем Афродита!» — разве не так он говорил? «Да, но то была Психея... — сказало мне мое сердце. — Ее бы он не оставил. Ее он любил. Меня — никогда». Я понимала, что лгу сама себе, но не могла — или не хотела — остановиться.

Но не успела я еще отойти ко сну, как ко мне явился Лис. Лицо его посерело, он был тихий и какой-то надломленный. Если бы не отсутствие увечий, могло бы показаться, что он только что вырвался из рук палача.

— Поздравь меня, доченька, — сказал старик, — ибо я одержал победу над самим собой. Человек должен радоваться радостям своих друзей и жить их жизнью. Я — лишь часть Целого, и мое место там, куда меня определила Участь. Я остаюсь, и...

— Ах, дедушка! — сказала я и заплакала.

— Не надо, не надо, — приговаривал старик, поглаживая меня по голове. — Ну что я буду делать в Греции? Отец мой умер. Сыновья мои и думать уже забыли обо мне. Моя дочь... не буду ли я ей обузой и помехой — сном, заблудившимся в яви, как сказал поэт? Путь далек и опасен, можно погибнуть, так и не увидев моря.

Он поспешно перечислял все доводы против, словно боялся, что я попытаюсь разубедить его, но я молчала, прижавшись лицом к его груди, и не чувствовала ничего, кроме безграничного счастья.

В этот день я несколько раз побывала у отца, но не нашла в его состоянии ни малейших перемен.

Ночью же я спала плохо. Я не боялась предстоящей схватки — просто многообразные перемены, случившиеся в моей жизни по воле богов, взбудоражили меня. Смерть старого Жреца сама по себе могла бы занять мои мысли на добрую неделю.

Я часто хотела его смерти (особенно тогда, когда она могла спасти Психею), но верила в нее не больше, чем в то, что в одно прекрасное утро Седая гора исчезнет. Освобождение Лиса из рабства, хотя я совершила его собственной рукой, было другим невероятным событием. Было похоже на то, что болезнь моего отца вынула клинья из-под колес жизни и все покатилось неведомо куда. Все это было так неожиданно и странно, что даже моя вечная боль оставила меня в ту ночь. Я была поражена. Одна часть меня взывала: «Верни эту боль. Оруаль умрет, если забудет о своей любви к Психее!» Но другая часть возражала: «Туда ей и дорога, этой Оруали. Разве из нее вышла бы настоящая Царица?»

Следующий день (день перед поединком) прошел как во сне. С каждым часом становилось все труднее поверить в происходящее. Слухи о состязании разлетелись по всей стране, и толпы простонародья еще с утра собрались у ворот. Хотя я была об этих людях невысокого мнения — слишком свежо было в памяти то, как они предали Психею, — но, хочешь не хочешь, восторженные крики слегка вскружили мне голову. С посетителями же иного звания — старейшинами и князьями — я немного побеседовала. Ни один из них не усомнился в моем праве на трон, так что речь моя была короткой, хотя Лис и Бардия похвалили ее. Пока я говорила, глаза благородных были прикованы к моему платку. Видно было, что им очень хотелось бы знать, что он скрывает. Затем я посетила Трунию и сказала ему, что один из наших воинов вызвался биться за его жизнь (я не стала говорить, кто это) и мы предоставляем царевичу возможность следить за поединком с почетного места, но оставаясь под стражей. Хотя эта весть не была для него особенно радостной, царевич, будучи человеком разумным, понимал, что мы делаем все, на что способны при наших слабых силах. Затем я приказала принести вина, чтобы выпить его с царевичем за удачный исход поединка. Но когда дверь открылась, на пороге с кувшином вина стоял не царский кравчий, но моя сестрица Редиваль. Как я, дура, не догадалась об этом! Я же отлично знала, что, когда в доме появляется незнакомый молодой мужчина, Редиваль способна прогрызть насквозь стену, только бы попасться ему на глаза. Сперва я хотела разгневаться, но потом онемела, увидев, с каким искусством Редиваль изображает из себя саму покорность, само смирение, забитую младшую сестру, скромницу и недотрогу. Глаза ее были опущены долу, но я-то знала, что от них не ускользает ничего и что Труния весь, от макушки до перевязанной ноги, рассмотрен и подвергнут оценке.

— Кто эта красотка? — спросил Труния, как только Редиваль вышла.

— Моя сестра, царевна Редиваль, — сказала я.

— Глом даже зимой — цветник, полный роз, — вздохнул Труния. — Но почему ты так жестока, Царица, почему даже на миг мне не дано увидеть твоего лица?

— Если ты ближе сойдешься с моей сестрой, она тебе объяснит, — сказала я довольно зло, хотя это не входило в мои намерения.

— Что же, я не прочь, но для этого нужно, чтобы завтра победили мы, — сказал царевич. — Иначе смерть возьмет меня в мужья. Но если все же удача улыбнется нам, не стоит обрывать так внезапно начавшуюся дружбу. Почему бы мне не взять жену из дома Гломских царей? Хотя бы тебя, Царица?

— Двоим на моем троне будет тесновато, князь.

— Тогда твою сестру.

Вот об этом стоило подумать. Но все во мне противилось тому, чтобы дать положительный ответ: очевидно, я сочла, что царевич слишком хорош для Редивали.

— Мне сдается, — ответила я, — что брак этот возможен, но прежде я должна поговорить с моими советниками. Я поддержу тебя.

Конец этого дня был еще удивительнее его начала. Бардия отвел меня в казармы, чтобы в последний раз перед боем позаниматься со мной.

— Основная твоя слабость, Царица, — сказал он, — это отходной финт. Ты с ним знакома, но мне хотелось бы совершенства во всем.

Мы отрабатывали этот прием около получаса, а потом остановились, чтобы перевести дыхание. Бардия сказал:

— Лучше не бывает. Скажу тебе честно: если бы мы взяли сейчас в руки боевое оружие, ты бы убила меня. Но я скажу тебе еще две вещи. Первое: если страх охватит

тебя, когда ты скинешь плащ и толпа заревет, и противник твой покажется напротив, — не пытайся скрыть этот страх. Всякий изведал его, впервые идя в бой. Я чувствую его перед каждой схваткой. Может быть, твоя божественная кровь даст тебе нечеловеческое бесстрашие — тем лучше. Второе: шлем твой хорошо сидит и не слишком тяжел, но выглядит бедно. Лишняя позолота тебе не повредит. Давай попробуем подыскать что-нибудь в опочивальне.

Я уже говорила, что в опочивальне Царь собрал множество различного оружия и доспехов. Мы вошли и увидели Лиса, который сидел у царского изголовья в задумчивости. Не знаю, о чем он думал, — вряд ли он любил своего старого хозяина.

— Без изменений, — сказал грек.

Мы с Бардией стали рыться в груде железа и вскоре вступили в пререкания: мне казалось, что надежнее всего меня защитит привычная старая кольчуга, но воин говорил все время: «Нет, постой! Может, лучше вот эту!» Мы были всецело поглощены этим занятием, когда Лис воскликнул у нас за спиной:

— Все кончено!

Мы обернулись; полуживое тело в царской постели испустило дух в тот самый миг, когда (не знаю, хватило ли у этого живого трупа сил заметить) женщина примеряла на себя доспехи, которые некогда облегали его грудь.

— Да будет мир с ним, — спокойно молвил Бардия. — Мы скоро закончим. Когда мы уйдем, позови женщин, чтобы обмыли тело.

И мы снова принялись примерять шлемы и кольчуги.

То, о чем я мечтала долгие годы, произошло почти незаметно, потому что у меня в тот миг были более насущные дела. Только через час (когда нашлось время) до меня в полной мере дошло случившееся. С тех пор я не раз замечала, что смерть любого человека производит намного меньше переполоха, чем можно было бы ожидать. Люди, которых любили и которые заслуживали любви куда больше, чем мой отец, отправлялись к праотцам при полном спокойствии окружающих.

В конце концов я остановилась на моем старом шлеме. Правда, мы попросили оружейника надраить его так, чтобы он блестел не хуже серебряного.

Глава девятнадцатая

Приготовления к важному событию длятся обыкновенно куда дольше, чем оно само. Так коронное блюдо пира пожирается гостями в одно мгновение; а ведь десятки людей за день до этого забивали скотину, разделывали тушу, жарили и приправляли мясо, а после пира мыли посуду и чистили столы. Поединок мой с Эрганом длился не более шестой части часа, но приготовления к нему поглотили весь день.

Прежде всего, Лис, ставший теперь вольноотпущенным, имел право на роскошные одежды, положенные ему по чину (Светоч Царицы — так называлась его дворцовая должность, предусмотренная нашими обычаями, но почти отмененная моим отцом). Но проще было бы обрядить девушку, первый раз выходящую в свет, чем престарелого греческого философа. Для начала грек заявил, что все одежды варваров страдают варварским вкусом, и чем они шикарнее, тем сильнее им страдают. Ему, видите ли, больше по нраву старая, побитая молью туника. Только мы привели ее в относительный порядок, как появился Бардия и потребовал, чтобы я билась с непокрытым лицом. Он боялся, что платок помешает мне видеть противника; к тому же он не мог решить, как мне надеть его — под шлем или поверх шлема. Но я твердо заявила, что о поединке с открытым лицом не может быть и речи. В конце концов, я велела Пуби сделать мне нечто вроде капюшона из тонкого, но непрозрачного полотна; в нем будет два отверстия для глаз, и он будет такого покроя, чтобы его удобно было носить поверх шлема. Отверстий можно было бы и не делать: я не раз побеждала Бардию с лицом, покрытым моим старым платком; но капюшон с дырками выглядел страшнее и делал меня похожей на привидение. «Если он трус, — заметил Бардия, — эта маска нагонит на него страху!» Выезд назначили на ранний час, поскольку столпотворение на улицах намечалось такое, что нельзя было и надеяться быстро доехать

до поля боя. Мы собирались облачить в достойный наряд также Трунию, но он отказался.

— Чем бы ни кончилась битва, — молвил царевич, — исход ее не зависит от того, облачусь ли я в багрянец или предстану в своей походной одежде. Кстати, Царица, кто будет защищать мою честь?

— Ты узнаешь это на месте, — коротко ответила ему я.

Труния онемел, когда увидел меня в моем боевом облачении; я смахивала на гостью из загробного мира: не было видно ни шлема, ни шеи, только две дырки для глаз, проделанные в белом полотне. Была ли я больше похожа на чучело или на прокаженного — суди, читатель, сам. Испуганное лицо Трунии порадовало меня; я сразу подумала о том, какое впечатление мой наряд произведет на Эргана.

Возле ворот нас встретили несколько старейшин и князей, чтобы сопровождать в поездке через город. Легко догадаться, о чем я подумала, когда увидела их: я сразу вспомнила, как Психея вышла из дворца, чтобы лечить людей от лихорадки. И разумеется, как она выехала в свой последний путь, направляясь к Священному Древу. Кто знает, подумалось мне, может, именно это и имел в виду бог, когда изрек: «Участь Психеи — отныне и твоя участь». Ведь меня тоже должны принести в жертву. Я уцепилась за эту мысль, как за что-то прочное и надежное. О жизни своей или смерти мне было некогда думать. На меня смотрело слишком много людей; под взглядом этих глаз я могла думать только о поединке и ни о чем больше. Если бы ко мне подошел прорицатель и сказал, что я буду славно биться десятую часть часа, а потом погибну, я бы дала ему без колебаний десять талантов.

Князья, ехавшие рядом со мной, были молчаливы и серьезны. Они полагали (они сами сказали мне это, когда им предоставился случай познакомиться со мной поближе), что Эрган выбьет оружие из моих рук сразу, как только мы сойдемся, но они одобряли мое решение, считая, что нет лучшего способа избавить нашу страну сразу от обоих соперников — Трунии и Эргана. Но простые люди, встречавшие наш кортеж, бросали в воздух шапки и приветствовали меня. Я бы возгордилась, если бы не умела слишком хорошо читать в их глазах. Им не было дела ни до меня, ни до Глома, им просто хотелось зрелищ — а поединок между мужчиной и женщиной был отменным зрелищем, потому что такое случается не часто. Так те, кому боги не дали ни слуха, ни чувства прекрасного, все равно обернутся послушать арфиста, который щиплет струны пальцами ног.

Когда наконец мы добрались до места, возникли новые заминки: прежде всего следовало принести быка в жертву богам. Я подумала, что раз уж боги так впутались в наши дела, будет справедливо, если и им перепадет кусочек. На другой стороне поля недвижно стояли конники Фарсы под предводительством Эргана. Это такое странное чувство — видеть перед собой обычного человека, такого же, как ты сам, и знать, что один из вас обязательно убьет другого. Я впервые задумалась, как странно звучит самое слово «убить»; казалось, я услышала его в первый раз. Мой противник был светловолос, худощав и нескладен; тонкие губы его кривились в надменной гримасе. Мне он сразу очень не понравился.

Затем мы спешились, сошлись, откусили по очереди от куска сырой бычатины и поклялись от имени наших народов, что выполним свой долг.

Я ожидала, что после этого начнется само состязание. Небо в тот день хмурилось, дул резкий, порывистый ветер. «Мы замерзнем раньше, чем начнем биться», — подумала я. Но пришлось еще подождать: сперва стражники отодвигали народ с поля тупыми концами копий, затем Бардия подъехал к начальнику стражи Эргана и о чем-то долго шептался с ним, затем оба они перешептывались с Арномом. Кончилось это все тем, что наших с Эрганом трубачей выставили бок о бок посреди поля.

— А теперь да хранят тебя боги, госпожа! — воскликнул Бардия, когда я уже совсем потеряла надежду, что поединок начнется.

Лис стоял с окаменевшим лицом, опасаясь заплакать, если произнесет хоть слово. Я заметила, как вздрогнул от изумления Труния и как он побледнел (но я не осуждаю его), когда я откинула плащ, выхватила меч и ступила на траву.

Фарсийцы покатывались от хохота, народ Глома ревел от восторга. Эрган по-

дошел ко мне сперва на десять шагов, затем на пять — и вот мы сошлись.

Я догадалась, что царевич не воспринимает меня всерьез — это чувствовалось по тому, как лениво и небрежно он движется. Но мой первый же выпад оказался удачным — он стесал Эргану кожу с костяшек пальцев и отрезвил его. Не спуская глаз с меча моего врага, я все же успела мельком рассмотреть выражение его лица: лоб был нахмурен, губы скривились от тупой злобы и низменного раздражения, под которым, очевидно, скрывался страх. Что касается меня, то страх оставил меня сразу же, как мы начали биться: слишком уж это все было несерьезно и похоже на наши занятия с Бардией — те же выпады, финты и отражения удара. Даже кровь на костяшках ничего не меняла — такие ссадины остаются и от удара незаточенным мечом.

Грек, для которого я пишу эту книгу! Вряд ли тебе доводилось биться, а если ты и сражался, то, скорее всего, в рядах гоплитов. Я сумела бы изобразить тебе, как протекал бой, при помощи меча или, на худой конец, палки, но объяснить это на словах я не сумею. Вскоре я отчетливо поняла, что Эргану не под силу убить меня. Но я не была уверена, что мне будет под силу убить его. Я начала опасаться, что бой затянется и тогда он одержит надо мной верх по причине большей выносливости. И тут я приметила в его лице такую перемену, которой мне никогда не забыть. В тот миг я сперва не поняла, что она значит, но потом мне довелось увидеть такое же выражение в глазах других людей, и теперь я знаю его значение. Таким становится лицо у человека, когда он внезапно осознает, что его смерть близка и неотвратима. Это выражение ни с чем не спутаешь — оно исполнено такой жажды жизни, такого мучительного желания превозмочь судьбу! Тогда-то противник мой и сделал первую грубую ошибку, но я от неожиданности упустила возможность. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он ошибся вновь, но теперь я была уже наготове. Я сделала прямой выпад, затем одним быстрым движением отвела назад меч и вонзила его царевичу в пах — в то место, где ни один врачеватель не в силах остановить кровь. Тут же я отпрянула в сторону, чтобы Эрган в падении не увлек меня за собой; вышло так, что первый человек, убитый мной, запачкал меня своею кровью меньше, чем первая свинья.

Люди подбежали к раненому, но ему уже ничем нельзя было помочь. Рев толпы оглушил меня, от него звенело в ушах, несмотря на то что шлем приглушал все звуки. У меня не было даже одышки — с Бардией мы бились обычно куда дольше. Но ноги мои подкашивались, я чувствовала страшную усталость, словно у меня изнутри что-то вынули. Я часто спрашивала себя, не так ли чувствуют себя женщины после потери девственности.

Бардия подбежал ко мне с радостью во взоре и слезами в глазах. Лис семенил за ним следом.

— Благословенная! Благословенная! — кричал воин. — Царица! Воительница! Моя лучшая ученица! Великие боги, как славно ты билась. Последний удар достоин того, чтобы войти в людскую память!

И с этими словами он приложил мою левую руку к своим губам. Я плакала, опустив голову, чтобы никто не заметил слез, стекавших из-под маски. Но прежде чем я снова обрела голос, все уже столпились вокруг меня, включая Трунию верхом (он все еще не мог ходить), и стали благодарить и восхвалять меня так, что даже утомили, хотя маленький пузырек гордости где-то внутри все равно приятно пощипывал мои чувства. Но рано было праздновать победу. Предстояло еще многое: обратиться к народу, побеседовать с фарсийцами и так далее. И я подумала: «Мне бы сейчас тот жбан с молоком, который я выпила в день, когда впервые взяла меч в руку!»

Как только голос вернулся ко мне, я подозвала коня, села на него, направилась к Трунии и протянула царевичу руку. Так, держась за руки, мы и подъехали к конникам Фарсы.

— Чужеземцы, — сказала я, — вы все видели, что царевич Эрган пал в честном бою. Есть ли среди вас такие, кому все еще не ясно, кто наследник фарсийского трона?

Человек пять — очевидно, ближайшие сторонники Эргана, — не сказав ни слова, повернули коней и пришпорили их. Остальные сняли шлемы, подняли их на кон-

цах копий и прокричали славу Трунии. Тогда я отпустила его руку, и Труния подъехал к своим людям, чтобы посовещаться с начальниками отрядов.

— Теперь, Царица, — шепнул мне на ухо Бардия, — ты должна пригласить наших старейшин и старейшин Фарсы — Труния скажет тебе, кого именно, — на пир во дворец. И не забудь позвать Арнома.

— На пир? Но чем мы угостим их, Бардия? Бобовой кашей? Ты же знаешь, что наши кладовые пусты.

— Ты забыла про свинью, Царица. Кроме того, я поговорю с Арномом, чтобы Унгит поделилась с нами быком. Отопри сегодня погреба, Царица, и пусть вино льется рекой, тогда никто не заметит, что́ мы едим вместо хлеба.

А я-то мечтала о скромном ужине с Лисом и Бардией! Не успела первая кровь высохнуть на моем мече, как я снова вернулась к женским заботам и хлопотам. Я жалела только о том, что не могу оставить гостей, первой добраться до дворца, чтобы выяснить у виночерпия, насколько успели мой отец и Батта совместными стараниями опустошить наш погреб за последние дни.

Итак, во дворец отправилось вместе со мной человек тридцать. Царевич ехал рядом, осыпая меня похвалами (у него на это, несомненно, были причины) и умоляя меня открыть лицо. Эта обыкновенная учтивость, на которую другая женщина не обратила бы внимания, для меня была внове и (не скрою) польстила, поэтому я растягивала удовольствие как могла. Я снова была счастлива, хотя и по-другому, чем когда-то с Лисом и Психеей. В первый раз в моей жизни я веселилась — в этом и состояла новизна.

Конечно же, это любимая проделка богов: надуть пузырь, а потом проткнуть его!

И пузырь лопнул, как только я переступила порог дворца. Какая-то девочка-рабыня (я никогда не видела ее раньше) подбежала к Бардии и шепнула ему что-то на ухо. Тут же всю его веселость как рукой сняло, и взгляд его потух. Он подошел ко мне и сказал, отводя глаза:

— Ну, Царица, дневные труды закончены. У тебя больше нет во мне нужды. Снизойди и отпусти меня домой. У жены моей начались схватки. Мы не думали, что это случится так рано. Я хотел бы быть рядом с ней сегодня ночью.

В этот миг я поняла, почему и как бешенство завладевало моим отцом, но невероятным усилием воли сдержала себя и сказала:

— Разумеется, Бардия, ты нужнее сейчас дома. Передай от меня поклон твоей жене, и вот тебе кольцо: принеси его в дар Унгит и попроси богиню, чтобы твоя жена счастливо разрешилась от бремени.

Я сняла с пальца лучшее из колец, что были при мне, и вручила его воину.

Бардия сердечно поблагодарил меня, но было заметно, что ему не терпится домой. Я думаю, он так никогда даже и не понял, как ранили меня его слова о дневных трудах. Что ж, он был прав — служа мне, он зарабатывал свой хлеб. Когда служба кончалась, он шел домой, как всякий поденщик, и там была его подлинная жизнь.

То был мой первый пир. Он же был и последним, который я высидела до конца (на пирах мы сидим на скамьях, а не возлежим, подобно грекам). С тех пор я не раз давала пиры, но завела обычай заходить в залу только три раза за вечер, в сопровождении двух служанок, обнося вином самых почетных гостей и выпивая с ними кубок за их здоровье. Затем я удалялась в свои покои. Этот обычай спас меня от многих излишних тягот и к тому же создал мне славу женщины скромной и гордой, что было весьма кстати. Ту ночь я дотерпела почти до самого конца. Я была единственной женщиной за столом и на три четверти чувствовала себя бедной Оруалью, которая вот-вот получит взбучку от Лиса за то, что сидит среди пьяных мужчин, и только на четверть — Царицей, гордой своею славой, порывающейся то громко хохотать и пить чашу за чашей, как воин, то заигрывать с Трунией, как красавица, спрятавшая из каприза свое прелестное личико под платком.

Когда я наконец выбралась из натопленной залы в холод темной и безлюдной галереи, голова у меня раскалывалась. «Фу! — подумалось мне, — что за свиньи эти мужчины!» К этому времени гости уже перепились, кроме Лиса, который рано ушел спать, но пьянство их не было так мне противно, как их обжорство. Я никогда рань-

ше не видела, как веселятся мужчины, как они едят. Рвут мясо зубами, рыгают, икают, вытирают жирные руки о бороды, бросают объедки на пол псам, грызущимся у них под ногами. Неужели таковы все мужчины? И Бардия тоже? Бардия... Вернулось одиночество. Но теперь это было дважды одиночество: я потеряла и Бардию, и Психею. Я не знаю, без кого из них мне было хуже. В голове моей крутились немыслимые картины — будто все могло быть иначе с самого начала и Бардия был бы моим мужем, а Психея — нашей дочерью. Мы бы хлопотали по дому... с Психеей... а он бы приходил к нам домой. Только теперь я поняла великую власть вина и догадалась, почему мужчины становятся пьяницами. Не то чтобы вино развеяло все мои печали, но оно придало им какое-то особое величие и благородство. Это чем-то похоже на печальную, торжественную музыку, когда становится жалко самого себя, но при этом, оттого что ты сам себя жалеешь, чувствуешь себя очень хорошим человеком. И я ощущала себя гордой и оскорбленной царицей из старой песни. Тяжелые слезы навернулись мне на глаза и сладко защемило в сердце. Одним словом, я напилась как последняя дура.

А раз дура, значит — спать. А это что? Ах нет, нет, это девушка плачет в саду. Голодная, замерзла, а ее не пускают... или она сама боится войти? Нет, я уже знаю, это просто звенит колодезная цепь. Не буду дурой, не буду снова бегать по саду и звать: «Психея! Психея!» Где она, Психея? Я — великая Царица. Я убила воина. Я напилась, как воин. Все воины пьют после битвы. Как горит моя рука... в том месте, где Бардия поцеловал. У всех царевичей, наверное, бывают любовницы. Кто там снова плачет? Да нет, это же ведро в колодце. «Закрой окно, Пуби. Спать, спать, детка. Ты любишь меня, Пуби? Поцелуй меня. Спокойной ночи!» Царь умер. Он больше не будет таскать меня за волосы. Назад и прямо в пах. Я его убила. Я — Царица! Оруаль, я и тебя убью!

Глава двадцатая

На следующий день мы предали тело Царя огню, а еще через день состоялась помолвка Редивали и Трунии (свадьбу сыграли через месяц). К третьему дню все чужеземцы покинули дворец, и началось мое настоящее царствование.

О том, что случилось в последовавшие годы, я расскажу коротко, хотя годы эти составили большую часть моей жизни. С течением времени Царица все чаще и чаще брала во мне верх над Оруалью. Я заперла Оруаль в одной из темниц моей души, погрузила ее в летаргический сон; она лежала во мне, свернувшись, как плод в материнской утробе. Только зародыш с каждым днем растет, а Оруаль, наоборот, становилась все меньше и меньше, и жизнь в ней убывала.

Вполне возможно, читатель, что ты наслышан о моем царствовании. Об этом сложено немало песен и преданий. Знай, что в них больше выдумок, чем правды, потому что таков обычай сказителей, особенно в сопредельных нам странах. Что не измышлено, то преувеличено, что не преувеличено, то вовсе не про меня, а про другую царицу-воительницу, которая жила много веков назад, в другой, более северной стране. Все это смешано и перепутано, так что уже не разберешь, где конец, где начало. А правда такова: после поединка с Эрганом на мою долю выпало только три войны, причем последняя из них, с племенами Живущих в Кибитках, которые кочуют по землям, лежащим за Седой горой, была пустяковым делом. И хотя во всех этих войнах я вела в бой гломские войска, я не настолько глупа, чтобы возомнить себя великим полководцем. Многим, очень многим я обязана Бардии и Пенуану (с последним я познакомилась на пиру после поединка и с тех пор выделяла его особо изо всей знати). Скажу и другое: ни одна из битв, в которых мне довелось сражаться, не стоит того, чтобы о ней писали в летописях. Ни разу я не совершила ничего выдающегося своею рукой, если не считать одного случая. Это было во время войны с Эссуром, когда конники устремились на нас из засады и окружили Бардию. Я кинулась в гущу врагов, и прежде чем поняла, что произошло, на земле лежало семь трупов. В тот день меня ранили, вот и все. А если слушать сказки, то выходит, что я задумала и провела

все войны в одиночку от начала и до конца и сразила больше врагов, чем все воины, вместе взятые.

Причина моих успехов лежит в другом: у меня было (особенно в первые годы) два замечательных советчика. Лучших сотоварищей в правлении нельзя было и пожелать, поскольку Лис понимал то, чего не понимал Бардия, и наоборот. При этом никто из них не заводил бесполезных споров, когда речь шла о деле. Постепенно я поняла то, о чем не догадывалась, когда была моложе: грек и воин говорили колкости и подшучивали друг над другом, словно играли в какую-то игру. Они не были льстецами; кроме того, моя уродливость помогала им не думать обо мне как о женщине — и это тоже сослужило мне хорошую службу. Если бы это было не так, наши беседы у очага в Столбовой зале вряд ли текли бы настолько легко и непринужденно. Благодаря моим друзьям я научилась разбираться в мужчинах.

Вторым источником моей силы было покрытое платком лицо. Я сама и не предполагала этого, но так вышло. С той самой ночи, когда я повстречала Трунию в саду, я стала замечать, что люди все чаще и чаще обращают внимание на красоту моего голоса. Сперва говорили, что он звучит твердо, как голос мужа, но ничего мужского в нем нет; позже его стали сравнивать с голосом Орфея или сирен, и так до тех пор, пока старость не оставила на нем свой след. Шли годы, и в городе становилось все меньше людей, которые помнили мое лицо, а за пределами Глома таких вовсе не было. Тогда начали рождаться дикие слухи о том, что скрывает мой платок. Но никому не приходило в голову, что за ним — просто некрасивое лицо. Молодые женщины утверждали, что платок скрывает нечто ужасное — свиное рыло, медвежью морду, даже слоновий хобот. Но мне больше нравились те, кто утверждал, что у меня вообще нет лица, и если отдернуть платок, то увидишь бездонную пустоту. Но другие (особенно мужчины) полагали, что мое лицо так прекрасно, что свело бы с ума всех мужчин, и что Унгит, сгорая от зависти, повелела мне под страхом смерти покрывать его. Были и совсем нелепые мнения. Так или иначе, мне не раз случалось видеть, как самые бравые воины пугались и бледнели, как дети, когда я оборачивалась к ним в Столбовой зале и пристально смотрела на них невидимыми глазами. Мне не нужно было слов — под этим взглядом даже самые отъявленные лжецы начинали говорить правду.

Первое, что я сделала, когда взошла на трон, — перенесла свои покои на северную сторону дворца, чтобы не слышать звука колодезной цепи. Днем он не тревожил меня, но по ночам я принимала его за женский плач. Но оказалось, что звук цепи слышен в любом углу дворца, особенно — в ночной тишине. Этого не понять никому, кроме меня: я не хотела слышать этого звука, но в то же время страшно боялась (видно, Оруаль во мне не могла умереть совсем), что больше никогда не услышу его вновь. В конце концов, даже после тысячи ложных тревог, он мог однажды оказаться плачем вернувшейся Психеи. Но я не очень верила в это — если Психея могла бы вернуться, она давно бы уже это сделала. Наверное, она умерла, а может, ее продали в рабство... Когда тревоги обуревали меня и я не могла уснуть, я вставала, шла в Столбовую залу и садилась там за работу. Я читала и писала, пока не замерзали руки, а лоб не начинал пылать.

Разумеется, я разослала соглядатаев на все невольничьи рынки и сыщиков во все известные мне города, в надежде напасть на след Психеи. Долгие годы я не прекращала поисков, хотя была уверена, что они бесполезны.

На первом же году царствования в месяц сбора смокв я велела повесить Батту. Зацепившись за обрывок подслушанной фразы, сказанной конюшим, я выяснила, что Батта долгие годы изводила как могла всю нашу челядь. Ни один подарок, ни один лакомый кусочек не доставался слугам, без того чтобы Батта не урвала свою часть. Тех, кто отказывался платить дань, она доводила клеветническим доносом до розог или рудников. После казни Батты я взялась за дворцовые порядки. Рабов у нас было слишком много. Вороватых и ленивых я продала, честных и трудолюбивых отпустила на свободу (если отпустить на волю ленивого раба, ты только пополнишь этим ряды нищих в стране). Вольноотпущенникам я дала землю и велела построить дома, тех же из них, кто хотел вступить в брак, я поженила. Некоторым я позволила самим выбирать себе супруга, хотя рабам этого не полагается, но я сделала так, и они были

мне благодарны. Хотя мне и было жалко расставаться с Пуби, ей я тоже дала вольную, и она вышла замуж за очень хорошего человека; мне нравилось бывать у них в гостях. Большинство вольноотпущенников оказались очень крепкими хозяевами — дома их были рядом с дворцом, и эти преданные мне люди составляли как бы вторую дворцовую стражу.

Я поставила работу в рудниках на широкую ногу, и они стали приносить больше серебра. Мой отец рассматривал рудники исключительно как каторгу. «Пошли его на рудники! — кричал он. — Я его проучу! Уморите его работой!» На рудниках умирали быстро, но работали плохо. Я назначила хорошего и честного надсмотрщика (Бардия знал, как найти верных людей), купила молодых крепких рабов, велела построить для них сухие, теплые хижины и хорошо кормить. Я объявила, что каждый раб может получить свободу, если добудет некоторый вес руды. Вес был таков, что, не изможда себя, можно было добыть его за десять лет. Потом мы снизили вес, и тогда уже хватало семи лет, чтобы откупиться. В первый год добыча упала, но потом начала расти и теперь достигла половины того, что было при отце. Наше серебро чище любого другого и постоянно приносит доход казне.

Я забрала Лиса из конуры, в которой он спал все эти годы, и дала ему взамен роскошные покои на южной стороне дворца и земельный надел, чтобы старик более не зависел от моих милостей. Я также дала ему денег на покупку книг. Торговцы не сразу узнали, что в Гломе нужны книги (до ближайшего народа, знавшего письмо, нужно было пройти не одно царство), и не скоро добрались до дворца. Книги в пути не раз меняли хозяев, а когда они прибыли, Лис чуть не вырвал последние волосы на голове, узнав, сколько за них просят. «Да они на обол целый талант заработали», — вздыхал он. Пришлось к тому же покупать то, что привезли, без разбора. Тем не менее нам удалось составить огромную для страны варваров библиотеку — целых восемнадцать свитков. У нас была поэма Гомера о Троянской войне — увы, неполная, — начиная с оплакивания Патрокла. У нас были две трагедии Еврипида: одна про Андромеду и другая, где пролог говорит Дионис, а хор состоит из вакханок. Еще была там написанная без размера хорошая, полезная книга о том, как разводить лошадей и скот, натаскивать собак и тому подобное. Затем несколько диалогов Сократа; поэма, воспевающая Елену, сложенная Гесиодом Стесихором; одно из творений Гераклита и длинная, трудная книга без размера, начинающаяся словами: «Все люди по природе своей взыскуют знаний». Как только прибыли книги, Арном стал часто навещать Лиса и учиться чтению; с ним приходили и другие молодые люди из княжеских семей.

Только став Царицей, я смогла познакомиться со знатью Глома и женами знати. Неизбежным образом мне была представлена и жена Бардии, Ансит. До этой встречи я думала, что она — умопомрачительная красавица, но это была низенькая женщина, сильно раздавшаяся после восьми родов. Все женщины у нас в Гломе очень хороши в девичестве, но потом быстро расплываются. (Может быть, именно поэтому ходили слухи о моей неземной красоте; ведь я осталась девушкой и поэтому сохранила стройность — а тело у меня, для того, кто никогда не видел моего лица, было вполне привлекательным.) Я изо всех сил старалась быть ласковой с Ансит, даже больше того — нежной. Ради Бардии я была готова даже полюбить ее, если бы это было возможно, — но Ансит оставалась в моем присутствии тихой как мышь. Я думала, что она просто боится меня. Когда я пыталась заговорить с ней, глаза ее беспокойно блуждали по комнате, словно ища выхода. И однажды меня осенила мысль, доставившая мне некоторую радость: «Да она ревнует ко мне!» Мы встречались не раз на протяжении многих лет, но все оставалось по-прежнему. Иногда я говорила себе: «Она делила с ним ложе, и это нехорошо. Она вынашивала его детей, и это того хуже. Но приходилось ли ей сидеть, скрючившись, в засаде? Скакать бок о бок в конном строю? Делить последнюю флягу болотной воды на двоих? Им часто случалось строить друг другу глазки — а доводилось ли ей обменяться с ним на прощание такими взглядами, какими обмениваются боевые товарищи, перед тем как разъехаться разными дорогами, каждая из которых таит опасность?» Я знала, что мне безраздельно принадлежала та часть Бардии, о которой Ансит не смела и мечтать. Она была для

него игрушкой и утехой в часы досуга, а мне принадлежала его воинская судьба.

Кажется странным, что Бардия каждый свой день делил между Царицей и женой, честно считая, что выполняет свой долг перед обеими (и не без оснований), и даже не предполагая, какая неприязнь возникает от этого между двумя женщинами. Вот в чем преимущество мужского пола. Боги никогда не прощают женщинам того, что они женщины.

Из всех обязанностей Царицы самой тяжкой для меня были частые посещения Дома Унгит и приношение жертв. На мое счастье, то ли Унгит в последнее время ослабла, то ли я стала очень сильной. Арном повелел сделать в стенах окна, и в храме стало светлее. Затем он ввел обычай собирать жертвенную кровь в сосуды и мыть пол чистой водой после жертвоприношения. От этого в Доме Унгит воздух стал чище и перестало пахнуть святостью. От Лиса Арном выучился рассуждать о богах, как это водится у философов, а затем осмелился на огромные перемены: он предложил установить рядом со старым бесформенным камнем изображение богини по греческому образцу — в виде женщины. Я думала, что он даже прикажет выбросить камень, но для народа это была сама Унгит, и люди просто бы взбунтовались. С изваянием было тоже все не так гладко: в Гломе не нашлось ни одного человека, способного изготовить его, и Унгит пришлось везти хоть и не из самой Греции, но из сопредельной ей страны, где уже переняли греческие обычаи и вкусы. Я не испытывала нужды в серебре и охотно помогла храму в этом начинании. Не знаю, что мной руководило; возможно, мне казалось, что прекрасное изваяние унизит и лишит силы голодную, жестокую, безликую Унгит моего детства. Вскоре изваяние прибыло, и оно показалось нам, варварам, дивно прекрасным и почти живым. Мы раскрасили его и облачили в одежды, и вскоре оно так прославилось, что из дальних стран люди приходили смотреть на него. Только Лис, который видел творения великих мастеров, посмеивался.

Когда я наконец уразумела, что во дворце нет ни одного помещения, где бы не было слышно скрипа колодезной цепи, который казался мне плачем несчастной Психеи, я повелела построить вокруг колодца каменную стену и сделать над ним крышу. Стены я приказала сделать толстыми, такими толстыми, что мой каменщик ворчал каждое утро: «Царица, ты только попусту переводишь камень! Из него можно сложить десяток новых свинарников». Некоторое время спустя новая безумная идея посетила меня. Мне стало сниться, что я замуровала не колодец, а саму Психею (или Оруаль). Но вскоре это прошло. Я перестала слышать плач Психеи. В тот год я одержала победу над Эссуром.

Лис к тому времени совсем постарел и все чаще нуждался в покое; мы стали реже призывать его в Столбовую залу. Тогда он начал писать историю Глома. Он писал ее сразу и по-гречески, и на нашем языке, за которым он теперь признавал некоторые достоинства. Было очень странно видеть наши слова, написанные греческими буквами. Я не стала говорить Лису, что он знал по-гломски гораздо хуже, чем ему казалось, и то, что он писал, часто могло просто вызвать смех — особенно там, где он старался писать высоким стилем. С годами он все меньше и меньше походил на философа; теперь грек чаще рассуждал о красноречии, поэзии и прекрасном. Он стал многословен и несколько утомителен. Часто он принимал меня за Психею, а иногда даже называл Харнидом или Главконом — именами, какие в Греции дают мальчикам.

Но я была очень занята и не могла уделять старику много времени. Чем я только не занималась! Я приказала пересмотреть все законы, высечь их на вечные времена на каменных таблицах и установить на главной площади. Я велела расширить и углубить русло Шеннит, так что она стала судоходной. Я выстроила мост на месте прежнего брода. Я соорудила хранилища для воды, так что засуха перестала страшить Глом. Я научилась разбираться в скоте и улучшила его породу, купив добрых быков и баранов у пастушьих племен. Чего я только не сделала — но какое это имеет значение? Я занималась этими важными делами так же, как мужчины убивают время охотой или игрой в шахматы. Когда зверь загнан или королю объявлен мат, возбуждение проходит и ты снова остаешься наедине с собой. Так кончался почти каждый вечер моей жизни: несколько шагов по лестнице из пиршественного зала, где гости прослав-

ляют величие Царицы Гломской, или из комнаты совета, где внимают моей мудрости, и я оставалась в опочивальне сама с собой. А что такое «я», как не тщета и пустота? Хуже всего было для меня время перед сном и еще утром, когда я просыпалась, — сотни и сотни утр и вечеров. Порой я задавалась вопросом: кто и зачем посылает нам бесконечно сменяющие друг друга дни и ночи, зимы и весны, годы и десятилетия? Так иногда глупый мальчишка все насвистывает и насвистывает привязчивую мелодию, пока случайный слушатель не начинает удивляться, как ему самому это не надоело.

Лис умер. Мы похоронили его по-царски и высекли на надгробии греческую эпитафию, которую я сама сложила; здесь я не привожу ее, потому что ты, читатель, как прирожденный грек, будешь смеяться над моими неуклюжими стихами. Умер учитель в конце жатвы, и могила его — под теми старыми грушами, где он в летние месяцы учил меня и Психею. После этого прошло еще много дней, лун и лет, пока однажды, оглядев дворец, сад, город и далекий кряж Седой горы, я поняла, что больше не в силах видеть день за днем до самой смерти одно и то же. Даже пятна дегтя на дощатых стенах коровников, казалось, были те же, что и в тот день, когда во дворец привели Лиса. И я решила отправиться в путешествие, чтобы посмотреть мир. Все сопредельные страны были в то время нашими союзниками. Бардия, Пенуан и Арном вполне справлялись с делами царства и без меня; не будет большой ложью сказать, что я привела Глом в такой порядок, при котором им вообще не нужно было управлять.

Я взяла с собой только сына Бардии Илердию, дочь Пуби по имени Алит, двух служанок, конюшего, повара и отряд преданных воинов, а также вьючных мулов, чтобы везти шатры и припасы. Не прошло и трех дней, как мы двинулись в путь.

Глава двадцать первая

То, ради чего я решила рассказать о предпринятом мною путешествии, произошло в самом конце его, когда мы уже возвращались на родину. Сперва мы направились в Фарсу, где плоды созревают позднее, поэтому одно и то же время года странник проживает словно дважды. В Фарсе мы увидели те же картины, которые сопровождали нас во время отъезда из Глома: свистели серпы, жнецы пели песни, на полях рядами лежали снопы, желтела свежая стерня, мимо провозили зерно, ссыпанное в телеги с высокими бортами. Солнце палило, оставляя загар на лице и радость в душе. Мы провели десяток ночей во дворце Трунии, и я была поражена, увидев, как располнела и подурнела Редиваль. Она по-прежнему болтала без умолку, но все больше о своих детях. Ни о ком, кроме Батты, из оставшихся в Гломе она не спрашивала. Труния не обращал на ее болтовню ни малейшего внимания, зато со мной он говорил много и о важном. Мы согласились, что после моей смерти Глом унаследует его второй сын Дааран. Этот Дааран был неглуп (для сына такой дуры, как Редиваль). Я бы его полюбила, если бы не сдерживала себя и если бы между нами не встревала Редиваль. Но я поклялась больше не отдавать своего сердца ни одному юному созданию.

После Фарсы мы отправились горными проходами на запад в Эссур. Это был край стремительных рек, поросший густыми лесами (я никогда прежде не видела столько деревьев). Леса изобиловали пернатыми, оленями и всяким зверем. Мои спутники были молоды и любознательны; тяготы и радости странствия сплотили нас, жажда знаний с избытком утолялась с каждым новым поворотом дороги. Сперва они побаивались меня и большей частью молчали, но потом мы сблизились и стали добрыми друзьями. С ними я помолодела сердцем. Мы ехали под рев водопадов и клекот кружившихся над нами горных орлов.

Приехав в Эссур, мы провели три дня в царском дворце. Царь был по-своему неплохим человеком, но слишком уж раболепно заискивал передо мной: ведь это Глом в союзе с Фарсой не так давно заставил Эссур заговорить по-другому. Жена царя с ужасом смотрела на меня; видать, она уже наслушалась страшных сказок о моем лице. Из Эссура мы собрались было в обратный путь, но тут нам рассказали о горячем

источнике в пятнадцати милях на запад от эссурского дворца. Илердия высказал желание посетить его, а я с грустной улыбкой подумала, что Лис (будь он жив) пожурил бы меня, если бы я упустила случай повидать это чудо природы. Поэтому я решила задержаться на день в Эссуре.

Осенний день был ясным и жарким, но солнце уже утомилось и светило не так беспощадно, как в разгар лета. Желтая стерня радовала взор; казалось, сам год состарился и теперь отдыхает от своих трудов. Я подумала, что пора отдохнуть от трудов и Царице Гломской. И не только ей, но и верному Бардии (в последнее время он часто стал уставать). Пусть молодые займутся делами, а мы посидим на солнышке и поговорим о былых битвах. Разве я не сделала все, что могла? «Старческая мудрость, — сказала я про себя. — Это заговорила во мне старческая мудрость».

Горячий источник, как и все диковины, вызывающие в людях глупые восторги, отнял у нас немного времени. Мы поехали дальше по благодатной зеленой долине и выбрали место для привала между теплым ручьем и опушкой леса. Пока мои спутники ставили шатры и развьючивали коней, я зашла под сень деревьев, чтобы посидеть немного в прохладе. И тут я услышала неподалеку храмовый колокол (в Эссуре все храмы обычно с колоколами). После стольких часов в седле приятно немного прогуляться, поэтому я неторопливо пошла на звук, не особенно заботясь найти его источник. Вскоре я вышла на безлесное место, заросшее мхом, и увидела храм; он был не больше охотничьей хижины, но из снежно-белого камня, с колоннами по греческому обычаю. За ним я увидела маленький домик — очевидно, жилище жреца.

Место само по себе было прохладным и спокойным, но внутри храма было еще спокойней и холодней. Храм был пуст, и на полу я не заметила пятен, из чего я заключила, что он посвящен одному из тех миролюбивых богов, которые довольствуются цветами и плодами в качестве жертвы. Затем я увидела за алтарем изваяние девушки в два фута высотой, вырезанное из светлого дерева, без обычной раскраски и позолоты, отчего оно, на мой взгляд, только выигрывало. Я поняла, что это — богиня, которой посвящен храм. Лицо богини покрывал платок, напоминавший мой собственный, с тою только разницей, что мой был белый, а этот — черный. Я подумала, что храм этот совсем не похож на Дом Унгит и тем мне и нравится. Затем я услышала шаги за спиной и обернулась. Человек в черном вошел в храм; это был старик с добрым, спокойным, пожалуй, чуть-чуть простоватым взглядом.

— Чужеземка хочет принести богине жертву? — спросил он.

Я положила ему в ладонь несколько монет и спросила, как зовут богиню.

— Истра, — ответил он.

Имя это не слишком распространено в Гломе и сопредельных странах, поэтому мне с трудом удалось скрыть изумление; я сдержалась и сказала, что никогда не слышала о такой богине.

— О, это потому, что Истра — богиня совсем молодая. Она только недавно стала богиней. До этого, как и многие другие боги, она была смертной...

— А как же она стала небожительницей?

— Небожительницей она стала так недавно, что храм ее еще очень беден, чужеземка. Но за серебряную монету я могу поведать тебе священное предание. Спасибо, добрая госпожа, спасибо. Истра да поможет тебе за твою доброту. Слушай. В далекой земле жили царь и царица, и были у них три дочери. Младшая царевна была прекраснее всех царевен на земле...

И он рассказал мне все предание напевно, как это принято у жрецов, и не сбившись ни разу с заученных слов. Пока он говорил, мне казалось, что все мы — и жрец, и я, и храм, и все мое путешествие — только предание, потому что рассказ его был о нас, о нашей Истре, о нашей Психее, о том, как Талпэль (так именуют Унгит в Эссуре) приревновала к ее красоте и сделала так, чтобы Истру принесли в жертву горному Чудищу, и как сын Талпэль Иалим, прекраснейший из всех богов, полюбил ее и унес в свой тайный чертог. Жрец знал даже о том, что Иалим посещал Истру только по ночам и запретил ей видеть свое лицо. Но объяснял это жрец очень наивно: «Видишь ли, чужеземка, он боялся гнева своей матери, потому что Талпэль возмутилась бы, узнав, что ее сын взял в жены столь ненавистную ей женщину».

При этих словах я подумала про себя: «Какая удача, что это предание не достигло моих ушей пятнадцать или даже десять лет тому назад! Я бы снова заболела тогда, а теперь... теперь мне почти все равно». Потом, внезапно очнувшись от своих дум, я полюбопытствовала:

— Откуда тебе это ведомо?

Он посмотрел на меня так, словно не понял вопроса.

— Это священное предание, — сказал он.

Я увидела, что старик скорее простодушен, чем лукав, и промолчала. Жрец продолжил рассказ, но то, что я дальше услышала, возмутило меня так сильно, что кровь бросилась мне в лицо. Ибо все было ложью — гнусной и глупой ложью. Во-первых, по его словам, Психею в ее дворце навестили обе сестры (представь себе Редиваль рядом со мной!).

— И вот, — говорил жрец, — сестры узрели чертоги Иалима, и пировали в них, и взяли от Истры дары. И тогда...

— Как ты сказал, жрец, узрели?

— Чужеземка, не перебивай священного предания. Конечно, узрели. Они же не были слепыми. И тогда...

Боги посмеялись надо мной и плюнули мне в лицо. Вот что они и людская молва сделали с нашими судьбами, перед тем как вложить повесть о них в уста старого дурня. Без богов тут не обошлось, иначе откуда узнали бы смертные о дворце? Это было вложено ими в чью-то голову во сне, или в видении, или как там еще боги творят подобные вещи, и вложено так, чтобы обессмыслить случившееся, лишить его самой сути. Именно поэтому я и стала писать книгу против богов — чтобы поведать правду о том, что они утаили. Мне часто доводилось судить своих подданных, но ни разу не случалось поймать лжесвидетеля на столь хитрой и тонкой полуправде. Ведь если бы все было так, как рассказывают люди, не было бы никакой загадки и я не мучилась бы, пытаясь разгадать ее. И более того, это предание — оно совсем о другом мире; о мире, в котором боги являются людям зримо и не посылают им обманчивые видения, где они не заставляют верить тому, что противоречит чувствам и здравому смыслу. В том другом мире (где он? и существует ли вообще?) я бы не запуталась в отгадках, и богам было бы не в чем меня упрекнуть. А рассказывать случившееся с нами, не упомянув ни словом о помрачении моих глаз, — это все равно что назвать человека медлительным, не упомянув о его хромоте, или же упрекать в предательстве, не сказав ни слова о том, что он выдал тайну под пыткой. И тут же я представила, как эта лживая повесть станет притчей во всех краях земли, и невольно задумалась над тем, насколько можно принимать на веру любые предания о богах и героях.

— И тогда, — продолжал жрец, — злые сестры задумали погубить Истру. Они принесли лампу...

— Но зачем она — то есть они — хотели разлучить Истру с сыном Талпэль? Они же видели дворец!

— Они хотели погубить ее именно потому, что видели ее дворец.

— Но все-таки — почему?

— Из ревности. Муж и дворец Истры были красивее, чем те, что были у сестер.

И вот именно тогда я решила написать эту книгу. Долгие годы до этого распря между мной и богами была почти забыта; я стала думать почти как Бардия: чем меньше связываешься с богами, тем лучше. Часто я даже почти не верила в существование богов, хотя и видела одного из них собственными глазами. Память о его голосе и лике я надежно заперла в одном из самых темных сундуков моей памяти. Но в тот миг мне снова ясно вспомнилось, как я была бессильна перед ними — незримыми и могущественными, как они — неуязвимые по своей природе — уязвили меня в самое сердце, как они все навалились на меня одну и превратили мою жизнь в нескончаемое мучение. Все эти годы они играли со мной в кошки-мышки. Хвать! — и жертва снова бьется в острых когтях. Но я не мышь, я могу говорить. И писать. Никто не делал этого прежде, но я решилась: правда о преступлениях богов должна быть сказана.

Ревность? Чтобы я — и ревновала к Психее! Мне стало тошно при одной мысли об этом вздорном и пошлом предположении. Видно, у богов понятия о чести такие

же, как у черни. Им не пришло на ум ничего другого, кроме измышлений, достойных уличных нищих, храмовых шлюх, рабов, бродячих псов. Неужто и лгать-то они не умеют по-божески?

— ...и она бродила по миру, обливаясь слезами.

А, это старик. Он все еще говорит. И как эти слова эхом перекатываются у меня в ушах! Я сжала зубы и попыталась успокоиться, а не то звуки завладеют мной и я перестану понимать, что происходит на самом деле. Я уже почти слышу, как она плачет под дверьми храма...

— Довольно! — закричала я. — Неужто ты думаешь, что я не знаю, когда девушки плачут? Они плачут, когда их сердце разбито. Говори, старик, мне все равно!

— ...обливаясь, обливаясь слезами, — повторил он. — И Талпэль, которая ненавидела Истру, завладела ее душой. А Иалим не мог ничем помочь, потому что Талпэль была его мать и он ее боялся. И Талпэль подвергала Истру всяческим мучениям и заставляла ее браться за тяжкую работу и исполнять невозможные задания. Но Истра со всем справилась, и Талпэль позволила ей вернуться к Иалиму и стать богиней. И когда это случается, я снимаю с богини черный покров и меняю мои черные одежды на белые, а затем мы подносим ей...

— Ты хочешь сказать, что настанет день, когда Истра вновь вернется к своему богу, и тогда вы снимете с нее черный покров?

— Мы снимаем покров каждую весну, и тогда я меняю свои одежды...

— Какое мне дело до того, что ты там меняешь! Я хочу знать, случается ли это на самом деле! Истра — она все еще бродит по земле или уже стала богиней?

— Чужеземка, ты не понимаешь! Священное предание, оно о священном — о том, что мы делаем в храме. С весны и до конца лета Истра́ — богиня. Затем во время жатвы мы вносим в храм лампу, и бог улетает прочь. Тогда мы покрываем Истре лицо. Всю зиму она бродит по свету, испытывая лишения и обливаясь слезами...

Он не знал ничего. Для него не было никакой разницы между жизнью и служением в храме. Он даже не понимал, о чем я его спрашиваю.

— Старик, мне рассказывали это предание и по-иному, — промолвила я. — Мне кажется, что у сестры — или сестер — богини были и другие причины, чтобы вести себя подобным образом.

— Я и не сомневаюсь, — ответил жрец. — У ревности всегда найдутся причины. Вот, скажем, моя жена...

Я не стала его слушать, попрощалась и вышла из прохлады храма под темную сень деревьев. Между стволов поблескивало пламя костра, разведенного моими спутниками. Солнце уже закатилось. Я скрыла мои чувства, которых и сама не могла понять. Но вся прелесть нашего осеннего путешествия поблекла в моих глазах, и я старалась хотя бы не испортить настроения своим спутникам. На следующий день я окончательно решила, что моя душа не обретет покоя, пока я не напишу книгу — обвинение против богов. Мысль о книге жгла меня изнутри, она была для меня как младенец в чреве для матери.

Поэтому я и не могу рассказать об обратной дороге до Глома. Она заняла семь или восемь дней, и по пути мы посетили все достойное внимания как в Эссуре, так и в Гломе. После того как мы пересекли границу, мы увидели повсюду такой покой, такую зажиточность и почтение к моей особе, что сердце мое должно было бы возрадоваться. Но ничто не веселило мой взор и слух. День и ночь напролет я только вспоминала, как все было на самом деле, стараясь не упустить ничего, ни одного движения души, ни одного мельчайшего события. Я извлекла Оруаль из могилы, вытащила ее на свет из колодца, окруженного стенами, и заставила говорить. Чем больше я вспоминала, тем больше оставалось вспомнить — и я часто плакала не по-царски под покровом платка, но печаль моя все равно была слабее, чем негодование. К тому же я спешила. Я боялась, что боги заставят меня замолчать, прежде чем я успею изложить все, что знаю о них. Поэтому каждый вечер, когда Илердия говорил мне: «Вот здесь, Царица, мы поставим шатры», — я отвечала ему: «Нет, нет, мы можем проехать сегодня еще три мили или даже пять до наступления тьмы». По утрам я старалась встать как можно раньше. Сперва я терпеливо дожидалась, пока проснутся ос-

тальные; я ежилась в холодном тумане, слушая молодое дыхание спящих; но вскоре мое терпение кончилось, и я стала будить их. Мы вставали все раньше и раньше, а ложились все позже и позже, пока наше путешествие не стало походить на бегство побежденных от преследующего по пятам победителя. Я подолгу молчала, отчего и спутники тоже смолкли. Я видела, что они расстроены этим и шепотом обсуждают между собой, что означает перемена в настроении Царицы.

Но даже во дворце мне не удалось сразу приняться за работу, как я надеялась. Множество мелких дел тут же навалилось на меня. К тому же именно теперь, когда мне особенно был нужен помощник, пришли из дома Бардии и сказали, что старый воин заболел. Я спросила Арнома о болезни Бардии, и Жрец сказал мне: «Это не яд и не лихорадка, Царица, — обычная хворь, не страшная для крепкого мужа. Но Бардии все же лучше остаться в постели. Ведь он уже не молод». Страх кольнул меня в сердце, но потом я успокоилась, вспомнив, что жена Бардии возится с ним, как курица с единственным цыпленком, и пользуется малейшим поводом удержать супруга подальше от дворца.

Наконец, несмотря на все препятствия, книга эта завершена и она перед тобой, читатель, чтобы ты мог рассудить, кто прав в нашем споре — я или боги. Они дали мне Психею — единственную, кого я любила, — а затем отняли ее у меня. Но и этого им показалось мало. Они заставили меня решать участь сестры, не сказав мне, кто же ее муж — чудище, небожитель или лесной бродяга. Они не дали мне ясного знака, хотя я их об этом просила. Мне пришлось догадываться самой, и я ошиблась, и они наказали меня — что хуже всего, они наказали меня, но кара постигла ее. И даже этого не было довольно: зная прекрасно правду, они заставили людей поверить, что никакой загадки не было, а действовала я из зависти, словно я и Редиваль — одно и то же. Поэтому я утверждаю, что боги поступают с нами не по правде: они не желают оставить нас в покое, чтобы мы прожили нашу короткую жизнь как умеем, но и направить нас на верный путь не хотят. Видно, ни то ни другое не доставило бы им радости. Они предпочитают подкрадываться исподтишка, лукавить, насылать на нас зыбкие сны, темные пророчества и видения, исчезающие под твоим взглядом, молчать, когда мы вопрошаем их, и нашептывать на ухо неразборчивые советы, когда мы в них не нуждаемся. Одним они являют то, что скрывают от других; они играют с нами в жмурки, в прятки, в кошки-мышки, дурачатся и насмешничают. Не потому ли в священных местах всегда стоит полумрак?

Добавлю, что нет для богов существа ненавистнее человека. Ни жаба, ни змея, ни скорпион не вызывают у них такого отвращения, как мы.

Пусть боги, если им есть что сказать, ответят на мое обвинение. Вполне возможно, что вместо ответа они нашлют на меня безумие или проказу или обратят меня в зверя, птицу или дерево. Но тогда весь мир узнает (и боги это почувствуют), что у них просто нет ответа.

II

Глава первая

Совсем немного дней прошло, с тех пор как я поставила последнюю точку, но вот я снова вынуждена развернуть свиток. По правде говоря, все, что я написала, стоило бы переписать с начала до конца, но боюсь, что мне не хватит времени. Я очень быстро устаю, и Арном, видя это, хмуро покачивает головой. Они думают, будто я не догадываюсь, что письмо Даарану уже послано.

Раз уж я не могу переписать написанное, я должна прибавить к нему то, что мне удалось узнать нового о женщине, сочинившей эту книгу. Иначе я буду достойна осуждения и умру с нечистой совестью. Оттого что я стала писать, я и сама переменилась. С такой работой не шутят. Память, стоит разбудить ее, превращается во властного деспота. Я пришла к выводу, что должна честно (я не хочу лгать, стоя перед судом) поведать все свои чувства и мысли. Прошлое, как я описала его, было не тем прошлым,

которое я помнила. Даже заканчивая книгу, я еще не понимала многого так отчетливо, как понимаю сейчас. То, что случилось со мной, когда я писала книгу, я в ней не упомянула, но эти перемены были только началом: боги, подобно врачам, использовали мое стило как щуп, чтобы исследовать мою рану, прежде чем взяться за нож.

Лишь только я села за работу, мне стали посылаться знаки. Когда я описывала, как мы с Редивалью копались в грязи на берегу Шеннит, мне вспомнилось и многое другое о тех давних днях, когда не было еще ни Лиса, ни Психеи — только я и Редиваль. Я вспоминала, как мы ловили уклеек в ручье, как прятались в сене от Батты, как жались за дверьми, когда отец пировал, и выпрашивали у рабов остатки лакомств. И мне подумалось, как ужасно изменилась Редиваль впоследствии. Но это все мои мысли. А знаки, как я уже сказала, посылались извне. Одной из помех в моей работе оказалось посольство от Великого Царя одной из Юго-Восточных стран.

«Чума их всех побери», — сказала я тогда про себя, представив, сколько часов уйдет на беседы и на пиршество. Гости прошли в зал, и я с легким презрением заметила, что предводительствует ими евнух. Евнухи при дворе Великого Царя играют очень важную роль. Тот евнух, который возглавлял посольство, был очень толст. Толще человека мне не доводилось видеть — щеки его, маслянистые и жирные, были так велики, что за ними не видно было глаз. Евнух был весь обвешан безделушками, как какая-нибудь прислужница Унгит, но вот он заговорил, и я заметила в нем трудно уловимое сходство с кем-то знакомым. Догадка вертелась у меня в голове, но я гнала ее прочь, и так несколько раз; наконец я не выдержала и вскричала:

— Тарин!

— Ах да, Царица, да, да... — осклабился презрительно евнух, но (мне показалось) он был польщен. — Ах да, когда-то меня звали Тарин. Твой отец, Царица, меня недолюбливал, верно. Но... хи-хи-хи — ему я обязан своим положением. Да, да, он направил меня на верный путь. Два взмаха бритвы — и я стал важным лицом, великим человеком.

Я поздравила его с этим успехом.

— Спасибо, Царица, премного благодарен! Я доволен, очень доволен. Стоит только подумать... хи-хи-хи... если бы не вспыльчивость твоего отца, Царица, я так бы и таскал щит в охране царька варваров, все царство которого не больше наименьшего из охотничьих угодий моего повелителя! Ты не обиделась, Царица?

Я сказала, что мне известно, какие прекрасные охотничьи угодья у Великого Царя.

— А как поживает твоя сестра, Царица? — спросил евнух. — Такая была славная девочка... хотя, хи-хи-хи, с тех пор через мои руки и не такие красавицы проходили... жива ли она еще?

— Она — царица в Фарсе, — ответила я.

— Ах вот как. Фарса... Помню, помню. Как легко забываются имена этих царств-недомерков. Да, мне было ее жалко. Она была такая одинокая.

— Одинокая? — переспросила я.

— Ах да, да, да — очень одинокая. Когда родилась другая, маленькая царевна, она все говорила: «Раньше Оруаль любила меня, затем появился Лис, и она стала любить меня меньше, а когда родилась малютка, она и совсем меня разлюбила». Да, она была одинока. Я пожалел ее... хи-хи-хи... я был тогда парень что надо. Каждая вторая девушка в Гломе была в меня влюблена.

Я твердо перевела беседу на дела государства.

Но это был только первый знак, слабый намек, первая снежинка грядущей зимы, о которой стоит помнить только потому, что теперь известно, что за ней последовало. У меня не было оснований не верить Тарину, как, впрочем, не было оснований менять и свое мнение о Редивали, которую я считала и считаю бесчестной дурой. Ее даже винить не за что — просто пошла вся в отца. Одно было мне неприятно: раньше я и думать не думала, что чувствовала Редиваль, когда я променяла ее сперва на Лиса, а потом на Психею. Почему-то с самого начала я была уверена, что это меня нужно жалеть, что это мною играют как хотят. А Редиваль... что Редиваль? У нее же такие чудесные золотые кудри!

И я снова принялась за книгу. Непрерывное напряжение памяти привело к тому, что я продолжала просеивать и сортировать воспоминания даже во сне, хотя во сне это виделось мне совсем не так, как наяву. Мне снилось, что я стою перед огромной кучей зерен. В ней были пшеница, ячмень, овес, мак, рожь, просо — и все это я должна была перебрать и разложить отдельно. Задача казалась почти безнадежной; я даже не знала, зачем я делаю эту работу, но меня предупредили, что, если я остановлюсь хоть на миг или перепутаю хоть одно зерно, меня постигнут ужасные кары. Наяву любой сказал бы, что это неисполнимо, но во сне казалось, что ничего невозможного нет. Была одна на десять тысяч возможность, что работа будет закончена в срок, и одна на сто тысяч — что при этом я не сделаю ни одной ошибки. Скорее всего, меня ждало наказание: скорее всего, но не наверняка. И вот я брала каждое зерно двумя пальцами, рассматривала его и откладывала в положенную кучку. А в некоторых снах, совсем уж безумных, я превращалась в маленького муравья. Тогда зерна были для меня что мельничные жернова, и я ворочала их с огромным трудом, пока не подкашивались лапки. Но муравьи, как ты знаешь, читатель, способны нести ношу больше, чем их собственный вес, и вот я таскала и таскала зерна.

Чтобы дать представление о том, как боги принуждали меня трудиться и во сне и наяву, скажу только, что все это время я совсем не думала о Бардии, разве что пеняла иногда на его отсутствие, поскольку без него меня отвлекали от свитка значительно чаще. Для меня имела значение только моя книга. О Бардии же я вспоминала редко и с возмущением: «Что он, собирается проваляться в постели весь остаток жизни?» Или же: «Это все его женушка!»

Наконец настал день, когда я вписала в книгу последние слова: «У них нет ответа». Буквы еще не высохли, как я услышала, что говорит Арном, и впервые осознала смысл и значение его слов.

— Ты хочешь сказать,— вскричала я, — что жизнь нашего Бардии в опасности?

— Он очень слаб, Царица, — сказал Жрец. — Какая жалость, что с нами больше нет Лиса. Мы здесь, в Гломе, в сравнении с ним — темные знахари. Мне сдается, что у Бардии не хватает силы духа справиться с этой болезнью...

— О боги! — закричала я.— Что же вы мне раньше не сказали? Эй! Раб! Коня мне! Я отправляюсь к Бардии!

Арном, мой старый и испытанный советник, положил руку мне на плечо.

— Царица, — сказал он мягко и очень спокойно, — если ты навестишь больного, он может не выздороветь вовсе.

— Что я, чуму несу за собой? — возмутилась я. — Неужто я могу сглазить даже через платок?

— Бардия любит тебя и предан тебе больше, чем любой из твоих подданных, — сказал Арном. — Если он увидит тебя, он тут же, собрав все свои силы, вернется к придворным обязанностям. А сил у него осталось немного. Сотни отложенных дел, о которых он успел позабыть за эти девять дней, вызовут прилив крови к голове. Это может убить его. Оставим его в покое, пусть полежит и подремлет. Это единственное для него сейчас спасение.

Правда была горька, но я проглотила ее. Я согласилась бы даже заточить себя в башне, скажи мне Арном, что это поможет Бардии. Три дня я терпела (старая сморщенная дура!), на четвертый же сказала себе: «Все, хватит!», но на пятый Арном вошел ко мне в слезах, и стало уже поздно. Бардия умер, так и не услышав от меня тех слов, которые, возможно, лишь смутили бы его. Просто мне самой стало бы намного легче, если бы я успела склониться к уху верного воина и прошептать: «Бардия, я любила тебя».

Когда тело положили на костер, все, что было мне дозволено, — это стоять и смотреть. Я не была ему ни женой, ни сестрой и поэтому не могла оплакивать его и бить себя в грудь. А если бы могла — я бы надела на руки стальные рукавицы или ежиные шкурки!

Я выждала три дня, как велит обычай, и отправилась с утешением к вдове. Не только долг и приличия привели меня туда: Ансит была любима Бардией и потому была в некотором смысле моим врагом — но кто в мире теперь мог бы лучше понять меня?

Меня провели в верхнюю комнату, где сидела за пряжей Ансит. Вдова была бледна, но очень спокойна. Я волновалась заметно больше. Как я уже писала, когда-то меня удивило, насколько Ансит оказалась, вопреки моим ожиданиям, некрасива. Теперь, постарев, она внезапно расцвела новой красотой; ее гордое лицо излучало удивительный покой.

— Госпожа... Ансит, — сказала я, взяв ее за руки (она не успела отдернуть их), — что мне сказать тебе? Как мне говорить с тобой о нем, когда утрата твоя безмерна? Чем же мне утешить тебя? Только тем, что лучше иметь и потерять такого мужа, чем вечно жить с любым другим мужчиной.

— Царица оказывает мне великую честь, — сказала Ансит, выдернув свои руки из моих, встав и сложив их на груди.

Глаза ее были опущены долу, она стояла так, как придворной даме полагается стоять перед царицей.

— Ах, дорогая моя, хотя бы сейчас не смотри на меня как на царицу! Я умоляю тебя — разве мы в первый раз увиделись только вчера? Я не смею и сравнивать свою утрату с твоей, но она тоже велика. Прошу тебя, сядь. А я сяду рядом, и мы поговорим.

Она уселась и вновь принялась за пряжу; лицо ее было спокойно, а губы — слегка поджаты, как положено домашней хозяйке, занятой делом. Я подумала, что она вряд ли мне чем-нибудь поможет.

— Это все так неожиданно! — сказала я. — Неужели никто не заметил, что болезнь опасна?

— Я заметила.

— Неужели? Арном сказал мне, что это легкая хворь!

— Он и мне это сказал, Царица. Он сказал, что это — легкая хворь для человека, которому достанет сил побороть ее.

— Сил? Но кто был сильнее Бардии?

— Он был как сгнившее изнутри дерево.

— Сгнившее? Почему? Я этого не знала!

— Видать, не знала, Царица. Он истощил себя— или его истощили. Уж лет десять, как ему бы уйти на покой. Он же был не железный, Бардия, — из плоти и крови, как все мы.

— Он никогда не выглядел старым, никогда!

— Может быть, Царица, тебе не приходилось видеть его усталым. Ты никогда не видела его лица ранним утром, не слышала, как он стонал, когда я будила его на заре. (А что мне было делать? Он брал с меня клятву, что я разбужу его.) Ты никогда не видела, каким он возвращался поздно вечером из дворца. Голодный, а поесть даже сил нет. Откуда тебе знать, Царица? Ведь это я была его женой. Он был слишком учтив, чтобы зевать и жаловаться в присутствии своей повелительницы.

— Ты хочешь сказать, что работа...

— Пять войн, тридцать одна битва, девятнадцать посольств, непрестанные заботы о том о сем — одному польсти, другому пригрози, третьего утешь... День напролет думать, советовать, запоминать, угадывать, подсказывать, не отлучаясь из Столбовой залы, — все время эта Столбовая зала. Нет, не только на рудниках можно уморить человека.

Я ожидала услышать все что угодно, но не это. Когда прошла первая вспышка гнева, за ней последовал страх; я боялась, что Ансит (хотя мне с трудом верилось) говорит правду. Стоило мне это заподозрить, как мой голос задрожал от обиды.

— Не ты говоришь, госпожа, а твое горе. Прости меня, но это все домыслы. Я работала с ним наравне, так не хочешь же ты сказать, что сильный мужчина не вынес того, от чего не сломалась слабая женщина?

— Ты говоришь как та, что не знает мужчин. Они крепче нас, зато мы выносливее. Их жизнь короче. Мужчины хрупки. Да ты и помоложе его будешь, Царица.

У меня похолодело в сердце.

— Если ты права,— сказала я,— то он мне лгал. Довольно было одного его слова, и я сняла бы с него ношу забот и отправила его на покой со всеми возможными почестями.

— Ты плохо его знаешь, Царица, если думаешь, что он мог сказать это слово. Ах, ты счастлива на троне; мало в мире повелителей, которых так любят их слуги!

— Да, это так. Ты ведь не осуждаешь меня за это? Даже в горе ты не имеешь права упрекать меня — ведь никакой другой любви я не знала. Безмужняя, бездетная — а у тебя все это было...

— Только то, что ты изволила оставить мне, Царица.

— Оставить? Безумная, о чем ты говоришь?

— Нет, нет, я прекрасно знаю, что любовниками вы не были. Это ты предоставила мне — ведь кровь богов не может смешиваться с кровью смертных, не так ли? На мою долю ты не посягала — взяв от него все, что тебе было нужно, ты позволяла ему уползать домой ко мне, пока он снова тебе не понадобится. Недели и месяцы вы проводили в походах, бок о бок ночью и днем, и у вас были общие победы, советы, тяготы, общий солдатский хлеб и грубые шутки. А потом он приходил ко мне — от раза к разу все более худой и поседевший, и засыпал, не доев ужина, и кричал во сне: «На правый фланг, скорей! Царица в опасности!» А утром, недоспав, во дворец: все в Гломе знают, что Царица — ранняя пташка. Вот потому я и говорю: ты оставила мне то, что осталось.

И взгляд ее, и голос безошибочно выдавали чувство, знакомое всем женщинам.

— Как? — вскричала я. — Неужто ты ревнуешь?

Она не ответила.

Я вскочила на ноги и откинула платок с лица.

— Взгляни, дура, только взгляни, — кричала я,— как ты могла ревновать его ко мне?

Она подняла глаза и посмотрела. Я втайне надеялась, что мое лицо испугает ее, но в глазах Ансит не было страха. Впервые за этот день упрямые губы ее дрогнули и слезы показались в уголках глаз.

— Ох, — прошептала она, — я и не знала... Так ты тоже...

— Что — тоже?

— Ты тоже любила его. И мучилась. Мы обе...

Мы обе заплакали и в тот же миг очутились в объятиях друг друга. Как это ни странно, ненависть наша иссякла в тот самый миг, когда Ансит узнала, что я всю жизнь любила ее мужа. Я уверена, что все было бы иначе, будь Бардия жив, но его больше не существовало, и нам нечего было делить: мы обе были изгоями, мы говорили на языке, который не понимал никто, кроме нас, в этом огромном равнодушном мире.

В нашем языке не было слов — одни рыдания, слова же были для нас подобны острым клинкам, и мы старались не извлекать их из ножен.

Но это наше состояние не продлилось долго. Мне не раз случалось видеть в бою, как воины сходятся с противником в смертельном единоборстве, но налетает шквал, швыряет им в глаза сухую пыль, опутывает мечи полами плащей. Тогда бойцы забывают друг о друге, вынужденные бороться с ветром. Так и мы с Ансит. Нечто, не имевшее отношения к делу, сделало нас сперва друзьями на короткое время, а затем врагами — и уже навсегда.

Мы высвободились из объятий (я не помню, как это произошло); мое лицо снова закрывал платок, губы Ансит вновь непреклонно сжались.

— Ладно, — сказала я. — Благодаря тебе я почувствовала себя на миг убийцей Бардии. Ты хотела причинить мне боль и добилась этого. Радуйся, ты отомстила. Но скажи, сама ты веришь в то, что сказала мне?

— Верю? Я не верю, я просто знаю, что царская служба выжала из моего мужа всю кровь — год за годом, по капле.

— Почему же ты не сказала мне? Одного твоего слова было бы довольно. Или ты подражаешь богам, которые дают советы, когда уже слишком поздно?

— Почему не сказала? — удивилась Ансит, гордо вскинув голову. — Чтобы ты оторвала его от трудов, в которых была вся его жизнь, вся его слава и доблесть (ибо что такое, в конце концов, какая-то женщина для мужчины и воина)? Чтобы сделать из него малое дитя или впавшего в детство старца, нуждающегося в уходе? Да, тогда бы он был только мой — но какой ценой?

— Но все же — только твой...

— Для меня важнее было принадлежать ему. Я была его женой, а не содержанкой. Он был моим мужем, а не комнатной собачкой. Он имел право жить такой жизнью, которой достойны великие мужи, — а не такой, какая угодна мне. Теперь ты отбираешь у меня сына. Илердия повернулся спиной к дому матери; его манят чужие земли и непонятные мне вещи. С каждым днем он будет все меньше принадлежать мне и все больше — тебе и миру. Но неужто ты полагаешь, что я буду препятствовать ему, даже если бы мне было довольно пошевелить пальцем?

— И ты могла — ты можешь — терпеть это?

— Ты еще спрашиваешь? О, Царица Оруаль, похоже, ты ничего не знаешь о любви! Нет-нет, я не права, просто, видно, царская любовь не такова, как наша. Вы ведете свой род от богов и любите, как боги. Как любит Чудище. Говорят, для него любить и пожирать — одно и то же, не так ли?

— Женщина, — сказала я. — Я спасла ему жизнь. Неблагодарная дура, ты бы стала вдовой на много лет раньше, не прикрой я его своим телом в день битвы при Ингарне. Меня тогда ранили, и рана до сих пор болит к перемене погоды. А где шрамы от твоих ран?

— Там, где они остаются у женщины, рожавшей восемь раз. Да, ты спасла его жизнь. Спасла, потому что она была тебе полезна. Ты бережлива, Царица! Зачем терять верный меч? Позор тебе, пожирательница людей. Ты съела стольких, что и не сосчитать: Бардию, меня, Лиса, твою сестру — обеих твоих сестер...

— Довольно! — закричала я. Воздух в комнате стал багряным. Мне пришло в голову, что, если я прикажу пытать и казнить ее, никто не сможет мне помешать. Арном не решится поднять голос. Илердия поднимет восстание, но не успеет спасти ее, когда она будет корчиться на острие кола, как майский жук, проткнутый булавкой.

Но нечто или некто (если боги, то хвала им) сдержали мой гнев. Я пошла к двери, открыла ее, обернулась и сказала:

— Если бы ты посмела говорить так с моим отцом, ты осталась бы без языка.

— Ну и что? — сказала она.

По дороге домой я подумала: «Она получит назад своего Илердию. Пусть живет дома и трудится на земле. Станет деревенским мужиком, будет сыто рыгать, рассуждая о ценах на скот. А я могла бы сделать его большим человеком. Но он станет ничтожеством, и пусть благодарит за это свою мать. Ей больше не удастся обвинить меня в том, что я пожираю чужие жизни».

Но я оставила Илердию при дворе.

Божественные Врачеватели уже привязали меня к верстаку и принялись за работу. Гнев недолго помогал мне защищаться от правды; гнев устает быстро. Ведь Ансит сказала правдивые слова — она сама не знала, насколько правдивые. Я наслаждалась избытком работы и заставляла трудиться со мной допоздна Бардию, задавала ему ненужные вопросы, только для того чтобы услышать его голос, делала все, чтобы отдалить то время, когда он уйдет домой и оставит меня наедине с пустотой моего сердца. Я ненавидела его за то, что он уходит домой. Я наказывала его за это. Мужчина не упустит случая, чтобы высмеять того, кто слишком сильно любит свою жену, а Бардия был в этом смысле очень уязвим; все знали, что он женился на бесприданнице, и Ансит часто хвасталась тем, что ей нет нужды брать в прислугу девушек пострашнее, как приходится делать другим. Сама я никогда не поддразнивала его, но всяческими хитростями делала так, чтобы другие поднимали Бардию на смех. Я ненавидела тех, кто шутил над Бардией, но издевки над его семейной жизнью причиняли мне сладкую боль. Может, я все-таки ненавидела его? Может быть. Любовь иногда состоит из ненависти на девять десятых, но при этом остается любовью. В одном нет никаких сомнений: в моих безумных ночных грезах (в которых Ансит умирала или, еще того лучше, оказывалась блудницей, ведьмой или изменницей), когда Бардия искал моей любви и сострадания, я заставляла его вымаливать у меня прощение. Иногда я терзала его так жестоко, что он был почти готов наложить на себя руки.

Но все кончилось так странно... Часы моих терзаний остались позади, и жажда

страсти угасла так же внезапно, как и возгорелась. Только тот, кто прожил долгую жизнь, знает, как многолетнее чувство, пропитавшее насквозь все сердце, может иссякнуть и увянуть в краткое время. Возможно, в душе, как и в почве, не самые красивые цветы пускают самые глубокие корни. А может, я просто постарела. Но, скорее всего, дело было вот в чем: моя любовь к Бардии (не сам Бардия) стала для меня невыносимой. Она завела меня на такие высоты и бросила в такие глубины, где любовь уже не может существовать — она задыхается то от отсутствия, то от избытка воздуха. Жажда обладать тем, кому не можешь дать ничего, изнашивает сердце. Только небу ведомо, как мы мучили его попеременно — то я, то Ансит. Ведь не нужно быть Эдипом, чтобы догадаться, как каждый вечер она ждала его, питая в сердце ревность ко мне, и эта ревность отравляла его домашний покой.

И когда жажда эта иссякла, все, что я называла собой, ушло вместе с нею. Словно у меня вырвали душу, как больной зуб, и на ее месте осталась дырка. Большего зла боги мне не причинят — так я тогда думала.

Глава вторая

Через несколько дней после моего визита к Ансит настало Новогодие. Я уже писала, что в этот день Жреца запирают на закате в Доме Унгит, а наутро он выбирается наружу и как бы рождается вновь. Разумеется, как во всех этих священных делах, Жрец рождается только в определенном смысле; Лис обожал обличать все противоречия и несуразности этого обряда. Когда Жрец прорывается к двери, на него нападают люди, вооруженные деревянными мечами, и обливают его вином, что означает кровь, и хотя говорится, что Жрец заперт в Доме Унгит, заперты только главная дверь и западная, а две маленькие двери все равно открыты, и любой может войти в них и выйти, если пожелает.

Когда в Гломе Царь, ему положено оставаться в храме на всю ночь вместе со Жрецом; но деве лицезреть ночные таинства не подобает, поэтому я вошла к Унгит за час до Рождения. (Кроме царствующей особы, при Рождении присутствует по одному человеку от князей, старейшин и народа, избранному священным порядком, о котором мне писать не дозволено.)

На этот раз утро Новогодия выдалось ясное и свежее. С юга веял теплый ветерок, и, может быть, именно поэтому мне особенно не хотелось идти в священный сумрак обиталища Унгит. Я уже, помнится, писала о том, что Арном сделал храм чище и светлее, но все равно было мрачно и душно, особенно на утро Новогодия, после совершения жертвоприношений, многочасового каждения, кропления вином, после пиршества и плясок храмовых девушек и всенощного сжигания тука. Так сильно пахло потом и воздух был таким спертым, что в обычном жилище смертного даже самая неряха хозяйка давно бы уже принялась проветривать и убираться.

Я вошла в храм и села на плоский камень. Это мое обычное место, и оно расположено прямо напротив воплощения Унгит; новое изваяние стоит по левую руку от меня, место Арнома по правую. Арном, в облачении и маске, чуть не падал от усталости. Где-то негромко били в барабан, кроме этого не было слышно ни звука.

Я увидела ужасных девушек, сидевших в ряд по обеим сторонам храма. Они сидели на корточках, каждая у двери своего закутка, год за годом. Через несколько лет сидения они становились бесплодными, но продолжали сидеть, пока не превращались в беззубые шамкающие развалины, ползающие по полу с вениками или с хворостом для горящих день и ночь очагов. Иногда, находя серебряную монетку или полуобглоданную кость, они птичьим движением хватали их и прятали в складки своих балахонов. И я задумалась над тем, почему столько мужского семени, от которого могли бы родиться крепкие мужи и плодовитые жены, растрачивается впустую в Доме Унгит, и столько серебра, заработанного тяжким людским трудом, поглощается бездонной жаждой богини, и сами девушки — их тоже пожирает ее ненасытная пасть.

Затем я посмотрела на саму Унгит. В отличие от многих других священных кам-

ней, она не упала с неба. О ней говорили, что она, напротив, восстала из земли, словно посланец тех неведомых сил, которые вершат свои темные труды в сырости, тепле и гнете подземелий. Я говорила, что она безлика, но это не совсем так — у нее тысячи лиц. В этом бугристом, неровном, изъеденном временем камне всегда можно увидеть какое-нибудь лицо — как в пламени, если долго в него всматриваться. Сейчас богиня выглядела даже причудливей обычного из-за жертвенной крови, которую на нее вылили за ночь. И все эти пятна и потеки внезапно сложились в лицо на какой-то миг, но этого мига хватило, чтобы оно навсегда запало мне в душу. Лицо, несомненно, женское — широкое, как каравай, вздувающееся от новой жизни, как тесто в квашне. Так иногда выглядела Батта, когда мы были очень маленькими и она любила даже меня. Помню, она обняла меня однажды, а я вырвалась и убежала в сад, чтобы избавиться от этого жаркого, мощного, властного, но при этом мягкого-мягкого прикосновения. «Да, — подумалось мне, — Унгит сегодня почти как Батта».

— Арном, — спросила я шепотом, — кто такая Унгит?

— Я думаю, Царица, — ответил он (голос его так странно звучал из-под маски), — она — мать-земля, прародительница всего сущего.

Это были новые для Глома представления о богах, которые Арном и остальные усвоили от Лиса.

— Если она мать всего сущего, — сказала я, — как же она еще и мать бога Горы?

— Он — воздух и небо, а облака рождаются из испарений и влаги земли.

— Почему тогда в некоторых преданиях он и ее муж тоже?

— Поскольку небо оплодотворяет землю дождем.

— Если все это так, к чему тогда столько тайны?

— Несомненно, — сказал Арном (и я могла бы поклясться, что он зевнул под маской, утомленный ночным бдением), — несомненно для того, чтобы истина не стала достоянием черни.

Я не стала его долее пытать расспросами, но про себя подумала: «Как странно, что наши предки сомневались, стоит ли сказать напрямую, что дождь идет с неба, и, чтобы столь великая тайна не стала всеобщим достоянием, сочинили нескладную сказочку. Лучше бы уж вообще промолчали».

Барабанная дробь не смолкала. Я устала сидеть, у меня болела спина; тут справа от меня открылась одна из маленьких дверок, и в нее вошла женщина, похожая на крестьянку. Было видно, что она пришла не на праздник, а по неотложному личному делу. Она была печальна (хотя даже бедняки веселятся на Новогодие), и слезы струились у нее по лицу. Она выглядела так, словно проплакала всю предыдущую ночь. В руках она держала живого голубя. Один из младших жрецов подошел к ней, взял ее скромное приношение, распорол голубю брюшко каменным ножом и окропил Унгит теплой кровью. (Кровь на увиденном мною лице стекала с губ и капала, как слюна.) Тушка жертвы досталась одному из храмовых рабов. Крестьянка распласталась перед Унгит. Она лежала долго, и плечи ее так тряслись, что любой бы догадался, как велико ее горе. Затем она внезапно перестала рыдать, встала на колени, откинув волосы с лица, и глубоко вздохнула. Потом она поднялась на ноги, обернулась, и наши глаза встретились. Она была спокойна, лицо ее словно осушила невидимая губка (она стояла так близко, что я не могла ошибиться). Видно было, что эта женщина ко всему готова и на все решилась.

— Дитя мое, дала ли тебе утешение Унгит? — спросила я крестьянку.

— О да, Царица, — сказала женщина, и лицо ее просияло. — О да! Унгит дала мне великое утешение.

— Ты всегда молишься этой Унгит, а не вот той? —сказала я, показав сперва на бесформенный камень, а затем — на прекрасное изваяние (что бы там ни говорил о его достоинствах Лис).

— Да, Царица, я молюсь только этой, — ответила крестьянка. — Та, другая, — греческая, она по-нашему не понимает. Она — для людей ученых. Что ей до наших бед...

Близился полдень, когда после шутовского побоища мы следом за Арномом должны были выйти через западную дверь. Я прекрасно знала, что нас ждет снару-

жи: возбужденная толпа, кричащая: «Родился! Родился!», крутящая в воздухе трещотки, разбрасывающая пригоршнями пшеницу, дерущаяся за право увидеть хотя бы краешком глаза Арнома со свитой. Но сегодня я обратила внимание совсем на другое. Впервые я заметила, как искренне радуются люди, прождавшие в тесноте, где и не продохнуть, долгие часы. У каждого из них свои заботы и печали (у кого их нет?), свои тревоги, но они забывают про все и ликуют как дети, когда человек в птичьей маске, вооруженный деревянным мечом, вырывается из западной двери на свободу. А те, кому в толкотне, вызванной нашим появлением, сильно намяли бока, смеются даже громче, чем остальные. Я увидела двух крестьян — заклятых врагов (на их тяжбы у меня уходило столько же времени, сколько на тяжбы всех прочих гломцев), которые лобызали друг друга с криками «Родился!», став на миг лучшими друзьями.

Я пошла домой, надеясь отдохнуть, потому что сидеть на плоском камне — не для старых костей. Дома я впала в глубокую задумчивость.

Внезапно кто-то сказал:

— А ну встань, девочка!

Я открыла глаза. Передо мной стоял мой отец. Все долгие годы моего царствования тут же рассеялись как сон. Как я могла поверить в сон? Как я могла поверить в то, что мне удастся ускользнуть из лап Царя? Я покорно встала с ложа и протянула руку за моим платком, чтобы привычно накинуть его на лицо.

— Брось эту придурь! — заорал отец, и я послушно положила платок на место. — Мы идем в Столбовую залу, — повелел отец.

Я спустилась по лестнице следом за ним (во всем дворце никого не было) и вошла в Столбовую залу. Он смотрел по сторонам, и я очень испугалась — мне показалось, что он ищет свое зеркало. Я помнила, что подарила его Редивали, когда та стала царицей Фарсы, и теперь опасалась его гнева. Но отец прошел в угол комнаты и взял там две кирки и лом (кто бы подумал, что такое может быть рядом с троном!).

— За работу, ведьма! — воскликнул он и протянул мне кирку.

Мы начали ломать мощеный пол в самой середине залы. Мне было очень тяжело работать — болела спина. После того как мы вывернули несколько плит, под ними открылось темное отверстие, похожее на колодец.

— Прыгай вниз! — приказал Царь, ухватив меня за руку.

Как я ни отбивалась, он столкнул меня туда и прыгнул сам. Пролетев большое расстояние, мы упали на что-то мягкое и даже не ушиблись. Там, куда мы попали, было тепло, а воздух был такой душный, что не вздохнешь, но слабый свет позволил мне рассмотреть все вокруг. Мы были в помещении, во всем подобном Столбовой зале, которую мы только что покинули, если не считать того, что оно было меньше и все в нем — пол, стены, потолок — было земляное. И снова мой отец огляделся по сторонам, и я опять испугалась, что он спросит про зеркало. Но вместо этого он прошел в угол, взял там две лопаты и сказал:

— За работу! Ты что, надеешься проваляться в постели всю жизнь?

И мы начали копать яму в середине комнаты. На этот раз было еще тяжелее, потому что под ногами у меня была плотная глина, которую лопатой приходилось скорее резать, чем копать. Кроме того, дышать было очень трудно. И тем не менее мы вскоре откопали еще один колодец. Теперь я уже знала намерения отца и попыталась увернуться, но он сказал:

— Опять мне противишься? А ну, прыгай!

— Нет, нет! — кричала я. — Пощади! Я не хочу туда!

— Тут уже Лис тебе не поможет, — сказал отец. — Лисьи норы не так глубоки.

И мы прыгнули в яму и летели дольше, чем в прежний раз, но снова упали на мягкое и не ушиблись. Здесь было намного темнее, хотя я все равно видела, что это еще одно подобие Столбовой залы, но стены на этот раз вырублены в скале, а вода сочится прямо из них. Она была еще теснее, чем земляная комната, к тому же я случайно заметила, что она становится все меньше и меньше. Крыша опускалась на нас, а стены грозили вот-вот сомкнуться. Я хотела крикнуть отцу, что нам нужно спешить, если мы не хотим быть погребенными заживо, но я задыхалась и не могла кричать. Тогда я подумала: «Ему все равно, он уже мертвый!»

— Кто такая Унгит? — сказал отец, сильно сжав мою руку в своей.

Он повел меня к стене, и там я увидела зеркало. Оно было на своем обычном месте. Увидев его, я совсем испугалась и не могла идти дальше, но отец властно тянул меня к зеркалу. Руки его стали большими, мягкими и цепкими, как руки Батты, вязкими, как глина, в которой мы только что копались; как тесто, готовое к выпечке. Он тянул меня, словно присосавшись к моей руке, и я вынуждена была стать перед зеркалом. И я увидела в зеркале его лицо; оно было таким же, как в тот день, когда он подвел меня к зеркалу перед Великим Жертвоприношением.

Но мое лицо было лицом Унги́т — таким, каким я увидела его утром.

— Кто такая Унгит? — спросил Царь.

— Унгит — это я.

Голос почти со всхлипом вырвался у меня из горла, и я очнулась в холодном свете дня у себя в покоях. Все, что́ я видела, люди назвали бы сном. Но я должна сказать, что с того дня мне становилось все труднее отличить сон от яви, потому что сны были правдивее. И этот сон был правдивым. Это я была Унгит. Это раскисшее лицо в зеркале было моим. Я была новой Баттой, всепожирающей, но бесплодной утробой. Глом был моей паутиной, а я — старой вздувшейся паучихой, объевшейся людскими жизнями.

— Я не хочу быть Унгит, — сказала я.

Меня бил озноб. Я встала с ложа, взяла свой старый меч — тот, владеть которым учил меня Бардия, — и извлекла его из ножен. При взгляде на этот клинок, который не раз приносил мне удачу, слезы брызнули у меня из глаз.

— Меч мой, — сказала я. — Тебе одному верю в жизни. Ты убил Эргана. Ты спас Бардию. Тебе осталось совершить главное.

Конечно, я говорила чушь: ведь меч стал для меня теперь слишком тяжелым, и моя дряхлая морщинистая рука была слабее руки ребенка. Я не могла поднять его и нанести верный удар, а к чему приводит удар неверный, я насмотрелась на войне. Так мне не удастся покончить с Унгит. Я села — слабая, беспомощная, ничтожная — на край ложа и стала думать.

В смертных людях есть нечто великое, что́ бы об этом ни думали боги. Они способны страдать бесконечно и беспредельно.

Все, что случилось дальше, могут назвать сном, могут назвать явью — сама я не берусь судить. По-моему, единственное различие между явью и сном заключается в том, что первую видят многие, а второй — только один человек. Но то, что видят многие, может не содержать ни грана правды, а то, что дано увидеть только одному, порой исходит из самого средоточия истины.

Этот ужасный день наконец закончился. Все дни рано или поздно кончаются, и в этом — великое утешение; может быть, только в стране мертвых есть такие страшные места, где один и тот же день не кончается никогда. Когда все в доме уснули, я накинула черный плащ, взяла палку, чтобы опираться на нее (думаю, та телесная немощь, от которой я сейчас умираю, началась именно тогда), и решила выйти наружу. Мой платок теперь уже не помогал мне остаться неузнанной — напротив, именно по нему всякий признал бы во мне Царицу. Мое лицо — вот теперь самая надежная маска: ведь нет в живых почти никого, кто бы видел его. И вот, впервые за много лет, я решилась выйти из покоев без платка, показав свое лицо всем — жуткое, как говорили некоторые, даже не подозревая, насколько близки к истине. Мне было бы не стыдно выйти и нагишом, ведь я выглядела бы для них как Унгит: я сама видела это в зеркале в том подземелье. Как Унгит? Я и была Унгит, а она — мной. Может, увидев меня, люди начнут мне поклоняться. Люди, сказал бы старый Жрец, сочтут меня священной.

Я вышла из дворца, как уже часто случалось, через маленькую восточную дверь, ведущую на зады. Я прошла с большим трудом (так я была слаба) через спящий город. Мне подумалось, что мои подданные вряд ли спали бы так крепко, если б знали, что за чудище расхаживает у них под окнами. Только один раз я услышала, как плачет ребенок; возможно, я ему приснилась во сне. «Если Чудище начнет разгуливать по городу, люди испугаются», — говорил старый Жрец. Раз я стала Унгит, почему

бы мне не стать и Чудищем? Ведь боги принимают обличья друг друга так же легко, как обличья смертных.

Наконец, едва держась на ногах от слабости, я вышла за городскую ограду и спустилась к реке. Я углубила русло старухи Шеннит, а раньше в ней можно было утопиться только в разлив.

Мне нужно было пройти немного вдоль реки до того места, где берег высок и обрывист; там я намеревалась броситься в реку, потому что не была уверена, что у меня хватит смелости входить в воду и ощущать, как смерть добирается мне сперва до колен, а затем до шеи. Дойдя до обрыва, я связала себе ноги поясом в щиколотках, потому что, даже такая старая и слабая, я все равно бы невольно продлила свои мучения — ведь плавала я неплохо. В таком виде я двинулась к краю обрыва нелепыми скачками, как связанный пленник.

Вот так — я бы пришла в ужас и посмеялась над собой, если б видела себя со стороны! — я допрыгала до самого края.

Откуда-то из-за реки прозвучал голос.

— Не делай этого! — сказал он.

Внезапно — у меня до сих пор мороз по коже — волна огня прошла по всему моему телу. Это был голос бога. Кому как не мне было его узнать? Именно этот голос погубил меня когда-то. Их голоса ни с чем не спутаешь. Хитростью жрецы иногда заставляют людей принять человеческий голос за голос бога. Но обратного не удавалось еще никому.

— Господин, кто ты? — спросила я.

— Не делай этого, — повторил бог. — Ты не скроешься от Унгит в царстве мертвых, она — и там. Умри прежде смерти, потом будет поздно.

— Господин, я и есть Унгит.

Бог не ответил. Голоса богов таковы, что, когда они замолкают, пусть это было всего один удар сердца тому назад и пусть медный звон их слов, высоких, как могучие колонны, еще звучит в твоих ушах, все равно тебе кажется, будто прошли тысячи лет, с тех пор как они смолкли. И ждать от них новых слов — все равно что молить о яблоке, висевшем на первой яблоне при сотворении мира.

Голос бога был таким же, как много лет тому назад, но я стала другой. Я не стала прекословить, я повиновалась.

Я вернулась домой, вновь потревожив город стуком моего посоха и черной тенью ночной колдуньи. Я заснула как убитая, едва голова моя коснулась подушки, и когда служанки пришли будить, мне показалось, что я не проспала и мига, так что трудно сказать, было ли все это сном, или просто утомление мое было так велико, что я утратила чувство времени.

Глава третья

Затем боги оставили меня на несколько дней, чтобы я смогла усвоить хотя бы то, что уже услышала. Я была Унгит. Что это означает? Неужели боги так же свободно воплощаются в нас, как и друг в друге? И они действительно не позволят мне умереть до смерти? Я знала, что далеко в Греции, в Элевсине, существуют такие обряды, в которых, говорят, человек умирает, воскресает и живет вновь, хотя все это время душа не оставляет его тело. Но как мне добраться туда? Затем я вспомнила, о чем говорил Сократ с друзьями, перед тем как выпил цикуту. Он сказал им, что истинная мудрость заключается в искусстве умирать. И мне подумалось, что Сократ разбирался в этих делах лучше, чем Лис, потому что в той же самой книге он говорит, что душа «готова отпрянуть перед невидимым и ужасным»; я даже спросила себя, не довелось ли ему испытать то же самое, что испытала я в долине у Психеи. Но мне все-таки кажется, что под смертью, которая есть мудрость, Сократ разумел смерть наших страстей, желаний и самомнения. И тут (как я все-таки глупа!) я прозрела и увидела, что́ я должна сделать. Сказать, что я — Унгит, означает, что моя душа подобна ее душе, что она ненасытна и кровожадна. Но если я буду, подобно Сократу, жить в согласии с истиной, моя уродливая душа станет прекрасной.

Боги мне помогут... Помогут ли? И все-таки стоит попытаться, хотя мне кажется, помогать мне они не станут. Каждое утро я должна вставать со спокойными и светлыми мыслями... Но я же знаю, что еще не кончат меня одевать, как на меня снова нахлынет гнев, или сожаление, или мучительные грезы, или горькое отчаяние. Я и полчаса не смогу продержаться как надо. И услужливая память напомнит мне о тех ужасных днях молодости, когда я пыталась поправить свое уродство всяческими ухищрениями, прическами и яркими нарядами. Холодный пот выступил у меня на лбу, когда я поняла, что собираюсь вновь взяться за то же самое. Так не удалось приукрасить даже лицо, что же говорить о душе! И с чего я взяла, что боги мне не помогут в этом?

Увы! Ужасная догадка, невыносимая, тяжкая, как камень на груди, навалилась на меня, и она была беспощадно похожа на истину. Никто не полюбит тебя, пускай ты отдашь за него жизнь, если боги не одарили тебя красивым лицом. Значит (почему бы и нет?), боги не полюбят тебя (как бы ты ни страдал и что бы ты ни делал, стараясь угодить им), если тебе не дано прекрасной души. Каждый отмечен с рождения любовью или презрением людей и богов. Уродство наше, внутреннее или внешнее, рождается вместе с нами и сопровождает нас по жизни как участь. Как горька эта участь, знает любая несчастная женщина. Всегда видеть сны об ином мире, иной стране, иной судьбе, когда скрытое в нас проявится и затмит все прелести тех, кому повезло больше. Да, но если и там, за этим порогом, мы будем отвергнуты и презренны?

Пока я так рассуждала, мне было еще одно видение или сон (называйте как знаете), но на сон оно совсем не походило. Я вошла к себе в первом часу пополудни (никого из прислуги не было) и сразу попала внутрь видения — мне не пришлось для этого даже присесть или прилечь на ложе. Я стояла на берегу очень широкой и полноводной реки. На другом берегу бродило стадо каких-то животных (я думаю, это были овцы). Когда я рассмотрела животных внимательнее, я увидела, что стадо состоит из одних овнов, высоких, как лошади, с огромными величественными рогами, с руном, настолько подобным золоту, что блеск его слепил мне глаза. (Небо было пронзительно-голубым, трава зеленела, подобно изумруду, а под каждым деревом лежала тень с такими резкими краями, каких я никогда не видела прежде. Воздух этой страны был слаще всякой музыки.) Эти овны, подумала я, принадлежат богам. Если я украду клок их руна, я обрету красоту. Кудри Редивали — ничто в сравнении с этой куделью. И в видении этом я не побоялась сделать то, чего не смогла сделать на берегу Шеннит; я вступила в холодную воду, и она дошла мне сперва до коленей, затем до пояса, затем до шеи, затем ноги перестали доставать до дна, и я поплыла и вышла на другой стороне, там, где угодья богов. И я пошла по священным травам, с сердцем, исполненным добра и радости. Но тут овны устремились ко мне, подобно волне жидкого золота, сбили меня с ног своими завитыми рогами и прошлись по мне острыми копытами. Они не хотели сделать мне больно — они просто резвились и, возможно, даже и не заметили меня. Я понимала их: они топтали меня и давили от избытка радости, безо всякого злого умысла — наверное, так сама Божественная Природа разрушает нас и губит, не питая к нам никакого зла. Мы, глупцы, зовем это гневом богов, но это так же смешно, как утверждать, что ревущие речные пороги в Фарсе поглощают упавшую в воду муху, потому что хотят погубить ее.

Но овны не убили меня. Я осталась в живых и даже поднялась на ноги. И тогда я увидела, что, кроме меня, там была еще одна смертная женщина. Она, казалось, не видела меня и брела по невысокой гряде, которой кончалось пастбище, и что-то подбирала, как подбирают крестьяне колоски после жатвы. И тут я догадалась, что она делала: на шипах терновника висели клочья золотой кудели! Ну конечно! Овны оставили ее, пробежав через колючий кустарник, и теперь эта женщина собирала богатый урожай. То, что я тщетно пыталась добыть, едва не погибнув под копытами, давалось незнакомке легко и без лишних тревог. Безо всяких усилий она получила то, чего я тщилась добиться.

Я уже отчаялась, что когда-нибудь перестану быть Унгит. Хотя стояла весна, во мне все царила зима, сковавшая все мои силы. Казалось, я уже умерла, но не в том смысле, о котором говорили боги и Сократ. Несмотря на это, я продолжала ходить, говорить, отдавать распоряжения, и никто не смог бы найти во мне никакого изъяна.

Напротив, приговоры, которые я выносила, люди находили мудрыми и справедливыми как никогда; судить мне нравилось больше всего, и я отдавала этому занятию все свои силы. Но при этом все подсудимые, истцы и свидетели казались мне не живыми людьми, а тенями, и меня не слишком заботило (хотя я искала истину с прежним усердием), кто тут хозяин пашни, а кто украл у сыродела сыры.

Одна только мысль утешала меня: даже если Бардия и впрямь был моей жертвой, Психею я любила чистой любовью, и ни один бог никогда не докажет мне обратного. Я цеплялась за эту мысль, как больной, прикованный к постели, или узник в темнице цепляются за свою последнюю надежду. Однажды, сильно устав от государственных трудов, я взяла эту книгу и вышла в сад, чтобы перечитать ее и найти утешение в том, как я заботилась о Психее и учила ее, как я пыталась спасти ее и ранила при этом себя.

Что случилось дальше, было, несомненно, не сном, а видением. Это началось еще до того, как я присела и развернула свиток. Глаза мои не были сомкнуты.

Я шла по палящей пустыне, неся в руках пустой кувшин. Я отлично знала, что́ мне нужно сделать. Я должна была найти источник, питаемый водами реки, текущей в стране мертвых, наполнить кувшин и принести его Унгит, не пролив ни капли. В видении я не была Унгит — только ее пленницей или рабыней, и я выполняла все ее поручения, чтобы она отпустила меня на свободу. Итак, я шла по щиколотку в раскаленном песке, от песчинок у меня першило в горле, а безжалостное солнце стояло так высоко, что тело мое не отбрасывало тени. И я так хотела пить, что готова была утолить жажду даже водой из реки мертвых; пусть она горька, думалось мне, но, верно, холодна, раз течет из краев, где никогда не встает солнце. Я шла лет сто, не меньше. Но наконец пустыня кончилась, и я оказалась у подножия высоких гор, таких крутых, что никто не смог бы на них взобраться. Со склонов часто срывались камни, глыбы с грохотом бились о скалы, а потом с глухим ударом падали на песок — и других звуков там не было. Глядя на скалы, я сперва подумала, что на них ничего нет; копошение на камнях я приняла за игру света и тени. Но потом я разглядела, что́ это было на самом деле: бесчисленные змеи и скорпионы ползали и свивались в клубки на склонах гор. Это была огромная пыточная, где орудиями пытки были ползучие гады и скорпионы. И мне стало ясно, что родник, к которому я так стремлюсь, лежит в самом сердце этих гор.

— Мне не добраться до цели, — сказала я.

Я села и сидела на огненном песке, пока мне не стало казаться, что мое мясо сварилось и вот-вот отделится от костей. И тут тень набежала на то место, где я сидела. «Великие боги! — подумала я. — Неужто облако?» Я посмотрела на небо и чуть не ослепла, потому что солнце по-прежнему ярко сияло; казалось, я попала в страну, где вечно царит день. Но, несмотря на ослепительный свет, который словно прожигал мои глаза до самого мозга, я заметила в небе черную точку, слишком маленькую для облака. Она двигалась кругами, и тут я поняла, что это птица. Когда она спустилась ниже, стало видно, что это огромный орел, куда больше тех, что обитают в горах Фарсы. Орел опустился на песок и посмотрел на меня. Его лицо чем-то походило на лицо старого Жреца, но это был не его дух, а иное существо Божественной Природы.

— Женщина, — сказало оно, — кто ты?

— Оруаль, Царица Гломская, — ответила я.

— Значит, это не тебе меня послали помочь. Что за свиток у тебя в руках?

Я увидела, что все это время у меня в руках был не кувшин, а книга, и это неприятно удивило меня. Все мои надежды пошли прахом.

— Это моя жалоба на богов, — сказала я.

Орел забил крыльями, поднял голову и проклекотал:

— Наконец явилась! Явилась жена, обвиняющая богов!

Тысячекратное эхо прокатилось по склонам гор:

— Явилась... обвиняющая богов... богов.

— Идем, — сказал орел.

— Куда? — спросила я.

— В суд. Твой иск рассмотрят.

И он снова громко проклекотал:

— Явилась! Явилась!

И тогда из каждой расщелины и трещины выползли темные тени в человеческом облике и столпились вокруг меня; я уже не могла убежать. Они хватали меня и кидали один другому, возглашая громкими голосами, так что горы звенели от эха:

— Явилась! Жена явилась!

И голоса из горных недр отвечали им (мне так показалось):

— Ведите ее! Ведите ее на суд. Ее дело рассмотрят.

Меня тащили, толкали, иногда поднимали, пока не затянули в большую темную пещеру.

— Ведите ее! Суд ждет, — выкрикивали.

В пещере я задрожала — там было очень холодно после палящего зноя пустыни. И снова в спешке меня потащили в глубины горы, передавая с рук на руки и не переставая выкрикивать:

— Вот она, наконец явилась, к судье, к судье!

Затем голоса стали спокойней и тише:

— Отпустите ее! Пусть встанет! Тише! Тише! Дайте ей огласить жалобу!

Странные создания отпустили меня и оставили одну (так мне сначала показалось) во тьме. Затем разлился какой-то сумеречный свет, и я увидела, что стою на каменном постаменте посреди такой огромной пещеры, что не видно ни стен ее, ни свода. Вокруг меня клубилась неспокойная мгла, но вскоре глаза привыкли к полутьме, и я рассмотрела, что мгла эта была живой; это было собрание, посреди которого я стояла на каменном столбе. Никогда, ни во время мира, ни во время войны, мне не доводилось представать перед такой толпой. Там были десятки тысяч теней, и все они смотрели на меня. Среди них я различила Батту, моего отца, Лиса и даже Эргана. Как я раньше не догадывалась, что страна мертвых так густо населена! Духи стояли рядами, а ряды поднимались вверх амфитеатром невообразимых размеров, так что вскоре не только лиц, но и отдельных рядов уже нельзя было различить — они колебались серым зыбким маревом. Пещера была безмерной, но духам в ней было тесно. Судилище собралось.

Сам судья сидел прямо напротив и вровень со мной. Пол этого существа я не могла определить; оно было все с головы до ног окутано черным туманом.

— Снимите с нее все, — промолвил судья.

Чьи-то руки тотчас сорвали покров с моего лица, а затем и все, что на мне было. Дряхлая старуха с лицом Унгит стояла нагая перед бесчисленными зрителями. Ни одной нитки не осталось на мне; только моя книга, которую я сжимала в руке.

— Зачитай твою жалобу! — велел судья.

Я посмотрела на свиток и поняла, что это вовсе не моя книга; свиток был слишком маленьким и древним, пожелтевшим и истрепанным. Он был совсем не похож на ту книгу, которую я дописывала, пока Бардия лежал при смерти. Я решила, что брошу свиток себе под ноги, и растопчу, и скажу, что они украли у меня мою жалобу и подменили чем-то совсем другим. Но, против своей воли, я развернула свиток. Он был весь исписан, но не моим почерком; это были каракули — вычурные и в то же время уродливые, как тот рык, который слышался в надменном голосе моего отца, как лики, которые можно угадать в каменной Унгит. Ужас охватил меня. «Пусть делают со мной что хотят, но читать я этого не буду! Отдайте мне мою книгу!» — сказала я про себя. Но оказалось, что я уже начала читать вслух следующее:

— Я заранее знаю, что́ вы мне скажете. Вы скажете, что настоящие боги совсем не похожи на Унгит и я должна бы помнить это, потому что была в доме истинного бога и видела его самого. Лицемеры! Все это мне известно. Но разве это исцелит мою рану? Мне было бы легче стерпеть, будь вы все такими, как Унгит или Чудище. Вам известно, что у меня не было причин ненавидеть вас, пока Психея не завела речь о своем любовнике и его чертогах. Почему вы солгали мне, сказав, что Чудище пожрет ее? Почему этого не случилось? Тогда бы я оплакала ее, предала земле останки, поставила бы надгробие и... и... Но вы украли у меня ее любовь! Неужто вы не понимаете этого? Неужто вы полагаете, что нам, смертным, будет легче смириться с богами,

если мы узнаем, что боги прекрасны? Напротив, тем будет хуже для нас. Ибо тогда (мне известна власть красоты) в вас — соблазн и чары. Ибо тогда вы не оставите нам ничего стоящего. В первую очередь вы заберете у нас тех, кого мы любим больше всего, тех, кто более всего достоин любви. О, я уже вижу, как это случится: с течением веков слава о вашей красоте распространится все шире и шире, и сын покинет мать, невеста — жениха, подчиняясь соблазнительному зову богов. Они уйдут туда, куда мы не сможем пойти за ними. Для нас было бы лучше, будь вы мерзки и кровожадны. Лучше бы вы пили кровь любимых, чем крали их сердца! Но как это подло — похитить у меня ее любовь, дать ей умение видеть невидимое мне... Пусть лучше любимые будут нашими мертвецами, чем бессмертными у вас. Ах, вы скажете (сорок лет вы нашептываете мне это), что мне было дано достаточно знаков, чтобы поверить в незримый чертог, а я сама не хотела знать правды. А с чего мне было хотеть, скажитека? Девочка была моя. На каком основании вы украли ее и спрятали на ваших жутких высотах? Вы скажете, что я просто завидую. Завидую? Пока Психея была со мной, с чего мне было завидовать? Если бы открыли мои глаза, а не ее, вы бы вскоре убедились, что я и сама могу все объяснить ей, научить ее тому, чему научили меня, я позволила бы ей стать вровень с собой. Но слышать болтовню девочки, у которой в голове не было ни одной собственной мысли, кроме тех, что я туда вложила, слышать, как она разыгрывает из себя ясновидящую, пророчицу... чуть ли не богиню... кто бы смог стерпеть такое? Вот почему я утверждаю, что нет разницы, прекрасны вы или отвратительны. Боги существуют нам на горе и на беду. В этом мире нет места и для вас и для нас. Вы — как дерево, в тени которого мы чахнем от отсутствия света. Мы хотим жить собственной волей. Я жила собственной волей, а Психея жила моей, и никто, кроме меня, не имел на нее права. Конечно, вы скажете, что дали ей радость и счастье, подобных которым я не смогла бы ей дать, и посему я должна радоваться вместе с ней. С чего бы? Почему мне должно быть дело до какого-то нового, ужасного счастья, которое не я ей дала и которое разлучило нас? Неужто вы думаете, что я хочу, чтобы она была счастлива любым счастьем? Да лучше бы Чудище разорвало ее в клочья у меня на глазах! Вы украли ее, чтобы дать ей счастье? Что ж, то же самое могла бы сказать любая прельстительная шлюха, которая уводит мужа у жены, любой воришка, который сманивает от хозяина его раба или собаку. Вот именно, собаку. Свою я смогу прокормить сама, ей не нужно лакомств с вашего стола. Вы что, не помните, чья это была девчонка? Моя. Моя! Не знаете этого слова? Моя! Воры, мошенники! Сама виновата, еще не сказала вам, что вы пьете людскую кровь и пожираете людскую плоть. Но я не буду пока об этом...

— Довольно, — перебил меня судья.

Вокруг царило молчание. И тут до меня дошло, что я делала. Еще когда я читала жалобу, меня удивило, что я читаю так долго такой маленький свиток. Теперь я осознала, что книга была прочитана мною вслух раз десять, и я бы читала ее вечно, начиная читать каждый раз с первой строки, если бы судья не остановил меня. Голос, которым я читала книгу, звучал как-то странно, но именно поэтому я была наконец уверена, что это — мой собственный голос.

Молчание тянулось так долго, что, наверное, я успела бы прочесть жалобу целиком еще один раз. Наконец судья сказал:

— Ты получила ответ?

— Да, — сказала я.

Глава четвертая

Моя жалоба и была ответом. Я должна была сама выслушать ее из собственных уст. Люди редко говорят то, что хотят сказать на самом деле. Когда Лис учил меня писать по-гречески, он часто говаривал: «Дитя, сказать именно то, что ты намереваешься, все целиком, ничего не упустив и не прибавив, — в этом и заключается радостное искусство слов». Бойко сказано, но я отвечу на это, что, когда приходит время произнести речь, которая готовилась всю жизнь, которая ни на миг не поки-

дала сердца, твердилась и зубрилась наизусть, — тут уже не до радостного искусства слов. Я отлично знаю, почему боги не говорят с нами открыто, и не нам ответить на их вопросы. Пока мы не научились говорить, почему они должны слушать наш бессмысленный лепет? Пока мы не обрели лиц, как они могут встретиться с нами лицом к лицу?

— Предоставьте девчонку мне, — сказал знакомый голос. — Уж я научу ее!

Это сказал призрак моего отца.

Но тут сзади раздался новый голос — голос Лиса. Я думала, что он будет свидетельствовать против меня, но учитель сказал:

— О Минос, Радамант или Персефона, каким бы ни было твое имя, во всем виноват я, я и должен быть наказан по заслугам. Я научил ее повторять вслед за мной, как говорящую птицу: «Выдумки поэтов» и «Унгит — это лживый образ». Я приучил ее к мысли, что так можно ответить на все вопросы. Я ни разу не сказал ей: «Унгит — это, увы, слишком подлинный образ. И все другие лики Унгит, сколько бы тысяч их ни было... и в них есть истина. Настоящие боги в большей степени существа, чем слова и помышления». Я никогда не говорил ей, почему старый Жрец в темноте Дома Унгит испытывал такое, чего не могли доставить мне мои трезвые рассуждения. Она никогда не спрашивала меня (и я был этому рад), почему люди продолжают предпочитать бесформенный камень раскрашенной кукле Арнома. Разумеется, ответа я не знал, но не признался ей в этом. Я и сейчас не знаю. Все, что я знаю, — это то, что путь к истинным богам скорее лежит через Дом Унгит... нет, и это неверно, так же неверно, как то, что я сейчас вижу сон; но начинать нужно с этого, это первый урок, и только глупец застрянет на нем навечно. Жрецу хотя бы ведома необходимость жертвы. И жертвой станет — человек. Самая сердцевина его, самый корень — то, что в нем темно, сильно и дорого, как кровь. Пошли меня в Тартар, Минос, если только Тартаром можно исцелить пристрастие к бойкой речи. Я приучил ее к мысли, что лепета рассудка довольно для жизни — лишь бы слова были жидкими и прозрачными, как вода; ведь я вырос в тех краях, где воды в избытке и потому ее не особенно ценят. Я вскормил ее словами.

Мне хотелось закричать, что все это ложь — ведь учитель вскормил меня не словами, а любовью, которую он отдал мне, а не богам. Но было поздно. Суд, по-видимому, закончился.

— Успокойся, — перебил учителя судья. — Женщина — истица, а не подсудимая. Она обвиняет богов. Боги ей ответили. Если они выдвинут встречное обвинение против нее, потребуется другой, высший суд. Отпустите ее.

Куда мне было идти? Я стояла на каменном столбе, и кругом, куда ни посмотри, была пустота. Наконец я решилась и бросилась со столба прямо в волнующееся море призраков. Но не успела я достичь земли, как меня подхватили чьи-то сильные руки. Это был Лис.

— Дедушка! — заплакала я. — Ты живой, ты настоящий. А Гомер говорил, что никому не дано обнять души мертвых... что они только тени.

— Мое дитя, мое любимое дитя, — приговаривал Лис, целуя меня, как прежде, в глаза и лоб. — В одном я не ошибся — поэты часто лгут. Но за все остальное — ты же простишь меня?

— Я — тебя, дедушка? Нет, дай мне сказать: я же знаю, что те доводы, которые ты приводил, когда остался в Гломе, хоть и получил свободу, были только масками, под которыми ты спрятал свою любовь. Я же знаю, что ты остался только из жалости и любви ко мне. Я же знаю, что сердце твое разрывалось от тоски по Греции, — я должна была отправить тебя домой. А я набросилась на любовь, которую ты мне дал, как голодный пес на кость. Ах, дедушка, Ансит права. Я утучняла себя человечиной... Правда? Ведь правда же?

— Ах, доченька, ты права. Мне есть что прощать тебе, и я рад этому. Но я не судья тебе. Мы должны пойти к настоящим судьям. Я сам отведу тебя.

— К судьям?

— Конечно, доченька. Ты обвиняла богов, теперь их черед.

— Они не пощадят меня.

— Надейся на пощаду — и не надейся. Каков ни будет приговор, справедливым ты его не назовешь.

— Разве боги не справедливы?

— Конечно нет, доченька! Что бы сталось с нами, если бы они всегда были справедливы? Но пойдем, ты сама все поймешь.

Он повел меня куда-то. Мы шли, и становилось все светлее... Свет был ярким, с оттенком зелени, каким-то летним. Наконец я поняла, что это солнечный свет пробивается через листья винограда. Мы очутились в прохладной зале, с трех сторон окруженной стенами, а с четвертой — только колоннадой, затянутой густой зеленеющей лозой. За зеленью, в просветах между листьями я видела пышные травы и сияние вод.

— Здесь мы будем ждать, пока тебя не пригласят, — сказал Лис. — Но тут есть на что посмотреть.

Я увидела, что все стены залы расписаны рисунками, представлявшими различные истории. У нас в Гломе нет искусных художников, поэтому сказать, что я была в восторге от этих картинок — значит, ничего не сказать. Но я полагаю, они изумили бы любого смертного.

— Начало здесь, — сказал Лис, взяв меня за руку.

Он подвел меня к стене, и я сперва испугалась, что он ведет меня к зеркалу, как уже дважды проделал мой отец. Но когда мы подошли ближе к картине, ее красота развеяла все мои страхи.

Мы стали перед первой картиной, и я увидела, что на ней изображено: женщина направлялась к берегу реки — то есть, я хочу сказать, было видно, что она не стоит, а именно идет. Сперва я не могла понять, в чем тут дело, но пока я думала, ожила вся картина: по воде пробежала рябь, тростник пришел в движение, и трава пригнулась от ветра, женщина же подошла к обрыву, наклонилась и стала делать что-то непонятное со своими ногами. Затем я разглядела, что она связывает себе ноги поясом. Я присмотрелась, но женщина на картине не была мною. Она была Психеей.

Я уже немолода, и у меня нет времени в который раз описывать ее красоту. Но даже если бы я взялась за это, мне не удалось бы найти верных слов — она была неописуемо прекрасна. Я смотрела на нее так, словно никогда не видела ее прежде.

Может, я просто забыла... нет, это невозможно — даже на миг, даже ночью во сне забыть такую красоту. Но все эти мысли только пронеслись в голове, потому что в следующее же мгновение меня охватил ужас — я поняла, что́ она собирается делать.

— Не делай этого! Не делай! — кричала я, как будто Психея могла меня слышать.

Тем не менее она остановилась, развязала себе ноги и ушла. Лис подвел меня к следующей картине. Она тоже ожила, и я увидела, как Психея в лохмотьях, скованная цепями, в непроглядной тьме какого-то мрачного места — пещеры или темницы — перебирает зерна, раскладывая их по отдельным кучам. Но, удивительное дело, я не заметила, вопреки ожиданиям, на ее лице ни следа страдания. Она работала спокойно, наморщив лоб, как обычно в детстве, когда ей попадалась слишком трудная задачка (но и это выражение ей шло — а что ей не шло?). Во взгляде ее не было отчаяния, и я поняла почему: ей помогали муравьи. Весь пол был черен от бесчисленных маленьких тварей.

— Дедушка, — сказала я, — она...

— Тс-с! — шикнул на меня Лис, приложив толстый старческий палец (сколько лет прошло с тех пор, как это случилось в последний раз?) к моим губам. Он взял меня за руку и повел к следующей картине.

И я снова увидела угодья богов. Я увидела Психею, которая осторожно, как кошка, крадется вдоль колючих зарослей, думая, как бы добыть хотя бы клочок золотой шерсти. И снова, еще больше, чем в прошлый раз, меня потрясло выражение ее лица. Психея была озадачена, но как бывают озадачены какой-нибудь трудной игрой; мы обе часто так смотрели на Пуби, играющую в свои бусы. Казалось, она даже посмеивается над своим замешательством. (Я замечала, когда Психея была еще ребенком, что даже наедине с собой она теряет терпение так же редко, как в обществе учителя.) Но ей не пришлось долго думать: овны увидели какого-то пришельца, под-

няли свои ужасные рогатые головы и кинулись на противоположный конец поля, на бегу тесня свои ряды по мере приближения к врагу, пока спины их не стали казаться сплошной золотой стеной. Тогда Психея рассмеялась, захлопала в ладоши и стала собирать драгоценный урожай с колючих ветвей.

На следующей картине я увидела Психею вместе с собой, но я была только тенью. Мы брели по горячему песку: она — с кувшином в руке, я — с книгой, полной горечи и яда. Она не видела меня, и хотя лицо ее было бледно от жары, а губы потрескались от жажды, она вовсе не казалась жалкой. Она была не более несчастной, чем когда в жаркий летний день возвращалась вместе со мной и Лисом с прогулки по холмам. Она была в прекрасном настроении, и по тому, как шевелились ее губы, можно было предположить, что она поет. У подножия гор я куда-то исчезла, а к Психее прилетел орел, взял у нее из рук кувшин, а потом принес его назад, полный воды из страны мертвых.

Мы обошли уже две стены из трех.

— Доченька, — сказал Лис, — ты все поняла?

— Это правда — все, что на этих картинах?

— Здесь все правда.

— Но как она могла... правда ли, что она... совершила такое... в таких местах... и не?.. Дедушка, она подвергалась ужасной опасности, но при этом была чуть ли не счастлива.

— Потому что другая взяла на себя все ее страдания и муки...

— Неужели — я? Неужели?

— Разве ты не помнишь, что я объяснял тебе? Мы все — члены и органы единого целого, значит, мы — как одно тело, одно существо: боги, люди, все живое. Трудно сказать, где кончается одно бытие и начинается другое.

— О великие боги! Как я благодарна вам. Значит, это и в самом деле я!..

— ...несла ее муки. Но благодаря этому она со всем справилась. Или ты предпочитаешь справедливость?

— Ты смеешься надо мной, дедушка? Справедливость? Да, я была царицей, я знаю, что нельзя оставаться глухой, когда народ требует справедливости. Но не о справедливости же стенала я, брюзжала какая-нибудь Батта, хныкали разные Редивали: «Почему ей можно, а мне нельзя? Почему ей дано, а мне не дано? Это нечестно, нечестно!» Фу, какая мерзость!

— Неплохо сказано, доченька! А теперь соберись с духом и посмотри, что изображено на третьей стене.

На картине мы увидели Психею, которая спускалась по подземному ходу в глубь Земли; ход был просторным, но вел только вниз, все время вниз.

— Это последнее испытание, которое назначила ей Унгит. Она должна...

— Значит, Унгит на самом деле существует?

— Все мы, и Психея тоже, рождены в Доме Унгит. И все мы должны обрести от нее свободу. Или еще говорят, что Унгит в каждом должна породить своего сына — и умереть родами. Ты видишь Психею, которая спускается в страну мертвых, чтобы принести оттуда в ларце красоту царицы этой страны — самой Смерти; этот ларец она должна отдать Унгит, чтобы та стала красивой. Но есть одно условие: если, из страха ли, любезности, любви или жалости, она заговорит с кем-нибудь на обратном пути, она никогда больше не увидит солнечного света. Она должна идти молча, пока не выйдет за границы царства Повелительницы Теней. А теперь — смотри!

Он мог бы меня и не упрашивать. Мы глядели не отрываясь: Психея шла, спускалась все глубже и глубже, и вокруг становилось все темнее и холоднее. В одном месте проход, по которому она шла, раздался и открылся вид куда-то вбок, откуда лился холодный свет и где стояла большая толпа людей. По одежде и выговору было видно, что это — жители Глома. Я узнала знакомые лица.

— Истра! Царевна! Унгит! — кричали они, простирая к Психее руки. — Останься с нами! Будь нашей богиней! Прими наши жертвы! Правь нами! Изрекай нам пророчества! Будь нашей богиней!

Психея прошла мимо, даже не посмотрев на них.

— Кто бы ни был ее противник, с его стороны глупо было предполагать, что она поддастся на это.

— Постой, — сказал Лис.

Психея, глядя только вперед, спускалась все ниже и ниже, пока слева от нее снова не появился свет, а в свете — чья-то фигура. Присмотревшись, я с удивлением повернула голову, чтобы выяснить, здесь ли Лис. Лис был на месте, тем не менее человек, ставший на пути Психеи, тоже был Лис — только более старый, седой и бледный, чем тот Лис, что стоял рядом со мной.

— Ах, Психея, Психея! — сказал Лис на картине (или в другом мире, потому что я уже поняла, что все эти изображения — на самом деле не изображения). — Что за безумие ты творишь? Куда ты бредешь по этому подземелью? Что?! Ты думаешь, что так ты попадешь в страну мертвых? Это все выдумки жрецов и поэтов, детка. Ты всего лишь в заброшенном руднике. Страны мертвых, такой, о которой ты думаешь, не существует, и богов тоже не существует. Неужели ты совсем у меня ничему не научилась? Бог, которому ты должна служить, — бог внутри тебя: разум, трезвый рассудок, самообладание. Фи, неужели ты погрязла в варварстве навсегда? А я хотел дать тебе зрелую, прекрасную греческую душу... Но еще есть время: подойди ко мне, и я выведу тебя из этого мрака на зеленый луг, под грушевые деревья, где все было так светло, надежно, просто и понятно!

Но Психея прошла мимо, даже не посмотрев на него. Затем в третий раз заблистал свет (на этот раз — слева). В нем возникло нечто вроде женской фигуры; лицо было мне незнакомо. От взгляда на нее сердце мое наполнилось такой пронзительной жалостью, что я чуть не умерла. Женщина эта не плакала, но по глазам ее было видно — она не плачет просто потому, что у нее не осталось слез. Отчаяние, униженность, мольба, беспредельный упрек — все это можно было прочесть в ее взоре. Мне стало страшно за Психею. Я знала, что этот образ явлен ей только для того, чтобы сбить ее с пути и поймать в ловушку. Но знает ли она сама об этом? А если знает, то сможет ли, такая заботливая и сострадательная, пройти мимо? Это было чрезмерно тяжкое для нее испытание. Психея по-прежнему смотрела только вперед, но было ясно, что она все видит краем глаза. Ее трясло, а губы кривились от неслышных рыданий. Она даже прикусила губу, чтобы сдержаться. «Великие боги, спасите ее, — сказала я про себя. — Дайте, о дайте ей пройти мимо».

Женщина простерла руки к Психее, и я увидела, что из ее левого запястья капает кровь. Затем она заговорила; у нее был такой низкий и страстный голос, что мог бы тронуть любого, даже если бы произносил незначащие слова. Он мог бы разжалобить даже железное сердце.

— Ах, Психея! — воззвал голос. — Ах, дитя мое, моя единственная любовь. Вернись! Вернись! Вернись туда, где мы были счастливы прежде! Вернись к Майе!

Психея прикусила губу так сильно, что на ней выступила кровь, и расплакалась. Я подумала, что ее горе больше, чем горе этой причитающей Оруали. К тому же Оруали было легче: она могла всецело посвятить себя страданиям, Психее же приходилось еще и идти вперед, и Смерть становилась все ближе и ближе. Такова была последняя из картин.

Все погасло, и мы с Лисом снова остались вдвоем.

— Неужели мы таковы, какими увидели себя? — спросила я.

— Да. Все здесь правда.

— Но мы же говорили, что любим ее.

— Это так. У нее не было врагов опаснее нас. И чем ближе день, когда боги станут прекрасными, или, вернее, явят нам свою изначальную красоту, тем больше будет ревность смертных к тем, кто стремится слиться душой с Божественной Природой. Мать и жена, сын и друг станут стеной на пути у них.

— Значит, Психея тогда, в те ужасные дни, когда я считала ее злой... она страдала, может быть, больше, чем я?

— Она взяла тогда на себя все твои муки. Потом наступила твоя очередь.

— Правда ли, что придет день, когда боги станут прекрасными, дедушка?

— Так говорят... хотя мне трудно понять. Я мертв уже давно, но так и не могу

постичь до конца их язык. Только отдельные слова разбираю. Одно я понял наверняка: наш век станет вскоре далеким прошлым. Божественная Природа в силах изменить даже прошлое. Мы видим вокруг себя незавершенный мир.

Не успел Лис договорить, как снаружи раздался многоголосый хор. Голоса эти были чудесными, но в то же время наполняли сердце страхом. Они восклицали:

— Она идет, повелительница возвращается домой! Богиня Психея вернулась из страны мертвых и принесла с собой ларец с красотой Царицы Теней!

— Идем, — сказал Лис, и я пошла против своей воли. Лис взял меня за руку и вывел из темной залы на свет через арку, затянутую виноградом. Мы стояли посреди двора, заросшего ярко-зеленой травой; небо над нами было таким синим, как бывает только в горах. В середине дворика был бассейн с ключевой водой — такой величины, что много людей смогли бы одновременно купаться и плавать в нем. Кругом слышны были шаги и дыхание невидимых созданий и продолжали звучать (уже значительно тише) голоса. В следующий миг я распласталась ниц, потому что Психея вошла, и я припала к ее стопам.

— О Психея, богиня, — сказала я. — Никогда более не назову я тебя своей, но все, что считала моим, отдаю тебе. Увы, теперь тебе все ведомо. Я никогда не желала тебе истинного добра, никогда не думала о тебе так, чтобы не думать в первую очередь о себе. Я была алчущей бездной.

Психея наклонилась, чтобы поднять меня с земли. Но поскольку я отказывалась встать, она молвила:

— Майя, милая Майя, ты должна встать. Я еще не отдала тебе ларец! Ты же знаешь, сколько мне пришлось пройти, чтобы принести красоту для Унгит.

Тогда я встала, вся влажная от настоящих слез, которыми не плачут в том мире. Психея протянула мне что-то, и я поняла, что она действительно богиня, потому что ее прикосновение обожгло меня тем особенным пламенем, не причиняющим боли. От нее исходило сладкое, волнующее грудь веяние; вдохнув запах ее волос, я словно бы помолодела и задышала полной грудью. Но (и это труднее всего объяснить), несмотря на все, она оставалась той же Психеей; в тысячу раз больше Психеей, чем в день перед Жертвоприношением. Ибо все то, что прежде проскальзывало во взглядах и движениях, все то, о чем я прежде лишь догадывалась, теперь раскрылось в полной мере и заполнило все существо Психеи, оставаясь зримым и очевидным каждый миг. Она стала богиней? Возможно, но никогда прежде я не видела женщины столь земной.

— Разве я не говорила тебе, Майя, — сказала она, — что настанет день, и мы встретимся в моем дворце, и тогда уже ни одно облачко не пробежит между нами?

Я не могла ни слова молвить от радости. Мне подумалось, что я достигла высшей, предельной полноты жизни, которую только может вместить в себя человеческая душа. Но что это? Ты, наверно, видел, читатель, как меркнет свет факелов, когда поднимают занавеси и сияние яркого летнего утра врывается в пиршественную залу? Именно это и произошло. Внезапно, по странному выражению глаз Психеи (я видела, что она знает что-то, чего еще не знаю я), или по тому, как торжественно углубилось над нами ярко-синее небо, или по тому, какой громкий вздох вырвался из тысячи незримых уст, или по тому, как засомневалось, заволновалось и всполошилось мое сердце, я поняла, что все пережитое мной до того — не более чем пролог. Близилось нечто большее. Голоса зазвучали вновь, но на этот раз приглушенно. В них слышался благоговейный трепет.

— Он идет, — повторяли они. — Бог идет к себе домой. Он идет судить Оруаль.

Если бы Психея не держала меня за руку, я бы лишилась чувств. Она подвела меня к самому краю бассейна. Воздух вокруг нас светился, словно его пожирало пламя. С каждым вздохом меня переполняли ужас, радость, и странная сладость будто тысячью стрел пронзала мое сердце. Существо мое исчезало, и я обращалась в ничто. Но и Психея — сама Психея! — тоже обращалась в ничто. Я любила ее так, как не смела и мечтать раньше, так, что готова была принять за нее любую казнь. И все-таки сейчас дело было не в ней. Или, вернее, дело было в ней (и еще как в ней!), но прежде всего в ком-то другом, том, ради которого существуют и звезды, и земля, и

солнце. И этот кто-то шел к нам, ужасный и прекрасный — о нет! сам ужас и сама красота. Он шел к нам, и колонны, которыми замыкался дворик, заколебались от его близости. Я опустила глаза.

И увидела в водной глади бассейна два отражения — мое и Психеи. Но что это? Это были две Психеи: одна нагая и другая — закутанная в одежды. Да, две Психеи, обе прекрасные (впрочем, какое это теперь имело значение?), обе неотличимо похожие, но все же разные.

— Ты теперь тоже Психея, — прогремел знакомый голос. Я подняла взгляд (не знаю, как я на это решилась), но не увидела ни бога, ни колоннады. Видение погасло за полмига до того, как прозвучал голос. Я сидела в дворцовом саду с моей глупой книгой в руке.

С тех пор прошло четыре дня. Меня нашли лежащей на траве и лишившейся речи. Речь вернулась ко мне не сразу: подобные видения не проходят бесследно для старческой плоти. А для души они, возможно, уже не будут видениями — кто знает! Я заставила Арнома сказать правду: мне осталось жить совсем немного. Он будет плакать, будут плакать и мои служанки. Это странно. Что я им сделала хорошего? Жаль, что я не призвала Даарана в Глом вовремя: не успела полюбить его сама и не научила любить моих подданных.

Моя первая книга заканчивалась словами: «Нет ответа. Теперь я знаю, Повелитель, почему ты не отвечаешь нам. Потому что ты сам — ответ. Пред твоим лицом умирают все вопросы. Разве есть ответ полнее? Все слова, слова, слова, которые спорят с другими словами. Как долго я ненавидела тебя, как долго боялась! Я могла бы...»

Я, Арном, жрец Афродиты, сохранил этот свиток и положил его в храме. По пятнам после слов «Я могла бы...» легко заключить, что, когда Царицу настигла смерть, голова ее упала на свиток. По этой причине мы не можем прочесть последние слова. Эта книга была написана Оруалью, Царицей Гломской, самой мудрой, доблестной и милостивой властительницей в наших краях. Если путник, направляющийся в Грецию, найдет эту книгу, пусть он возьмет ее с собой, ибо таково было самое заветное желание нашей Царицы. Я поручу Жрецу, моему преемнику, отдать этот свиток любому чужеземцу, который поклянется доставить его в Грецию в целости и сохранности.

■

ЛУИС СЕРНУДА

Стихи

Перевод с испанского НАТАЛЬИ ВАНХАНЕН

Статуи богов

Прекрасные и поверженные,
слепыми очами, обращенными к небу,
вы озираете давно минувшие времена,
героев и титанов прошлого.
Бывало, их поклонение венчало вас
невесомыми гирляндами
из цветов и листьев
и возжигало у ваших ног благовонное пламя,
чей свет струился вверх к иному — небесному.

Смертные, сотворенные по вашему образу и подобию,
были крепки в вере и вольны, как вода:
ослепительное, блестящее зло еще не успело
уязвить их сильных и гибких тел.
Они верили в вас, и вы воистину существовали;
жизнь не была еще тяжким и смутным бредом.

Грядущие немощь и смерть,
непредставимые в ту золотую пору,
безжизненно поникали в ваших руках,
не в силах раскрыть свои отравные
обольстительные цветы,
и любовь снова и снова возвращалась
в сердца людей,
точно птица в родное гнездо,
когда в высоких ветвях
день кротко смежает свои отяжелевшие веки.

То были героические, но хрупкие времена,
они рухнули вместе с вашим могуществом
и развеялись, как счастливый сон.

И вот, потемневшие и искалеченные,
вы покоитесь в пыльных городских садах —

© Наталья Ванханен. Перевод, 1997

мертвые камни, не овеянные священным дуновением неба,
чуждые людским мольбам и надеждам.

Лучи и дождевые капли
бестрепетно скользят по многочисленным экспонатам
этого музея смерти,
и равнодушно шествуют стороной толпы нечестивцев,
безбожно отдавших на поругание
ваши мраморные алтари,
доныне не поколебленные лишь в сердце поэта.

Как знать — может быть, его одинокая вера
возвратит вам утраченные небеса.
Случись так, не карайте жалких отступников,
не мечите молнии,
насылая мор и глад на ничтожный и падший род людской.

Неприступные и бесстрастные, царите себе там, наверху,
и да смягчит разрушительный гнев громовержца
услужливая ловкость смуглого виночерпия.

А между тем лунной осенней ночью,
завороженно следя,
как недавняя зелень
сменяется кротким снежным свечением,
поэт, втайне ото всех, мечтает о вашем золотом престоле,
о ваших слепых отрешенных лицах
там, вдали от мира,
на недосягаемой высоте.

Урания[1]

Платановая роща — высоко
стволов взмывают гладкие колонны,
линуя золотистый горизонт.
У чистых вод фиалки-нелюдимки
хоронятся, прохладно их дыханье.

Она недвижна. Под воздушной дымкой
девическая вечна красота.
Во лбу угрюмо блещет бриллиант,
как снег, как лед; глаза лучатся светом,
не знающим, что значит слово «тень».

Лилейная рука с перстом воздетым
зовет расслышать мерный ход Вселенной,
на Землю возвращает тишину,
сердца смиряя. Никакие грозы
не хмурят августейшего чела.

Божественнейшая из девяти,
творительница стройного порядка,
священных вдохновительница чисел,

[1] Одна из девяти муз в древнегреческой мифологии, покровительница астрономии. (*Прим.перев.*)

единый взмах крыла — и за тобою
душа летит из смертного забвенья.

Не чудо ли, что ты благоволила
объемный мир сияющего свода
воздвигнуть над юдолями печали
и снизошла утишить наши скорби,
дух приобщив к гармонии небесной!

И если сбит бывал я в дни былые
с твоей стези ничтожными страстями,
то днесь клянусь, кладя на сердце руку,
тебе служить, единственная муза,
свет памяти и роза тишины.

Руины

Безлюдье холит темную траву,
бурьян в руинах набирает силу,
и ласточка сечёт с безумным кличем
обширный воздух, да под ветром вздрогнет
порой то лист, то ветка — их коснулись
бесплотные невидимые руки.

Уже восходит в серебре туманном
точеный серп медлительно растущий,
и льется тишь окрест, и в ясном свете
причудлив мрамор вековых обломков —
он красота, и музыка,
и сны.

Се человек. Смотри,
бульвар надгробий и кипарисов
прямиком выводит нас к площади, открытой горизонту
с его холмами: здесь не изменилось
ничто. И те же тени пролегают.
Ушли лишь люди.

Акведук гигантский
несет свою иссохшую громаду
растрескавшихся арок по равнине
вдоль миртов, маков. Между тростниками
свободная вода неутомимо
твердит, что красота сильнее тленья.

Пусты могилы. Верно, даже праха не сыщешь в урнах.
Хрупкие останки теперь добыча неоглядной смерти,
безликой, безымянной. Правда, мелочь иная
вдруг переживет владельца и там, за гробом.
Предположим, склянка иссякших благовоний,
тусклый перстень, горсть побрякушек или — словно на смех —
забавный талисман любовной силы, зачем-то разрушеньем
пощаженный.

Те камни, по которым прошагали
центурионы канувших столетий,

незыблемы, равно как и колонны —
свидетели отчаянных дебатов,
и алтари, где жертвы приносились,
и стены — от нескромных глаз укрытье.

Всё уцелело. Кроме человека.
Безмолвье будто ждет, что он вернется.
Увы, несовершенные созданья питают время
собственною плотью,
твердыни строят и проносят вечность под черепом,
в самих себе скрывая, как мякоть косточку, зародыш смерти.

Всевышний, нас отдавший на закланье,
зачем ты в нас вложил бессмертья жажду,
творящую поэтов?
Неужели за веком век взираешь безучастно,
как, словно пух репейника седого,
в слепую тьму слетают дети света?

Ах да! Тебя ведь нет. Ты только имя
бессилия и страха человека.
Жизнь без тебя напоминает эти
руины в их торжественном безлюдье:
красивый бред в сиянье ясной ночи,
и чем недолговечней, тем прекрасней.

Прекрасному отмерен миг, не больше.
Как вечностью, мгновеньем насладимся.
К тебе, Господь, я зависти не знаю —
оставь меня с твореньями людскими:
они живут недолго, но в попытке
бессмертия — с твоим всесильем спорят.

Се человек. Довольно стон докучный
он к небу слал: туг на ухо Создатель,
молитвой сыт, а без нее хиреет.
Пусть наша жизнь — цветок, но отчего бы
ему не расцветать в руке у смерти?

Священна ночь, таинственна — похоже,
нас обнимают дружеские руки.
Ей на плечо, как некогда другие,
я голову клоню и замираю.
И безмятежны спящие руины.

■

МИЛОРАД ПАВИЧ

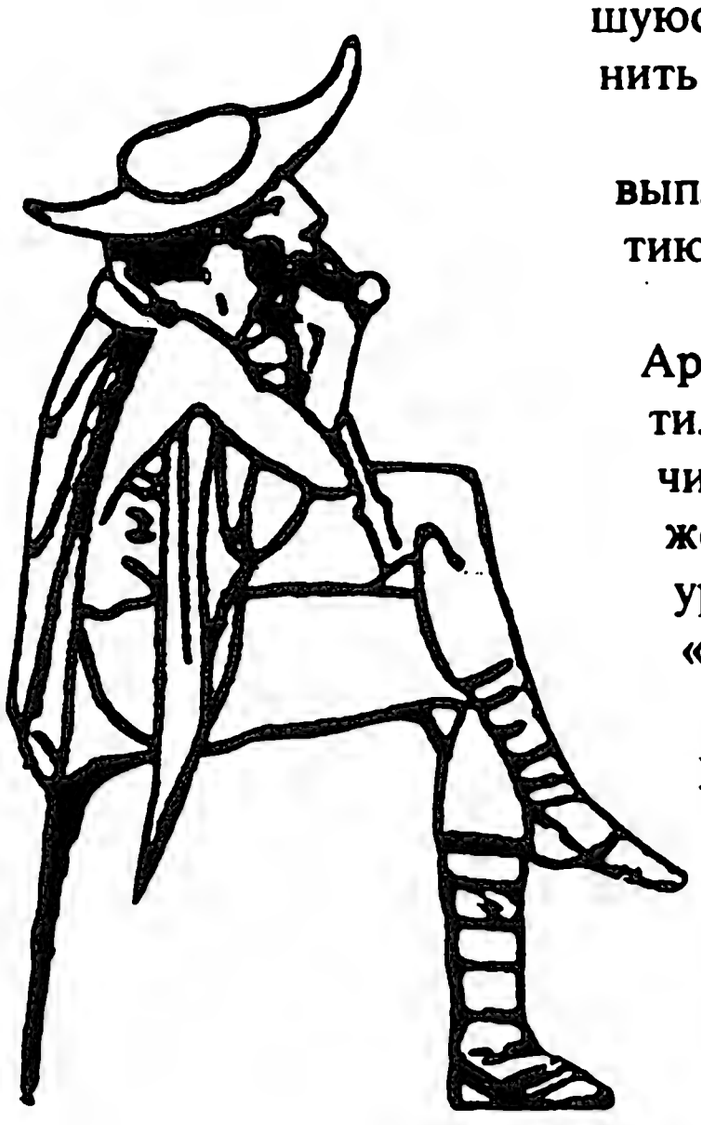
Шляпа из рыбьей чешуи

Любовная история

Перевод с сербского Н.ВАГАПОВОЙ

I

Ранним утром, усевшись на припеке, императорский вольноотпущенник Аркадий надвинул на лоб шляпу из рыбьей чешуи и принялся за свой завтрак — маслины с красным вином. Поглощая их, он не спускал глаз с котят, что гонялись за бабочками в тени ближайшего дерева, а также со старика, сидевшего напротив. Старик непрерывно взбадривал себя уксусом и злым красным перцем из висевшей у него на шее связки. Под плащом явственно проступал его огромный член, похожий на свернувшуюся в песке змею. Аркадий напрасно силился вспомнить, как зовут старца.



Имена людей подобны блохам, подумал Аркадий и, выплюнув косточку маслины, вернулся к своему занятию. Он учился у старика читать.

«Inter os et offam multa accidere possunt», — читал Аркадий надпись на глиняном светильнике. На светильнике была вылеплена женщина, лежавшая на мужчине. Ноги любовника покоились у нее на плечах, сама же она уткнулась лицом в его живот. Чтобы лучше уразуметь надпись, Аркадий перевел ее на греческий: «Всякое может случиться, пока несешь кусок ко рту».

Юноша давно уже читал по-гречески, а теперь учился читать по-латыни. Плащ на нем был тонкий, словно подбитый водой Наисуса[1], а сам он был еще настолько молод, что в запасе у него был всего один год тревожных снов, два любовника и только одна любовница, ученье давалось ему легко, и он очень скоро научился писать, а уж потом читать. Вначале он перерисовывал буквы, не понимая, что они значат, но теперь мог и читать по складам. Он читал подряд все, что только можно было прочесть. Начав с чтения по складам надписей вроде «Agili», «Atimeti», «Fortis» или «Lucivus», оттиснутых клеймом на масляных светильниках, он, словно вырвавшись в открытое море, продолжал затем складывать надписи, украшавшие каменные пороги и треножники, стены домов и храмов, надгробные камни, подсвечники и мечи, перстни и посохи; он читал написанное на дверных косяках и печатях, на стенах и колоннах, на столах и стульях, в амфитеатрах, на тронах и на щитах, на умывальниках и в купальнях, на подносах, за занавесями и в складках одежды, на стеклянных чашах, на мраморе театральных сидений и

---

[1] Наисус — древнее название реки Нишавы, протекающей через современный югославский город Ниш. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Милорад Павић, 1996
© Н.Вагапова. Перевод, 1997
Иллюстрации даются по изданию: Милорад Павић. Шешир од рибље коже. Београд, 1996

на знаменах, на донышках тарелок, на сундуках и под кольчугами, на медальонах и под бюстами именитых граждан, на гребнях и пряжках, внутри ступок и котлов; он прочитывал надписи на шпильках и лезвиях ножей, на солнечных часах, на вазах, поясах и шлемах, на песке и в воде, в птичьем полете и в своих снах. Но особенно — на замка́х и ключах.

Ибо у Аркадия была тайная страсть: он любил красивые ключи. Попадался ли ключ, отпиравший сундук или городские ворота, старый висячий замок или храм, Аркадий умел потихоньку сделать восковой оттиск, а потом отлить копию ключа в металле. Он вообще любил и умел работать с расплавленным металлом. Ему сразу вспоминалось детство, проведенное в окрестностях большого рудника, где ковали монеты с надписью Aeliana Pincensia.

Время от времени Аркадию попадались старые, давно вышедшие из употребления ключи — ключи-вдовцы, ключи, отлученные от своих скважин. Для них он отливал или выковывал новые ручки, придавая им форму звездочек, роз или человеческих лиц. Особенно он любил приделывать к своим ключам монетки с изображением императора Филиппа Арабского или еще какого-нибудь правителя, на оборотной стороне которых угадывалось женское лицо с надписью «Abundantia» или «Fortuna».

Поглядев на изделия своего ученика, учитель однажды сказал ему:

— Если идти довольно долго на север, дойдешь до поймы реки, которая называется Данувиос или Истр[1]. Там ты найдешь Виминациум[2], а в нем — императорский монетный двор. И ты увидишь, как там в мастерских куют медные деньги.

— Что такое север? — спросил Аркадий.

— Это когда в пути солнце греет сначала одно ухо, а потом другое.

До самого вечера Аркадий ни разу не вспомнил о словах наставника. Тогда старец изрек следующее: «Благо тому, кто приглашен на пир по случаю свадьбы бараньей...»

При этих словах Аркадий ощутил, что время вокруг него расширяется с головокружительной быстротой, и с той же быстротой он начал удаляться от самого себя. Без малейших колебаний он покинул Медиану, где жил до тех пор, оставив на произвол судьбы и свой дом с колодцем, где всегда была осень, и свою обезьянку, которая умела играть в кости и выигрывать.

Уходя, он не успел спросить учителя, как же его все-таки зовут. С собой он взял только связку ключей и шляпу из рыбьей чешуи, подаренную ему старцем.

II

В каждом городе властвует свое время года, думал Аркадий, направляясь на север и ловя солнце ушами. Оказавшись на дороге, ведущей от Фессалоник к пойме Данувиоса, он сразу начал усердно молиться Гекате, покровительнице путей и перепутий. Он шептал:

---

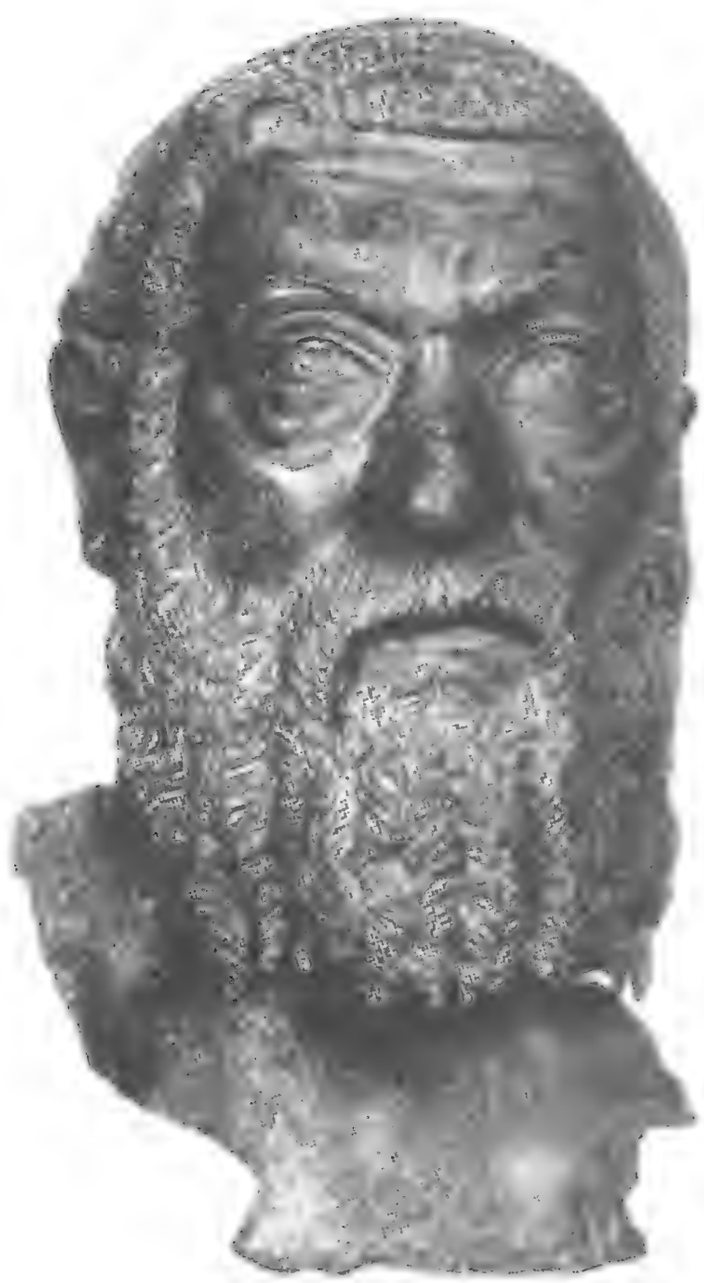
[1] Дунай.

[2] Римский город при впадении реки Млавы в Дунай, близ современного югославского городка Костолац. Впервые упоминается в 86 г. до н.э.

«В дыму очагов гомон слышится птиц и первые тают снежинки. В глазах моих снег превращается в слезы, и, веки свои смежив, свой взор обращаю к тебе сквозь хладные капли. Ветер дороги чернеет, деревьев стволы один за другим приближаются, точно зловещие звери, что, жаждой томимы, бредут к водопою...»

И впрямь по дороге ему то и дело встречались ужасные картины смерти. Деревья были увешаны трупами, как плодами. Каждая из этих смертей могла подстеречь и его, и он пришел к заключению, что ни одна, даже самая счастливая жизнь не стоит такого страшного и долгого конца. Усталый и перепуганный, он продавал один за другим свои ключи, которые казались ему все тяжелее. Путешествие затягивалось.

Но тут с Аркадием произошло нечто приятное, и он укрепился в своем намерении добраться до монетного двора. Увидев вдали какой-то город, он было обрадовался, но ему сказали, что это Сингидунум[1], что он слишком сильно отклонился к западу и что ему надо свернуть на восток, чтобы добраться до Виминациума. Выслушав это известие, Аркадий не огорчился. Он как бы его вообще не расслышал. Как зачарованный он рассматривал прекрасный бронзовый бюст, установленный на перекрестке.



[1] Римский город, бывший на месте теперешней столицы Югославии Белграда. Найденные при раскопках предметы быта и искусства хранятся в Национальном музее Белграда.

Когда же он сначала почуял запах реки, а потом и услышал огромный, свирепый Данувиос, разрывавший ночную тьму своим ревом, на пароме уже не было перевозчика. Говорили, что по вечерам на переправляющихся через реку нападают духи, стоит только удалиться от берега.

Один-одинешенек он уселся на паром и поплыл сквозь мрак и туман. Примерно на трети пути он почувствовал, что линяет, как собака, затем ощутил мужское желание, и, наконец, на голове его выросли чьи-то чужие волосы, явно женские. Когда он перевалил за половину пути, взошла полная луна, и при свете ее появилась желтая бабочка, порхавшая над какой-то темной фигурой в углу парома. Аркадий вскрикнул и столкнул духа в реку. Он услышал плеск воды, кое-как подогнал паром к берегу и бегом пустился в ближайшую корчму, огонек которой светился в ночи.

Аркадий уже грыз пересохшую лепешку в форме шестилистника, когда в корчму вполз кто-то грязный, до костей промокший и перепуганный, и уселся рядом с ним. Под плащом у него тряслась третья грудь, выросшая над левой.

— На меня только что на реке напал дух, он сбросил меня в воду! — воскликнул незнакомец.

— А я тоже встретил духа на пароме, — ответил Аркадий, начиная понимать, что произошло. И оба путника расхохотались, узнав друг друга.

— Для духа ты оказался слабоват, приятель, — заметил Аркадий и хотел было в шутку толкнуть своего собеседника, но заметил, что над плечом у того, подобно лучику света, по-прежнему трепещет желтая бабочка.

Аркадий засмотрелся на бабочку и хотел ее поймать, но она не давалась в руки.

— Не трогай ее, она не причинит тебе вреда, — сказал незнакомец, — говорят, она меня сопровождает уже много лет. Все ее видят, кроме меня.

— Зачем она тебе?

— Кто ее знает. Я думаю, это дух света и любви, тот, кто определяет форму душ, иными словами, мой демон женского рода... Имя его Эрос. У каждого мужчины вьется над плечом демон женского рода, а у каждой женщины — демон мужского рода. Это демоны похоти. Говорят, моя бабочка вьется вокруг меня, даже когда я работаю в мастерской.

— А кто ты такой?

— Я раб. Я принадлежу к сословию, которое называется «familia monetalis».

— Что это значит?

— Это значит — работники императорского монетного двора.

— Ты делаешь серебряные сестерции?

— Нет, я выковываю nummi mixti. Это самый противный способ изготовления денег в Виминациуме.

— В Виминациуме?

— Да.

— А на каком берегу реки Виминациум?

— Да на том, с которого мы с тобой переправились на пароме.

— Значит, я приехал не на тот берег?

— Если ты направляешься в Виминациум, тебе придется вернуться по воде. Ждать парома ты будешь до завтрашнего вечера, ведь его уже угнали обратно. Cras, cras, semper cras...[1]

— Что ты сказал?

— Завтра, завтра, всегда завтра, мой мальчик. Вся жизнь человека сводится к этому «завтра»... Но что до меня, я завтра не поеду в Виминациум.

— А куда?

— Меня отправил с поручением procurator monetae[2], и я вернусь через двадцать дней...

— Кто такой procurator monetae?

---

[1] Завтра, завтра, всегда завтра (*лат.*).
[2] Управляющий монетным двором (*лат.*).

III

Итак, Аркадий продал свой предпоследний ключ, выспался и вечером следующего дня снова стал переправляться через Данувиос. В костях у него поселился страх, а на голове шевелились женские волосы.

Он был на пароме совершенно один. Насколько хватал глаз, не было никого. Царила мелодичная тишина. Он слышал, как огромные сомы выплескиваются на берег, чтобы попастись на траве, и еще слышал, как свистят его уши — левое басом, а правое тоненьким голоском. Для храбрости он запел. Он уже почти доплыл до противоположного берега, когда заметил, что рядом с его голосом ту же песню почти беззвучно поет еще один голос, совсем близко, у него за спиной. Не решаясь обернуться и перестав чувствовать левой рукой правую, он вдруг вскрикнул и решился напасть первым. Неизвестное существо стало яростно сопротивляться, запутывая его своими длинными волосами, как гладиаторской сеткой. Оба они упали на дно парома, причем Аркадий почувствовал, что под ним бьется демон женского рода.

Эмпуса[1], в ужасе подумал он. Дьяволица влепила ему пощечину, а он овладел ею со всей мощью своих нерастраченных мужских сил. Потом столкнул ее в мутную прибрежную воду, а сам бросился бежать в корчму, видневшуюся невдалеке от пристани.

Внутренность этой бревенчатой хижины напоминала скотный двор. У очага толпились раскрашенные деревянные поросята, зайцы, гуси, петухи и цыплята: посетитель сразу видел, что ему могут предложить.

Аркадий ел яйца, испеченные в скорлупе, когда вошла девушка, вся промокшая и испачканная. Она села рядом с ним у огня и стала сушить волосы. Девушка произнесла:

— Я встретилась на пароме с духом. Еле жива осталась. Он столкнул меня в воду.

— Знаю, — отвечал ей Аркадий, — я тоже встретился на пароме с дьяволицей. Еле выпутался из ее волос. Она унесла мою шляпу из рыбьей чешуи, ту самую, что сейчас у тебя на голове.

Оба улыбнулись. Она сказала ему:

— Для духа ты оказался слишком слаб.

А он ей ответил:

— Зато ты оказалась слишком сильной для женщины.

— Дьявола видит только тот, кто хочет его видеть, — заключила она, возвращая ему шляпу. Уходя, она спросила: — Откуда у тебя шляпа из рыбьей чешуи? Знаешь ли ты, что означает рыба?

— Нет.

Она улыбнулась и добавила:

— Если в ближайшее время пойдешь на базар, купи первую вещь, которую тебе предложат. Остальное — моя забота.

Поутру Аркадий позавтракал вином и маслинами и решил не торопиться в Виминациум. Ему наскучило путешествовать. Хотелось ненадолго остаться там, куда он приплыл, отдохнуть у большой реки. Он шептал про себя:

«Из немытой посуды отхлебывать свет луны в молодых садах, шуршащих босыми тенями, вишнями и листвой...»

[1] В древнегреческой мифологии чудовище в виде девы, увлекающее за собой свои жертвы.

IV

Прошла весна, когда луга пахнут завтрашним утром, наступило лето, и нивы запахли вчерашним днем. Аркадий отправился на рынок купить дарданского сыра. Не успел он найти сыр, как какой-то торговец предложил ему вещицу, подобной которой Аркадий не видывал никогда. Это была вырезанная из дерева и раскрашенная странная фигура юноши, широко раскинувшего руки.

— Что это у тебя? — спросил Аркадий торговца.

— Да вроде бы ключ, — отвечал тот.

— Деревянный ключ?! — изумился Аркадий и стал пристально разглядывать статуэтку. Распростертые руки человека служили ручкой, а скрещенные ноги — «перышком», то есть той частью ключа, которая вставляется в скважину. Фигурка имела четыре отверстия — по одному в каждой ладони, одно — в скрещенных ступнях и еще одно — между ребрами.

— Кто этот человек? — продолжал допытываться Аркадий.

— Сын Юпитера. А мать его — еврейка.

— К какому же замку он подходит?

— Замок этот надо еще найти. Мне говорили, что он открывает все замки, но я не пробовал.

Аркадий улыбнулся и купил ключ.

Еще один ключ-вдовец, подумал он и пошел дальше, держа ключ под мышкой. Однако вскоре он почувствовал, что идет не один. Кто-то шел за ним, ступая точно по его следам. Он оглянулся и увидел девушку с волосами цвета воронова крыла, уложенными на голове в некое подобие храма. В руке она держала птичью клетку. Клетка была пуста, но ее прутья звенели, как струны лиры.

— Что тебе надо? — спросил он. Запах ее пота показался ему знакомым.

— Ничего.

— А почему ты идешь за мной?

— Я иду не за тобой. Ты купил меня вместе с деревянным ключом. Я следую повсюду за деревянным ключом и не смею от него отделиться. Меня зовут Микаина. Не бойся меня. Я не стану тебе мешать.

Аркадий вспомнил, что ни разу не кинул кости с тех пор, как оставил свою обезьянку в Медиане, и решил взять с собой девушку: авось сгодится, может, как-нибудь сыграем в кости.

Он повесил деревянный ключ на стену в снятой на последние деньги тесной землянке. Туда же он привел и Микаину. Землянка была такой глубины, что миска с водой могла в ней простоять три дня, не высыхая, а мысли вообще не забывались.

В эти первые дни совместной жизни он заметил, что если с Микаиной разговаривать по-хорошему, то она становится просто красавицей; если же ее бранить, то она дурнеет. Едва успев повесить свою клетку над входом в землянку, девушка запела. Быстро и без дрожи в голосе переходила она с самых тихих звуков на самые громкие, со скорых на медленные, с высоких нот — на басовые. И еще его поразило, что она умела готовить как никто другой. Когда он ей об этом сказал, она отвечала:

— Этот никто другой был Одиссей... Каждая женщина должна уметь готовить одно блюдо — одно-единственное, «ее» блюдо. А к каждому блюду есть своя песня. Вот подлива из вина с укропом и икрой, которая тебе так понравилась, любит песню о рыбе. Под эту песню она получается лучше всего.

И она научила его петь песню о рыбе. Она часто будила его поцелуем и утверждала, что у каждого человека есть своя ночь:

— Не только у женщин, но и у мужчин каждый месяц бывают свои ночи. Это означает, что не все ночи — твои, но ты должен сам угадать среди всех ночей свою. После этого нужно догадаться, как ее лучше использовать — для любви или для ненависти, чтобы украсть или чтобы смотреть на звезды, для мести или для исцеления во сне, для дальней дороги или для рыбной ловли. Одну и ту же ночь можно употребить на что угодно, но только две ночи каждого месяца принадлежат тебе, и ты мо-

жешь ими правильно воспользоваться только однажды. Если ошибешься, можешь этого и не заметить, но потом непременно заболеешь...

— Зачем мне гадать, какие ночи мои?

— Чтобы очиститься. Ты можешь очиститься только в эти ночи.

V

Как-то вечером, когда он вошел в землянку, все углы комнатки были заполнены волосами цвета воронова крыла, а Микаина стояла на коленях под шатром своих расплетенных и расчесанных кос, протянув сложенные руки к висевшему на стене деревянному ключу.

— В сложенных ладонях — забытые нами слова, — не успела она это произнести, как он окончательно узнал ее волосы. Она поднесла к его уху сомкнутые раковиной ладони, и он услышал из них фразы на греческом, кельтские стихи и синагогальное пение.

Разомкнув ее ладони, он увидел в них поющую морскую раковину. Он прикоснулся своей горячей кожей к ее прохладным пальцам и уже не мог от нее оторваться.

— Cras, cras, semper cras... — шептала она, умоляя его научить ее одеваться в мужскую одежду. Они раздели друг друга и снова одели; он ее — в свою мужскую одежду, а она его — в свою женскую. Потом она закинула его ноги к себе на плечи и уткнулась лицом в его живот.

«Всякое может случиться, пока несешь кусок ко рту», вспомнил Аркадий, вытягивая губами из ее сосков две крошечные пробочки, подобные зернам песка. Так он понял, что она давно не знала любви. Он упал на нее, и Микаина почувствовала, как растет и дышит у нее под сердцем продолжение его тела. Он выбросил семя, напоенное маслинами и вином, и произнес, опрокинувшись на спину:

— Вечная и грязная душа поглощает тело.

Она окинула его взглядом. На животе у него белела большая влажная форель с раздутыми жабрами.

— Что есть душа? — спросил он.

— Ты слышал о лабиринте на острове Крит? Душа и тело — лабиринт, — тихо ответила она, — ибо и у лабиринта есть душа и тело. Тело — это стены лабиринта, а душа — дорожки, ведущие или не ведущие к центру. Войти — значит родиться, выйти — умереть. Когда стены рухнут, остаются только дорожки, ведущие или не ведущие к центру...

Они умолкли, лежа под деревянным ключом. В мыслях Аркадий удалился от нее на 1356 морских миль. Он купался у острова Патмос с юношей, чьи волосы напоминали белые перья.

— Так ты и есть та самая дьяволица с парома! — наконец произнес он. — Говорят, такие, как ты, видят во сне будущее. Что такое будущее?

— Cras, cras, semper cras, — услышал он в ответ.

Микаина долго не отвечала на его вопросы о пророческих снах и о будущем. Ее ответы звучали загадочно, как, например: «Пойди и прислушайся, что доносится из моей клетки».

Это его смешило: ведь клетка была пуста. Но время от времени действительно из нее доносились то вопли, то смех пополам со звоном железа, то любовные стоны, вой ветра или шум воды. В этих звуках не было, однако, ответа на его вопрос о будущем. Наконец Микаина произнесла следующее:

— На дне каждого сна, глубоко-глубоко, прячется смерть того, кому он приснился. Вот потому-то мы, едва проснувшись, забываем самые глубокие сны. Ибо и прошлое человека и его будущее живут только в тайнах. Во всем остальном они мертвы. Наше будущее — неизвестный нам чужой язык. Будущее — огромный континент, который нам предстоит открыть. Может быть, Атлантида. Там не имеют хождения наши монеты. И наши взгляды там не имеют цены. Будущее видит нас, когда мы смеемся или плачем. Иначе оно нас не узнает... Но не забудь, если я вижу будущее, это не

значит, что я его строю! Скажу тебе по секрету, будущее не менее противно, чем прошлое, и, хотя я постоянно с ним общаюсь, я не всегда на его стороне... Сказано: «Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени»[1].

— Так сегодняшняя ночь — твоя? — догадался Аркадий, вдруг перестав слышать, что говорит Микаина.

VI

На другой день он достал свои игральные кости и начал их бросать. Микаина не угадала ни одного числа и не выиграла ни одного кона. В утешение он подарил ей большое бронзовое кольцо с самым красивым из своих ключей. Она надела его на шею и принялась за шитье.

Не переставая шить, она наставляла его:

— Если хочешь быть ясновидящим, смотри не только свои мужские сны. Кто хочет получить ключ к будущему, должен научиться видеть сны и женские, и мужские. Научись также видеть разницу между ними.

— Какие бывают женские сны? — спрашивал он.

— Думаю, это тебе неинтересно. Твое дело — мастерить и ковать ключи или монеты, чей век длится до завтра или до воцарения нового императора. Лучше я тебя научу другому. Тебе необязательно самому видеть будущее. Не стоит ради этого втирать в глаза отвары укропа, петрушки и других трав. Что будет завтра, ты прочтешь в чужом сне.

— Cras, cras, semper cras, — повторил он.

— Сон, как и будущее другого человека, можно похитить и украсть. Я тебя научу воровать чужие сны. Даже мои, если захочешь. Сны следует красть во время болезни, и лучше всего, если нездоров и вор, и тот, кого обворовывают. Сядь подле спящего и жди, пока его сон наберет силу. Тут сразу разбуди его поцелуем в губы и утащи вместе с поцелуем недосмотренную половинку его сна, как лиса уносит в зубах украденную курицу. Похищенные сны я запираю в клетку. Когда у меня хорошее настроение, я отпускаю их на волю, как птиц. Среди них есть сны и мужские, и женские. Их можно расслышать... Но твои сны я не держу в клетке. Их я храню в раковине...

— Что такое ты шьешь? — вдруг спросил Аркадий.

На полу были расстелены великолепные одежды самых разных оттенков. Тут были плащи, расшитые красной шерстью, и платья цвета влажной корицы; другие — цвета молодого мха, третьи — раскаленного опала или остывшей крови. Платья очевидно не предназначались для самой Микаины. Все они были огромных размеров.

— Это одеяния для нашего дома, — пояснила она. — Я хочу сшить самое дорогое и роскошное убранство для нашего дома... Я знаю, ты меня скоро оставишь. Пока ты еще здесь, пусть наш дом будет лучше всех...

Она смотрела на него в упор и чувствовала, как пробуждается и множится в нем семя от ее взгляда, от движений ее ног, от аромата ее волос. Потом она почувствовала, как его семя бурлит в ней, чтобы зачать дитя женского пола. Он упрекнул ее:

— Не оставляй последний кусок в тарелке, это к бедности!

— А я и хочу быть бедной, — отвечала она.

Аркадий бросил взгляд на бронзовое кольцо с ключом на шее Микаины. Бронза потемнела.

— Что с тобой? Ты больна? — встревожился он.

— Ты разве не видишь? Вот уже две ночи я вижу во сне, как что-то перебегает через мою подушку? А ты?

— Да я уже три дня, как умер.

Она улыбнулась и стала расчесывать волосы.

Пока она заплетала и укладывала косы, он с помощью шила и кусочка угля ри-

---

[1] Библия, Откр., 12, 12.

совал на глиняном черепке ее изображение. Волосы у нее на портрете были туго уложены шлемом.

— Я тебя не люблю, Аркадий, — сказала ему она, играя маслиновой веткой, — я люблю другого.

— Кого же?

— Сама не знаю. Я его еще не видела. Только слышала. Он кричит в твоем сне странным, не твоим голосом, и этот голос пугает меня. Несколько ночей тому назад этот голос раздался в час нашей любви. По ночам он призывает меня к себе из твоего тела. Я люблю его, а не тебя. Но ты, если расстанешься со мной, скорее утратишь себя, чем меня.

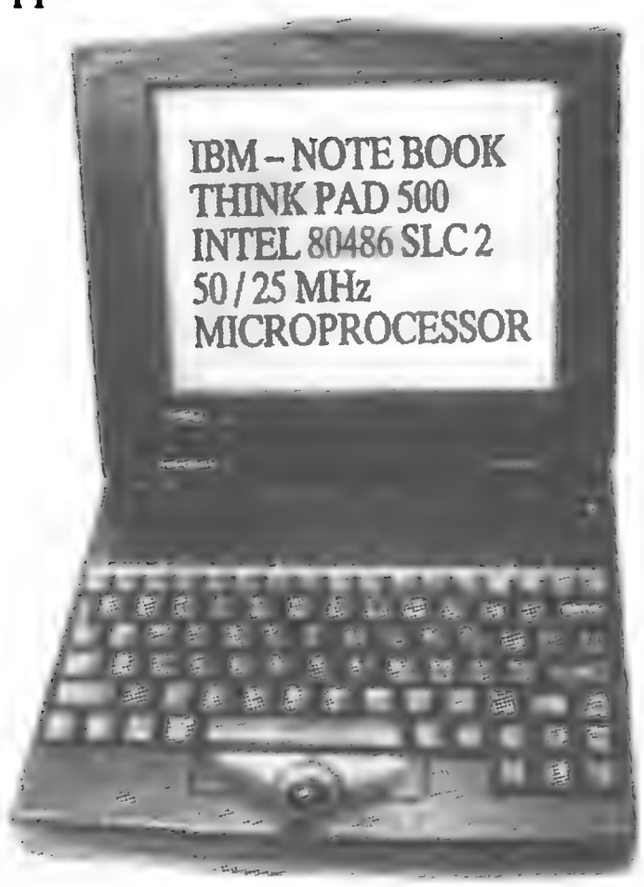
В ответ Аркадий стал рисовать ее на другой стороне черепка во весь рост, с маслиновой веткой в руке.

Она опечалилась. Заметив это, он посадил ее к себе на колени и стал развлекать, показывая монеты. На одном серебряном сестерции был отчеканен лев, и это означало, что такие деньги имеют хождение близ Сингидунума, где расквартирован четвертый легион Флавия. Он объяснял, в каком месте на монетах обозначается год выпуска, как можно узнать, где сделана монета и какой монетный двор ее пустил в обращение — Siscia[1], Stobi[2] или Viminacium.

Разглядывая быка, оттиснутого на медной денежке — а это был знак принадлежности к седьмому легиону Клавдия, — Микаина задумалась о том, что лев есть вместилище Солнца, а бык — жилище Венеры, и уснула.

Аркадий подождал, пока целая стая ее разогнавшихся снов не свернула на запад, и вырвал один недосмотренный сон поцелуем. Вся в слезах, она проснулась, но он уже успел захватить добычу и теперь ясно видел все.

Во сне Микаины плыли по небу две дивные звучащие нити. Потом появился маленький сундучок. Он открылся, и Аркадий прочел, но не понял оттиснутые золотом на его крышке слова и цифры:



[1] Древнее название города Сисак в современной Хорватии.
[2] Античный город на реке Вардар (современная Македония).

Наутро Микаина спросила его, что он увидел в ее сне, но для него этот сон ничего не значил. Так он и сказал. Затем он открыл дверцы ее клетки и выпустил на волю все сны. И ее сон тоже.

VII

Как только наступила осень, Аркадий объявил:

— Мы жили быстро, и время для нас текло медленно, потому что мы его обгоняли. А теперь мы живем не спеша и наше время плывет все скорее... Хватит бездельничать, Микаина! Собирайся, завтра мы идем в Виминациум.

Он снял со стены деревянный ключ и пошел на базар его продавать. Вернувшись, он застал все одеяния для дома, сшитые Микаиной, натянутыми сверху на их крохотную землянку. Он окликнул ее, но никто не отозвался. Аркадий рванул ткань и шагнул внутрь, но и там никого не было. Он нашел только кольцо с ключом, брошенное на постель. Почуяв беду, Аркадий бросился обратно на рынок, но не мог там найти человека, которому продал деревянный ключ.

Два дня он понапрасну расспрашивал всех и каждого. На третий день кто-то сказал, что человек, купивший деревянный ключ, садился на паром. И что с ним была девушка. Аркадий направился было к реке, но остановился при виде людей, опрометью бежавших ему навстречу. На той стороне Данувиоса к реке спускались толпы варваров, намереваясь ее переплыть. Можно было рассмотреть их лица, их лошадей, собак и захваченных ими женщин. О варварах было известно, что они не знают, что такое вести войну. Они понемножку грабили и жгли, понемножку охотились, понемножку убивали, понемножку спали с женщинами, которых хватали по дороге. Каждый занимался всем этим где попало и когда попало. Воевать против них было бессмысленно. Они врывались всюду, как воды разлившейся реки, и от них можно было только укрыться и переждать, пока они сами уйдут.

Аркадий задержался на берегу еще на один день, сам не зная ради чего. Затем он все-таки решился переправиться на другую сторону и попытаться разыскать Микаину, пусть даже среди варваров. Хотя было известно, что четвертый легион Флавия не станет оборонять эту часть поймы, он все-таки купил себе меч на деньги, вырученные за деревянный ключ. Потом он спустился на берег, чтобы перебраться через реку. Но паром оказался на противоположной стороне. Не успевшие бежать путники стояли рядом с ним по колено в грязи. Все смотрели на север.

Тут они увидели, как на том берегу какой-то всадник погнал своего жеребца к воде и вместе с ним взлетел на стоявший паром. Не сходя с коня, он повел паром вниз по течению прямо к тому месту, где, сжимая в руках меч, стоял Аркадий. Было ясно видно, как течение несет паром с одиноким всадником. Потом стала видна обнаженная сабля, которую варвар держал плашмя над головой своей лошади. Аркадий понял, что всадник переправляет через реку огонь: на поверхности сабли горели семь огоньков. Едва причалив к римскому берегу, варвар не спеша съехал с парома и, пришпорив коня, повел его прямо на собравшихся людей, по-прежнему держа на сабле семь светильников, от которых распространялся сильный запах свиного сала. Подъехав к Аркадию, державшему наготове свой меч, варвар с криком «хоп!» в мгновение ока выдернул саблю из-под свечей, перерубил каждую из них в воздухе пополам и ловко подхватил на саблю, не погасив ни одной.

Увидев это, Аркадий и все, кто был на берегу, бросились бежать без оглядки и бежали три дня, пока не достигли Виминациума.

— Такого доблестного воина, как я, этот не то что саблей — и коркой хлеба перерубит, — шептал про себя на бегу Аркадий.

В Виминациуме он встретил своего давнего знакомца с парома, раба, над плечом у которого по-прежнему вилась желтая бабочка.

— Cras, cras, semper cras, — повторил он опять, не переставая улыбаться. Он отвел Аркадия к мастеру монетного двора, которому показал изготовленный юношей

ключ. Новичка приняли и поручили ему отмеривать пластинки для медных монет.

Работа Аркадию нравилась, и он выполнял ее с прилежанием. Когда его друг скончался, Аркадию доверили вместо него изготавливать посеребренные бронзовые монеты. Такие деньги назывались nummi mixti.

Но как только выкраивалось свободное время, Аркадий ходил по базарам, слушая, что говорят люди, и расспрашивал всех и каждого, не видел ли кто деревянный ключ, не встречал ли девушку с длинными волосами цвета воронова крыла. В поисках Микаины он наслушался на улицах и площадях самых разнообразных рассказчиков. Один придумывал прекрасные сюжеты, но не умел рассказывать. Другой, напротив, не умел ничего сочинить, но прекрасно пересказывал услышанное. Третий не владел искусством ни первого, ни второго, но был героем россказней, которые передавались из уст в уста. На одном из тех, кто не владел даром красноречия, но являл собой живую притчу во языцех, была шляпа из рыбьей чешуи. Он-то и поведал Аркадию, что видел большой деревянный ключ на стене одного храма, что на берегу Понта.

К тому времени Аркадий был женат и имел дочь Флациллу. Вышло это случайно. Однажды вечером на тесной улице какая-то девушка, торопясь по своим делам и проходя мимо, вильнула перед ним бедрами. Он ее, по греческому обычаю, ущипнул. Девица выронила бывшую у нее в руках подушечку для хранения душ и дала обидчику пощечину. Аркадию померещилась памятная пощечина Микаины на пароме, и он, за неимением времени на проверку, повалил девушку и сделал ей Флациллу. С тех пор они стали жить в Виминациуме втроем. Аркадий был приписан к мастерской, где отливали монеты в формах. Было это не бог весть какое увлекательное ремесло, ибо тем же способом часто пользовались и фальшивомонетчики. К тому же изображение на монетках получалось нечетким. Эта работа Аркадию не нравилась... Поэтому он, не раздумывая, простился с семьей и отправился вниз по реке к Понту Эвксинскому искать Микаину.

VIII

Он плыл на корабле о двух кормах, напевая песню о рыбе, когда к нему приблизилась незнакомая девушка в шляпе из рыбьей чешуи. Казалось, ее привлекла песня. Он увидел, что груди у нее с огромными сосками, на которые, точно на пальцы, были нанизаны перстни. Сквозь перстни голубыми слезами капало молоко. Он попытался ее обнять, но девушка оттолкнула его, сообщив, что она зареклась, ибо ей не позволяет кровь. Он понял ее в прямом смысле, но девушка объяснила, что она — весталка и что в ней — кровь Бога. «Sangreal», — добавила она, вынимая изо рта крохотный красноватый камешек.

— Что это?! — изумился он.

И весталка поведала ему притчу о камешке. Такие «королевские камни» — капельки крови Бога. Весталки наследуют эти камни из поколения в поколение вот уже

триста лет. Во время обрядов в храмах эти камешки держат во рту, произнося через них молитвы. Поэтому одни камешки сильно обтесанные и маленькие, а другие, которые использовались реже, — побольше. Превыше других ценится крохотный красный камешек, хранимый ныне в одном из храмов Палестины. Легенда гласит, что он принадлежал весталке по имени Магдалина. Магдалина давно уже скончалась в Галилее, но, прежде чем отправиться в заморские края, она завещала соотечественникам свой камень, через который читала молитвы...

Выслушав эту притчу, Аркадий спросил девушку о храме, где на стене висит деревянный ключ, и она ответила, что знает такой храм и что корабль плывет как раз по направлению к нему.

Когда они высадились, спутница Аркадия показала ему скалу, под которой можно заснуть во сне.

— Заснуть во сне, — сказала она, — это значит проснуться в другой жизни.

Затем они напились из источника кипящей воды — воды познания, увидели врата, пройдя через которые человек спустя сорок дней умирает, а также медное гумно, на котором молотили зерно десять лошадей. Он простился со своей спутницей под скалой, вот уже тысячу лет висящей в воздухе над водой, ибо царь Соломон повелел злым духам ее держать. Еще одна такая же скала на берегу источала воду и будет вечно источать, даже если ее перенести в другое место.

Однако по данному ему описанию Аркадий не нашел храма, который искал. Прохожие объяснили, что храм находится под землей. Сойдя в него, он тут же увидел висящий на стене храма деревянный ключ. Ключ был гораздо больше того, который Аркадий продал перед уходом в Виминациум. Он спрашивал еще встречных по дороге, а потом служительниц храма, нет ли среди них девушки по имени Микаина. Они отвечали, что ее здесь нет и что он напрасно ищет девушку, если она дала священный обет. А еще сказали, что дадут ему поесть.

Усталый и отчаявшийся, он принес в храме жертвы огню вместе с другими путниками, уселся за деревянный стол и стал ждать обеда. Сначала вынесли тетрапод с горящим фитильком. Потом — мисочку пшеницы, в которую воткнули семь палочек, обернутых шерстью. И наконец, внесли сосуд и налили в него подливу из вина и укропа с икрой. Он узнал ее сразу по запаху.

Поистине всякое может случиться, пока несешь кусок ко рту, осенило его. Ведь это было блюдо, которое умела готовить Микаина.

Как безумный, он бросился обратно к служительнице храма, которая раньше сказала, будто Микаины нет в храме, и стал умолять допустить его к той, кого искал. Поняв, что его мольбы напрасны, он стал кричать, призывая Микаину, громко петь песню о рыбе и, наконец, истощив свои силы, упал на землю в тени дерева, не выпуская из рук сосуда с подливой.

Посетители храма смотрели на него с удивлением. Он заметил среди них мужчину и девочку, похожую на Микаину. Ему вдруг подумалось, что и они, возможно, пришли повидать Микаину.

А что, если это муж Микаины и ее дочка? — спрашивал он себя. Девочка смотрела на него, и ее улыбка казалась гораздо старше ее самой. Аркадий хотел обратиться

к ним, но в это мгновение незнакомец воскликнул: «Смотри-ка!» — нагнулся и достал из песка у ног Аркадия перстень с большим зеленым камнем.

— Этот добрый человек и я вместе нашли перстень! — пояснил незнакомец, обращаясь к девочке, а затем, обернувшись к Аркадию, добавил: — Давай поделим находку! Ты возьми себе перстень, ибо я нашел его у твоих ног, а мне дай серебряную монету.

Аркадий смутился. Зная толк в металлических изделиях, он сразу определил, что перстень — не имеющая ценности подделка, которую незнакомец носит, зажав в горсти, а затем якобы находит в песке и выманивает деньги у легковерных людей. Это его огорчило: ведь от такого проходимца, даже если он и вправду муж Микаины, ничего достоверного не узнаешь.

Тут рядом оказалась служительница храма, с которой он уже дважды разговаривал. На голове у нее была шляпа из рыбьей чешуи. Она сказала ему:

— Смотри не засни под этим деревом. Кто под ним заснет, семьдесят лет не проснется. И не тревожься больше о своей Микаине. Если она пошла за сыном божьим, то она счастлива, ибо стала его невестой.

И указала на деревянный ключ, висевший в подземном храме.

— Его знак — Рыба, и потому теперь Микаина носит на голове шляпу из рыбьей чешуи, как и все мы. Она никогда больше не будет Микаиной и не может быть твоей невестой. Теперь ее жених — Бог, он и царь, и ключ к будущему... Я не знаю, где сейчас твоя Микаина, — добавила она, — но наверняка она слышит не то, что ты слышишь... И видит гораздо скорее, как всякая женщина, скорее вас, мужчин. Она видит будущее. И потому думай о своей Микаине как о смоковнице из притчи — когда ее ветви покроются листвой, знай, что впереди лето.

— А я? Что же будет со мной?

— Покройся и ты шляпой из рыбьей чешуи и посвяти себя Богу Микаины.

— Но я ищу Микаину, а не бога! Что такое бог?

— Бог — это любовь!

— С каких это пор Венера стала мужчиной? — бросил ей сердито Аркадий и отправился на поиски корабля, чтобы вернуться домой.

На корабле оказался тот самый мужчина с девочкой, которого он заметил у храма. Аркадий придумал, как узнать от них вести о Микаине, ни о чем не спрашивая. Он погладил девочку по голове и хотел незаметно принюхаться к ее ладони — не почувствует ли в ее запахе пот и душистое масло Микаины. Тут его подстерегала полная неожиданность: девочка нащупала под плащом его орудие и ловко выпрямила.

— А теперь, — шепнула она, — иди к моему отцу, только потом не забудь про меня, а то все хотят с ним, а про меня забывают...

В эту минуту Аркадий ощутил на плече железную лапу незнакомца, который спрашивал, зачем он пристает к его дочери. Совершенно растерявшийся Аркадий все же пролепетал в ответ:

— Добрый человек, не знал ли ты Микаину?

Тот усмехнулся, растянув рот до ушей, и сказал:

— Может, и знал, но кому это известно? Будь со мной поласковее и как следует меня выдои. Может, и скажу!

И его рука тоже потянулась под плащ Аркадия. Шаря там, он бормотал:

— У меня две ноги, и обе левые... Я укрощаю пространство, как укрощают диких коней...

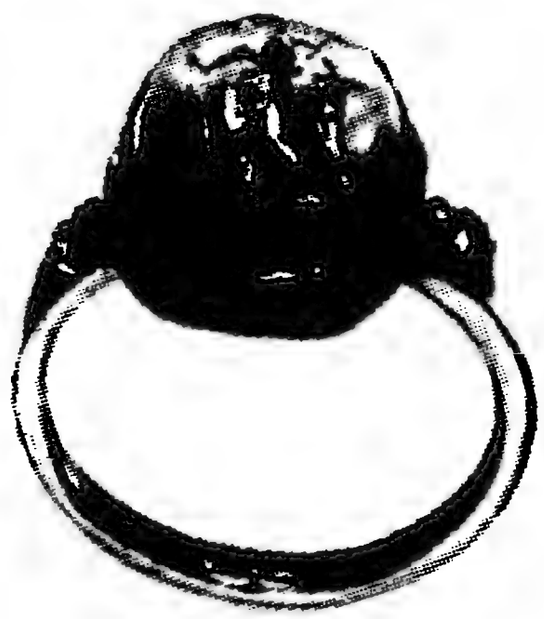
И пока незнакомец хрюкал от удовольствия, лежа под ним, Аркадий пытался обнаружить в его волосах и одежде запахи Микаины. Он твердо решился вернуться на Понт или куда угодно, если появится хотя бы намек на то, что он сможет встретиться с ней. Но все было напрасно. На незнакомце не оказалось никаких следов Микаины. И пахло от него кем угодно, только не Микаиной. Аркадий не нашел то, чего искал, в то время как незнакомец требовал продолжить начатое. После того как Аркадий его оттолкнул, он укоряюще заныл:

— Неужели ты меня не узнал? Я же и есть Микаина! Моему мужу Ибику, отцу той девочки, варвары отрубили голову. Я тогда сошла в подземное царство здесь, у устья Истра — смотри, наш корабль как раз проплывает мимо этого места. Я стала просить у бога Ада голову своего мужа... И он мне ее дал. Вместо моей. Я вернулась на этот свет к своей дочке с головой моего любимого на плечах. Это у меня на плечах голова Ибика. А моя голова, Микаинина, осталась в подземном царстве...

Незнакомец опять пытался его надуть.

Была глубокая ночь, с берега доносился глухой лай — собаки лаяли во сне, не разжимая зубов. Аркадий был погружен в свою боль, как в корабль, а в корабль — как в проказу. Он подумал о том, что души людей, как и блюда на столе, бывают разные — холодные и горячие, одни — с перцем, да еще и жидкие, как фасолевая похлебка, другие — как зайчатина с капустой, а третьи — как капля меда... Его собственная душа в эту минуту казалась ему больше всего похожей на помои. И вот в эту самую минуту Микаина приснилась ему, обняла, сделала снова мужчиной и отняла у него немного мужского семени.

Кто знает, подумал он с облегчением поутру, а вдруг она сейчас где-то далеко отсюда, из этого семени делает наших детей.



IX

Вернувшись домой, в Виминациум, Аркадий нашел монетный двор закрытым. Монетный двор перестал работать. Его закрыл римский император Галлиен на втором году своего правления. Поскольку и через год монетный двор по-прежнему был закрыт, Аркадий со своей семьей переселился в Стоби, где чеканили свою монету. Теперь он работал с клещами. Нижняя часть клещей имела отпечаток лицевой стороны монеты, а верхняя часть — оборотной. Заранее заготовив и промерив медные пластинки, Аркадий разогревал их, пока они не становились ковкими. Тогда он закладывал пластинку в клещи, закрывал их и ударял по ним. Так получалась медная денежка.

Казалось, что он доволен жизнью. Но жена его замечала, что иногда во сне ее муж становится на мгновение совершенно седым, а через одну-две минуты волосы его снова приобретают свой обычный цвет. Это были краткие приливы старости, преходящих ночных страхов, которым не удавалось пробиться на поверхность.

Однажды ночью он проснулся в ужасе. На этот раз Микаина явилась к нему во сне, чтобы спросить:

— А сколько нам с тобой вместе лет?

Он подсчитал, что им вдвоем ровно сто лет, но не это его испугало. Он вдруг осознал, что давно уже живет не в Виминациуме, а в Стоби и что если сейчас Микаина вдруг захочет его найти, то не сможет. Она ведь теперь не знает, где он.

И Аркадий решил немедленно что-то предпринять. Он попросился изготовлять формы для чеканки монет.

Перед собой он положил глиняный черепок, на котором когда-то шилом и углем изобразил Микаину, и начал переносить свой рисунок на образцы. С изготовленными в Стоби медными денежками стало расходиться по всей империи лицо Микаины на женских фигурках, олицетворявших Согласие (Concordia), Счастье (Fortuna) или Изобилие (Abundantia).

Прослышав, что в Виминациуме снова открылся монетный двор, Аркадий вместе с семьей вернулся туда. Ему сразу же поручили приготовить образец для сестерция, представляющего супругу императора Траяна. Herenia Etruscilla обрела черты Микаины и ее прическу.

По краю монеты, как было принято, Аркадий обозначал место, где она изготовлена. Таким образом, Микаина, узнав свое лицо на монете, могла понять, что ее отчеканил Аркадий, а если бы она вдруг надумала к нему вернуться, то всегда было ясно, где его можно найти.

Но его послания, казалось, не достигали цели. Монетки с изображениями Микаины расходились сначала из Стоби, а потом из Виминациума по всей империи, но все было напрасно. Проходили годы и годы, а о Микаине не было ни слуха ни духа.

Аркадий давно уже казался на десять лет старше, чем был, однако с тех пор больше не менялся, он словно стоял в будущем, ожидая самого себя и годы, которые должны были его нагнать. Он носил на шее связку злого красного перца для специально придуманного упражнения. Он пытался убить на корню любую свою мысль, едва она появлялась. Одной только что родившейся мыслью он убивал другую, которая была чуть постарше, точно камни разбивал друг о друга. Постепенно он остался безоружным перед своими органами чувств. И теперь запахи, образы, звуки и прикосновения убивали его мысли.

— Мысли — всего лишь приправа к душе, — заключил он и снова, как в молодости, начал читать подряд все надписи. Будто что-то искал. И нашел. В одной купальне он прочел следующие слова, выложенные мозаикой: «Sic ego non sine te, nec tecum vivere possum».

Он понял их только к вечеру, когда перевел на греческий: «Так я не в силах жить ни без тебя, ни с тобой». Он был потрясен. Слова с мозаики были обращены прямо к нему и говорили о его судьбе.

И тут с Аркадием приключилось нечто, чего он сам видеть не мог. Над его левым плечом появилась маленькая красная бабочка. Она не хотела с ним расставаться. Бабочка следовала за ним как собака, но Аркадий не замечал ее: ведь именно он не мог видеть бабочку. Зато бабочку заметила его дочь Флацилла.

Вскоре после этого к ним зашел какой-то человек и передал Аркадию клубок красной шерсти. Дело было весной, ночью, и слышно было, как где-то неподалеку рабыня обучает говорящую птицу. Птица оказалась не очень одаренной и заданные ей слова повторяла с трудом, то и дело ошибаясь.

— Вот клубок шерсти, его посылает тебе Микаина, — сказал пришелец, — это единственное, что от нее осталось. Десять дней тому назад она умерла.

— Где? — спросил Аркадий, но ответа не получил.

Посланец и сам ничего не знал. Он только выполнял поручение своего приятеля, который попросил об этой услуге, узнав, что он направляется в Виминациум...

X

Таким образом, поиски Аркадия прекратились сами собой. Он отправился на берег Данувиоса, в корчму, где когда-то встретил Микаину после приключения на пароме. Он смотрел и смотрел на выставленные там деревянные изображения уток, кур и зайцев, разглядывал деревянные яйца, деревянных куропаток и поросят, рас-

ставленных там, чтобы показать, чем можно закусить, и не мог утешиться. Тоска преследовала его долго и упорно, как болезнь, и Аркадий забросил дела на монетном дворе.

— Cras, cras, semper cras! — шептал он про себя.

Вернувшись вместе с семьей в Медиану, он ощутил, что душа его утратила весомость, что она не может ни упасть выпущенным из руки камнем, ни взлететь пущенным в небо копьем. Он не знал, что с ней делать. Иногда он уходил к реке, что течет близ города Наисуса, и ждал, когда в четвертом часу пополудни ветер на мгновение остановит воду. Здесь он грустил, пока не начинала болеть голова незадолго до того, как от заводей и болот распространялся запах умерших трав. Он взял одну монетку с изображением Микаины и переломил ее надвое, чтобы Микаина могла ею воспользоваться на том свете, ибо то, что на этом свете сломано, на том свете станет целым. Таким образом, Микаина и после смерти могла знать, что Аркадий ее по-прежнему ждет.

Изгрызенный и почти разбитый отчаянием, однажды вечером он почувствовал, что наступает «его ночь», как сказала бы Микаина. Ночь его очищения. Он сразу понял, как использует эту ночь. Была осень. Он смотрел, как падают перед ним листья, и слушал, как те самые листья, падая, шуршат у него за спиной. Он снова был на перекрестке дорог и снова молился Гекате, богине Луны:

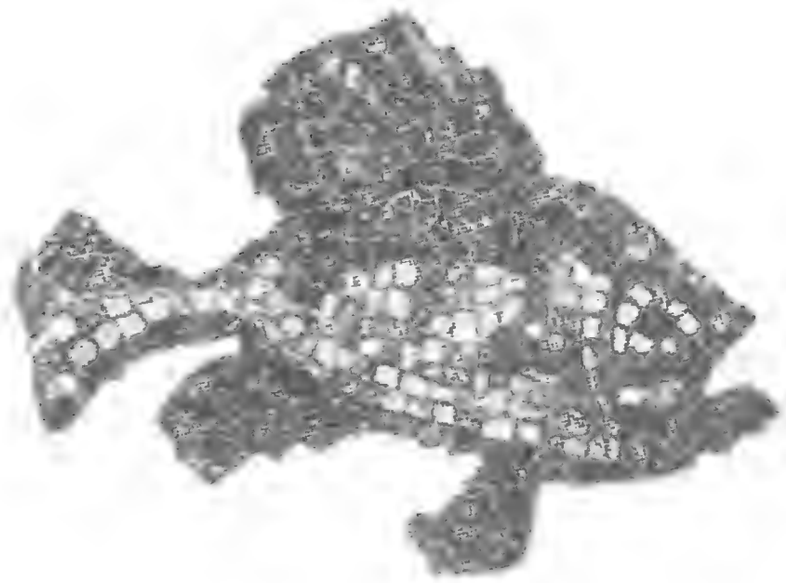
— Пустых садов я боюсь, потерянных в сердце моем, не зная путей, что могут к ним привести. Не я выбираю птиц, что на них слетятся, и память моя все старше, все дальше в прошлом томится она, и власти нет у меня, чтоб ее удержать...

Тогда ему открылось, что в человеке скорее всего стареет пот, а медленнее всего стареет душа. Его душа была по крайней мере на десять лет моложе его тела. Ему исполнилось пятьдесят, а душе по-прежнему было около сорока лет. Для нее все еще были живы те, кто для него давно умер. Да ведь его душа все еще «не знает», что Микаины больше нет! И тут Аркадий вдруг начал относиться к Микаине так, словно она была жива. Он ее всеми силами возненавидел. За свою несчастную жизнь, за то, что он бросил работу, за свой разоренный очаг. Благодаря этой ненависти однажды утром он вдруг очнулся от своей тоски, как от болезни, воспрянул, как от зимнего сна. Окрепший, почти веселый, он вдруг заметил окружающих, обратил внимание на жену, которую он нашел переменившейся почти до неузнаваемости, и бросился взглянуть на дочь.

Войдя в ее светелку, он окаменел. Вся комната была заполнена волосами цвета воронова крыла. Под шатром этих волос он увидел коленопреклоненную женскую фигурку, державшую перед собой сложенные раковиной ладони. На голове у нее была шляпа из рыбьей чешуи, а на стене перед ней висел деревянный ключ. Аркадий ахнул, раздвинул волосы и увидел под ними свою дочь Флациллу.

— В сложенных ладонях — забытые нами слова, — сказала она с улыбкой. Не отрываясь смотрела она на бабочку, трепетавшую над плечом Аркадия подобно лучику света.

Отец разомкнул сложенные ладони дочери. В них лежал клубочек красной шерсти. Под его взглядом Флацилла стала потихоньку разматывать клубок и наконец,



когда вся шерсть была размотана, показала Аркадию семь денежек, которые Микаина спрятала в свой клубок. Тех самых денежек, изготовляя которые он чеканил лик своей возлюбленной на монете Римской империи.

Всего было шесть медных монет и одна серебряная. С оттисками названий городов, где они были изготовлены.

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ПИСЬМО ГОРАЦИЮ

Славен метрический стих, что не терпит поспешных ответов,
Думать велит, от оков «я» избавленье несет.

У.Х. Оден[1]

Мой дорогой Гораций,

если рассказ Светония о том, что ты увешивал стены своей спальни зеркалами, чтобы любоваться соитием под разными углами, — правдив, ты можешь счесть это письмо несколько скучным. С другой стороны, тебя может позабавить, что оно пришло к тебе из части света, о существовании которой ты даже не подозревал, и к тому же спустя две тысячи лет после твоей смерти. Не правда ли, неплохо для отражения?

Тебе было почти пятьдесят семь, если не ошибаюсь, когда ты умер в 8 году до Р. Х., хотя ты не знал ни самого Х., ни наступающего нового тысячелетия. Что до меня, мне сейчас пятьдесят четыре; моему тысячелетию тоже осталось всего несколько лет. Какой бы новый порядок вещей будущее ни имело в запасе, я также ничего из него не предвижу. Так что мы можем поговорить, я полагаю, как мужчина с мужчиной, Гораций. И я тоже могу начать с рассказа в интимном роде.

Прошлой ночью, лежа в постели, я перечитывал перед сном твои «Оды» и наткнулся на обращение к твоему собрату по перу Руфу Валгию, в котором ты пытаешься убедить его не горевать столь сильно о потере сына (по мнению одних) или возлюбленного (по мнению других). На протяжении нескольких строф ты приводишь примеры, говоря ему, что такой-то потерял одного, а такой-то другого, и затем ты предлагаешь Руфу, чтобы он, в качестве самотерапии, занялся восхвалением новых триумфов Августа. Ты упоминаешь несколько недавних побед, и среди них отторжение простора у скифов.

На самом деле там, вероятно, были гелоны; но это неважно. Странно, я не замечал этой оды раньше. Мой народ — ну, скажем так — не упоминается слишком часто великими поэтами римской античности. Греками — другое дело, поскольку они довольно много общались с нами. Но даже у них мы не слишком в чести. Несколько отрывков у Гомера (из которых Страбон впоследствии изготовил такое!), десяток строк у Эсхила, немногим богаче у Еврипида. В основном, упоминания мимоходом; но кочевники и не заслуживают большего. Из римлян, я раньше думал, только бедный Овидий обращал на нас какое-то внимание; но ведь у него не было выбора. Практически ничего о нас нет у Вергилия, не говоря уж о Катулле или Проперции, не говоря уж о Лукреции. А теперь, смотри-ка, крошка с твоего стола.

Возможно, сказал я себе, если нашего автора как следует поскрести, то я обнаружу упоминание той части света, где нахожусь сейчас. Кто знает, может, он обладал воображением, предвидением. При таком роде занятий это бывает.

Но ты никогда не был провидцем. Переменчивым, непредсказуемым — да, но не провидцем. Посоветовать убитому горем человеку сменить тональность и петь победы цезаря — это ты мог; но вообразить другую землю и другое небо — для этого следует обратиться, я полагаю, к Овидию. Или ждать еще тысячелетие. В целом же вы, латинские поэты, были сильнее в размышлении и рассуждении, нежели в выдумке. Я полагаю, потому, что импе-

[1] Перевод С. Гандлевского.

© 1995 by Joseph Brodsky. Перевод публикуется с разрешения наследников И.Бродского.
© Е.Касаткина. Перевод, 1997

рия и так была достаточно обширной, чтобы еще напрягать воображение.

Итак, я лежал поперек моей неубранной постели в этом невообразимом (для тебя) месте холодной февральской ночью спустя почти две тысячи лет. Единственное, что у меня с тобой было общего, я думаю, — широта и, конечно, томик твоих стихов в русских переводах. В то время, когда ты все это писал, у нас, видишь ли, не было языка. Мы даже не были нами; мы были гелоны, геты, будины и т.д.: просто пузырьки в резервуаре генов нашего будущего. Так что две тысячи лет в конечном счете не прошли даром. Теперь мы можем читать тебя на нашем чрезвычайно флективном языке с его знаменитым гуттаперчевым синтаксисом, дивно подходящим для перевода тебе подобных.

. Однако я пишу тебе это на языке, с чьим алфавитом ты знаком лучше. Гораздо лучше, следовало бы добавить, чем я. Кириллица лишь озадачила бы тебя еще сильнее, хотя ты, без сомнения, узнал бы греческие литеры. Конечно, расстояние между нами слишком велико, чтобы беспокоиться из-за его увеличения — или пытаться его сократить. Но вид латинских букв, может, послужит тебе некоторым утешением, даже если комбинации их тебя озадачат.

Итак, я лежал на кровати с томиком твоих «Песен». Отопление было включено, но холодная ночь снаружи его одолевала. Живу я здесь в маленьком двухэтажном деревянном доме, и моя спальня — наверху. Глядя на потолок, я почти видел, как просачивается через мансардную крышу холод: нечто вроде антитумана. Никаких зеркал. В определенном возрасте не питаешь интереса к собственному отражению, будь ты в обществе или без, особенно если без. Вот почему я сомневаюсь, что Светоний говорит правду. Хотя, я думаю, ты был вполне сангвиник во всех отношениях. Твоя знаменитая уравновешенность! Вдобавок, хотя Рим находится на той же широте, в нем никогда не бывает так холодно. Пару тысяч лет тому назад климат, возможно, был иным; хотя твои строчки не свидетельствуют об этом. Как бы то ни было, я засыпал.

И я вспомнил красавицу, которую когда-то знал в твоем городе. Она жила в Субуре, в квартирке, изобилующей цветочными горшками, но благоухающей ветхими книжками, заполонившими ее. Книжки были повсюду, но главным образом на полках, доходящих до потолка (потолок, надо сказать, был низкий). Большинство книг принадлежало не ей, а соседке напротив, о которой я много слышал, хотя никогда ее не встречал. Соседкой была старуха, вдова, родившаяся и проведшая всю свою жизнь в Ливии, в Лептис Магна. Она была итальянкой, но еврейского происхождения — а может, евреем был ее муж. Так или иначе, когда он умер и в Ливии стало припекать, старая леди продала дом, упаковала вещи и приехала в Рим. Ее квартира была, вероятно, еще меньше, чем квартира моей нежной подруги, и полным-полна отложений, скопившихся за жизнь. Посему две женщины, старая и молодая, заключили соглашение, после которого спальня последней стала напоминать настоящий букинистический магазин. С этим впечатлением не вязалось не столько присутствие кровати, сколько большое зеркало в тяжелой раме, несколько ненадежно прислоненное к шаткой книжной полке прямо против кровати и под таким углом, что всякий раз, когда я или моя нежная подруга хотели подражать тебе, нам приходилось отчаянно вытягивать и выворачивать шеи. В противном случае в зеркале отражались лишь книги. На рассвете оно могло вызвать у вас жутковатое ощущение собственной прозрачности.

Все это случилось много лет назад, хотя что-то побуждает меня пробормотать — столетия тому назад. В эмоциональном смысле это было бы верно. В самом деле, расстояние между этой квартирой в Субуре и моим теперешним обиталищем психологически больше, чем расстояние между тобой и мною. То есть в обоих случаях «тысячелетия» неприменимы. Или для меня твоя реальность практически больше реальности моего личного воспоминания. Кроме того, название Лептис Магна мешается и с тем и с другим. Я всегда хотел побывать там; в сущности, это стало чем-то вроде навязчивой идеи с тех пор, как я зачастил в твой город и на средиземноморские берега вообще. Отчасти потому, что напольная мозаика в одной тамошней бане содержит единственное дошедшее до нас изображение Вергилия, и к тому же сделанное при его жизни! По крайней мере, так мне рассказывали; впрочем, возможно, это в Тунисе. Как бы там ни было, в Африке. Когда человеку холодно, он вспоминает Африку. И когда жарко — тоже.

Дорого бы я дал, чтоб узнать, как выглядели вы четверо! Чтобы сопоставить лицо с лирикой, не говоря уж об эпосе. Я бы согласился на мозаику, хотя предпочел бы фреску. На худой конец, я смирился бы и с мрамором, если бы не его крайняя обобщенность — в мраморе все белокуры — и крайняя сомнительность. Как бы то ни было, ты меньшая из моих забот, то есть тебя легче всего вообразить. Если то, что рассказывает нам Светоний о твоей внешности, действительно правда — хоть что-то в его рассказе должно же быть правдой! — ты был невысок и тучен; и тогда ты, вероятней всего, походил на Эудженио Монтале или на Чарли Чаплина времен «Короля в Нью-Йорке». Кого я никак не могу представить — это Овидия. Даже Проперция

легче: тощий, болезненный, одержимый своей столь же тощей и болезненной рыженькой, он видится яснее. Скажем, помесь Уильяма Пауэлла и Збигнева Цибульского. Не то с Овидием, хотя он прожил дольше вас всех. Увы, не в тех краях, где ваяли статуи. Или выкладывали мозаики. Или утруждали себя фресками. А если что-то в этом роде было сделано до того, как твой возлюбленный Август вышвырнул его из Рима, то все, несомненно, было уничтожено. Чтобы не оскорблять изысканных вкусов. А впоследствии — ну, впоследствии сгодился бы любой кусок мрамора. Как мы говаривали в северной Скифии — Гиперборея по-вашему, — бумага все стерпит, а в твои дни мрамор был чем-то вроде бумаги.

Ты думаешь, я мелю вздор, но я просто пытаюсь воспроизвести ход мыслей, который привел меня прошлой ночью к замечательному живописному пункту назначения. Конечно, ход этот был извилист; но не слишком. Ибо так или иначе я всегда думал о вас четверых, особенно об Овидии. О Публии Овидии Назоне. И не по причине какой-то особенной близости. Как бы сходно ни выглядели время от времени наши обстоятельства в глазах наблюдателя, я не создам «Метаморфоз». Кроме того, двадцать два года в этих краях не могут тягаться с десятью в Сарматии. Не говоря уж о том, что я видел крушение моего Третьего Рима. Я не лишен тщеславия, но оно имеет пределы. Сейчас, очерченные возрастом, они более ощутимы, чем раньше. Но даже когда щенком я был вышвырнут из дома к Полярному кругу, я никогда не воображал себя его двойником. Хотя тогда моя империя действительно казалась вечной и можно было скитаться по льду наших многочисленных дельт всю зиму.

Нет, я никогда не мог представить лицо Назона. Иногда я вижу его сыгранным Джеймсом Мейсоном — ореховые глаза, увлажненные горем и озорством; хотя в другое время это льдистый взгляд Пола Ньюмена. Впрочем, Назон был чрезвычайно многоликим, и, без сомнения, над его ларами царил Янус. Вы ладили между собой, или разница в возрасте была слишком велика? Все-таки двадцать два года. Ты, должно быть, его знал — хотя бы через Мецената. Или ты считал его слишком легкомысленным, предвидел его судьбу? Была ли между вами вражда? Он, должно быть, считал тебя до смешного лояльным, записным консерватором, какие получаются из самостоятельно пробившихся людей. А для тебя он был просто сопляк, аристократишка, привилегированный от рождения, и т.д. Не то что вы с Вергилием Энтони Перкинса, можно сказать, пролетарские мальчики с разницей лишь в пять лет. Или, может, я слишком начитался Карла Маркса и насмотрелся кино, Гораций? Возможно. Но подожди, здесь кое-что еще. В этом замешаны также доктор Фрейд, ибо что за толкование сновидений, если оно не пропущено через старого доброго Зигги? Ибо к старому доброму подсознанию и вел меня прошлой ночью упомянутый ход размышлений, причем довольно быстро.

В любом случае, Назон был более велик, чем вы оба, — ну, по крайней мере, на мой взгляд. Метрически, конечно, более монотонный; но таков и Вергилий. Таков же и Проперций, при всем накале его страстей. Как бы то ни было, моя латынь паршива; посему я читаю вас всех по-русски. Этот язык справляется с твоим асклепиадовым стихом гораздо убедительнее, чем язык, на котором я это пишу, несмотря на то что алфавит последнего тебе привычней. Последний просто не может управиться с дактилями. Которые были твоим коньком. Вернее, коньком латыни. И твои «Песни», конечно, тому подтверждение. Так что я вынужден судить об этом деле, доверясь воображению. (Вот аргумент в твою защиту, если ты в ней нуждаешься.) А воображением Назон вас всех превосходит.

Все равно я не могу воссоздать ваши лица, особенно его; даже во сне. Странно, не правда ли, не иметь никакого представления о внешности тех, кого вроде бы знаешь очень близко? Ибо ни в чем так не раскрывается человек, как в использовании ямбов и трохеев. Тогда как те, кто не пользуется размерами, — всегда закрытая книга, даже если вы знаете их вдоль и поперек. Как это сказал Джон Клэр? «Даже те, кого я знал лучше всего, / незнакомы — нет! незнакомей, чем остальные». Во всяком случае метрически, Флакк, среди них ты самый разнообразный. Неудивительно, что этот спотыкающийся и неровный ход моих мыслей взял тебя в поводыри, оставляя собственное тысячелетие и направляясь в твое, непривычное, надо полагать, к электричеству. Поэтому я путешествую в темноте.

Мало что наскучивает больше чужих снов, если только это не кошмары или густая эротика. Мой сон, Флакк, относился к последней категории. Я находился в какой-то скудно обставленной спальне, в постели, и сидел рядом с похожим на морскую змею, хотя чрезвычайно пыльным, радиатором. Стены были абсолютно голые, но я не сомневался, что нахожусь в Риме. А если точнее — в Субуре, в квартире моей хорошенькой подружки былых времен. Только ее там не было. Не было также ни книжек, ни зеркала. Но коричневые цветочные горшки стояли нетронутыми, испуская не столько растительный аромат, сколько запах собственной глины: вся сцена была выполнена в терракоте и сепии. Вот почему я понял, что я в Риме.

Все было окрашено терракотой и сепией. Даже смятые простыни. Даже лиф моей под-

руги. Даже те угадываемые части ее анатомии, которые не были тронуты загаром, думаю, также и в твое время. Все было положительно одноцветным; я чувствовал, что, будь я способен увидеть самого себя, я тоже был бы в сепиевых тонах. Однако зеркало отсутствовало. Вообразите греческие вазы с их многофигурным опоясывающим рисунком — и вы получите текстуру.

Это была самая энергичная встреча такого рода, в какой я когда-либо участвовал, будь то в реальной жизни или в моем воображении. Однако следовало бы уже обойтись без таких разграничений, принимая в расчет характер этого письма. То есть на меня произвела большое впечатление моя стойкость, равно как и мое вожделение. Учитывая мой возраст, не говоря уже о состоянии моего сердца, этих разграничений стоит держаться, будь то сон или нет. Признаться, предмет моей любви — предмет, с тех пор давно освоенный, — был заметно моложе меня, но нельзя сказать, чтобы нас разделяла пропасть. Телу, о котором идет речь, по-видимому, было под сорок — костлявое, но упругое и чрезвычайно гибкое. Однако больше всего в нем поражало его колоссальное проворство, целиком подчиненное единственной задаче: избежать банальности постели. Если свести все предприятие в одну камею, то верхняя часть описываемого тела была бы погружена в узенький, с фут шириной, зазор между кроватью и радиатором, незагорелый круп и сверху я, плывущий над краем матраса. Кружевная кайма лифа служила бы пеной.

Во время всего этого я не видел ее лица. По причинам, упомянутым выше. Все, что я знал о ней, — что она из Лептис Магна, хотя понятия не имею, как я это выяснил. У этой встречи не было звукового оформления, кажется, мы не обменялись даже парой слов. Если мы говорили, то до того, как я стал это сознавать, и слова, вероятно, были на латыни: у меня смутное ощущение какого-то препятствия в нашем общении. Однако я все время, по-видимому, знал или как-то сумел догадаться заранее, что в складе ее лица было что-то от Ингрид Тулин. Возможно, я заметил это, когда правая рука моей подруги, свесившейся с кровати, то и дело в неуклюжем движении назад нащупывала теплые кольца пыльного радиатора.

Когда я проснулся на следующее — то есть на это — утро, в моей спальне было ужасно холодно. Отвратительный мутный дневной свет проникал через оба окна как некое подобие пыли. Не исключено, что пыль и есть остаток дневного света. Я тут же закрыл глаза; но комната в Субуре исчезла. Единственное свидетельство случившегося замешкалось в темноте под одеялом, куда дневной свет не мог проникнуть, но замешкалось, очевидно, ненадолго. Рядом со мной, раскрытая на середине, лежала твоя книга.

Без сомнения, именно тебя я должен благодарить за этот сон, Флакк. Рука, судорожно пытающаяся сжать радиатор, могла бы, конечно, означать вытягивание и выворачивание шеи во время оно, когда моя хорошенькая подружка или я пытались себя увидеть в том зеркале с позолоченной рамой. Но я сомневаюсь в этом — два торса не могут сжаться до одной руки; ни одно подсознание не является столь экономным. Нет, я полагаю, что эта рука как-то вторила общему движению твоего стиха, его полной непредсказуемости и вместе с тем неизбежному растяжению — нет! напряжению — твоего синтаксиса при переводе. В результате практически каждая твоя строчка удивительна. Хотя это не комплимент; просто констатация. При нашем роде занятий уловки, естественно, de rigueur[1]. И стандартная пропорция — примерно одно маленькое чудо на строфу. Если поэт исключительно хорош, он может сотворить два. У тебя практически каждая строчка — приключение; иногда несколько в одной строчке. Конечно, некоторыми из них ты обязан переводу. Но я подозреваю, что на твоей родной латыни твои читатели тоже редко угадывали, каким будет следующее слово. Это подобно постоянному хождению по битому стеклу или чему-то вроде: ментальному — оральному? — варианту битого стекла, прихрамывание и прыжок. Или подобно этой руке, сжимающей радиатор: было что-то явно логаэдическое в ее выбрасываниях и отдергиваниях. Но ведь рядом со мной были твои «Песни».

Будь это «Эподы» или «Послания», не говоря уж о «Сатирах» или даже «Науке поэзии», сон, я уверен, был бы иным. То есть он, возможно, был бы столь же плотским, но отнюдь не столь памятным. Ибо только в «Песнях» ты метрически предприимчив, Флакк. Остальное — практически все дистихи; остальное — гудбай Асклепиаду и Сапфо и хеллоу честным гекзаметрам. Остальное — не та судорожная рука, но сам радиатор с его ритмичными кольцами, напоминающими не что иное, как элегические дистихи. Поставьте этот радиатор на попа, и он будет выглядеть как что угодно из Вергилия. Или из Проперция. Или из Овидия. Или из тебя, за исключением твоих «Песен».

Он будет выглядеть как любая страница латинской поэзии. Он будет подобен — употребляя ненавистное слово — тексту.

А что, подумал я, если это и была латинская поэзия? И что, если та рука просто пыталась перевернуть страницу? А мои усилия vis-

---

[1] Необходимы, обязательны (*франц.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

a-vis окрашенного сепией корпуса означали мое чтение корпуса латинской поэзии? Хотя бы потому, что я все еще — даже во сне! — не мог разобрать ее лица. Что до сходства с Ингрид Тулин, которое я уловил, когда она делала усилие перевернуть страницу, это, весьма вероятно, было связано с Вергилием в исполнении Тони Перкинса. Потому что у них с Ингрид Тулин несколько схожие скулы; и потому также, что Вергилия я читал больше всех. Поскольку он сочинил больше строчек, чем кто бы то ни было. Правда, я никогда не подсчитывал, но это представляется несомненным, учитывая «Энеиду». Хотя лично я гораздо больше люблю его «Буколики» и «Георгики», нежели его эпос.

Почему, я скажу тебе позже. Суть вопроса, однако, состоит в том, что я действительно не знаю, заметил ли я сперва эти скулы, а затем выяснил, что моя окрашенная сепией подруга происходила из Лептис Магна, или наоборот. Но незадолго до этого я видел репродукцию этого мозаичного портрета на полу. И я решил, что он был из Лептис Магна. Не могу вспомнить почему и где. Возможно, на фронтисписе какого-то русского издания? Или, может, это была открытка. Главное, он был из Лептис Магна и сделан при жизни Вергилия или вскоре после того. А посему то, что я увидел во сне, было отчасти знакомым зрелищем; само ощущение было не столько зрительным, сколько ощущением узнавания. Несмотря на подмышечную впадину и грудь, круглящуюся под лифом.

Или именно поэтому: ибо на латыни поэзия женского рода. Это хорошо для аллегории, а что хорошо для аллегории — хорошо для подсознания. И если за телом моей подруги стоял — пусть и лежа — корпус латинской поэзии, ее высокие скулы могли бы с тем же успехом напоминать скулы Вергилия независимо от его собственных сексуальных предпочтений, хотя бы потому, что тело в моем сне было из Лептис Магна. Во-первых, потому что Лептис Магна в руинах, а каждое предприятие в спальне с его простынями, подушками и самими распростертыми и переплетенными конечностями напоминает руину. Во-вторых, потому что само название «Лептис Магна», будучи женского рода, подобно латинской поэзии, не говоря уж о том, что, как я полагаю, оно значит буквально. То есть великая лепта. Впрочем, моя латынь паршива. Но как бы там ни было, чем в конечном счете является латинская поэзия, как не великой лептой? Разве что мое чтение — безусловно, скажешь ты — повергает ее в руины. Так отсюда этот сон.

Давай избегать мутной воды, Флакк; не будем обременять друг друга выяснением, может ли сон быть взаимным. Обнадежь меня, по крайней мере, что ты не отнесешься подобным образом к моей собственной писанине, если ты когда-нибудь с ней познакомишься. Не правда ли, ты не станешь каламбурить о pen'e и penis'e? И почему бы тебе не познакомиться с ней безотносительно к этому письму. Будь то взаимность или нет, я не вижу причины, почему бы тебе, лезущему в мои сны, не сделать следующий шаг и не вмешаться в мою реальность.

Ты и так уже вмешиваешься, и это письмо тому подтверждение. Но помимо этого, ты прекрасно знаешь, что я тебе, так сказать, уже писал. Поскольку все, что я написал, технически адресовано тебе: тебе лично, равно как и остальным из вас. Ибо, когда пишутся стихи, ближайшая аудитория — не современники, не говоря уж о потомках, но предшественники. Те, кто дал язык, те, кто дал формы. По правде говоря, ты знаешь это гораздо лучше меня. Кто написал эти гекзаметры, асклепиадовы, алкеевы и сапфические строфы, и кто были их адресаты? Цезарь? Меценат? Руф? Вар? Лидия и Гликера? Черта с два они знали или беспокоились о трохеях и дактилях! И не меня ты имел в виду. Нет, ты обращался к Асклепиаду, к Алкею и Сапфо, к самому Гомеру. Ты хотел, чтобы тебя прежде всего оценили они. Ибо где Цезарь? Очевидно, во дворце или крушит скифов. А Меценат у себя на вилле. Равно как Руф и Вар. А Лидия с клиентом, а Гликеры нет в городе. Тогда как твои возлюбленные греки прямо здесь, у тебя в голове, или, лучше сказать, на устах, ибо ты, несомненно, знал их наизусть. Они были твоей лучшей аудиторией, поскольку ты в любой момент мог их вызвать. Именно на них ты старался произвести впечатление. Невзирая на иностранный язык. В сущности, на них легче произвести впечатление на латыни: по-гречески ты не имел бы широты родного языка. И они отвечали тебе. Они говорили: «Да, это впечатляет». Вот почему твои строчки так искривлены анжамбманами и эпитетами, вот почему твой довод всегда так непредсказуем. Вот почему ты советуешь убитому горем приятелю превозносить триумфы Августа.

Если ты мог делать это для них, почему я не могу делать это для тебя? Различие в языке, по крайней мере, налицо, так что одно условие соблюдено. Так или иначе, я отвечал тебе, особенно когда использовал ямбические триметры. А теперь я продолжаю это письмом. Кто знает, может, я еще вызову тебя сюда, может, ты еще материализуешься в конце концов даже отчетливее, чем в моих стихах. Насколько мне известно, логаэдические размеры с дактилями побивают любой старый спиритический сеанс в способности вызывать духов. В нашем деле вещи такого рода называются стилизацией. А раз ритм классики входит в наш организм, ее дух входит следом. А ты классик, Флакк, не так ли, и по многим параметрам, что само по себе достаточно сложно.

И в конечном счете с кем еще из живущих в

этом мире можно говорить без отвращения, особенно если ты с младых ногтей склонен к мизантропии. Именно по этой причине, а не из тщеславия, я надеюсь, что ты познакомишься с моими ямбами и трохеями как-нибудь на свой загробный манер. Случались дела и постраннее, и мое перо потрудилось, по крайней мере, в этой области. Конечно, я бы охотнее поговорил с Назоном или Проперцием, но с тобой у меня больше общего метрически. Они были привержены к элегическим дистихам и гекзаметрам; я редко ими пользуюсь. Так что разговор пойдет у нас с тобой. Для любого это могло бы прозвучать самонадеянно. Но не для тебя. «Все литераторы имеют / Воображаемого друга», — говорит Оден. Почему я должен быть исключением?

На самый крайний случай я могу усесться перед зеркалом и обращаться к нему. Уже отчасти замена, хотя я не думаю, что ты был похож на меня. Но когда доходит до человеческой внешности, природа в конечном счете не располагает большим выбором. Каков он? Пара глаз, рот, нос, овал. При всем их многообразии через две тысячи лет природа вынуждена повториться. И даже бог. Поэтому я легко мог бы заявить, что это лицо в зеркале, по сути, твое, что ты — это я. Кто может проверить и каким образом? Для фокусов с вызыванием духов это могло бы сгодиться. Но боюсь, я зашел слишком далеко: я никогда не напишу письма самому себе. Даже если б я и вправду был твоим подобием. Так что оставайся без лица, Флакк, оставайся невызванным. Так тебя может хватить еще на два тысячелетия. В противном случае всякий раз, когда я взбираюсь на женщину, она могла бы думать, что имеет дело с Горацием. Ну, в каком-то смысле это так, будь то во сне или наяву. Нигде время не рушится с такой легкостью, как в уме. Потому-то мы так и любим размышлять об истории, не правда ли? Если я прав насчет природного выбора, то выбор, предлагаемый историей, подобен окружению себя зеркалами, как жизнь в борделе. Две тысячи лет — чего? По чьему исчислению, Флакк? Конечно, не с метрической точки зрения. Тетраметры есть тетраметры, неважно когда и неважно где. Будь то в греческом, латыни, русском, английском. Также и дактили и анапесты. И так далее. Так что две тысячи лет в каком смысле? Коль скоро речь зашла о разрушении времени, наше ремесло, боюсь, побивает историю и отдает довольно сильно географией. Общее у Евтерпы и Урании то, что обе старше Клио. Ты принимаешься отговаривать Руфа Валгия от его затянувшегося горевания, напоминая о волнах mare Caspium, даже они, пишешь ты, не вечно остаются ревущими. Се означает, что ты знал об этом mare две тысячи лет назад — несомненно, от какого-нибудь греческого автора, поскольку твой народ не разбрасывал свои перья так широко. В чем, полагаю, и состоит главная привлекательность этого mare для тебя как римского поэта. Экзотическое название, и вдобавок подразумевающее самую отдаленную точку вашего Pax Romana, если не всего известного мира. К тому же название греческое (вообще-то, возможно, даже персидское, но ты мог натолкнуться на него только по-гречески). Однако главное в Caspium то, что слово это дактилическое. Поэтому оно стоит в конце второй строки, где устанавливается размер любого стихотворения. И ты утешаешь Руфа асклепиадовой строфой.

Тогда как я — я пересек этот Caspium раз или два. Когда мне было не то восемнадцать, не то девятнадцать или, может быть, двадцать. Так и хочется сказать, когда ты в Афинах учился греческому языку. В мои дни расстояние между Каспием и Элладой, не говоря уж о Риме, было в некотором смысле даже больше, чем две тысячи лет назад; оно, откровенно говоря, было непреодолимо. Поэтому мы не встретились. Само mare было гладкое и блестящее, особенно у западных берегов. Не столько из-за благоприятной близости к цивилизации, сколько из-за обширных разливов нефти, обычных в этих краях. (Я мог бы сказать, что это было реальное умасливание неспокойных вод, но, боюсь, ты не поймешь этой отсылки.) Я лежал плашмя на горячей верхней палубе грязного парохода, голодный и без гроша в кармане, но тем не менее счастливый, потому что я участвовал в географии. Когда всходишь на борт — ты всегда участник. Прочти я к тому времени твой стишок к Руфу, я бы сознавал, что я также участвую в поэзии. В дактиле, а не в прояснениях горизонта.

Но в те дни я не был особенным читателем. В те дни я работал в Азии: лазал по горам и пересекал пустыни. Главным образом в поисках урана. Ты не знаешь, что это за штука, и я не буду надоедать тебе объяснением, Флакк. Хотя «uranium» — еще одно дактилическое слово. Каково это — узнавать слово, которое не можешь употребить? Особенно — для тебя — греческое? Ужасно, полагаю; как для меня твоя латынь. Возможно, если бы я мог оперировать ею уверенно, я в самом деле сумел бы вызвать тебя. С другой стороны, возможно, и нет: я бы стал для тебя лишь еще одним латинским автором, а это прямой путь к зиянию.

Так или иначе, в те дни я не знал никого из вас, за исключением — если память не сыграла со мной шутки — Вергилия, то есть его эпоса. Я помню, он не слишком мне понравился, отчасти потому, что на фоне гор и пустынь немногие вещи сохраняли смысл; главным же образом из-за довольно резкого запаха социального заказа, эпосом этим издаваемого. В те дни наши ноздри были очень чувствительны к такого рода вещам. К тому же я просто не мог понять 99 процентов его экземпла, кото-

рые становились поперек дороги довольно часто. Чего ждать от восемнадцатилетнего гиперборейца? Сейчас я с этим справляюсь лучше, но на это ушла целая жизнь. Вообще-то, на мой взгляд, вы все несколько переусердствовали с аллюзиями; часто они кажутся излишними. Хотя эвфонически они, конечно — особенно греческие, — творят чудеса с текстурой.

Что смутило меня, возможно, больше всего в «Энеиде», так это Анхизово пророчество задним числом — когда старик предсказывает то, что уже произошло. Здесь, я думаю, твой друг несколько хватил. Я не возражаю против самомнения, но у мертвых следует предполагать больше воображения. Им надо бы знать больше, чем просто родословную Августа; в конце концов, они не оракулы. Что за дурное употребление потрясающей, умопомрачительной идеи о душах с правом на второе воплощение, которые пьют из Леты, чтобы очиститься от предыдущих воспоминаний! Вымостить ими дорогу во царствование нынешнего хозяина! Ведь они могли бы стать христианами, карлами великими, дидеротами, коммунистами, гегелями, нами! Те, кто придут после, метисы и мутанты во многих отношениях! Вот было бы настоящее пророчество, настоящий полет фантазии. Вместо этого он перекраивает официальную летопись и подает это как свежие новости. Начать с того, что мертвые свободны от причинности. Знание, доступное им, — знание о времени — всём времени. Это он мог бы почерпнуть у Лукреция; твой друг был ученый человек. К тому же с потрясающим метафизическим инстинктом, настоящим чутьем на духовную подоплеку вещей: его души гораздо менее телесны, чем у Данте. Сущие маны: газообразные и неосязаемые. Есть искушение сказать, что его схоластика здесь практически средневековая. Но это было бы снижением. Потому что метафизически ваше будущее оказалось гораздо менее образным, чем ваше греческое прошлое. Ибо что такое вечная жизнь для души по сравнению с перевоплощением? Что такое рай для нее после пифагоровского обещания другого тела? Просто безработица. Однако каковы бы ни были его источники: Пифагор, платоновский «Федр», его собственное воображение, — он без толку промотал все это ради родословной цезаря.

Конечно, эпос был его; он имел право делать с ним что угодно. Но, откровенно говоря, я считаю это непростительным. Именно подобный недостаток воображения проложил путь торжеству монотеизма. Один, полагаю, всегда понятнее многих; а после этой гигантской толпы греческих и доморощенных богов и героев такого рода стремление к чему-то более понятному, более внятному было практически неизбежно. Другими словами, несмотря на все его широкие жесты, твой друг, дорогой Флакк, просто желал метафизической надежности. А это, боюсь, явное противоречие; возможно, основная привлекательность политеизма в том, что он ничего подобного не имеет. Но, я полагаю, место становилось слишком многолюдным, чтобы позволить себе ненадежность любого рода. В первую очередь поэтому твой друг пришпиливает все сказанное, метафизику и прочее к своему возлюбленному цезарю. Гражданские войны, я бы сказал, творят чудеса с духовной ориентацией человека.

Но говорить с тобой так не имеет смысла. Вы все любили Августа, не правда ли? Даже Назон, хотя его гораздо больше занимало любовное достояние цезаря — которое, как всегда, вне подозрений, — чем его территориальные завоевания. Но в отличие от твоего друга, Назон любил женщин. Среди прочего именно это делает описание его внешности таким трудным, поэтому я колеблюсь между Полом Ньюменом и Джеймсом Мейсоном. Женолюбом может быть кто угодно: но это не значит, что ему следует доверять больше, чем педофилу. И все же его версия того, что происходило между Дидоной и Энеем, звучит несколько убедительнее версии твоего друга. Назоновская Дидона утверждает, что Эней покидает ее и Карфаген в такой спешке — помнишь, надвигался шторм, и Эней, должно быть, достаточно натерпелся от штормов к тому времени, носясь по бурным морям семь лет, — не потому, что внял зову своей божественной матери, а потому что Дидона от него беременна. И поэтому она решается на самоубийство: ее репутация погублена. Как-никак она царица. Назон даже заставляет свою Дидону усомниться, действительно ли Венера была матерью Энея, ибо она богиня любви, а отъезд — странный (хотя и не беспрецедентный) способ проявить это чувство. Несомненно, Назон смеется здесь над твоим другом. Несомненно, это изображение Энея нелестно и, учитывая то обстоятельство, что легенда о троянских истоках Рима была официальной исторической доктриной с третьего века до Р. Х. и далее, совершенно непатриотично. Равным образом несомненно и то, что Вергилий никогда не читал «Героид» Назона; в противном случае его обхождение с Дидоной в подземном мире было бы менее предосудительным. Ибо он просто упрятывает ее вместе с Сихеем, ее бывшим мужем, в какой-то отдаленный закоулок Элизиума, где они прощают и утешают друг друга. Пара пенсионеров в странноприимном доме. Чтобы не путались у нашего героя под ногами. Чтобы напутствовать его пророчеством, избавив от боли. Потому что Овидий создает лучшую копию. Во всяком случае, никакого второго воплощения для души Дидоны.

Ты возразишь, что я применяю к нему стандарты, для возникновения которых потребовалось два тысячелетия. Ты хороший друг, Флакк, но это ахинея. Я сужу его по его собственным стандартам, более очевидным, конечно, в его «Буколиках» и «Георгиках», нежели в его эпосе. Не прикидывайся младенцем, у вас за плечами было, как минимум, семь столетий поэзии. Пять по-гречески и два на вашей родной латыни. Вспомни Еврипида, вспомни его «Алкестиду»: скандал между царем Адметом и его родителями на свадьбе даст сто очков вперед любой сцене из Достоевского — хотя ты можешь и не уловить эту отсылку. Которая означает, что он превосходит любой психологический роман. То есть то, в чем мы преуспевали в Гиперборее сто лет тому назад. Тут, видишь ли, мы сильны по части страданий. С пророчеством — дело другое. В общем, две тысячи лет не прошли даром.

Нет, стандарты — его, его «Георгик». Основанные на Лукреции и Гесиоде. В этом роде занятий, Флакк, нет больших секретов. Только маленькие и постыдные. В этом, я должен добавить, и состоит их прелесть. И маленький и постыдный секрет «Георгик» в том, что их автор в отличие от Лукреция — да и Гесиода — не имел вседовлеющей философии. По крайней мере, он не был ни атомистом, ни эпикурейцем. В лучшем случае, я думаю, он надеялся, что общая сумма его строк даст в итоге некое мировоззрение, если он вообще об этом заботился. Ибо он был губкой, и притом меланхолической. Для него лучшим — если не единственным — способом понять мир было перечисление его содержимого, и если он что-то упустил в «Буколиках» и «Георгиках», то он наверстал это в своем эпосе. Он, в сущности, был эпическим поэтом; эпическим реалистом, если угодно, поскольку в численном отношении сама реальность вполне эпична. Общим результатом воздействия его творений на мои мыслительные способности всегда было ощущение, что этот человек каталогизировал мир, и довольно дотошно. Говорит ли он о злаках или звездах, почвах или душах, делах и/или судьбах римлян, его крупные планы столь же слепящи, сколь и цепляющи; но таковы и сами вещи, дорогой Флакк, не правда ли? Нет, твой друг не был ни атомистом, ни эпикурейцем; не был он также и стоиком. Если он и верил в какой-нибудь закон, это был закон возрождения жизни, и пчелы его «Георгик» ничуть не лучше душ, взятых на заметку для второго воплощения в «Энеиде».

Хотя, возможно, они лучше, и не столько потому, что не жужжат «цезарь, цезарь», сколько из-за совершенно отстраненной тональности «Георгик». Возможно, именно эти давние дни, которые я провел, бродя по горам и пустыням Центральной Азии, делают эту тональность весьма привлекательной. Тогда, я полагаю, именно безличность пейзажа, в котором я, как правило, оказывался, запечатлелась в подкорке. Теперь, спустя целую жизнь, я мог бы возложить ответственность за это пристрастие к монотонности на человеческую перспективу. В основе обеих лежит смутная догадка, что отстранение есть исход многих сильных привязанностей. Или же нынешнее предпочтение нейтрального голоса, столь типичного для дидактических жанров в ваше время. Или и то и другое, что еще более вероятно. И даже если безличное жужжание «Георгик» — не что иное, как стилизация Лукреция — а я сильно это подозреваю, — оно все же приятно. Вследствие его подразумеваемой объективности и явного сходства с монотонным шумом дней и лет; со звуком, который издает время при своем течении. Само отсутствие сюжета, отсутствие персонажей в «Георгиках» отвечает, так сказать, взгляду самого времени на любую экзистенциальную ситуацию. Я даже помню, как сам я тогда думал, что, если бы время имело собственное перо и решило сочинить стихотворение, его строчки содержали бы листья, траву, землю, ветер, овец, лошадей, деревья, коров, пчел. Но не нас. Максимум наши души.

Так что стандарты действительно его. И эпос, несмотря на все свои великолепия, а также вследствие их есть снижение относительно этих стандартов. Просто-напросто он имел сюжет для рассказа. А сюжет обязан включать в себя нас. То есть тех, кого время устраняет. В довершение всего сюжет не был его собственным. Нет, подавайте мне всякий день «Георгики». Вернее, мне следует сказать, всякую ночь, учитывая мои нынешние привычки. Хотя я должен признать, что даже в те стародавние дни, когда со спермой дело обстояло куда лучше, гекзаметр оставлял мои сны сухими и бессобытийными. Логаэдические размеры, очевидно, обладают большей потенцией.

Две тысячи лет туда, две тысячи лет сюда! Только представь себе, Флакк, если бы прошлой ночью я был не один. И представь — э-э — преобразование этого сна в реальность. Ну, полчеловечества, наверно, было бы зачато таким образом, да? Разве не ты был бы ответствен за это, по крайней мере отчасти? Где были бы эти две тысячи лет; и не пришлось бы мне назвать отпрыска Горацием? Так что считай это письмо испачканной простыней, если не собственным бастардом.

И кроме того, считай ту часть мира, из которой я тебе пишу, окраиной Pax Romana, невзирая на океан и расстояние. У нас тут есть все виды летательных приспособлений, чтобы справиться с этим, не говоря уж о республике, которая вдобавок зиждется на «первом среди равных». А тетраметры, как я сказал, по-прежнему тетраметры. Они одни могут справиться с любыми тысячелетиями, не говоря о пространстве и подсознании. Я обрета-

юсь здесь уже двадцать два года и не заметил никакой разницы. По всей вероятности, здесь я и умру. Так что можешь мне поверить на слово: тетраметры по-прежнему тетраметры, и таковы же триметры. И так далее.

Конечно, именно летательное приспособление доставило меня сюда из Гипербореи двадцать два года тому назад, хотя я столь же легко могу приписать этот перелет моим рифмам и размерам. Разве что последние могли бы в сумме дать еще большее расстояние между мною и доброй старой Гипербореей, как твой дактилический Caspium уводит от истинного размера Pax Romana. Приспособления — особенно летательные — только откладывают неизбежное: вы выигрываете время, но время может дурачить пространство только до известного предела; в конце концов пространство нагоняет. Что такое, в конечном счете, годы? Что они могут измерить, кроме распада эпидермы, мозгов? Тем не менее на днях я сидел здесь в кафе с соотечественником-гиперборейцем, и, пока мы болтали о нашем старом городе в дельте, мне внезапно пришло в голову, что, если бы двадцать два года назад я бросил в эту дельту щепку, она могла бы — учитывая преобладающие ветра и течения — пересечь океан и достичь к данному моменту берегов, на которых я обретаюсь, чтобы стать свидетельницей моего распада. Вот так пространство нагоняет время, мой дорогой Флакк; вот так человек поистине выбывает из Гипербореи.

Или: так человек расширяет Pax Romana. С помощью снов, если необходимо. Что, если вдуматься, есть еще одна — возможно, последняя — форма возрождения жизни, особенно если ты один. Она безразлична к цезарю, превосходя в этом смысле даже пчел. Хотя, повторяю, бесполезно говорить с тобой в таком тоне, поскольку твои чувства к нему ничуть не отличались от чувств Вергилия. Как и твои способы их выражения. Ты тоже возносишь славу Августа над человеческим горем, обременяя этой работой — к твоей чести — не праздные души, а географию и мифологию. Как бы похвально оно ни было, боюсь, это наводит на мысль, что Август владеет либо спонсируется обеими. Ах, Флакк, ты мог бы с тем же успехом воспользоваться гекзаметром. Асклепиадов стих все же слишком хорош для этой материи, слишком лиричен. Да, ты прав: ничто так не порождает снобизма, как тирания.

Полагаю, у меня просто аллергия на вещи такого рода. Если я не упрекаю тебя более язвительно, то потому, что я не твой современник: я не он, потому что я почти что ты. Ибо я писал твоими размерами, и в частности этим. Именно это, как я сказал, заставляет меня ценить «Caspium», «Niphaten» и «Gelonos», что стоят в конце твоих строк, расширяя империю. И то же делают «Aquilonibus» и «Vespero», но движением вверх. Мои сюжеты, конечно, скромнее; к тому же я пользовался рифмой. Единственный способ совпасть с тобой полностью — это поставить перед собой задачу повторить всю твою строфику на этом языке или на моем родном гиперборейском. Или же перевести тебя на один из них. Если вдуматься, такая работа осуществима — и гораздо более, чем переделка, скажем, гекзаметров и элегических дистихов Овидия. В конце концов твой сборник — не такая уж большая книга, и собственно «Песни» — всего лишь девяносто пять од различной длины. Но я боюсь, что собака слишком стара, как для новых, так и для старых трюков; мне бы следовало подумать об этом раньше. Нам суждено быть разделенными, в лучшем случае оставаться собратьями по перу. Боюсь, недолго, но, надеюсь, достаточно, чтобы приближаться к тебе время от времени. Даже если недостаточно близко для того, чтобы разобрать твое лицо. Другими словами, я обречен на мои сны; но я приветствую эту обреченность.

Потому что тело, о котором идет речь, так необычно. Его величайшее обаяние, Флакк, — в полном отсутствии эгоцентризма, которым столь часто страдает поэзия последователей и, смею сказать, также и греков. Оно редко выговывает первое лицо единственного числа — хотя это отчасти грамматика. В языке, столь богатом флексиями, трудно сосредоточиться на собственном состоянии. Хотя Катуллу это удалось; почему его и любят повсеместно. Но среди вас четверых, даже для Проперция — наиболее пылкого из вас, — это было исключено. И, конечно, для твоего друга, который обращался и с человеком, и с природой sui generis[1]. В первую очередь для Назона, что, принимая в расчет некоторые из его сюжетов, должно быть, и восстановило романтиков так сильно против него. Однако в моем положении собственника (после этой ночи) это меня весьма радует. Если вдуматься, отсутствие эгоцентризма, возможно, лучшая защита тела.

Так оно и есть — во всяком случае, в мое время и в моем возрасте. В сущности, из всех вас, Флакк, именно ты был, возможно, наиболее эгоцентричным. То есть наиболее осязаемым. Но это даже не столько вопрос местоимений; это опять-таки своеобразие твоих размеров. Выделяясь на фоне растянутых гекзаметров прочих, они предполагают некую уникальную чуткость, характер, о котором можно судить, — тогда как другие в значительной степени непроницаемы. Что-то вроде соло на фоне хора. Возможно, им полюбилось это гудение гекзаметра как раз по причи-

---

[1] Своеобразно (*лат.*).

нам смирения, с целью камуфляжа. Или же они просто хотели играть по правилам. И гекзаметр был стандартной сеткой этой игры; или, говоря иначе, ее терракотой. Конечно, твой логаэдический стих не делает тебя мошенником; однако он высвечивает, а не затеняет индивидуальность. Вот почему в течение следующих двух тысячелетий практически все, включая романтиков, столь охотно заключали тебя в объятия. Что, естественно, мне досаждает — то есть в моем положении собственника. Ты был, так сказать, незагорелой частью этого тела, его интимным мрамором.

И с течением времени ты становился белее и белее: интимнее и желаннее. Намекая, что, будучи эгоцентриком, все же можно столковаться с цезарем; это просто вопрос уравновешенности. Музыка для многих ушей! Но что, если твоя знаменитая уравновешенность была лишь флегматическим темпераментом, легко сходящим за мудрость? Подобно, скажем, меланхолии Вергилия. Но отличным от холерических вспышек Проперция. И, конечно, сангвинических предприятий Назона. Вот кто не проложил ни дюйма пути к единобожию. Вот кто не отличался уравновешенностью и не имел системы, не говоря уж о мудрости или философии. Его воображение не могли укротить ни его собственные прозрения, ни доктрина. Только гекзаметр; еще лучше, элегический дистих.

Так или иначе, он научил меня практически всему, включая толкование сновидений. Которое начинается с толкования реальности. Рядом с ним открытия, скажем, венского доктора — ничего, что тебе непонятно это сравнение, — детский сад, детские игры. И говоря откровенно, ты тоже. И Вергилий. Грубо говоря, Назон настаивает, что в этом мире *одно есть другое*. Что в конечном счете реальность — одна большая риторическая фигура, и вам повезло, если это всего лишь полиптотон или хиазм. У него человек развивается в предмет и наоборот, с присущей грамматике логикой, подобно утверждению, прорастающему придаточным предложением. У Назона содержание есть средство выражения, Флакк, и/или наоборот, и источником всего этого является чернильница. Пока в ней была хоть капля темной жидкости, он продолжал — а значит, мир продолжался. Звучит, как «В начале было слово»? Допустим, не для тебя. Для него, однако, это изречение не явилось бы новостью, и он бы добавил, что слово будет также и в конце. Что угодно дай ему, и он расширит или вывернет это наизнанку — что все равно есть расширение. Для него язык был божьим даром, точнее, его грамматика. Еще точнее, для него мир был языком: одно было другим, а что реальнее — еще неизвестно. В любом случае, если ощущалось одно, другое также обязано было стать ощутимым. Часто в той же строчке, особенно в гекзаметрах: массивная цезура. А если не получилось, то в следующей строчке; особенно, если это элегический дистих. Ибо метры для него также были божьим даром.

Он бы первый подтвердил это, Флакк, да и ты тоже. Помнишь, в его «Тристиа» он пишет, как посреди шторма, который обрушился на корабль, везущий его в ссылку (приблизительно в мои края; на окраину Гипербореи), он поймал себя на том, что снова слагает стихи? Естественно, не помнишь. Это было лет шестнадцать спустя после твоей смерти. С другой стороны, где человек информирован лучше, как не в подземном мире? Так что мне не следует слишком беспокоиться о моих отсылках: ты их все понимаешь. А размеры всегда размеры, особенно под землей. Ямбы и дактили навек, как звезды и полосы. Точнее, на все века. Не говоря уж, во всяком месте. Неудивительно, что в конце концов он принялся сочинять на местном диалекте. Пока там были гласные и согласные, он мог продолжать, будь то в Pax Romana или нет. В конце концов, что такое иностранный язык, если не другой набор синонимов. К тому же мои добрые старые гелоны не имели écriture[1]. И даже если б имели, было бы только естественно для него, гения метаморфозы, мутировать в чуждый алфавит.

Это тоже, если угодно, расширение Pax Romana. Хотя этого так и не произошло. Он так и не вступил в наш генетический резервуар. Лингвистического, однако, было достаточно: практически эти две тысячи лет у него ушли на то, чтобы войти в кириллицу. Ах, но жизнь без алфавита имеет свои преимущества! Существование может быть очень обостренным, когда оно лишь изустно. Вообще же, что касается écriture, мои кочевники не спешили. Для писанины требуется оседлый: тот, кому некуда деться. Вот почему цивилизации охотнее расцветают на островах, Флакк: взять, к примеру, твоих дражайших греков. Или в городах. Что такое город, если не остров, окруженный пространством? В любом случае, если он действительно окунулся в местный диалект, как он нам говорит, это было не столько по необходимости, не для того, чтобы расположить к себе туземцев, но вследствие всеядной природы стиха: которая претендует на все. Гекзаметр тоже: не случайно он такой раскидистый. А элегический дистих и того больше.

Пространные письма повсюду проклятие, Флакк, включая загробную жизнь. К данному моменту, думаю, ты бросил читать, с тебя довольно. Еще бы, при таких наговорах на твоего приятеля и похвал Овидию практически за твой счет. Я продолжаю, потому что, как я сказал, с кем еще-то здесь можно поговорить? Даже допуская, что фантазия Пифагора о пе-

---

[1] Письменность (*франц.*).

ревоплощении добродетельных душ каждые тысячу лет верна и что ты имел, как минимум, две возможности, сейчас, со смертью Одена и на исходе тысячелетия, которому осталось лишь четыре года, эта квота, по-видимому, исчерпана. Поэтому вернемся к тебе первоначальному, даже если к этому времени, как я подозреваю, ты бросил читать. При нашем роде занятий обращение к вакууму приходит вместе с территорией. Поэтому ты не удивишь меня своим отсутствием, равно как и я тебя — своей настойчивостью.

Кроме того, у меня есть корыстный интерес — и у тебя тоже. Имеется этот сон, который когда-то был твоей реальностью. Толкуя его, мы получаем вдвое за ту же цену. И именно об этом весь Назон. Для него одно было другим; для него, я бы сказал, А было В. У него тело, особенно девичье, могло стать — нет, *было* — камнем, рекой, птицей, деревом, звуком, звездой. И угадай почему? Потому что, скажем, бегущая девушка с неубранной гривой похожа в профиль на реку? Или спящая на ложе подобна камню? Или с поднятыми руками похожа на дерево или птицу? Или исчезнувшая из виду пребывает теоретически повсюду, подобно звуку? А торжествующая или отдаленная подобна звезде? Вряд ли. Этого было бы достаточно для хорошего сравнения, тогда как целью Назона была даже не метафора. Полем его игры была морфология, а выигрышем — метаморфоза. Когда прежняя материя принимает новую форму. Главное, что материя одна и та же. И в отличие от вас, остальных, он сумел понять простую истину, что все мы состоим из той же материи, из которой создан мир. Ибо мы от мира сего. Так что все мы содержим, хотя и в разной пропорции, воду, кварц, водород, клетчатку и так далее. Которые могут быть перетасованы. Которые уже перетасовались в эту девушку. Неудивительно, что она становится деревом. Просто сдвиг в ее клеточном строении. Вообще, сдвиг от одушевленного к неодушевленному — общая тенденция нашего вида. Ты знаешь, что я имею в виду, находясь там, где ты находишься.

Тогда еще менее удивительно, что корпус латинской поэзии — ее золотого века — стал предметом моей неотступной любви прошлой ночью. Ну рассматривай это, возможно, как последнее издыхание вашей общей пифагорейской квоты. И твоя часть канула последней: потому что она меньше обременена гекзаметрами. А проворство, с которым это тело стремилось избежать банальности постели, припиши своему нежеланию, чтобы я читал тебя в переводе. Ибо я привык к рифме, а гекзаметрам она ни к чему. И ты, подойдя к ней ближе всех в своих логаэдических стихах, ты тоже тяготел к гекзаметрам: ты искал этот радиатор, ты хотел погрузиться. И, несмотря на всю неотступность моего преследования, за которым стоял — каламбур ненамеренный — долгий опыт чтения тебя, мои простыни не увлажнились не потому, что мне пятьдесят четыре, но именно потому, что все вы не рифмованы. Отсюда терракотовое сияние этого торса, принадлежавшего золотому веку; отсюда также отсутствие твоего любимого зеркала, не говоря уж о золоченой раме.

И знаешь, почему его там не было? Потому что, как я сказал, я привык к рифме. А рифма, мой дорогой Флакк, сама по себе есть метаморфоза, а метаморфоза не зеркало. Рифма — это когда одно превращается в другое, не меняя своей материи, которая и есть звук. По крайней мере, в том, что касается языка. Это конденсация назоновского подхода, если угодно — возможно, квинтэссенция. Естественно, он пугающе близко подходит к этому сам в сцене с Нарциссом и Эхо. Откровенно говоря, даже ближе, чем ты, кому он метрически уступает. Я говорю «пугающе», потому что сделай он это — и в течение следующих двух тысячелетий мы все сидели бы без дела. В таком случае, слава богу, что инерция гекзаметра удержала его, в частности, в этой сцене; слава богу, что сам миф настаивал на разделении зрения и слуха. Ибо именно этим мы и занимались последние две тысячи лет: прививали одно к другому, сплавляли его видения с твоими размерами. Это золотая жила, Флакк, полная занятость, и никакое зеркало не может отразить чтения, продолжавшегося всю жизнь.

В любом случае это должно пролить свет по крайней мере на половину рассматриваемого тела и его усилий ускользнуть от меня. Возможно, не будь моя латынь так паршива, этот сон вообще никогда бы не привиделся. Вероятно, в определенном возрасте мы имеем основания быть благодарными за наше невежество. Ибо размеры — всегда размеры, Флакк, а анатомия — всегда анатомия. Мы можем претендовать на обладание всем телом, даже если его верхняя часть погружена куда-то между матрасом и радиатором: покуда эта часть принадлежит Вергилию или Проперцию. Она еще загорелая, она еще терракотовая, потому что она еще гекзаметр и пентаметр. Можно даже заключить, что это не сон, поскольку мозг не может видеть во сне сам себя: весьма вероятно, что это реальность, потому что это тавтология.

Только из того, что существует слово «сон», не следует, что реальность имеет альтернативу. Сон, Флакк, в лучшем случае — моментальная метаморфоза: гораздо менее стойкая, чем метаморфоза рифмы. Вот почему я здесь не рифмовал — а не из-за твоей неспособности оценить это достижение. Подземный мир, я полагаю, — царство всеязычное. И если я вообще прибегнул к письму, это потому, что толкование сна, в особенности эротического, есть, строго говоря, чтение. В качестве тако-

вого оно глубоко антиметаморфично, ибо это расплетание ткани: нить за нитью, ряд за рядом. И его повторяющаяся природа в конечном счете выдает его: она требует знака равенства между чтением и самим эротическим предприятием. Которое эротично, потому что повторяемо. Переворачивание страниц — вот что это, и вот что ты делаешь или должен был бы делать сейчас, Флакк. Это единственный способ вызвать тебя, не так ли? Потому что повторение, видишь ли, — первостепенная черта реальности.

Когда-нибудь, когда я окажусь в твоих подземных краях, моя газообразная сущность спросит твою газообразную сущность, прочел ли ты это письмо. И если твоя газообразная сущность ответит «нет», моя не обидится. Напротив, она порадуется этому доказательству продолжения реальности в царство теней. Прежде всего, ты никогда меня не читал. В этом ты будешь подобен многим здешним, не читавшим ни одного из нас. Мягко говоря, это одна из составляющих реальности.

Но случись так, что твоя газообразная сущность ответит «да», моя газообразная сущность также не особенно обеспокоится, что я обидел тебя своим письмом, особенно его непристойностями. Будучи латинским автором, ты первый бы оценил подход, вдохновленный языком, где «поэзия» женского рода. А что касается «тела», чего еще можно ожидать от мужчины вообще, и к тому же гиперборейца, тем более в холодную февральскую ночь. Мне не пришлось бы даже напоминать тебе, что это был всего лишь сон. По крайней мере, после смерти сон — это самое реальное.

Так что мы можем замечательно поладить. Что до языка, царство это, как я сказал, по всей вероятности, все- или сверхъязычно. К тому же, только что вернувшись из пребывания в Одене, по Пифагору, ты, возможно, еще не совсем растерял английский. По этому, вероятно, я тебя и узнаю. Хотя, конечно, он гораздо более великий поэт, чем ты. Но потому ты и стремился принять его облик, когда последний раз был тут, в реальности.

На худой конец, мы можем общаться с помощью размеров. Я легко могу выстукивать первую асклепиадову строфу при всех ее дактилях. Вторую тоже, не говоря уж о сапфической строфе. Это может получиться; знаешь, как у обитателей одного заведения. В конце концов, размеры есть размеры, даже в подземном мире, поскольку они единицы времени. По этой причине они, возможно, лучше известны сейчас в Элизиуме, чем в дурацком мире над ним. Вот почему использование их больше похоже на общение с такими, как ты, чем с реальностью.

И естественно, я бы хотел, чтобы ты познакомил меня с Назоном. Ибо я не узна́ю его в лицо, поскольку он никогда не принимал форму кого-либо другого. Полагаю, что помешали этому именно его элегические дистихи и гекзаметры. В последние две тысячи лет к ним прибегали все реже и реже. Снова Оден? Но даже он передавал гекзаметр как два трехстопника. Так что я не претендовал бы на болтовню с Назоном. Единственное, о чем я попросил бы, — это взглянуть на него. Даже среди душ он должен быть раритетом.

Я не стану утруждать тебя из-за остальной компании. Даже ради Вергилия: он уже возвращался к реальности, я бы сказал, во многих обличиях. Ни ради Тибулла, Галла, Вария и других: ваш золотой век был довольно многолюдным, но Элизиум — не место для встреч по интересам, и я прибуду туда не туристом. Что касается Проперция, думаю, я отыщу его сам. Полагаю, обнаружить его будет сравнительно легко: он должен чувствовать себя уютно среди манов, в чье существование он так верил при жизни.

Нет, вас двоих мне будет достаточно. Пристрастие, сохраняемое в подземном мире, равносильно продлению реальности в царство теней. Хочется надеяться, что я буду способен на это, по крайней мере поначалу. Ах, Флакк! Реальность, подобно Pax Romana, стремится расширяться. И потому она видит сны; и потому она остается верна себе, когда умирает.

1995

Перевод с английского ***ЕЛЕНЫ КАСАТКИНОЙ***

■

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

FUTURUM IMPERFECTUM

1

Будущее — это время, которого никогда не было. А точнее, никогда и не будет: движешься по абсциссе на службу с твердым расчетом на повышение, премию, именные клюшки для гольфа, но по ординате заблаговременно пущен строительный мусор, и в точке пересечения можно вычислить ненужный коэффициент.

Если не касаться загадки категорического императива, человека отличает от пуделя способность дистанционного прогнозирования. Последний не вынашивает проектов дальше ближайшего завтрака, а вот его вдумчивый хозяин хлопочет обеспечить регулярный обед на вечные времена, забывая, что большую часть этой вечности, то есть фактически всегда, он легко проведет без единой калории. Ему уже ставили в пример и птиц, и лилии — но он забыл, кто и по какому поводу (см. ниже об Александре Невском).

В способности рационального предвидения нет ничего чудесного или возвышенного. Это — оружие голого и хилого перед сворой хищников в непогоду. Но случилась путаница, и этот голый, чего не меняют и штаны от Армани, переоценил ценности, возведя инстинкт в ранг добродетели. Без часов и календаря, где не проставлен единственно (и, как увидим далее, умышленно) час кончины, он чувствует себя низвергнутым на уровень птеродактиля или наутилуса, к подножию эволюции. Что было у него до этих швейцарских изделий? Что-то другое — нет, кажется, не сыр.

Будущее предосудительно. Оно абсолютно аморально, потому что не содержит никаких уроков. На уговор «не воруй, а то попадешься» оно отвечает «не попадусь». На «все тайное станет явным» — естественно, «не станет». И не перечьте, что, дескать, «станет» — всякое будущее самодостаточно и неопровержимо; небытие снимает любую разницу, в нем нет антиномий.

Лингвистически — тут (и далее везде) я сужу не во всеоружии, а лишь на основании скромных личных сведений — будущее время, futurum, возникло сравнительно поздно, хотя и раньше не плошали запереть на ночь дом или посеять впрок полбы. Никто до поры не путал реальность со словесной конструкцией. Но ловушка — не просто в синтаксисе; даже метафизически будущее не имеет иной функции, кроме одной-единственной: объяснить, откуда течет прошлое. С ней оно не справляется.

Прошлое — это все, что у нас есть и было. Настоящее — просто способ пополнения прошлого, его исток, наше личное место в истории. Стоит только произнести «есть», как уже тотчас «было». Но из «будет» никогда ничего не возникнет, потому что не с чем сверить, кроме морфологии и синтаксиса. Какой будет великий поэт, и какие замечательные произведения он создаст? Какие грянут победы и поражения, и почему прославится тот, кто прославится, а имя униженного будет предано посмеянию? Кто признается в любви, возненавидит алгебру, изобретет нечто, что будет им изобретено? Кто родится? Эти вопросы самой своей неуклюжестью удостоверяют собственную фиктивность — они задаются никому и ни о чем.

Раньше человек кочевал улиткой, он нес на спине дом с унаследованным скарбом — урон скорости, но торопиться было и некуда. Теперь обтекаемый слизень, чудо аэродинамики, мчится к воображаемой линии, отделяющей факт от того, что никогда не случится, и тычет зенки на стебельках в стекла бинокля. Если хватит дыхания, я расскажу ему на бегу об ампутации памяти, о конце истории в футурологическом дурдоме и об участи Геродота.

2

Когда террористы у театра Помпея, компенсируя трусость числом, нанесли Цезарю двадцать три кинжальных удара, его последними словами были вовсе не те, которые мы привыкли повторять в укор непостоянству друзей. Брут не был Цезарю другом, несмотря на все знаки милости и расположения, — он был другом исключительно республике. Но он был сыном беспутной Сервилии, которая одно время состояла с Цезарем в достаточно близких отношениях, чтобы заподозрить тайное отцовство. Последние слова диктатора были «и ты, дитя» — со всем подтекстом отцеубийства, к которому римляне, еще полные древних предрассудков, относились строже, чем мы.

Диоген, о котором известно, что он жил в бочке, в действительности жил в другом месте. Бочек, отчасти ввиду редкости и дороговизны древесины, в Древней Греции не держали. Скорее всего, это был чан или большая амфора для хранения зерна.

На императора Нерона возлагается вина за знаменитый пожар Рима. Тацит, источник этой инсинуации, обещал писать без гнева и

© А. Цветков, 1997

пристрастия, но в отношении династии Юлиев ничего, кроме пристрастия и гнева, не источал. Никаких прямых свидетельств причастности Нерона к бедствию нет. Известно, однако, что он оказал большую помощь погорельцам.

Выражение «куй железо, пока горячо» — не русская народная пословица, а строка Публилия Сира, популярного автора водевилей в Риме.

Перечисленная всячина — примерный арсенал сведений современного эрудита о классической древности. К ним можно добавить еще два-три таких же пережитка: имена месяцев, а в иных языках и дней недели; поклеп на Платона, который, дескать, друг, но истина дороже — хотя имеется в виду не настоящая истина, а собственная любимая теория, и честнее перевести как «дружба дружбой, а деньги врозь». Есть масса реалий, чье античное происхождение практически никому не известно: фата невесты, надгробная речь, кровать, бетон и т. д. Ученую беседу, то есть тусовку, давно не украшают цитаты из Вергилия или Гомера — иногда мелькнет Менандр или тот же Публилий, но припишут в лучшем случае Максиму Горькому или Жванецкому. Что нам известно о Риме и Греции? Сказать «ничего» значило бы преувеличить.

В прошлом, как и в его подмножестве — настоящем, нас интересует совершенно не то, что было, а соответствие нашим воззрениям. В начале 80-х, после просмотра нашумевшего тогда фильма «Ганди», один знакомый индус охарактеризовал его как чистую липу — все ложь, от событий до деталей. Тому, кто насмотрелся голливудской России, понять его нетрудно — русские неизменно представлены как близнецы Карамазовы, чернявые недомерки в смазных сапогах и медвежьих папахах, вприсядку и с рюмкой наголо. Вывести трезвого и светло-русого, в кепке и полупальто — самоубийство для режиссера; сотни Станиславских взревут из партера: «I don't believe it!» И это — в фильмах на современном материале; неспособность всмотреться в настоящее отдает прошлое в полную власть произвола. Даже в «Анне Карениной» Би-би-си, нацеленной много выше диафрагмы, Анна, то есть Жаклин Биссет, в момент душевной смуты наливает и опрокидывает рюмку водки. Реальная Анна в реальных обстоятельствах могла выпить шампанского или ликера, но — неаутентично. Правдоподобие — важнее правдивости.

Не премину окоротить тех, кто уже затянул об американской бездуховности: представление русских об Америке тоже вполне бредовое. Но еще поучительнее их взгляд на самих себя. Полицейские меры против русской истории были, пожалуй, чрезмерными — ее и без того давно подменила литература. Место угодливого и недалекого царедворца Кутузова узурпировал эпический циклоп Толстого; лирической трелью о птице-тройке пичкают школьников, упуская, что в ней едет прохвост; о загадке русской души никто слыхом не слыхал до славянофилов и Достоевского, а теперь она внесена в катехизис, и адептам вменено в обязанность топить камины ассигнациями и ночевать в участке по поводу вечных вопросов. Вот только про слезинку ребенка вспоминать стало бестактно. И про его оторванную ножку — а то как бы не ограничили выезд за границу.

Забвение прошлого — всеобщий и повсеместный почин, искать в нем дискриминации или шовинизма незачем. Чужого, положим, не знали никогда; собственное вспоминаем, невзирая на факты и прочие глупости, лишь затем, чтобы окончательно оболванить настоящее или очередной раз соврать про будущее, правды о котором не существует по определению. Нельзя рассказать правдиво о тридевятом царстве. Но ради тридевятого царства можно принести в жертву всю историю целиком, и Россия в этом не знает себе равных. Излагаемые мысли вовсе не имеют целью помочь чего-то избежать — избежать можно только будущего, и тут мы опять угодим в синтаксический силок. Но из прошлого, которое было на самом деле, можно извлекать бесполезные уроки.

Античность важна не тем, что комитет предания забвению уделил ей какое-нибудь специальное заседание. В повестке дня такого комитета преобладает национальная тематика, и он обычно занят расправой с национальным прошлым, в котором ищут доказательств собственного беспримерного величия, а они не всегда очевидны. Поэтому приходится разъяснять, что имена скандинавских князей, призванных править Русью, возникли, вопреки всему контексту, из-за ошибки переписчика. Поэтому известно, что Александр Невский сказал: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», хотя подлинный автор, двенадцатью столетиями ранее, говорил о «взявшем меч», то есть и о самом Александре. Хлопоча в Орде о ярлыках, князь к мечу отнюдь не прибегал. Впрочем, такие мелочи не портят биографии святого — Георгию ведь не вредит достоверное отсутствие драконов.

Классическая древность — это общее достояние и потому ничье. Как тут не вспомнить государственное имущество при социализме или пресловутое дитя с кутузовской повязкой на глазу под семикратным надзором? Однако, не в пример окривевшему младенцу, античность не только не понесла ущерба, но даже выиграла от отсутствия прямых родственников, ибо никто не промотает состояния успешнее, чем наследник. Итальянцам с лихвой хватает

собственной истории; к претензиям новогреков мало кто относится всерьез, ибо описью имущества занимались не они, а немцы, французы, англичане и американцы.

Перед нами простирается цивилизация с населением в десятки миллионов, протяженностью в полтора тысячелетия. Мы знаем о ней практически все — и с каждым годом, благодаря археологии, все больше. Нам видны ее начало и конец, взлеты и падения, монументы и отхожие места. Мы помним о ней все меньше. Можем ли мы вести себя иначе?

Уже не можем. Но когда-то жили люди, не уделявшие такого внимания фиктивному одолению природы — они предпочитали управлять собственными инстинктами.

3

Освальд Шпенглер, автор одного из самых скандальных вариантов будущего, пытался определить ощущение времени в различных цивилизациях. Голые факты он порой подкреплял предвзятыми обобщениями; отбросив последние, получаем тем не менее разительную разницу в мировосприятии нынешней и античной элиты. Под элитой я понимаю просто людей, использующих голову не только для еды и заработка.

Грекам и римлянам была совершенно чужда идея будущего как времени всеобщего исполнения надежд или, что то же самое, их полного краха. Это вовсе не значит, что жанр утопии был неизвестен — напротив, он был повсеместен, и образцы открывают наш собственный канон. Но, в противоположность нам, они помещали свое тридевятое царство в прошлое. Такую концепцию истории как ретроутопии сформулировал в «Трудах и днях» Гесиод: пять поколений, от золотого к железному, от благоденствия («жили, как боги, без скорби в сердцах») к жалкому прозябанию («прежде бы мне умереть или позже родиться»). Стройность идеи несколько поколеблена четвертым, поколением героев, добравшимся до островов блаженных в царство возвращенного на престол Хроноса-Сатурна — этот сюжет явно вклеен из параллельного сериала.

Всемирную панораму Гесиода греки не сумели сузить до самих себя — непонятно было, где остановиться, ибо в плане государственного строительства они были одарены менее, чем в изящных дисциплинах, и никакой реальной Греции сплотить не сумели, если не считать македонского эксперимента проездом в Персеполис. Труды по созданию истории нисхождения с вершины завершили римляне. Вот какие слова предпосылает своему многотомному шедевру Ливий — не сомневаясь, что все лучшее уже миновало:

«Я заставлю [читателя]... проследить процесс нашего нравственного упадка, чтобы он увидел вначале оседание фундамента морали по мере оскудения старого учения, затем все убыстряющийся распад, затем окончательное падение всего возведенного и мрачную зарю нынешнего дня, когда мы не можем выносить ни собственных пороков, ни лекарств, необходимых для их исцеления».

Так пишет великий историк одного из величайших государств истории. Чтобы острее осознать полярность таких воззрений нашим собственным, вообразим нечто подобное в устах Бенкендорфа или академика Рыбакова.

Ретроутопия как разгадка истории не является монопольным достоянием классической древности — достаточно вспомнить библейскую притчу о грехопадении. И уж тем более она ничуть не лучше объясняет реальные факты, чем наша экстраполяция из будущего. Но у классиков есть перед нами веское преимущество: их интересуют наглядные события, пусть и подернутые патиной легенды; нас — зеркала и дым.

Что представлял собой человек, для которого все лучшее лежало в прошлом? Хотя в нашем кругосветном кишлаке вопрос звучит почти трагически, на самом деле этот человек представлял собой норму. Поскольку греки, изобретатели историографии, не успели обзавестись достаточным пластом прошлого и с трех ударов заступа упирались в сказки Гесиода, случай римлян будет поучительнее.

Прошлое римлянина было населено теми, кто служил ему примером и образцом. Оттуда проистекали добродетели — обе, причем ни одна не значится в современных кодексах, разве что у суворовцев или бойскаутов. Virtus, мужество (поведение, присущее и подобающее мужчине) — это источник самого слова «добродетель» в современных европейских языках. Pietas вообще не поддается переводу, это нечто вроде верности истории и географии, духам предков и домашнему очагу, Сенату и народу. История переходила в географию без зазора — это была биография города, разросшегося впоследствии в мировую державу, и параллельно жреческие летописи разбухли до эпопеи Ливия.

Присутствие в прошлом наглядного идеала, который, не в пример предстоящему, не опровергнуть времени, делает римскую культуру, как, впрочем, и греческую, насквозь утопичной. Идеология — порождение эпохи, когда безусловный идеал разбит вдребезги и власти надо как-то сбивать разбредшихся обратно в стадо. В отличие от нынешних вождей Августу не пришлось писать новые кодексы — подновленных прежних империи хватило еще на пять столетий. Август не был Сталиным — в дошедших до нас документах он склеен из двух последовательных непоследо-

вательных половин: жестокого и беспринципного авантюриста сменяет мудрый и великодушный вождь; но уж если сравнивать командиров двух тридевятых царств, победитель конкурса очевиден. И Сталин, надо отдать ему должное (отчаянные слова — кто отдаст или, точнее, воздаст?), довольно быстро понял промах и попытался развернуть свой мифический дредноут в прошлое, обласкал патриарха, начеканил брошек с Суворовым и Невским — но не то было время и не то прошлое, вытоптанное бизонами РАППа.

С какой радостью он отдал бы весь легион писателей горьковского призыва за одного Вергилия! Уж «Энеиду»-то попросили бы, пожалуйста, дописать — не отвертеться. Впрочем, ведь и у Гоголя вовремя не отняли спички.

Вергилий утопичен вдоль и поперек, но эта утопия — незнакомого нам свойства. Она — о том, как было и как уже, увы, не будет, но все-таки стараниями кесаря не исключено. «Эклоги» написаны в условном пастушеском жанре, о любви на природе, хотя кое-откуда несет гарью гражданской смуты. «Георгики» — об идеальной жизни землепашца, единственном трудовом образе существования, который, по крайней мере в теории, не был зазорным ни для одного римского сословия, который был воспет Катоном-цензором еще с натуры, а Цинциннат, этот снежный пик добродетели, был произведен в диктаторы буквально от сохи. И наконец, «Энеида» — гимн предку, в ком pietas воплотилась без остатка, с его папашей на закорках и богами очага в чемодане. Проверить никто не может и не нужно — вариантов прошлого нет. Для сравнения, «Время, вперед!» Катаева проверялось простым взглядом окрест. Но соцреализм, эта утопия настоящего, требует такого пароксизма доверия, которого, может быть, уже не повторить даже в России, хотя зарекаться рискованно.

Прежде чем перейти к теперешнему господству антиподов, любопытно отметить вот какую деталь: в силу всеобщего равнения на прошлое в Риме отсутствовало понятие реакционности. Реакционерами по определению были все, с разницей лишь в степени. Конечно, у Катона, обличителя греческой премудрости и женской эмансипации, не так много общего с братьями Гракхами, но цель у всех подразумевалась одна — восстановить и укрепить былую славу Вечного Города, чья вечность, по Вергилию, простиралась прежде всего в прошлое. Идея прогресса подняла было голову лишь однажды: Юлий Цезарь был в каком-то смысле инопланетянином своего времени, но хранители заветов пресекли космическое вторжение. Август извлек урок и осуществил фактическую революцию под лозунгом реставрации, восстановления устоев. «Революция» на классической латыни — res nova, «нечто новое».

4

Воспоминание о потерянном рае в Книге Бытия лишь на первый взгляд созвучно римской ретроутопии. Идею отступления к идеалу постепенно сменил вполне катаевский принцип ускорения времени.

Знамением смены курса был, наверное, Исход, но окончательно иудейская вера повернулась из прошлого в грядущее, от Авраамова завета к Авраамову лону, во времена вавилонского плена. В известном смысле Исаия (или Второ-Исаия) одним из первых употребил будущее время в расширительном смысле, далеко обгоняющем виды на урожай полбы:

«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи».

Мессианство полностью перебросило тяготение вперед. Эта темпоральная напряженность иудаизма в христианстве поначалу казалась снятой, поскольку пришествие было свершившимся фактом, а суд над живыми и мертвыми ожидался со дня на день — Павел советовал пастве не заключать браков не из соображений целибата, а ввиду краткости отпущенных исторических сроков. Несмотря на все последующее промедление, равнодушие к будущему сохранялось веками, до поры, когда вера в запредельный смысл истории иссякла; момент количества движения сохранился, но место назначения забыли, и лучшие умы принялись прокладывать новые маршруты. «Благородный дикарь» Руссо был вовсе не поздним взглядом назад, а планом похода — великая французская res nova приступила к реализации образцового общественного договора.

Античная цивилизация была странствием Одиссея, бесконечной дорогой домой через логово людоеда и койку колдуньи. История Запада — это экспедиция Колумба к твердо поставленной цели, грамматически приговоренная угодить совсем в другое место. Мы еще вернемся к этой разнице.

Бомба прогресса с тысячелетним часовым механизмом взорвалась, и мы — современники и соучастники взрыва. Теоретиком исторического террора стал Гегель, которого университет аттестовал как начисто лишенного способностей к философии (Герострат, впрочем, тоже не имел архитектурного диплома).

Успокоим смятенных: разбор этой бездны знаний нам не по плечу. Здесь важнее отметить одну характерную черту гегелевского наследия, его бронированный иммунитет к любой критике. Даже гусь, в конечно́м счете, потопляем, но имя, если не дело, Гегеля наверняка переживет скромную известность Карла Поппера, который не оставил от него камня на камне. Этот принцип выживания стал в «научной» социологии системой, обеспечившей рождение самой прогрессивной дисциплины: футурологии.

Главным предметом философии Гегеля является эволюция абсолютного духа. В свою очередь, главным качеством абсолютного духа является отсутствие его существования. Абсолютный дух — это будущее время.

Горе смеющимся над очевидным — они вечно прыскают первыми, чего общественность не одобряет. Общественность верит в декретированную очевидность, а смеется над теми, кто, подобно кошке, норовит заглянуть в тыл телевизора. Разоблачения Шопенгауэра и Кьеркегора засохли в неразрезанных томах, как ромашки романтика; с тем же успехом они могли писать на воде. Зато подоспел Маркс с утверждением, что ставит учение мастера с головы на ноги, но суть не в этой цирковой антрепризе — подвиг Маркса состоял в том, что он объявил свою модификацию великой доктрины «научной». Этот эпитет в ту пору как раз приобрел те атрибуты, которыми чарует нас по сей день.

С наукой надо рассчитаться вот в каком пункте. Будущее время, разоблачению которого здесь посвящено столько усилий, в ней как бы существует: уравнения классической механики могут описать состояние тела в замкнутой системе в любой пространственно-временной точке, в том числе и в предстоящей. Однако время классической механики — математическая фикция, оно единообразно в обоих направлениях, как и три пространственных измерения. Эйнштейн считает иначе, но ставит всю модель в зависимость от наблюдателя, а такого ушлого наблюдателя никто не встречал. Наука бесспорно открыла много полезного, но ее именем совершено столько зла, что непонятно, чья чаша перевесит.

Наука предполагает опровержимость гипотез и предсказуемость событий. «Научность» ничего подобного не предполагает, она просто постулируется, как мы объявляем кого-либо умным и красивым в отсутствие незыблемых критериев. Простой пример: в период резкого промышленного спада возводится в ранг героя экономист, предсказавший бедствие; при этом забывают, что предсказание сделано на основе методики, ранее регулярно ошибочной. Непонятно также, куда глядели все остальные ученые экономисты.

Основная «научная» дисциплина — социология. Она прогнозирует эволюцию абсолютного духа и приводит историю в соответствие с ее будущим курсом. Иногда случаются досадные ошибки, как, например, в 1917 году в России. Есть мнение, что они обходятся дороже просчетов Кеплера или Эйнштейна.

В конце восьмидесятых годов произошло событие, которое я назвал бы уморительным, если́ бы нашел, с кем рассмеяться вместе. Вашингтонский бюрократ и внучатый ученик Гегеля Фрэнсис Фукуяма, обнадеженный перестройкой и выборами в некоторых дотоле деспотических уголках планеты, провозгласил, что история завершена и теперь, с победой либерализма, везде будет хорошо, но всегда одинаково и поэтому немного скучно. В столице США есть замечательная больница Сент-Элизабет, где никогда не скучно и где лечение подобных симптомов дает неплохие результаты. Вместо этого Фукуяма перебрался в престижную корпорацию «Рэнд» разрабатывать свой тезис. Читателям, снова заропта́вшим на бездуховность, я бы кивнул на Федорова с Циолковским, но боюсь, что хихикать опять придется в одиночестве.

В инциденте с Фукуямой поразительно не то, что некоторые с ним согласились, а то, что другие вступили с ним в спор.

Сомали и Алжир вытекают в пробоину цивилизации; в Чечне, Боснии и Руанде человек истребляется как биологический вид — в Токио уже пробовали и дустом, но пока не получилось. «Solitudinem faciunt, pacem apellant (они творят запустение и называют это миром)», — сказал о римлянах британский вождь у Тацита; он немного повидал в жизни. Чертежи футуролога поправит солдат, как он и поступил однажды.

Одиссей хочет домой; Колумб собирался в Индию за перцем, но тоже, кажется, угодил к Цирцее — уже весь экипаж хрюкает на заднем дворе, а шкипер никак не натешится сладкой наукой. Возвратимся на Итаку.

5

То есть, вернее, на берега Тибра. На лезвии парадокса невозможно балансировать сколь угодно долго. При том что будущее занимало древних не в пример меньше нашего, они, конечно, интересовались им все же пристальнее, чем пудель. Что виделось римлянам и грекам за пределами завтрашнего дня, за сменой времен года и чередой Олимпиад и консулов?

Будущее представало как рок, неизбежность без вариантов, от Софокла до Марка Аврелия. Римляне были здесь тверже и последовательнее: если греки предваряли важное мероприятие умилостивительной жертвой, публичные жертвоприношения римлян были

искупительными, и они регулярно гадали — по внутренностям животных, по полету птиц, по случайным знамениям; если нельзя изменить судьбу, ее стоит хотя бы знать. «Мудрый ни в чем не откажет необходимости», отмечал Публилий. Знать разрешалось немногое и не всегда. Попытка приподнять завесу грядущего имела два классических исхода: судьба Кассандры, когда никто не верит, и судьба Эдипа, когда само знание есть звено неизбежности.

Если потрудиться и перебрать все случаи употребления термина «будущее» в «Энеиде», а с компьютером в руках это не составляет труда, легко убедиться, что речь всегда идет о будущем-в-прошлом: «горе грянет... царству Приама» и т. д. Прошлое, главный объект внимания римлянина, одинаково и единственно; вариант будущего даст альтернативное прошлое, патентованную чушь; с точки зрения Одиссея, Колумб ведет себя по-дурацки, глядя не на сушу, а в открытое море.

Вергилий для нашего примера даже важнее, чем, скажем, Гомер, потому что именно римского барда христианские протофутурологи пытались зачислить в свои. Среди главных предлогов такой кооптации — знаменитая «Эклога IV» с ее пророчеством о рождении божественного младенца, при котором на земле воцарится благоденствие, а также описание Елисейских полей в загробном мире, перекликающееся с христианскими идеями о рае. Христианское толкование этих мест вполне наивно и не рассматривается всерьез классическими дисциплинами. По разным гипотезам, поэт имеет в виду отпрыска то ли своего покровителя Азиния Поллиона, то ли Марка Антония от брака с Октавией. При этом речь идет о «возврате царства Сатурна», то есть об уже знакомой нам ретроутопии — о четвертом поколении Гесиода. В целом это лишь художественный образ ожидаемого мира после кровопролитного гражданского конфликта. Что же касается «рая», в котором пребывает Анхиз, то с ним проблем еще меньше: это не копия, а рудимент христианского рая, изобретенный, а не подсмотренный где-то Вергилием, которого Данте не напрасно пригласил в шерпы. Христианские идеи об устройстве загробного царства — практически полностью фольклорно-литературного происхождения, и Вергилий стоял у их истоков. С тем же успехом Вергилия можно зачислить в индуисты, ибо он пишет о переселении душ.

Наличие прорицателей у древних нисколько не противоречит их отмеченному безразличию к будущему. Помимо Кассандры, был еще Тиресий, был Дельфийский оракул; были, наконец, Сивиллины книги, к которым римское жречество прибегало в затруднительные для Города моменты, но функция всех этих институтов состояла исключительно в торжестве неизбежного, а вовсе не в воздвижении идеального. На рубеже нашей эры из Вавилона ввезли астрологию, но и она значила не больше, чем старинное ремесло авгуров, только практиковалась частно, а не от лица государства.

О будущем вообще идеи у древних были самые схематичные: стоики верили в периодическое самовозгорание космоса и его возрождение, но уже без прежних обитателей. Загробная жизнь не отрицалась и не постулировалась: она была частным делом и личной заботой усопшего и в значительной степени, как мы уже видели, отдавалась на откуп поэтам. Это вовсе не свидетельствует о дефекте воображения: выстраивать будущее не приходило в голову примерно так же, как нам незачем описывать второе, перпендикулярное измерение времени. Даже упомянутая рудиментарная космология стоиков отдает дань скорее цикличности, чем единонаправленности.

Такое мировоззрение не может не казаться нам разительно странным, чем-то наподобие ходьбы затылком вперед. Справедливости ради нелишне предположить, что наши собственные идеи о движении истории должны были бы вызывать аналогичный шок у римлян и греков, но их, за неимением в живых, уже не взять в свидетели. Попробуем совершить акробатический трюк объективности и, как некий культурный герой, поднять самих себя за волосы.

В целом футурология в широком смысле, то есть знание о будущем, современна техническому прогрессу и выстроена по его шаблону. Разумно указать, что прогресс науки предшествует технологии и лежит в ее основе; тем не менее в быту многие слабо отличают науку от технологии, и в то время как преимущество теории поля перед гипотезой мирового эфира очевидно не для всех, на превосходство авиалайнера над волокушей укажет каждый. В самых примитивных терминах принцип футурологии можно сформулировать так: научное познание материи позволяет создавать орудия для расширения господства над ней; аналогичным образом научное познание общества позволяет оптимизировать общество. Научно-технический прогресс легко и в каком-то смысле оправданно проецируется вперед, и поэтому можно осуществить такую же проекцию истории. Иными словами, низводя все в популярную плоскость научной фантастики, если прав Жюль Верн, то прав и Герберт Уэллс.

Такая аналогия неверна как теоретически, так и практически. Выше отмечалось, что наука отличается от других областей «знания» опровержимостью гипотез и воспроизводимостью событий, то есть результатов эксперимента. Оба эти критерия совершенно не-

применимы к комплексу социальных дисциплин, где эксперименты можно проводить лишь на больших скоплениях людей с достаточной площадью для их захоронения. Кроме того, поскольку многократность эксперимента обходится дорого, всегда можно объявить, что вкралась ошибка и следующая попытка обречена на блистательную удачу. Перед нами — основной принцип выживания марксистов с их постоянным припевом, что все прошлые модели социализма были с дефектом, а вот сейчас мы вам возведем совершенно безупречную. В результате получаем парадоксальную ситуацию, когда провал эксперимента не только не вредит репутации его автора, но даже укрепляет ее. Этот фундаментальный парадокс современных социальных «наук» я позволю себе назвать «эффектом Фукуямы».

В каком-то смысле Фукуяма все же оказался прав, прорицая конец истории, — прав, так сказать, омонимически, если под историей подразумевать историографию. Еще в XVIII веке Эдуард Гиббон, создавая свой эпохальный труд, с трепетом равнялся на Полибия; в наше время история «с концепцией» считается вредным чудачеством, и предпочтение отдается прагматическим, материальным отраслям, таким, как археология или клиометрия. Параллельно, без оглядки и краски стыда, авторитетные мужи продолжают вещать с башен о грядущем столкновении цивилизаций, а этажом ниже работают мессии Интернета и коммунитаризма.

История стала хронологией будущего, из нее выпал предмет, как прежде он был изъят из живописи.

6

Вернемся к нашему гипотетическому свиданию с прошлым. Прогресс вперед подразумевает регресс назад, поэтому почти аксиоматично, что обитатель XX века считает своего предшественника в первом глупее себя. Загадочным образом поступь науки отождествляется с развитием интеллекта. Забавнее всего, что в доказательство этого тезиса житель Нью-Йорка или Санкт-Петербурга без обиняков кивнет на свой автомобиль и персональный компьютер.

Переимчивость римлян была одной из самых характерных черт этого народа. Государственное устройство и религию они во многом позаимствовали у этрусков, а культуру — у греков, признавшись во всеуслышание, что в противном случае остались бы дикарями. То же самое и в сфере технологии, главное орудие которой, знаменитый колющий меч, именовалось gladius hispaniensis в честь покоренных изобретателей. Но интерес римлян, равно как и греков, к технологии был строго ограниченным. Над загадкой равнодушия античности к беспрекословным для нас дарам цивилизации, таким, как цифровые часы или электронный календарь, ученые безуспешно бьются вот уже много лет, и дежурные аргументы об отсталости рабовладельческого строя давно не в ходу. Сейчас можно с достаточной уверенностью полагать, что на пороге нашей эры существовали все возможности для технологического взлета, подобного нашему. Мы, скорее всего, никогда не узнаем, почему этот взлет не состоялся, — не у кого спросить, нет такой инстанции.

Можно, конечно, вспомнить, что в итальянской столице по-прежнему работает часть античной канализации и водопровода, что проложенные империей дороги кое-где служат до сих пор, но все это лишь отвлечет от главного урока: технический прогресс в нашем понимании не является неотъемлемым атрибутом развитой цивилизации. Эта мысль настолько несуразна для поколений, взращенных на научной фантастике и трудах четы Тоффлеров, что отказывается умещаться в сознании. Тут я не могу удержаться, чтобы не привести слышанный в юности анекдот. Подвыпивший офицер с досадой наблюдает, как веселится штатская компания, а затем, не выдержав, подходит с упреком: «Если вы такие умные, почему же вы строем не ходите?»

Анекдот нетрудно перевернуть, хотя юмор, конечно, испарится. Веселым штатским позволительно спросить в ответ, почему собеседник носит на голове оладью, окаменел в коленях и не сводит глаз с мавзолея.

Идея социального прогресса настолько уникальна в анналах цивилизаций, что объяснить ее стоящему снаружи практически невозможно. При том что обучаемость человека всеми признана достаточно высокой, теоретический грек, обращенный в нашу теперешнюю веру (или диагноз), совершенно утратит способность представлять собственную культуру. Сократ учил самопознанию, и дух, целиком ориентированный на исцеление общественных язв, с его точки зрения, дисфункционален, а демонстрация, в доказательство превосходства, телевизора или сотового телефона развеет последние сомнения в массовом умственном оскудении. Платон сочинил идеальное общество, по нынешним меркам довольно жуткое, но суть не в этом — оно мыслилось как окончательное и равновесное, а наши утопии всегда устремлены в бесконечность, и статика воспринимается как синоним гибели. Мы проскочили свою станцию, где ждали будничные дела, и вообразили, что будем ехать бесконечно, все дальше и лучше; мы совершенно забыли про контролера.

Разница между пассажиром поезда и пешеходом гораздо меньше, чем между пешеходом

и паралитиком, и именно последняя целиком занимала древних. Наше якобы олимпийское «выше, быстрее, дальше» ничего общего с оригинальными Олимпиадами не имеет — там речь шла о победе, а не о рекорде. Рекорд — относителен, победа — абсолютна и навсегда; уже никто не добьется в Каннах лучшего результата, чем Ганнибал.

Не обязательно шить себе шкуру грека или римлянина, чтобы подивиться несообразностям цифровой цивилизации. Гегель провозглашал венцом истории Прусское королевство, но его изучают совсем не на курсах психиатрии. Легионы эдипов и кассандр объясняют, каким образом будущее вытекает из настоящего, но выводить настоящее из прошлого прекратили — дурной тон. Участь философии нельзя назвать более счастливой: пресловутые вечные вопросы, ради которых еще вчера русские мальчики мочили старушек, а девочки топили печь казначейскими билетами, Витгенштейн объявил абсурдом, дефектом языка. Сократ объявил бы дефектом самого Витгенштейна.

Для Сократа философия была синонимична этике, и вопросы, громогласно снятые Витгенштейном, большей частью вообще не стояли. Сократа волновало, как быть человеку с собственной жизнью, а не человечеству со Вселенной, и если бы даже второе уравнение имело какой-то смысл, решение целиком заключалось в первом. Решение было предложено христианством, но когда его беспрекословность дала трещину, учителей античного калибра давно смело с лица земли. Пока нынешние, от Гегеля до Витгенштейна, придумывали и отметали фиктивные проблемы, над реальной в России бился скорбноглавый безбожник Федоров, но на Западе ее в два счета одолел пастор Швейцер, промотавший «в поисках исторического Христа» все наследство последнего. Формула Швейцера: преклонение перед жизнью. Предвосхищая эффект Фукуямы, он обитал в альтернативной вселенной, где никогда не было Ницше.

Эта простая идея обошла и Сократа, и Сенеку, чтобы тем ярче воссиять в наш футурологический век. У нее, впрочем, тоже есть древний автор, и даже включенный в иудеохристианский канон, только выражался Екклезиаст далеко не так восторженно.

Живая собака — лучше мертвого льва.

7

Теперь нам осталось убедить римлян и греков в моральном превосходстве цивилизации, которая уравнивает человека с треской.

Упреки в том, что доктор Швейцер произвольно выдвинут в парламентеры культуры, несостоятельны. Хотя сила его собственного накала на нашем нравственном небосклоне не тянет на тысячную долю Достоевского, именно ему удалось подобрать заклинание и заколдовать великий испуг, в который погружено истекающее столетие. Отсюда уже без труда выводятся такие краеугольные принципы, как табу на эвтаназию и самоубийство, война с абортами и смертной казнью, осуждение войны независимо от цели, скорбь о вымирающих видах и движение за этичное отношение к животным. Отсюда, отметим не без дрожи в голосе, вытекает и доктрина прав человека в ее современной форме. Короче — все то, что в романтические годы перестройки первооткрыватели именовали «общечеловеческими ценностями».

Ниспровергать эти разновеликие ценности мы не дерзнем, но полезно хотя бы проинспектировать их фундамент и заглянуть в права на абсолютность их диктата. Пришло между тем время вернуть грамматике ее вещественное содержание. В отличие от миража, вынесенного в заголовок, существует реальное будущее время, futurum perfectum, неизмеримо более скромное, но открытое каждому с беспощадной ясностью. Здесь можно вспомнить о графике в первом абзаце. Человеку известно, что он умрет.

Преклонение перед жизнью — это лицевая, парадная сторона страха. Мы боимся смерти так, как никто до нас не умел бояться, мы возвели этот трепет в нравственный закон, покрыли золотом и резьбой и поклонились ему. По словам Ницше, мы сделали свой порок добродетелью.

Мы боимся не просто инстинктом, как заповедала любому биология. Смерть в современном сознании — это абсурд, кощунство, отрицание всего и обязательный объект отрицания. Если бы у кроликов существовала литература, в ней было бы бесполезно искать вразумительных сведений об удавах. Не знаю, бывают ли сумасшедшие кролики — у нас все-таки проговорился Николай Федоров.

Извлечем на свет еще один расхожий аргумент, под стать похвальбе сотовым телефоном. Многие полагают, а некоторые даже утверждали вслух, что страх смерти — атрибут прогресса и высокого развития; мужество — добродетель дикаря. Человек, владеющий в жизни немногим, невысоко ее ценит и легко с нею расстается; напротив, интеллигентному современнику больнее проститься со своим неисчислимым духовным богатством.

Минутный расчет покажет, что дело обстоит диаметрально противоположным образом. Идти на заведомый риск — значит настаивать самим поступком, что существует нечто дороже жизни или страшнее смерти. Такое поведение свойственно и животным, но у них вместо кодекса морали срабатывает генети-

ческий код. Человек, слыхом не слыхавший о молекулярной биологии, уверен в своем превосходстве над фауной именно потому, что ставит категорический императив выше продолжения рода. Ценности, за которые не больно умереть, — это и есть единственный достоверный продукт и признак цивилизации. Преклонение перед жизнью — сдача и гибель культуры, отступление к птеродактилю. Общечеловеческих ценностей никогда не было — разве что «общепозвоночные». В полинезийских сказках положительный герой обычно съедает отрицательного, если не наоборот. Римляне умирали за свой народ, за Город и очаг. И убивали: обесчещенную дочь, сына, который ослушался военного приказа (одержав при этом победу!), сестру, всплакнувшую по убитому братом жениху. Сейчас этот список для нас — просто перечень кровавых глупостей. Еще двести лет назад мы читали его иначе.

Античная смерть, в отличие от нашей, имела иерархию: случайная, незаслуженная и скоропостижная была предметом скорби или возмущения; гибель во имя долга считалась высшей честью и залогом славы в потомстве. Долг был функцией мужества и верности — добродетелей, от которых мы освобождены высоким развитием. Цицерон высмеет мораль Швейцера как безумие камня, объявившего неодушевленность высшей святыней.

Мы открыли эстетику Греции и этику Рима в эпоху поиска и сомнений; термин «Возрождение» говорит о преклонении и ученичестве. Гражданский подвиг пришел на смену религиозному и вассальному. Столетиями превосходство древних было аксиомой: именно у них мы впервые обнаружили демократию, человеческое достоинство, государство. К отцам-основателям США, вместе с Франклином и Джефферсоном, можно по праву причислить Полибия. Мы переняли ритуал, но ценности не пустили корней в чужом огороде. Жертвовать жизнью понарошку, ради условного долга, не получается; у нас нет мужества и верности, остались только права — человека, женщины, негра, дельфина. Право на жизнь.

Нынешнее поколение в массе полагает греков и римлян современниками и единомышленниками питекантропов и динозавров.

Я не хочу останавливаться на карикатурах, предпринятых Гитлером и Сталиным, — и «светлое будущее», и «тысячелетний рейх» не имеют с реставрацией Августа ничего общего, — но именно они окончательно опорочили в наших глазах идею долга и подвига. Возвратимся в будущее, которое наступит после нас.

Для историков этого воображаемого периода дороже всякого Витгенштейна и Фукуямы будет наша научная фантастика, сотни кубометров истинной эманации духа и сублимации страха. Ее главные предметы — машина времени и Контакт, временной и пространственный образы невозможного бессмертия. Сообщение о вероятных микробах на Марсе облетело все периодические обложки, по праву оттеснив Бурунди и Чечню, где преклонение перед жизнью соблюдается не столь строго. Мало кто вспомнил в этой связи о великой гуманоидной цивилизации, как минимум ровне нашей, которую рассовали по музеям и библиотекам. На микробов, по крайней мере, проще глядеть свысока.

Критика цивилизации — неблагодарный жанр. Нельзя целиком поместить себя снаружи, а если чудом и ухитришься, то останешься без аудитории. Но если получилось хоть отчасти, можно заключить, что древние заслужили у нас забвение, а мы у них — презрение. У них нет для нас урока; у нас для них — тем более. На том и расстаемся.

Или нет — вот еще миниатюра под занавес. У Марка Юния Брута был однофамилец Децим Юний Брут Альбин, соучастник тираноубийства. В одном из дальнейших сражений он был взят лоялистами в плен, и когда солдат вынул меч с намерением казнить его, этот вспомогательный Брут обгадился, покрыв свое имя в римской истории несмываемым позором. Сейчас каждый мало-мальский психотерапевт терпеливо объяснит, что в такой ситуации нет смысла подвергать себя дополнительным и бессмысленным мучениям; лучше расслабиться и прожить последние секунды так, как предлагает природа.

Пусть рассудят микробы.

A.V.C. MMDCCXLIX

■

ТОНЧО ЖЕЧЕВ

МИФ ОБ ОДИССЕЕ

Главы из книги

Принято считать, что миф о самом популярном герое древнегреческого эпоса Одиссее символизирует человеческую страсть к путешествиям. Когда мы хотим охарактеризовать чью-то непоседливую, беспокойную, бурную, заполненную странствиями и приключениями жизнь, когда мы вспоминаем об искательском духе путешественников — открывателей новых земель в эпоху Ренессанса, архетип Одиссея услужливо возникает из глубин нашего сознания — сравнение с мифическим героем должно объяснить и сказать все.

Когда мы читаем или слушаем рассказ об истории жизни какого-то человека, полной приключений, опасностей, счастливых избавлений от возможной гибели, постоянных бурь и краткого покоя, мы называем эту историю и эту жизнь «одиссеей», убежденные, что этим определением исчерпывается ее содержание.

Так повелось издавна и длится века — и вряд ли есть резон спорить с этим. Культурное сознание человечества завоевало и отстояло свое право приспосабливать для своих целей великие мифы. Вложенный в них первоначальный смысл от нас все больше отдаляется, мы пользуемся ими уже искаженными и переиначенными, превращенными в холодные, как арктические айсберги, символы без живого пульса, теплого дыхания и пророческой глубины. Во всяком случае, то, что мы сегодня понимаем под мифом об Одиссее и историей Одиссея, гораздо больше похоже на миф о Ясоне и более древнюю, действительно авантюрную историю аргонавтов. Рассмотренная ближе, просто и непредвзято, без более поздних наслоений и интерпретаций, история Одиссея оказывается не историей путешествия, а историей возвращения.

В пути, который Одиссей проделал до Трои, нет ничего замечательного. Он один из многих героев Троянской войны (кстати, далеко не главный), разделяющий общую несчастливую судьбу всех остальных. Превращение его в основного героя древнегреческого эпоса, его собственная неповторимая судьба складываются на обратном пути — от Трои до Итаки. Он — герой возвращения, а не путешествия.

Странствования по свету, даже наполненные «одиссееподобными» приключениями и перипетиями, не имеют ничего общего с первоначальным смыслом мифа, с подлинной человеческой одиссеей, которая есть история бед, мучений, открытий, падений и взлетов на пути назад — история возвращения.

Недостаточно хорошо изученный, но достаточно плодотворный путь прошла древнегреческая культура к тому моменту, когда у Платона созрела мысль о том, что идеальное движение — это движение круговое, то есть завершенное, обтекаемое, что начало смыкается с концом, а конец достигает своего начала. Для древних лик божества был кругообразным. Существо бога округло, говорит Ксенофонт. Космос образован из сфер, в них движется все, из чего он состоит, — некая вращающаяся на месте подвижная вечность. Это было общим местом и для идеалистов, и для материалистов древности. По Аристотелю небесные тела и космос кругообразны, по Демокриту бог — это ум в кругообразном огненном обрамлении, и все это движется по своему замкнутому кругу.

Как и в более поздних аллегорических средневековых рисунках, круг для древних был символом вечности, потому что круг — это идеальное выражение Бесконечности, иначе говоря — слияния начала и конца, неотделимости конца от начала. Средневековье всего лишь приспособило к своей геоцентрической модели мира эти представления древних. Идея круга тут служит образу бога, возле которого располагается все остальное, — самый круг символизирует совершенство. Или, как говорится в одном апокрифе: бог — это сфера, чей центр всюду, а поверхность — нигде.

Метафизическая интуиция греков намного опередила развитие математики, точных наук, Евклидову геометрию. В основе своей она приближается к современным и будущим открытиям. Азбучная истина сегодняшней геометрии гласит: прямая, следующая с одной стороны до бесконечно удаленной точки, непременно возвращается к нам с противоположной стороны, то есть она напоминает окружность с бесконечным радиусом, до такой степени потерявшую кривизну, что практически эта кривизна сведена к нулю.

Сейчас меня интересует Одиссеев круг, сфера, описанная самым знаменитым путешественником древности. Как видим, путь к Трое не занимает воображение Гомера. История Ясона и аргонавтов, бесчисленные приключенческие мотивы древней поэзии о поисках Золотого руна и Колхиды, о Золотом веке и

© Тончо Жечев, 1994
© И К «Христо Ботев», София, 1994
© Е.Фалькович. Перевод, 1997

Острове блаженных словно породили у всевидящего слепца ощущение исчерпанности этого сюжета, бесплодности поисков и блужданий в неизвестности, угасания и вялости романтических порывов, связанных со всеми стремлениями к недостижимому. Здесь Гомер только отмечает предельное удаление своего героя от исхо́дной точки, фиксируя описанный Одиссеем полукруг от Итаки до Трои так, будто он был совершенно безмятежен. Это делается для того, чтобы сосредоточить наше внимание на противоположной полусфере, на обратном пути и таким образом идеально округлить судьбу Одиссея и его спутников, соединить начало с концом и конец с началом и тем самым удовлетворить свое и своих современников представление о смысле и содержании полного человеческого круга бытия в бесконечном вращении Вселенной. С позиции «Одиссеи» «Илиада» — это всего лишь отмеченный пунктиром правый полукруг, преодоление пути в буквальном смысле этого слова, в то время как «Одиссея» — это жирно очерченное левое полушарие, возвращение к исходной точке; при этом возвращение совершается не как простое повторение пути назад, а как новое, самостоятельное, полное самых трудных испытаний приключение — левая полуокружность завершает начатый в Итаке круг. Другими словами, это не Колумбово открытие Нового Света и возвращение назад по тому же пути, а Магелланово кругосветное путешествие, новое открытие Знакомого и Близкого.

Одиссеем и «Одиссеей» Гомер делает большой и важный шаг вперед в культурной истории человечества. Преодолен интерес к праздничной суете отправления; пройдена заветная черта юности с ее мятежным духом битв и бурь; душа пресыщена, переполнена униженими и печалями опыта; усталость отягощает ненасытную и легкомысленную страсть к новому, к неизвестности, к открытиям, к новым землям и мирам, от которых веет таким свежим, таким младенчески-молочным дыханием. Устало глядим мы на равномерный бег горизонта впереди, на роковое отдаление остающихся позади счастья и миражей Золотого руна, Золотого века, Острова блаженных! Приближается пятидесятилетие; все настроения, ощущения, чувства, мысли медленно и неумолимо окрашиваются в другие тона, другую гамму. Все акценты смещаются, все интересы приобретают другое направление. Почти не замечая этого, обуреваемые мощными инстинктами и смутными желаниями, мы достигли верхней точки окружности. Начинается обратный путь — самая трудная часть, соединение концов и начал, восхода и заката, инстинкта и разума, родины и мира, поэзии и прозы, рождения и смерти.

Легкий багаж юности, который мы взяли с собой в путь, сменяется при возвращении тяжелым грузом зрелости. Все узлы, которые мы легкомысленно завязали на пути вперед, превращаются на обратном пути в тяжелые неподвижные камни. Силы не растут, как когда-то, а медленно тают. Если бы мы могли живо и наглядно представить себе сходство и различие между героем, отправляющимся на Троянскую войну, и Одиссеем, возвращающимся в Итаку, — мы имели бы живое и наглядное представление о драме человеческой жизни и одновременно о прелестном, наивном древнем понимании ее смысла. Сейчас ноздри Одиссея трепещут и ловят не пронзительный свежий ветер непознанных миров, а далекие, трудноуловимые, до боли знакомые запахи Родины, до боли знакомого лона. Они жаждут этих запахов, жаждут любимого и любви. Вся страсть героя направлена к абсолютному слиянию конца с началом. Знания пришли на смену восторженному любопытству, ностальгия по близкому — стремлениям к неизвестному. Товарищи Одиссея, для которых его возвращение — это их путешествие, из алчности и любопытства развязывают страшные мехи Эола, что едва не приводит экспедицию к полной катастрофе. Для Одиссея с его тяжким грузом опыта, обременяющим его при возвращении, такой поступок совершенно невозможен. Путь вперед был для него путем к неизвестному, то есть к жизни; возвращение — это путь к известному, то есть к смерти.

Налицо парадокс, горше которого не бывает, потому что в возвращении единственным обязательным и неизбежным приключением станет смерть. И может быть, именно поэтому мы сейчас начинаем особенно остро чувствовать и понимать истинный смысл жизни. Так, в древности, как писал Овидий, безнадежно влюбленные бросались в море с Левкадской скалы с надеждой, что если они выплывут с помощью Аполлона, то избавятся от своей страсти, а избавление от страсти вернет им истинный смысл жизни, которая казалась раньше однообразной и пресной. «Каждое плавание, — говорит Колумб в диалогах Леопарди, — это прыжок с Левкадской скалы, только моряки знают цену тому кусочку суши, который твердо покоится под ногами. Кто сильнее нас, никогда не знающих, чем кончится плаванье, вожделел увидеть землю?»

Гомер многократно и по разным поводам намекает, что Одиссей — земледелец по велению сердца и души, а моряком стал по необходимости, по велению рассудка, капризу судьбы. С какой острой завистью смотрит он на невозделанную тучную землю острова циклопов. Как мечтает он о том, чтобы работать на́ ней, вспахать и засеять ее! Мечта о «вспаханной земле» преследует Одиссея все время. Все его эпическое возвращение на скалистую Итаку — это непреодолимый зов крови, психологически и практически он даже не мотивируется, он как проклятие и неизбежная судь-

ба; необходимость его Одиссей ощущает как непобедимый и непреодолимый инстинкт тяготения к земле, к тверди вместо неверного, вечно колышущегося моря. Над «Илиадой» нависает темное пороховое небо битв и бурь, над «Одиссеей» простирается мирное синее небо, тут преобладает жажда покоя, плодотворного и всепоглощающего труда. Миражи в «Одиссее» связаны с плодородной землей — вместо волнующегося моря, связаны с берегом — вместо шири, с твердью — вместо водной зыби.

Иными словами, простое исстрадавшееся сердце Одиссея устало, изнемогло в борьбе с ненасытным и ветреным умом, оно само становится к рулю корабля и берет курс к гавани. Сохраняя свежесть и девственность ощущений, чистоту души и неиспорченность чувств, долгие тысячелетия жили в гармонии ума и сердца поколения предков Одиссея, вплоть до его отца Лаэрта, царя скалистой Итаки, — все они были охотниками и земледельцами.

И вот первое поколение с этим неопытным сердцем, этими привычными, освященными традицией чувствами вдруг должно было пережить бесприютную судьбу скитальца, вынужденно подчиниться пробудившемуся алчному, ненасытному уму, выдерживать разреженный воздух вершин, колеблющуюся поверхность безбрежного Океана. Каждый встреченный на пути, каждый слушатель невероятных историй Одиссея восхваляет его ум, называет его «многоумный», с которым по уму никто не может сравниться. Но Гомер, вкладывая все эти определения в уста простодушных оседлых жителей, оставляет себе право чаще всего употреблять рядом с именем героя двусмысленный — отчасти хвалебный, отчасти иронический — эпитет «хитроумный».

Похоже, для Гомера нет сомнения в том, что приключения Одиссея — это приключения и испытания его ума при возвращении к прачеловеческой основе, к простоте чувств, к теплу очага, к роду и семье, теням предков, к дому и уюту, к берегу и пристани. И если сердце и чувства все-таки крепятся и держатся на верхнем холодном полюсе круга, хотя часто отказываются следовать безумствам разума, то теперь, на обратном пути, ум изнемогает, объятый великим стыдом при открытии заново простых и ясных даров неба, которыми герой когда-то владел, но с демонической гордостью пренебрег.

Если бы Гомер остановился здесь, он стал бы просто родоначальником пессимистической и не особенно глубокой идеи о вечном круговороте человеческой жизни. Описанный же Гомером Одиссеев круг благотворен, преображен и преобразующ, открыт перспективе нового витка — на другом уровне. Разум Одиссея возвращается к праоснове просветленным. И только в просветленном открытии уже однажды познанного (а не встрече с ним как бы неизменившимся) и заключен смысл этого кругообразного пути. Новый свет озаряет не одного только Одиссея, но и все в Итаке. После встречи Одиссея с Лаэртом, когда свершается для сына новое открытие отца, свет озаряет и Лаэрта, и Итаку, как будто все — а не только Одиссей — завершили благотворный круг бесконечного путешествия. Когда старая рабыня искупала Лаэрта, помазала его благовонным елеем и облекла в чистую мантию, сын изумился — отец показался ему похожим на «вечного бога». И ростом, и всем обликом своим он совсем иной — прекраснее, чем когда-либо.

Как известно, «Одиссея» заканчивается избиением нахальных и надоедливых женихов Пенелопы, перемирием враждующих сторон и благословением, данным Зевсом и его дочерью Афиной Палладой героям эпоса. Гомер ничего не рассказывает о дальнейшей судьбе Одиссея, но мы не испытываем неудовлетворенности и чувства незавершенности повествования. Почему? Потому что мы уже видели Одиссея в царстве теней в мрачном подземном Аиде, а устами фивского старца-прорицателя Тиресия судьба возвратившегося Одиссея была предсказана до самого конца. Так вертящееся колесо его жизни, подойдя к смерти, достигло и первоначала — и две эти грани блаженно слились друг с другом. Это один из самых замечательных и волнующих эпизодов поэмы. Человек должен был пройти через невероятные испытания, а человечество — порядком постареть, чтобы обратить на этот эпизод то внимание, которого он заслуживает.

Фивский прорицатель предсказал все беды, которые падут на голову Одиссея при возвращении, внушая ему, что если он не оставит мысли об Итаке, то достигнет ее даже в том случае, если погибнут все его спутники, ненасытные обжоры, готовые посягнуть на пасущихся на острове Тринакрия священных быков Гелиоса. «Напившися черныя крови», фивский прорицатель Тиресий велит Одиссею не останавливаться после истребления женихов. Воля богов выражается устами прорицателя и требует от Одиссея последнего, связующего концы и начала шага, слияния двух точек круга, озарения и утверждения просветленным в путешествии разумом праосновы человеческого существования — благословенного пастушеского и земледельческого труда. Тиресий советует Одиссею:

Но когда ты,
Праведно мстя, женихов, захвативших
насильственно дом твой,
В нем умертвишь иль обманом,
иль явною силой, — покинув
Царский свой дом и весло корабельное
взявши, отправься
Странствовать снова и странствуй, покуда
людей не увидишь,

Моря не знающих, пищи своей никогда
не солящих,
Также не зревших еще ни в волнах кораблей
быстроходных,
Пурпурногрудых, ни весел, носящих,
как мощные крылья,
Их по морям...[1]

И даже этих четко выделенных указаний кажется Гомеру мало, и тогда он с помощью прорицателя продолжает завлекать Одиссея все глубже на сушу, все дальше от моря, в не изведанные им еще равнины и поля:

Если дорогой ты путника встретишь
и путник тот спросит:
«Что за *лопату* несешь на блестящем
плече, иноземец?» —
В землю весло водрузи — ты окончил свое
роковое,
Долгое странствие. Мощному там
Посейдону принесши
В жертву барана, быка и свиней оплодителя
вепря,
В дом возвратись и великую дома сверши
гекатомбу
Зевсу и прочим богам, беспредельного неба
владыкам,
Всем по порядку. И смерть не застигнет тебя
на туманном
Море; спокойно и медленно к ней подходя,
ты кончину
Встретишь, украшенный старостью светлой,
своим и народным
Счастьем богатый. И сбудется все,
предреченное мною.

Только сейчас мы начинаем понимать то, что не составляло никакой загадки для древних и Гомера, — почему покровительницей скитальца Одиссея была богиня плодородия и мирного труда, дарящая мужчинам плуги и бороны, а женщинам — ткацкие станки, покровительница целебного физического труда, законов и мудрости, вечная соперница разрушителя Посейдона, любимица Зевса, возросшая в голове его, сама Афина Паллада! Да, да, только рожденная из божественной головы может понять, что́ такое рискованное, полное превратностей, страшное, но неизбежное и славное круговое путешествие, — и посочувствовать путнику, который зажег колеблющийся, но негаснущий светильник разума, чтобы достичь природы, инстинктов, темных телесных глубин и слиться с ними воедино. Только она нутром чувствует, что такое непереносимые боли в голове, обделенной теплым равномерным биением сердца и крови. Только она не бросит Одиссея посреди пути и до конца, до возвращения останется его Ментором.

Только богиня мудрости может помочь всем одиссеям — исстрадавшимся и одиноким, рождающимся и умирающим, слабым и сильным, скитающимся и оседлым — успешно завершить свой круг, не застрять посредине, в какой-то разъединяющей этот круг точке. Только мудрости дано познать ужас зияющей бездны незавершенного круга, острых, колючих, пронзающих сердце краев его, вздыбленных, как руки взывающего о помощи.

Мы живем уже пятьсот лет — и неизвестно, сколько еще проживем — в Колумбовой эпохе путешествий к новым землям, планетам и мирам. Нет ничего удивительного в том, что мы забыли или отодвинули на задний — скрытый — план самую трудную часть пути мифических скитальцев — возвращение.

Мы забыли даже о попытке Магеллана связать конечную цель с началом, в одном путешествии переплыть моря и океаны, омывающие землю, закруглить и спаять части шара, на котором мы живем и вертимся — из бесконечности в бесконечность.

В мифический, религиозный и гуманистический периоды своей истории человек всегда чувствовал, что осужден жить на шаре, который сам вертится вокруг своей оси и одновременно с этим описывает бесконечный эллипс, что он никогда не перестанет рисовать большие и малые круги, которые проходит в отпущенное ему для путешествия и возвращения время.

После первородного греха человек закрыл для себя прямой путь в рай — остался один лишь окольный, сферический, искупительный, страдальческий крестный путь к блаженному началу. И откуда-то из глубины слышится последний вопль с Распятия, жгуче обнаженная человеческая мука — для чего Ты меня оставил, Господи, ламма́ савахфани́[1], — мука так глубока, что исход может быть только на другой стороне, еще глубже, глубже дна — снова к небу, к воскресению и спасительному соединению. Только в избытии до конца невыносимой муки этой оставленности Богом, от самого последнего предела возвращения начинаются озаренные светом начала, приходит победа над смертью, приходит заслуженное Воскресение, смерть попирает смерть Бессмертием. В муках добровольного пленника Христа, как говорил Иоанн Златоуст, уже сама смерть мучается в родовых муках. Самое далекое, рискованное, опасное и славное путешествие человек совершит не к Золотому руну, не на Остров блаженных, не в Золотой век и Новый Свет, а к победе над Смертью — головокружительное путешествие, которое свяжет рождение и умирание в вечную жизнь, к перихорезе, в которой Бог станет человеком для того, чтобы человек мог стать Богом.

Сегодняшняя космонавтика обнажила многое и показала, что проблема состоит не в том, чтобы просто попасть туда-то и туда-то, а в

[1] Цитаты даются в переводе В.Жуковского по изданию: *Гомер.* Одиссея, М., 1981. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[1] Евангелие от Марка, 15,34.

том, чтобы вернуться. Троя достижима, но все так же, как и всегда, недостижима Итака. Современная техника, межпланетные путешествия — похоже, они постепенно все настойчивее возвращают и будут не раз возвращать нас к восприятию жизни и мира как божественного круга, а в путешествии все более сложной проблемой будет становиться возвращение. С древних времен в представлениях людей синий океан сливался на горизонте с синим небом. Для нас эта синева естественно переходит через видимые пределы и возвращается к нам с другой стороны. Мы все-таки начинаем свыкаться со странным ощущением, чувством и мыслью, что планеты вертятся вокруг других планет, звезды Солнечной системы вертятся вокруг Солнца, а само Солнце и планеты вертятся вокруг своей оси, и в этом бесконечном не видимом простым глазом вращении живет, дышит, рождается и умирает Вселенная — и мы вместе с нею — со всем и со всеми. Начала ищут свои концы, концы — свои начала. Мореплаватель, скиталец — многоумный Одиссей находит счастье на вспаханной земле!

ОДИССЕЙ И ЛОТОФАГИ

Как рассказывает Одиссей царю феакийцев Алкиною, первое серьезное препятствие на обратном пути от Трои в Итаку появилось на десятый день путешествия, когда он и его спутники достигли загадочной земли лотофагов. Очевидно, следует благословить девятидневную бурю, с которой Одиссей и его товарищи боролись перед этим, потому что первой их заботой на земной тверди было утолить сильный голод и жажду из собственных запасов пищи и воды. Иначе пришлось бы этот голод утолять неизвестной едой туземцев. Многоопытный и многострадальный герой посылает двух своих гонцов и сопровождающего их глашатая посмотреть и выяснить, что за люди населяют расстилающуюся перед ними плодородную землю и какой хлеб едят они. Выясняется, что народ здесь блаженствует, он улыбчив и добр и питается цветами лотоса. Гостеприимные лотофаги дают посланцам Одиссея вкусить сладкого, подобного меду, цветка. Но тот, кто поел его, теряет память, не хочет возвращаться назад, не хочет ничего, кроме непреодолимо желанного лотофагского рая, хочет навечно остаться тут и жевать завораживающий цветок лотоса. Богоравный странник, мифический герой мгновенно сообразил, какая опасность нависла над всей экспедицией, чьей внутренней движущей силой была мечта о возвращении — «даже когда б и в богатой обители жили мы на чужой стороне». Решительный перед лицом замеченной им опасности, Одиссей распорядился притащить назад плачущих и отчаянно упирающихся своих товарищей и крепко привязать их к корабельным скамьям. Началось первое паническое бегство Одиссея прочь от благодатной гостеприимной земли.

«Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем», — говорит он Алкиною, как будто снова переживает ужас встречи с обреченными забывать и быть забытыми.

Приключение Одиссея необыкновенно с любой точки зрения. Пластичное, ясное и живописное по своей фабуле, оно зашифровано в прозрачной и многозначной символике, за которой, как с береговой полосы Эгейских островов, видится лишь морское дно. Приключение необыкновенно прежде всего потому, что преодоление его есть обязательное условие возвращения. Без успешного противоборства против упоительно сладкой слабости лотофагов какое бы то ни было возвращение невозможно, без памяти о начале путешествие бессмысленно. Гомер достаточно ясно дает понять, что даже только вкусивший сладкого цветка лотоса — не насытившийся, а только пригубивший его — отказывается от возвращения в родные края, к своим близким, хочет «вдруг... в стороне лотофагов остаться».

В нескольких стихах Гомер дал нам почувствовать и понять блаженство беспамятства, силу быстро действующей одурманивающей отравы забвения — этого древнего наркотика, который спасает от проклятия памяти и преследующих воспоминаний. Достаточно лишь раз вкусить, попробовать тогдашнего опиума, сладкого, как мед, цветка с древа забвения, чтобы он оказал магическое действие на слабый человеческий род, довел его до состояния нирваны, до блаженного беспамятства, освободил его от терзающей памяти и тяжкого груза воспоминаний. Однако блаженство лотофагов — это самое страшное проклятие и несчастье для Одиссея: не имея памяти, лотофаги не имеют и истории, каждый начинает все сначала, и никто не знает, что было перед ним и что будет потом. На острове лотофагов создаются идеальные условия для отсутствия культуры, которая возникает из памяти о прошедшем. Освободив лотофагов от проклятия памяти, Зевс дал им самый сладостный напиток, который можно сыскать в растительном мире, — он позволяет не знать боли. Освобождение от боли — вот чем так быстро соблазнились спутники Одиссея.

Одновременно с этим становится понятным, что для Гомера и древних греков лотофагия, соблазн беспамятства, — это крайняя степень человеческого БЕЗумия. Безумия в чистой его форме, а не сумасшествия и буйства — безумия как лишения ума, превращения человека в беспамятное, блаженное, улыбчивое животное, для которого нет БЫЛО, нет и БУДЕТ, а есть одно лишь голое и единственное СЕЙЧАС и ЗДЕСЬ, то СЕЙЧАС и то ЗДЕСЬ, которые никогда не становятся вливающимся в будущее прошлым или превращением про-

шлого в будущее. И Одиссей без колебаний хватает своих товарищей, вкусивших медвяного цветка забвения, бросает их, связанных, на дно своего корабля и панически бежит прочь от прóклятого блаженным забвением острова, бежит вдаль, чтобы следовать своей человеческой судьбе, обреченной на память и боль, на скитания и возвращения, на завершение путешествия, — судьбе, в которой будущее уходит в прошлое, а прошлое есть залог истинного будущего.

Наступает сумеречный тихий предвечерний час в нашей жизни, когда все готово превратиться в воспоминания. Мы сидим на остывающих камнях своего острова, жуем горьковатые цветы антилотоса и совершенно четко ощущаем и понимаем древнюю, как сам человек, истину: самое лучшее в прошлом есть прообраз, далекий прототип самого лучшего и прекрасного в будущем. И если человечество заразится безумием лотофагов — самое худшее и страшное в его прошлом превратится в бледный прообраз самого ужасного и непоправимого в будущем, наступит «третье варварство», о котором с таким страхом и тревогой предупреждал Джамбаттиста Вико.

Сейчас, всегда и везде, когда хотят кого-то обидеть или задеть, ему презрительно бросают: «Село!» Вы можете услышать это в трамвае, на улице, в кафе, перед телевизором, на стадионе, в корчме, в ближайшем кинотеатре, в магазине, на службе — даже в самом селе. У меня уже нет сил возмущаться. Иногда я смеюсь гомерическим смехом, а в другой раз, когда я слышу это презрительное замечание от молодых, мне хочется схватить их за ухо и прокричать в него несколько вопросов, которыми в древности — вместо паспортов — удостоверяли личность: «Кто ты такой? Кто родил тебя? Какая земля тебе родина?» У нас в Болгарии я почти не боюсь того, что непочтительно схвачу за ухо потомственного аристократа, деды которого владели поместьями, или потомственного горожанина, чей род потерялся во тьме времен, растаяв в тени каменных домов. Я почти не боюсь встретить фамилии, с которой уже смыта сельская грязь. Передо мной люди — я ясно вижу это по их лицам, рукам и манерам, — которые сами совсем недавно вылетели из своих сельских гнезд или это сделали их родители (в крайнем случае их деды); пройдохи, которые видят свое великое и непревзойденное превосходство горожанина в скоропалительном отказе от простодушия, скромности и благородства, украшавших некогда болгарского крестьянина и крестьянку.

И сегодня иногда можно встретить в городе прилепившихся к своим детям бабушек и дедушек, которые выходят погреться на солнышке. Пугливые и робкие, они исполнены доброжелательства, удивляются всему, любопытны, ищут возможности поговорить, поделиться своими горестями. Однажды такая вот бабушка из села вошла в трамвай, огляделась и сказала: «Добрый день, люди!» Все усмехнулись в усы этакому анахронизму и вроде устыдились за свое недавнее прошлое, потому что у каждого наверняка была такая бабушка или по крайней мере каждый помнил ее. И никому — я видел это по их лицам — не пришло в голову, что на том пути, по которому они идут, если не им самим, то их детям и внукам когда-нибудь страшно захочется иметь именно такую простодушную и сердечную бабушку, что придет день, когда люди, озябшие в стуже построенных ими необъятных городов, будут мечтать о нити, которая связала бы их между собой, о нити крепкой и необорванной — такой, какая есть у этой бабушки, которая все еще не может представить себе, как это можно войти куда-то, где так много людей, — и не поздороваться с ними, не пожелать им добра. Не хотелось бы верить в то, что современный человек и человек будущего станут рваться на острова лотофагов, будут есть медвяный цветок и не захотят даже вспомнить, кем они были и что приготовило им их прошлое, — заболевшие лотофагией одиссеи, которым обратный путь закрыт навсегда.

Омерзительна и скучна жизнь среди современных лотофагов. Медвяный вкус травы забвения, который они жуют и глотают, лишает их подлинного ощущения вкуса жизни, делает их склонными к дешевым заменам, искажает понятия об истинных ценностях, отнимает у них чувство необходимости сладостного путешествия к прошлому, того единственного путешествия, где видны далекие берега надежды. Схвати их, Многоумный, за шиворот, растряси как следует, чтобы их стошнило после сладкого наркоза. Покажи им истинную цену тем дырам, в ко горые они попрятались и на дверях которых пишут, задрав носы, свои никому не известные фамилии. Покажи им, чего стоит настоящий домашний уют, который они предали ради так называемого комфорта.

Одиссеево начало в человеке и жизни очень сильно — путешествие не закончится у лотофагов. Едва построили люди головокружительные мегаполисы — и уже в ряде передовых стран жители больших городов спешат приобрести или снять домик на земле с огородом и садом, которые сами поливают и обрабатывают. Это трудное и дорогостоящее возвращение из многоэтажности к земле, в сущности, и есть новое изнурительное путешествие. Воспоминание о простой и сообразной с природой жизни всплыло наверх, живое и притягательное, пробившееся сквозь пары наркоза. На другом уровне и в иные времена жизнь, порядок, самоуправление, нравственная чистота, тишина и целебный труд, одухотворенный и овеянный благородной печалью — от-

блеском древнего быта болгарского крестьянина, — станут мечтой и идеалом всего мира. Потому что болгарский крестьянин обрабатывал и возделывал один из райских уголков земли, был свидетелем того, как светозарный мост радуги соединял землю с небом, читал цветные иероглифы жизни быстрыми, трезвыми, знающими всему свою цену очами, хранил сокровища народной нравственной культуры — этого острова Эола.

Мне бы хотелось лишь, Многоумный, чтобы ты научил нас преодолевать опасную лотофагию, чтобы мы не остались на полпути между крестьянином и горожанином. Наркоз сладок, память — бремя, и люди беспрестанно стремятся найти остров, на котором можно было бы побыстрее свалить со своих плеч этот груз.

Мы — неофиты, новоиспеченные городские жители, и поэтому мы довольно часто бываем свидетелями смешных сторон лотофагии. Но зато у нас есть надежда, что мы легко и быстро переболеем ею. Есть много тому примеров, которые говорят о том, что, быть может, не все еще потеряно, если, конечно, мы не поддадимся безумию. Поголовное и ускоренное «огорожанивание» сопровождалось у нас радичковским хохотом и неимоверной суматохой[1]. Сейчас, похоже, этот девятый вал схлынул, все начинает постепенно становиться на свои места. Надеюсь, со временем мы научимся смеяться не над своим прошлым, а над безумием пренебрежения к нему. Страшноватый был маскарад, самое время проводить его со смехом.

Лет тридцать назад в наше село приехала, вместе с сотнями других, семья из одного из самых глухих углов Болгарии. Она поселилась рядом с нами. Для них наше Дивдядово было городом, они спешили стать горожанами, из-за чего тогда стали объектом насмешек моих односельчан.

Когда в молодой семье родился сын, его по обычаю сначала хотели назвать в честь деда Иваном. Но это имя новоявленным «горожанам» слишком напоминало село, прошлое, простого, необразованного деда. И они приняли «соломоново» решение: и чтобы сохранить обычай, и чтобы по-городскому было, окрестили новорожденного Ивалином. Это новое имя, пахнущее лекарствами и аптекой, казалось им более достойным нового местожительства.

Путь от Ивана через Ивалина снова к Ивану — большая и трудная проблема для Болгарии, становящейся страной городов, проблема ее культуры и в конечном счете — ее нравственности. Потому что то, что мы сохраним в нашей памяти в результате бесконечного человеческого путешествия, — проблема нравственная. Что и сколько погубили и забыли мы из-за своей лотофагии, столько же будет забыто о нас и после нас. Все, что поглощено забвением, — того будто и не было вовсе.

Прошлое может подсказать разрешение самых трудных парадоксов современности, сложных, почти неразрешимых загадок и проблем. Когда в наших краях быстрыми темпами стало развиваться и расти виноградарство, люди приобрели достаток, начали строить большие и удобные дома в пять-семь комнат, с ванной, с современным водоснабжением, с роскошными участками по одному-два декара[1] и обязательным колодцем для орошения посредине. Более того — некоторые городские жители сейчас живут в таких перестроенных сельских домах, в свободное время занимаются своим хозяйством, не порывают с землей, переживают миграционные процессы естественно и постепенно, без психологических стрессов. После присоединения моего села к городу там, я слышал, планируется строительство многоэтажных домов с нагромождением квартир, а это такая среда, в которой надолго совместятся непривлекательные черты города со старыми неудобствами села. Те, кто получает квартиры в этих домах, тут же снова испытывают желание повозиться в своем садике — и принимаются строить себе дачи даже на голых камнях, если нет другой земли. И все начинается сначала. Современный уровень коммуникаций, внедрение всех преимуществ градостроительства в сферу индивидуальных домов может дать нам то, к чему стремятся сегодня самые высокоразвитые страны, страдающие от всяческих язв урбанизма и пытающиеся нейтрализовать их.

Обратный путь Одиссея — это путь творческий, а не просто предопределенный. Прорицатель Тиресий, предсказывая путь Одиссея в Итаку, оставляет ему достаточную свободу действий, много всяких «если», требующих выбора — простого и мудрого. Движение мифического героя вперед к прошлому и будущему — это чередование путешествия и покоя, покоя и путешествия, это мгновения быстрого действия — и глубокого созерцания, мысли — и выбора. Никто не обратил внимания на то, что путешествие Одиссея — это не только непрестанный поиск, но и непрестанные открытия и находки!

Каким благородным, почтенным и суровым был внешний облик и внутренний духовный мир болгарских крестьян, наших отцов и дедов! В мечтах, в идеальнейших представлениях о человеке будущего нам видится новое перевоплощение наших предков. Одиссеево пламя и страсть необходимы нам, чтобы проложить мосты к ним, Одиссеев плот нужен

---

[1] Йордан Радичков — современный болгарский писатель, автор пьесы «Суматоха», написанной на притче-фольклорной основе.

[1] Декар — мера земельной площади в Болгарии, равная 1000 кв. м.

нам, чтобы перенести их в будущее.

И сегодня на утомительном жизненном пути на меня будто пахнет прохладной свежестью и кто-то будто протягивает мне библейскую «горсть с покоем», когда перед моим внутренним взором предстает мой дед Марин. Меня охватывает беспричинная, ничем не оправданная надежда на то, что он повторится в комнибудь из наших правнуков, и это возвращение «назад» будет прыжком в Золотой век. Непрестанный труд, труд увлеченный и разумный, был непреодолимой потребностью его души, самые отдаленные представления наши о коммунистическом отношении к труду материализуются для меня в облике моего деда. Он не знал, что такое отдых и покой; когда другие ложились немного поспать после обеда — он уже вставал, утром он пешком раньше нас уходил в поле, в шестьдесят легко вязал снопы за десятью жнецами и весело пугал их, что завяжет и их вместе с колосьями. Работать с ним было радостно и увлекательно, он всех заражал своей щедрой преданностью труду, легким нравом, шутками и смехом. Руки его были похожи на жилистые корни, даже в старости он зубами выпрямлял гвозди. Он трогательно общался с живой и неживой природой, все вокруг для него было наполнено своей особой жизнью, которая постоянно была открыта ему. Мы слышали только его слова, но они, очевидно, были ответом на другую речь, скрытую от нас и нам недоступную. Его диалоги с лошадьми, собаками, со сломанной лопатой, которую он чинил, были полны артистизма, он с удовольствием объяснялся с ними, рассказывал им обо всем и был совершенно убежден, что слова его достигают души вещей и животных. Позже, уже в наше время, он нашел себе собеседника в лице радио, но с ним он сердито спорил. Похоже было, что словесные перепалки с радио утомляли его, ответов на свои слова он не слышал и спешил «отрезать ему язык».

Сердце его было широким, как поле, и, как поле, трепетало перед мировыми загадками. У него были вполне определенные представления о разных народах, некоторые из этих представлений складывались в результате общения, другие — из опыта войн, он постоянно сравнивал нас с немцами, русскими, американцами, англичанами, турками, греками, сербами, румынами. Он признавал некоторые их преимущества, но ему чужда была униженность, он оценивал всех по достоинству, по мерилам старых времен, с чувством принадлежности к единой человеческой общности, но и с любовью и нежностью к своему, родному. Никогда не забуду тот августовский день, когда я вошел в комнату, где он умирал. Увидев меня, он улыбнулся и с неизменной своей склонностью к шутке, чтобы смягчить тягостную картину, встретил меня словами: «Болгария, за тебя умираю!»

Он был не просто умен, он был мудр. В нем не было ничего «одиссеевского» — в обыкновенном значении этого слова. Он вообще никуда не ездил и поэтому не имел нужды возвращаться. Он не искажал имен своих детей, не выдумывал каких-то Ивалинов. Он крестил детей и внуков, называя их простыми именами предков — Стефан, Йорданка, Вачо, — других имен, кроме наших исконных, он не слышал, не знал и не хотел знать. Так оформился он как нравственный человеческий тип, тысячелетиями вырабатываемый нашей народной культурой в своем чистом, без наслоений, виде. Но и отец Одиссея, старый Лаэрт, не покидал Итаки, а сын стремился к нему. Чистый тип болгарского крестьянина современен и живуч, он лучше всего проявляет себя не в движении, а в прочной оседлости, не как путник, а как пристань, не на постоялом дворе, а у очага жизни.

Среда, которую прежняя сельская жизнь создавала для человека, — это тоже прообраз далекого будущего, наших мечтаний о нем. Обстановка, в которой живет современный человек, способствует распространению лотофагии, погружению в забвение. Магнитофоны гремят как трубы архангелов из Апокалипсиса, будто хотят заглушить все живые мысли и воспоминания. Развлечения в городах нездоровые, будоражащие, вызывающие лишь поверхностное, минутное раздражение. Медвяный лотос таится на дне чаши, из которой мы пьем напиток жизни. Налицо другая — современная — апория, без богов, без веры в воскресение, в загробную жизнь; мы знаем одно только свое время и себя, живем, как будто мы бессмертны, без вчера и завтра и, как язычники, не знаем истинной цены жизни.

Жующие современный лотос хотят, чтобы мы забыли наше крестьянское, сельское прошлое, потому что их слабые плечи не могут выдержать его груза. А там, в этом прошлом, некогда был целый мир, собранный на совсем маленькой части земли, — обозримый, пестрый и теплый, где каждый мог читать нескончаемую книгу бытия. Как-то в одно из коротких зимних воскресений, когда дым из труб поднимался прямо в небо, а потом стелился синей мглой над котловиной, мы с родителями должны были до обеда пойти к родным нашим на похороны, после обеда — на крещение, а вечером — на свадьбу. Ощущение единства бытия, проявляющегося в высших ее точках — рождения, брачного обета и смерти, — не изучается ни в каких школах, оно естественно дается школой жизни и становится основой душевного равновесия. Не могу забыть хоть и не написанную никаким художником, но зримо стоящую до сих пор перед глазами картину: в нерабочий зимний день собралась веселая молодежная компания, все слегка выпили и с песнями ходили по улицам села. И тут появилась торжественно движущаяся сверху

навстречу ей погребальная процессия. Все остановились, почтительно сняли шапки и долго стояли так, провожая глазами шествие. «Мементо мори» — среди веселого пиршества! Незачем было писать эти слова над дверью, как это делали римляне, — ничто не способствовало забвению.

Ясным весенним утром, когда жизнь играет и переливается через край, над селом разносится торжественный и чистый звон колоколов. Он, как голос с неба, напоминает торопливым и суетным, что существует смерть и она есть неизменная часть жизни. Сейчас все дальше относят места последнего упокоения мертвых от домов живых, мы не слышим заупокойного звона колоколов, не встречаем погребальных шествий. Но сделало ли это нас более веселыми, спокойными — и вечными? Современный человек часто гнушается обрядовой трапезы после погребения родных или друзей, он считает неподходящим для еды место и время. Душа его наглоталась лотоса. Он даже не чувствует, не ощущает, что присутствует на древнейшем, как мир человеческий, обряде (правда, вырождающемся в наше время), в котором соединялись для наших далеких предков гроб и очаг, софра[1] и святилище, живые и мертвые продолжали существовать воедино, праздники не отделялись от будней, смерть — от жизни.

Современные воспитание и образование рвут нити, которые должны бы связывать молодежь и интеллигенцию с народной культурой, народным духом. Воспитание и образование втолковывают одни лишь европейские премудрости, дают поток информации, гимнастически развивают ум — и в результате рвутся и без того слабые связи образованной и мыслящей части общества с тысячелетней культурой нашего народа, которая прежде всего культура нравственная и мировоззренческая.

Пробил час, когда я могу сказать, что буду горд, если меня назовут крестьянином. Это значит, что я не остался у лотофагов, не глотал медвяный сок, я готов продолжать путь — то есть возвращаться. Возвращаться в райские долины, над которыми веет едва уловимое соленое дыхание моря, в притихшие поля, окруженные синей цепью гор, поля, с которых возвращался усталый дедушка Марин, усталый и все же один-единственный готовый, как Симон Киринеянин, помочь Спасителю нести свой крест. Путь назад и обратно, туда, где брезжит далекий берег мечты.

[1] Низкий круглый обеденный стол.

ОДИССЕЙ И КАЛИПСО

Для демонстрации непреодолимой тяги Одиссея обратно на родину, к своим близким, Гомеру был необходим некий необыкновенно привлекательный образ и головокружительное, непреоборимое искушение. Всевидящий слепец, ионийский колонист, в душе которого жили славные мифы его мертвой родины — Микен, не без эпической иронии воплотил это искушение в лице «хитроковарной дочери» Атланта светлой нимфы Калипсо. На своем прекрасном острове богиня Калипсо провела семь счастливых лет с богоравным Одиссеем и, как простая смертная, чисто по-женски сильно привязалась к нему, а из нитей этой привязанности решила сплести узы брака. В погоне за своей отнюдь не божественной химерой богиня Калипсо обещала Одиссею вечную молодость и бессмертие — обещала гораздо больше, чем могла выполнить, и наполовину больше, чем имела сама, так как известно, что нимфы живут очень долго и сохраняют молодость, но они не бессмертны.

Предложение «хитроковарной дочери» последовало через семь лет их совместной жизни на острове — выходит, Одиссей пробыл здесь больше одной трети времени, отпущенного на все путешествие, начиная с отплытия из Итаки, через Троянскую войну и возвращение обратно. Пошел восьмой год, кризисный и мучительный даже для самого счастливого брака.

В другом месте, в песне пятой, Гомер сообщает, что сам Зевс открывает Калипсо судьбу, предопределенную Одиссею:

Ибо ему не судьба умереть далеко
от отчизны;
Воля, напротив, судьбы, чтоб возлюбленных
ближних, родную
Землю и светло-устроенный дом свой опять
он увидел.

Калипсо, «богиня богинь», вздрагивает, услышав эти слова бога богов, и говорит то, что может повторить каждая женщина, счастливая в любви с мужчиной:

Боги ревнивые, сколь вы безжалостно к нам
непреклонны!
Вас раздражает, когда мы, богини, приемлем
на ложе
Смертного мужа и нам он становится милым
супругом.

Она приютила и полюбила злосчастного героя после пережитого им кораблекрушения и считает, что имеет на него право. Но, увы, надо подчиниться Зевсу и богам. И вот, стоя на берегу, дивная нимфа горько плачет, поняв, что лежала влюбленная с не влюбленным в нее. Чисто человеческое отчаяние рождает мысль о божественном подарке, идею соблазна вечной молодостью и бессмертием. Душе-

раздирающая сцена на берегу завершается глубоко минорным аккордом:

Тем временем солнце зашло и ночная тьма
наступила...

Ясно, что древний певец и древний народ поют здесь о другом — они сравнивают силу любви к Итаке и своему роду с самым мощным искушением. Точно так же, как три искушения, посланные дьяволом, должны были испытать любовь Христа к свободному человеку, а не к покоренному чудесами человеческому стаду. Обещания Калипсо — это кульминация в длинном ряду препятствий и искушений, которыми исполнен путь возвращающегося Одиссея. Прекрасная богиня не случайно названа «хитроковарной дочерью». В соблазнах, которые возникают на пути Одиссея до и после встречи с Калипсо, все человечно, абсолютно человечно, а обещанный нимфой подарок — царский, божественный: Одиссею предлагают судьбу бога, а взамен требуют, чтобы он предпочел Огигию скалистой Итаке, а Калипсо — Пенелопе. А он стоит и орошает слезами свой хитон. О чем он плачет? Что может быть дороже бессмертия и вечной молодости?

У меня нет другого ответа на этот вопрос, кроме того, что испокон века человек чувствует и знает — он не может стать богом, прежде чем не стал до конца, до самого последнего и возможного предела человеком. В спираль его житейского пути именно здесь вплетается следующий круг жизни, который завершается и закругляется благополучно, по-человечески, и только так и тогда эта сфера устремляется вверх, в разреженные божественные селения. Иначе чего же более мог желать Одиссей, нежели вечной молодости и бессмертия! А все-таки мы видим его на цветущем берегу Огигии устоявшим перед самым сильным искушением, спокойно перенесшим рыданья Калипсо и готовым снова в путь — в путь, на котором его отныне встретят лестригоны, циклопы, бури, смертельные опасности и преграды; и все это нужно будет одолеть, чтобы достичь скудного скалистого берега Итаки и найти дом свой, превращенный в неуютный постоялый двор, провонявший козлами и спермой. Какой магией обладает эта Итака, которая заставила его пренебречь молодостью и бессмертием, что за тайные чары держат его в этом упоительном плену? И наконец, так ли это в действительности, или мы имеем дело с поэтической условностью, годной для всех времен, сладко лгущей и всегда поющей о том, во что не верит?

«Одиссея» — плод «мудрого зрения» великого старого слепца, тогда как «Илиада» — это творение его молодости. Справедливо полагают, что поэтическое зерно «Одиссеи» гораздо древнее, фольклорная основа и прошлое уводят нас здесь в более глубокие пласты времени, нежели в «Илиаде». Похоже, что «Одиссея» сама есть плод духовных поисков и открытия истин, заложенных в самых сокровенных глубинах жизни народа. И так же, как бог Маммон открывает Фаусту и Мефистофелю сокровища, скрытые от них под Брокеном тем глубже, чем ближе движутся герои к вершине, так и Гомер в путешествии Одиссея постепенно раскрывает нам сокровища все более древних истин.

Наступает короткий предвечерний час ранней осени человеческой жизни, когда внезапно всем своим существом — вопреки знаниям, опыту и ухищрениям — мы ощущаем некую невероятно простую изначальную истину. На пустеющем берегу нашей Огигии тень наша удлиняется, словно душа хочет перебросить мост между всеми островами своего архипелага; небесная и морская синь начинают темнеть и сливаться, за спиной мы слышим тихий плач Калипсо и все-таки смотрим вперед, на корабль, который унесет нас далеко от бессмертия и вечной молодости — к последней пристани. В этот час дух наш готов открыть для себя более важную и прекрасную истину, нежели бессмертие и вечная молодость, — он непреодолимо стремится завершить еще один таинственный круг нравственных поисков. Он уже прозрел до самого дна: нам хорошо только там, где нас любят и где любим мы; потребность любить более сильна и непреодолима, нежели желание молодости и бессмертия. Мы не более чем человеки и надеемся найти молодость и бессмертие только благодаря своей Итаке и тем, кто любит нас и кого любили и любим мы.

В этот час мы припоминаем то, что всегда чувствовали, но никогда не знали как следует, до конца. Мы возвращаемся к каким-то праощущениям — возникшим до рождения, — к которым ум наш, податливый и на более жалкие и ничтожные искушения, нежели соблазны Калипсо, пробивается в результате мучительных усилий. На извилистом, нелегком пути иногда удается не убить в себе «воспоминаний» о благодатнейшем теплом пребывании в лоне, во чреве матери, когда ты был лишь радостным ожиданием, идеей будущего, воплощением надежды, бесполым существом, за девять месяцев повторившим миллионолетнюю эволюцию, то есть прожившим самую интенсивную часть своей жизни. Девять месяцев, которых, по мысли Кьеркегора, достаточно, чтобы постареть. Там был маленький теплый круг родины, семьи, предопределивший возможности объять более широкие круги общения, принять и понять отцов своих, сёла, города свои, Итаку, человечество, мир, бессмертие и вечную молодость. Там заложен недостижимый прообраз наших представлений о счастье и благодати, и, как Одиссей в царстве Аида, мы непрестанно пытаемся поймать и обнять его, но ловим и обнимаем одну лишь тень. Ведь, как известно, любовь и

смерть идут за нами с колыбели. До того как мы переживем смерть, самым сильным, самым мощным нашим переживанием была и остается любовь, способность любить и быть любимыми.

Многоумный муж Одиссей отбросил соблазн вечной молодости и бессмертия, оставил идиллию Огигии и устремился к скалистому берегу Итаки, потому что там живут те, кто любит его и кого любил он. Невидимую, но неразорванную цепь их любви волок он за собой все двадцать лет своего путешествия, и теперь они тянут эту цепь к себе, петля за петлей, и даже неземная сила сирен не может разорвать ее. Но ведь и Калипсо любит его! Или это просто дорожный роман Одиссея? В сущности, здесь мудрый старец вовлекает нас в глубины и бездны чувств, в которых заключается вся Одиссеева проблема.

В начале развития культуры великого средиземноморского народа, которая стала основой для культур всех европейских народов, самая сильная и благородная страсть, на какую способен человек, — любовь — неразрывно связана с умом, воображением и ответственностью, с обостренным ощущением ранимости других людей, с восприятием чужих ран как своих. Одиссей не знает, что Пенелопа — так неромантично и даже непривлекательно — верна ему все эти двадцать лет. Но он должен представлять себе нечто подобное, потому что он человек, а это значит, что он наделен умом и воображением, и тогда каждый разрыв цепи — это разрез по живому, он обессмысливает чью-то жизнь, не говоря уж о том, что он обесценивает один из самых дорогих даров неба — человеческую верность.

Нет, нет, Хитроумный, закрой уши и не слушай зова сирен, плыви и округляй свой путь, плыви бесстрашно к скалам родины, к своей постаревшей Пенелопе, к плаксивому старику отцу, к выросшему и еще незнакомому сыну, к остывающим углям домашнего очага, где в первый и в последний раз ты был согрет и обласкан, к этому завшивевшему псу Аргусу, который один на свете может так вильнуть хвостом, выражая безмолвную счастливую преданность тебе. Тут конец пути, потому что тут было его начало! По-другому не бывает — все знают радость и сладость путешествия, свободы, встречи с сиренами, но только тебе и близким духом дано познать благодать возвращения, счастье исполнения долга верности. Один твой неприкаянный собрат из Софии начала двадцатого века, чья одиссея лишена была моря, кораблей и простора, Калипсо и Пенелопы, создал совершеннейшее лирическое стихотворение на твою тему:

Вернуться бы и дом увидеть отчий
в тот час, когда заря смиренно гаснет
и тихие объятья тихой ночи
раскроются для скорбных и несчастных...
Чтоб лбом к плечу бессильному склониться,
старуху мать обнявши у порога,
в ее улыбке доброй раствориться
и повторять: «О мама» — долго-долго...

Войдя смиренно в тихое жилище,
в последнее укрытье и заслону,
тишайшие слова шептать все тише,
уставив взгляд на старую икону:
здесь я хочу заката дожидаться, —
взошло мое светило и угасло...

*

О, тайный вопль печального скитальца,
что родину и мать зовет напрасно![1]

Потому что для тебя, Хитроумный, и для твоих собратьев желанна не всякая любовь, а именно та, чей прообраз и недостижимый образец есть любовь материнская, глубинная, безмерная.

Мы сидели с моей матерью в такой вот час ранней и сухой осени под вьющимся виноградом и разговаривали. Она что-то вязала и все время примеряла связанное на меня. Слышно было лишь, как шумит вода в чешме[2]. Я расспрашивал мать про красоту — кто красив, кто некрасив; наверное, слышал уже эти слова от людей, но не до конца понимал их смысл. Мать объясняла мне, что красивым можно назвать, например, Высьо, стройного русоволосого друга моего дяди, но мне это было непонятно, для меня верхом совершенства был сам дядя мой, которого я любил, а ведь он был небольшого роста, кряжистый и угловатый, как я, и теперь я понимаю — его внешность совершенно не вязалась с понятием красоты даже в представлениях его сестры. И вот с детской непосредственностью и бесцеремонностью я прямо спросил: «А дядя красивый?» До сих пор помню, как ощутил неловкость матери, как заметил ее колебания, и до сегодняшнего дня согревает меня ее глубокий синий взгляд, которым она посмотрела на меня, не успев преодолеть свою стеснительность, взгляд, который был красноречивее всех слов на всех языках: для нее самым красивым на свете был я и красивее и лучше нет, не было и не могло быть никого. Вот о таком взгляде, ненасытном и любовном, в который мы погружаемся, забывая о своем несовершенстве, томится и тоскует душа до самой смерти. Кто хоть однажды почувствовал на себе такой взгляд, мужчина или женщина, тот совершает свой безбрежный путь как Одиссеев кругосветку к нему и вокруг него; жаждущая душа не может и не хочет довольствоваться чем-то малым, и все дорожные приключения с друзьями, женщинами, товарищами, обществом,

[1] Стихотворение болгарского поэта Д. Дебелянова. Перев. Д. Самойлова. По кн. «Болгарская поэзия». М., 1970.

[2] Чешма — каменное сооружение с краном для отведенной от источника воды.

клубами и т.д. — это попытка компенсировать, заменить, заполнить пустоту и праздность жизни без него. Источником трагического мироощущения, чувства неудавшейся жизни чаще всего становится невозможность связать два конца, замкнуть одну из божественных сфер в спирали нашего существования и таким образом утолить ненасытную жажду любить и быть любимым.

Способность любить свойственна не только человеку. Если мы понаблюдаем повнимательнее за животным миром, перед нами откроются трогательные и чистые формы благородной любви, существующие рядом с волчьими законами и нетерпимостью. В совершенных своих формах, в сущности своей материнская любовь у людей едина с материнской любовью в природе и животном мире. Шипы у розы, возникшие в результате долголетней эволюции, были зачаты в порыве естественной любви к приплоду и необходимости сохранения рода. Но один лишь человек обречен на любовь после разрыва природных связей и даже вообще без всяких природных связей и необходимости. Порожденная инстинктом и вскормленная в утробе матери человеческая потребность в любви начинает свою одиссею уже как потребность души и духа; поднимаясь к божественным высотам, она преображает инстинкт и утробное начало, включает их в ту же высокую сферу.

Множество людей остаются на природном уровне любви, и если они при этом умеют сохранить естественность и цельность, как в патриархальном нашем прошлом, то в этом есть свой порядок, чистота, нравственность и душа, но нет духа. Они еще не покинули лона, и для них Одиссеевой проблемы нет. Другие же — со слабо выраженными инстинктами и не ведающей страстей душой — рождаются этакими ангелами, холодными и бесполыми, одинаково чуждыми греха и святости, будто сошедшими прямо с неба, а не взошедшими на него сквозь огненные языки житейских пожарищ. Для этих Одиссеевой проблемы тоже нет.

Но чаще всего мы, люди, застрявшие посредине пути, и вся современная сексуальная революция служит подтверждением того, как слабы наши силы, как мало их для того, чтобы дойти до конца и описать сферу, о которой мечтали еще греки, завершить круг и, как Одиссей, связать конец с началом. А середина этого круга — липкое гнилое болото, и чем больше усилий тратят попавшие туда на то, чтобы выбраться, тем глубже их засасывает трясина и смрад. Середина — это бездуховная отторженность от природы: инстинкт остался таким же наглым и сильным, как на примитивной ступени развития, а дух спустился до самого низкого уровня услужливого практического разума. Цирцея не нужна — превращение в свиней, валяющихся в собственных испражнениях и поедающих собственных поросят, произошло и без волшебного жезла; подобный вавилонскому разноязычию визг оглашает весь мир и как чудовищный гротеск напоминает о плаче земли и неба по человеку, образ которого превратился в карикатуру.

Жизнь — это много часов. И этот час кончается!

Хотелось бы высказать до конца то, о чем думаю. Признаюсь, мне кажется подозрительной идея отчуждения, возникшая в буржуазную эпоху упадка и переоценки классических ценностей, подкрепленная тем не менее высокими авторитетами мыслителей и страдальцев. На первый взгляд убедительная и увлекательная, она основана на утерянном тяготении к любви, на погасшем стремлении возвратиться к началам. Мне кажется, я чувствую и понимаю мотивы возникновения этой идеи отчуждения, ведь кое-что и я вкусил и вкушаю от горького человеческого опыта, заложенного в ее основе. Мне знаком — и во сне подчас я слышу его — плач Яворова[1] у ледяной стены, и я знаю, что невозможно написать «вернуться бы в отцовскую квартиру», что безвозвратно растрачено тепло очага, ушла простая и целесообразная жизнь в природе, болгарские лопахины срубили «белоцветные вишни в маленьком дворе»[2], охладели и ослабели родственные связи, дружба осуществляется на почтительном расстоянии, и чем более интересна, развита и оригинальна личность, тем тоньше и острее шипы ее для защиты от мира, а попытка сближения и общения часто оборачивается болью и адом, адом и болью. С этим бессмысленно спорить, в той или иной степени муки отчуждения — это внутренний опыт каждого развитого современного человека. Но это ничего не меняет. Мои возражения начинаются именно здесь — и вот в чем они состоят.

Еще тогда, когда человечество освобождалось от тугих пелен средневековья, когда оно рождало и переживало свой Ренессанс, когда оно обращало свои взоры к застывшим в блеске античным образам, оно думало только о путешествии и никогда о возвращении. Оно заменило божественную сферу некой бесконечной плоскостью.

Непревзойденный Данте, высившийся на границе старого и нового мира, между средневековьем и Ренессансом, повернул корабль Одиссея, а заодно и всю западную ренессансную мысль от Эи, острова Цирцеи, не к Итаке, а напрямик в безбрежное странствование — в Гибралтар, в Атлантический океан, и это «море злое» поглотило классического возвращающегося Одиссея. Идея отчуждения — это

---

[1] Стихотворение болгарского поэта П. Яворова «Ледовая стена».

[2] Образ из стихотворения Д. Дебелянова «Помнишь ли, помнишь ли».

плод нового одиссеевского путешествия без Итаки, Телемаха, Пенелопы — и без самого Одиссея, путешествия ренессансного индивидуализма от его зарождения до вырождения в туризм, скорее распущенный, нежели свободный, без якоря и пристани, без цели, любви и глубины, путь по плоскости, плоский путь без начала и конца, без конца и нового начала.

Один писатель говорил: если хотите понять суть некой идеи, постарайтесь услышать ее из уст невежды. Или как там у Киплинга? «Останься тих, когда твое же слово калечит плут...»[1]. Идея отчуждения романтизирует, украшает, даже героизирует неспособность любить, сочувствовать, проникаться чужими бедами. В жизненной реализации эта идея напоминает мне некрасивый случай с одним моим знакомым, который страшно разозлился на свою мать именно тогда, когда она заболела и нуждалась в его помощи. Многие современные люди удивительно похожи на этого знакомого — индивидуалисты, отчужденные от рода и родины, глухие к страданиям ближнего, охладевшие ко всему, что не касается их собственных потребностей; сердчишко у них скукожилось, там темно, как под ореховой скорлупой; оно остыло прежде, чем запылал огонь ума. Пресекаются естественные природные связи прежде, чем созданы связи духовные. Отплытие из Итаки совершается без надежды на возвращение, без цели и смысла. Отчуждение удобно.

Некогда Хам был прикован к позорному столбу за то, что, увидев наготу отца своего, рассмеялся. Отчужденный человек, если, конечно, он не переживает отчуждение как драму жизни, — это современный Хам, глядящий на все со стороны, потерявший силы, желания и воображение для общения с людьми. Это всего лишь половина человеческой одиссеи, остановка на середине пути, безответственное нежелание покидать остров Калипсо, нечто промежуточное между зачатой, но несформированной личностью, между средневековой бастардией и свифтовскими йеху с необузданными инстинктами и неразвитым умом, с опустевшим сердцем и не способной думать головой. Тонкие психоаналитические изыски Фрейда и Венской школы оказали неожиданную услугу йеху, которые стали называть научным словом «комплексы» то, что на простом языке называется «срам», они выпустили и освободили своих темных коней без наездников, прежде чем научились укрощать и запрягать их. Чтобы лечить свое безумие, они превращают весь мир в сумасшедший дом. Если нужно быть дерзкими, говорил Плотин, то не следует ли нам попытаться отбросить прочь стыд? Современный Хам издавна ел и ест сладкие плоды бесстыдства.

Жизнь — это много дней! И этот день кончается.

Я не хочу, чтобы он кончался в отчуждении и холоде, псевдосвободная мифология современности кажется мне совсем непривлекательной, я связан по рукам и ногам неразрывными цепями, которые трут и впиваются до крови, но я не могу и не хочу освобождаться, потому что знаю — на том конце больно другим, и сильнее, чем мне. Некоторым моим современникам я предпочитаю Тютчева, человека прошлого столетия, человека на все времена. В шестьдесят лет он любит молодо и безумно, любит девушку, которая годится ему в дочери, пишет в ее честь самые трагические и совершенные любовные стихи — не только в русской лирике. И в то же время средневековые рыцари могли бы позавидовать его благородству и галантности в общении с женой, друзьями, приятельницами — его человеческие муки, его старания ничем не ранить ближних никто не в силах описать.

На острове, покидая Калипсо, плачет Одиссей — плачет уже второй раз. В первый раз он плакал о матери. Теперь он плачет о родине. Но ему хочется смягчить страдания Калипсо, притупить непереносимую боль расставания с ней. Его слезы объясняют все, они говорят о том, о чем невозможно, нет сил сказать словами, — она ни в чем не виновата, ее рыдания рвут ему сердце, но он ничего не может сделать. Калипсо и ее остров — это только середина пути, не начало и не конец. Зевс и Афина Паллада не могут помочь им. Обратный путь нужно пройти до самого конца, с огромным тяжким грузом всей жизни за плечами, — до своего конца, к своему началу.

Перевод с болгарского Е.ФАЛЬКОВИЧ

[1] Р.Киплинг. «Заповедь». Перев. М. Лозинского. — Стихотворения. СПб, 1994.

ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ

СОВРЕМЕННОСТЬ АНТИЧНОСТИ. «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» ФЕДРЫ

У проблемы античности в современности, или «античности как современности», есть несколько сторон, едва ли не одинаково важных. Прежде всего: вся наша культура происходит из античности. Все, чем мы занимаемся и восторгаемся, от математических теорем до гротескных комических спектаклей, коренится в том, что было сделано в Афинах V века до н.э. Мы можем переиначивать это наследие, от него отталкиваться, но при всех различиях поколений мы остаемся прямыми потомками Греции — и Рима как ее продолжения.

Благодаря открытиям самых последних десятилетий очевидным стало и другое: через Грецию, а отчасти и благодаря не только греческой, но и римской этрусской традиции, мы гораздо больше связаны с Древним Востоком, чем это думали раньше. Но эта древнеближневосточная (переднеазиатская) линия преемственности жила не сама по себе, а опять-таки лишь в той мере, в какой эту эстафету передавала Европе античность, по дороге многое в этих заимствованных элементах менявшая. Все чаще сквозь античные обличья удается увидеть общечеловеческие универсальные темы.

По мере изменения нашей системы оценок для нее античное наследие поворачивается теми сторонами, которые раньше могли быть менее значимы. Одна из бросающихся в глаза особенностей изданий и книжных магазинов в России последних лет состоит в увеличении числа и общедоступных, и весьма специальных публикаций, посвященных классической древности. Присмотримся ближе к некоторым темам и образам, на примере которых можно отчетливее увидеть тенденции, кратко обрисованные выше.

Для русской поэзии и поэтического театра XX века одной из существенных тем античного происхождения оказалась Федра. Сюжет античной трагедии не ограничивается рамками только греческой и римской литературы. Сравнительное литературоведение выявило почти универсальную распространенность того мотива, который фольклористы чаще всего обозначают ссылкой на его ветхозаветный вариант — повесть о жене Потифара. Рассказы о неверной жене, которая обвиняет невинного юношу в том, что он ее соблазнил, распространены в персидском и старом индийском фольклоре и давно были признаны сюжетом, кочующим по всей Евразии. Буддийский рассказ, на этом основанный, проник в Японию и послужил сюжетной канвой для популярных японских пьес — для театра Но сюжет был обработан в 1773 году автором пьес для кукольных спектаклей Суга Сенсуке; домашняя пьеса для кукольного театра позднее была использована и в спектакле театра Кабуки. Перенос центра тяжести в классической японской пьесе на психологию героини, кончающей с собой, представляет разительную аналогию с трансформацией Федры в греческой трагедии. Допущение об общем происхождении западных и восточных вариантов сюжета кажется вероятным[1]. Но в этом случае, как и в других аналогичных, нелегко провести границу между древним архетипическим образом и новым (возможно, вторичным) преображением его в фольклорных традициях.

Первые письменные свидетельства мотива богини, участвующей в сюжете жены Потифара, встречаются уже в древневосточных мифологических поэмах, известных во II тысячелетии до н.э.[2]. О.М.Фрейденберг со свойственной ей глубокой интуицией почувствовала этот древневосточный фон, на котором возникает греческая история Федры: великая исследовательница больше 60 лет назад в труде о мифологическом образе богини Иштар угадала в героине Еврипида черты архаической богини-воительницы. Как и в других подобных случаях, гениальность прозрений Фрейденберг подтвердилась находками древневосточных текстов, обнаруженных и исследованных в недавнее время.

То, что сюжет жены Потифара был популярен во всех литературах Востока, подтверждается первым повествованием, где герои не боги, а люди, — древнеегипетским «Рассказом о двух братьях», оправданно считающимся самой ранней сказкой[3]: древнейшая рукопись датируется 1225 годом до н.э., но в ней есть архаические выражения, указывающие, вероятно, на более ранний источник.

Некоторые ученые полагают, что отзвук египетской сказки можно видеть в ветхозаветной истории Иосифа и жены Потифара. Египетский фон в ней кажется воспроизведенным с исторической достоверностью. Для дальнейшей литературной обработки сюжета, в частности в новейшей европейской литературе, особенно существенными оказались послебиблейские еврейские и мусульманские (как иногда предполагают, быть может, основанные на персидских предмагометанских) фольклорные

© Вячеслав Вс.Иванов, 1997

Примечания см. в конце статьи.

рассказы на эту тему[4]. В той реконструкции египетского эпизода биографии Иосифа, которую предпринял Томас Манн в своем романе «Иосиф и его братья», он искусно соединил использование изученных им материалов о Древнем Египте фараонов с этими фольклорными повествованиями последующего времени. Из последних, в частности, почерпнут мотив светского собрания женщин, пришедших в гости к жене Потифара. Они настолько поражены красотой Иосифа,что ранят себе пальцы ножичками, которыми должны были чистить фрукты (древнееврейское *'etrogim*, арабское *atraj* в истории этого собрания женщин, переданной в Коране). То, что в этой сцене, воспроизведенной в соответствии с позднейшей еврейской и мусульманской традициями в романе Томаса Манна, участвует множество женщин, равно как и вероятный сексуальный смысл символики крови в нем, заставляет думать об архаическом ее характере (хотя ее и нет в самых ранних версиях библейского рассказа). В других отношениях (в частности, в использовании фразы героини «возляг со мной» — еврейское sixbah 'immi', schlaf bei mir у Манна) Томас Манн текстуально близок к библейскому тексту. Но в нем героиня безымянна, а Томас Манн, занимавшийся для своего романа древнеегипетским языком и иероглификой[5], наделил ее именем *Мут-эм-энет* и постарался проникнуть в ее внутренний мир. Его увлечение внутренним конфликтом героини скорее напоминает Федру классических авторов и их продолжателей[6]. Таким образом, в том культурно-историческом синтезе, который осуществлен в романе Томаса Манна, соединились вместе разные пространственные и временные версии рассматриваемого сюжета.

Классическая древность знала несколько вариантов этого сюжета, кроме наиболее известного, где главными персонажами были Федра, ее муж Тезей и пасынок Ипполит. Еврипид явно был одержим этим сюжетом и в том варианте, который сделан бессмертным благодаря его «Ипполиту», и в других версиях, в частности той, где главный герой — Беллерофон, известный уже с гомеровских времен. Всего Еврипид написал на эту тему пять пьес (если не восемь, считая разные варианты его «Ипполита» и «Фрикса»). Не все они целиком дошли до нас; утрачена и «Федра» Софокла. Но сохраненных текстов достаточно, чтобы видеть, как живуча была мифологическая основа сюжета. Трагедия Ипполита в еврипидовском понимании связана с его приверженностью богине Артемиде, в начале пьесы (в 61-й строке) называемой ее традиционным архаическим термином Ποτνία (Potnia) «Госпожа» (из более древнего «Госпожа диких зверей»), унаследованным от микенской древности. Смерть Ипполита вызвана насылаемым на него морским чудовищем, древневосточный прообраз которого был угадан Фрейденберг в уже упоминавшемся исследовании. Она же заметила, что для сюжета Федры важна связь с потусторонним светом, в котором находится Тезей в первой части трагедии.

Сравнивая тексты Еврипида и следовавшего за ним Сенеки с трагедией Расина, нельзя не заметить, что при всех отличиях позднейших авторов архетипические мифологические мотивы оказываются наиболее живучими. Роль чудовища (monstrum) в финале пьесы Сенеки напоминает почти назойливое возвращение лейтмотива («параграммы») чудовища (monstre) в тексте Расина[7].

В 1922 году Мандельштам писал: «Не раз в русском обществе бывали минуты гениального чтения в сердце западной литературы... Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на «Федре»...»[8].

У самого Мандельштама Федра, явно расиновская, а не еврипидова, в духе «ложноклассического» театра возникает уже в 1914 году в стихотворении, посвященном Ахматовой:

> Так — негодующая Федра —
> Стояла некогда Рашель[9].

Расиновский театр для Мандельштама — воплощение его мечты о театре слова. Главное — умение произносить стихи, передавать высокий строй поэтической речи, «трагической зари», луч которой Мандельштам усматривал в Озерове. Стихотворение 1915 года о театре Расина начиналось строкой «Я не увижу знаменитой «Федры» и содержало цитату из расиновской трагедии («Как эти покрывала мне постылы...»). В стихотворении особенно любопытен диалог с соседом, «измученным безумством» музы трагедии. Если, как предполагают[10], «Я в этой жизни жажду только мира» — реплика слов «Мы ж мира, бог, мы жаждем только мира» из трагедии Иннокентия Анненского «Меланиппа-философ», то в стихотворении театр Расина, который Мандельштам уже не успеет увидеть, противопоставлен чисто словесному искусству, уходящему от театра в полное воссоздание фабулы чисто словесными средствами. Путь от Расина к Еврипиду, от «Федры» к «Ипполиту», скорее всего, шел через перевод последней пьесы, выполненный Анненским.

Представляется, что, читая (скорее всего, в те же годы — 1914-й или начало 1915-го) перевод Анненского, Мандельштам не мог не заметить то противоположение и соположение *солнца* и *ночи*, которое в нем столь очевидно. В первых набросках стихов, навеянных Федрой, видны следы ритмов Еврипида в их преломлении на русской почве Анненским и уже проступает становящийся для Мандельштама столь важным образ ночного *черного* солнца. Этот образ, относящийся к древним или арха-

ическим представлениям о продолжающемся движении светила ночью, можно признать архетипом. Он известен, например, в «Ригведе» (VI, 9, 1)[11] и в египетских мифологических и ритуальных текстах и т.п. У Еврипида в «Ипполите» «темный огонь» (солнца) вводится в речи полубезумной Федры и соответствует солярной и одновременно хтонической символике трагедии, в мифологическом плане раскрытой еще все той же О.М.Фрейденберг, а подробно изученной в самое последнее время[12]. В «Федре» Сенеки (строка 1217) парадоксальность этого образа в латинском его воплощении (donator *atrae lucis* — «даритель *темного света*») соответствовала барочному (в типологическом смысле) изображению страстей[13]. Расин, по его собственным словам, ориентировался больше на Еврипида, чем на Сенеку, но воздействие последнего в повлиявших на Мандельштама словах его Федры вероятно:

Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire,
Et dérober au jour une *flamme si noire*[14].

В своем знаменитом исследовании о Расине Ролан Барт увидел «принцип» Федры в парадоксе черного пламени, им объяснявшегося соединением солярного и хтонического начал (опять же в духе ранних работ Фрейденберг). Первые мандельштамовские наброски стихотворения о Федре, датируемые осенью 1915 года, содержат намек на образ *черного пламени*:

Черным факелом среди белого дня
К Ипполиту любовью Федра зажглась...

В окончательной редакции стихотворения 1916 года (времени его романа с Цветаевой) прямо переводится приведенное сочетание у Расина, но вместе с тем оно дублировано собственно мандельштамовским архетипическим *черным солнцем*:

И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

...*Черным пламенем* Федра горит
Среди *белого дня*.
Погребальный факел чадит
Среди *белого дня*.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра — ночь — тебя сторожит
Среди *белого дня*.

...Любовью *черною* я *солнце запятнала*...

Дальнейшее развитие образа черного солнца у Мандельштама в духе его религиозной, этнической и национальной (иудаистической и петербургской)[15] символики (особенно цветовой) было связано сперва со смертью его матери, а позднее с расширением историософского фона его стихов.

Цветаева еще до встречи с Мандельштамом начала встраивать миф Федры в свою жизнь, когда в 1912 году она дала своей дочери имя Ариадна. Если, как кажется несомненным, она говорила в 1916 году о Федре с Мандельштамом, то для нее это была ее автобиографическая, как видно из последующих стихов и пьес, тема, для него же первоначально — главным образом проблема отношения к классическому театру и образ черного солнца, тоже постепенно нагружавшийся обертонами его личной биографии и культурного прошлого, без которого его биография немыслима.

Этот образ в том же, 1916 году Цветаева у него заимствует. В одном из прощальных стихов этого года, обращенном к Мандельштаму, возникает образ четырех ветров:

Голыми руками возьмут — ретив! упрям! —
Криком твоим всю *ночь* будет край звонок!
Растреплют крылья твои по всем *четырем ветрам*,
Серафим! — Орленок! —

Космическое представление четырех сторон света соединяет эти стихи с написанным в том же году несколько позднее обращением к ночи:

Черная, как зрачок, как зрачок, сосущая
Свет — люблю тебя, зоркая *ночь*.

...Ночь! Я уже нагляделась в зрачки человека!
Испепели меня, *черное солнце — ночь!*

Оба поэта в этой архетипической символике предвидели свое будущее, глядя на него глазами античной трагедии. Им она раскрывала то бездонное богатство архетипических образов, которое навсегда останется основным запасом для европейского искусства.

Примечания

[1] *John D. Yohannan*. Joseph and Potiphar's Wife in World Literature. An Anthology of the Story of the Chaste Youth and the Lustful Stepmother. New York, 1968; *D.Keene*. The Hippolytus Triangle East and West. — Yearbook of Comparative and General Literature II, 1962, pp. 162—171.

[2] *Susan Tower Hollis*. The Woman in Ancient Examples of the Potiphar's Wife Motif, K2111. — In: Gender and Difference in Ancient Israel, ed. Peggy L.Day. Minneapolis, 1989, pp. 28—42.

[3] *Susan Tower Hollis*. The Ancient Egyptian «Tale of Two Brothers»: the Oldest Fairy Tale in the World. (Oklahoma Series in Classical Culture, vol. 7), 1990.

[4] Им посвящено детальное новое исследование: *Shalom Goldman*. The Wiles of Women/ The Wiles of Men. Joseph and Potiphar's Wife in Ancient Near Eastern, Jewish and Islamic Folklore. New York, 1995.

[5] См.: *Alphred Grimm*. Joseph und Echnaton. Thomas Mann und Aegypten. Mainz am Rhein, 1993.

[6] *J.D. Yohannan*. Hebraism and Hellenism in Thomas Mann's Story of Joseph and Potiphar's Wife, — Comparative Literature Studies 1982, vol. 19, 4, pp. 430—441.

[7] *Danielle Kaisergruber, David Kaisergruber, Jacques Lempert*. Phèdre de Racine: pour une sémiotique de la représentation classique. Paris, 1972, pp. 268—276.

[8] *О.Э. Мандельштам*. Сочинения. Т.2. М., 1990, с.186.

[9] *О.Э.Мандельштам*. Камень. М., 1990, с. 56. Ср.: *Т.В.Цивьян*. Кассандра, Дидона, Федра. Античные героини — зеркала Ахматовой. — «Литературное обозрение», 1989, № 5, с. 31—35.

[10] *Г.А.Левинтон*. «На каменных отрогах Пиэрии» Мандельштама. Материалы к анализу. — «Russian Literature» (Amsterdam), 1977, vol. 5, № 2, с. 167.

[11] *Т.Я.Елизаренкова*. Ригведа. Мандалы V—VIII. М., 1995, с. 98, 482, 577.

[12] *Charles Segal*. Solar Imagery and Tragic Heroism in Euripides' *Hippolytus*. — In: Arktouros. Hellenic Studies Presented to B.M.W. Knox, ed. G.Bowerstock, W.W.Burkert, M.C.J.Putnam, Berlin — New York, 1979, pp. 151—161.

[13] *Charles Segal*. Language and Desire in Seneca's *Phaedra*. Princeton, 1985.

[14] Я хотела бы, умирая, позаботиться о своей славе,
И избавить день от столь *черного пламени (франц.)*

.[15] *Omry Ronen*. Mandelshtam. — Encyclopedia Judaica Year Book, 1973. Jerusalem, 1973, pp. 294—296; *Omry Ronen*. Osip Mandelshtam. — In: European Writers: The Twentieth Century, ed. G.Stade, 10, New York, 1990, pp. 1619—1649; *Kiril Taranovsky*. Essays on Mandelshtam. Cambridge, Mass., 1976, pp. 57—59. *Nancy Pollak*. Mandelshtam the Reader. Baltimore and London, 1995, p. 127.

■

У книжной витрины

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН

Собрание сочинений в 6-ти томах

Wolfgang Koeppen. Gesammelte Werke in 6 Banden

Suhrkamp, 1996

В издательстве «Зуркамп» вышло шеститомное собрание сочинений «великого молчальника» немецкой литературы XX века Вольфганга Кёппена, приуроченное к 90-летию со дня рождения писателя. Слава пришла к Кёппену в 50-х годах, когда его занимал анализ общественной ситуации в Германии 20-х, истоки победы фашизма. Этой теме были посвящены три романа: «Голуби в траве», «Теплица», «Смерть в Риме».

В 60-х годах Кёппен пробовал себя в жанре путевых заметок. В 1976 году, несмотря на то, что больше всего на свете, по его же признанию, не любит говорить о своей жизни, издал автобиографическую повесть «Юность». А в 1992-м — «неизвестный роман» о холокосте, впервые опубликованный в 1948 году за подписью Якоба Литтнера.

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН

Почему я люблю бывать в Венеции

Wolfgang Koeppen. Ich bin gern in Venedig warum

Suhrkamp Taschenbuch, 1996

В июне 1996 года в серии «Радость чтения, Италия» («Lesevergnügen Italien») вышла книга Вольфганга Кёппена «Почему я люблю бывать в Венеции». В книге собраны впечатления и мысли писателя об этом итальянском «городе приключений», где он бывал довольно часто. «Венеция манит, пленяет, влечет своим светом, влажным воздухом, духом прошлого...» — пишет он, предлагая один из вариантов ответа на заглавный вопрос «Почему...».

ГЕРМАН ГЕССЕ

Италия

Hermann Hesse. Italien

Suhrkamp Taschenbuch, 1996

В книге собраны наблюдения и впечатления об Италии знаменитого немецкого писателя Германа Гессе. Он много и охотно путешествовал по всему миру, но особенно тепло относился именно к этой стране. «В Италии вы попадаете в атмосферу свежести и свободы, — писал он в 1904 году,— и одновременно вас охватывает настолько сильное внутреннее ощущение радости и красоты, что все остальное становится неважным». Книга представляет собой своеобразный путеводитель по итальянским музеям и городам, в ней Гессе также излагает свое понимание культурной истории страны.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

Скитания в ссылке (1933—1949)

Bertolt Brecht. Reisen im Exil (1933—1949)

Suhrkamp Taschenbuch, 1996

Что ожидает эмигранта? Как жить, когда тебе самому и членам твоей семьи постоянно угрожает опасность? Об этом очерки и заметки Бертольта Брехта, собранные в книге «Скитания в ссылке». Автор описывает трудности, связанные с поиском заработка в чужой стране, с получением визы, статуса беженца. Но ни на минуту не забывает и об ужасном положении тех, кто остался в фашистской Германии, откуда ему все же удалось благополучно уехать. Брехт анализирует ситуацию снаружи и изнутри, продолжая чувствовать себя немцем независимо от того, в какой стране он находится.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

Домашняя Библия

Bertolt Brecht. Hauspostille

Suhrkamp, 1996

«Эта «Домашняя Библия» появилась, потому что в ней была потребность, — пишет Бертольт Брехт в предисловии.— Она предполагает вдумчивое изучение, а не бессмысленное проглатывание. Первый раздел (просьбы) обращен непосредственно к чувствам читателя. Не рекомендуется прочитывать его сразу целиком, за один присест. Второй раздел (духовные упражнения) обращен более к рассудку. Третий раздел (хроники) возвращает чи-

тателя во времена безраздельного господства природы. Четвертая часть (псалмы) подходит богатым и самодовольным в периоды временного торжества плоти над духом». Книга включает также инструкцию, нотную запись песен и приложение.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

Трехгрошовая книга

Bertolt Brecht. Dreigroschenbuch

Suhrkamp Taschenbuch, 1996

В серии «Деньги» издательства «Зуркамп» вышла книга, в которой собраны тексты Бертольта Брехта, так или иначе отражающие его отношение к деньгам и всему, с ними связанному, а также разного рода свидетельства и документы. Еще во второй половине 20-х годов Брехт проявил свою компетентность в финансовых вопросах и теориях. Когда речь шла о деньгах, он отлично понимал, что из чего следует и что к чему приводит. В «Трехгрошовой книге» можно найти множество интереснейших мыслей и высказываний на эту тему.

МЭРИЛИН ДАКУОРТ

Кожаные крылья

Marilyn Duckworth. Leather Wings

Random House, 1995

Это новый, двенадцатый по счету, роман известной новозеландской писательницы Мэрилин Дакуорт (род. в 1935 г.), удостоенной многих премий и наград, в том числе ордена Британской империи за заслуги перед литературой. В «Кожаных крыльях» Дакуорт пытается разобраться, где проходит грань между любовью и безумием. Знакомство с шестилетней девочкой переворачивает жизнь главного героя. Он влюбляется в нее. Что это — кристально чистое, платоническое чувство? Или проявление темной стороны его натуры? Динамичность повествования, безупречно выстроенные диалоги — таковы, на взгляд рецензентов, главные черты мастерства Мэрилин Дакуорт.

ДОННА УИЛЬЯМС

Как цвет для слепого

Donna Williams. Like Colour to the Blind

Doubleday Canada, 1996

Новая книга американки Донны Уильямс, как и ставшая бестселлером дилогия «Нигде никого» и «Где-то кто-то», автобиографична. В первых двух книгах писательница рассказывала о своем трудном пути к людям из незримой темницы аутического синдрома — хронического нарушения деятельности мозга, приводящего к неспособности адаптироваться в обществе. «Как цвет для слепого» — невыдуманная повесть о любви двух пленников аутизма друг к другу, о страхе перед собственной природой и горячей потребности найти опору в близком человеке, о мучительном воссоединении с реальностью, о счастье.

РОДДИ ДОЙЛ

Женщина, которая натыкалась на двери

Roddy Doyle. The Woman Who Walked Into Doors

Viking, 1996

Этот роман ирландского писателя Родди Дойла, Букеровского лауреата 1993 года, сразу после выхода в свет занял второе место в списке бестселлеров Англии. В новой книге Дойл остается верен своим любимым персонажам — простым людям «типичной страны «третьего мира», как именует один из них Ирландию. О своей непутевой жизни они честно рассказывают на неподдельном, крепко просоленном языке городских окраин. В этих обыденных историях глубокий драматизм уживается с тонким юмором, позволяющим отстраненно взглянуть на любую ситуацию. Героиня последнего романа Дойла — неудачливая, пьющая женщина «за тридцать», которая после разрыва с мужем пытается вновь обрести человеческое достоинство.

Письма Т.С.Элиота. Том второй. 1923—1927. Под редакцией Валери Элиот

The Letters of T.S.Eliot. Vol. II. 1923—1927. Edited by Valerie Eliot

Faber & Faber, 1995

Издательство «Фабер» продолжает выпуск многотомного собрания писем Томаса Стернза Элиота, классика английской поэзии XX века. Первый том, охватывающий период с 1898 по 1922 год, вышел в 1988 году. Представленные во втором томе письма относятся к очень сложному периоду в жизни поэта, когда его преследовали болезни, депрессии, финансовые трудности, когда он вынужден был днем работать в банке, а вечера и выходные посвящать журналистской работе. Однако именно в эти годы были написаны поэмы «Полые люди» и «Суини-агонист», в эти годы проявился глубокий интерес Элиота к религии, который привел его в лоно англиканской церкви. Тогда же он сделал знаменитое заявление о своих убеждениях: «В литературе —

классицист, в политике — монархист, в религии — англо-католик».

Конкорданс к Полному собранию стихотворений и пьес Т.С.Элиота. Составители Джон Доусон, Питер Холланд и Дэвид Маккитерик

A Concordance to the Complete Poems and Plays of T.S. Eliot. Edited by John Dawson, Peter Holland and David McKitterik

Faber & Faber, 1995

Уникальный справочник по Полному собранию стихотворений и пьес Т.С. Элиота, выпущенному издательством «Фабер» . Основную часть книги занимает сама «симфония» — то есть словарь всех употребленных Элиотом в его произведениях слов с указанием контекста. К ней приложен частотный словарь языка поэта. Книга также содержит обратный словарь, что позволяет проанализировать характерные для поэта рифмы, грамматические построения и т.д. Книга станет бесценным справочником для всякого исследователя творчества Элиота.

ФИЛИП РОТ

Театр Шаббата

Philip Roth. Sabbath's Theater

Houghton Mifflin, 1995

Критика высоко оценила новый роман известного американского писателя Филипа Рота «Театр Шаббата». Главный герой — 64-летний Моррис Шаббат, бывший моряк и актер-кукольник, а ныне вор и мошенник, — расставшись с очередной женой, бродяжничает по Новой Англии. Роман разворачивается в виде воспоминаний человека, всю жизнь превыше всего ценившего удовольствия и плотские радости, а теперь со страхом ожидающего прихода старости и смерти.

Раблезианский юмор, веселый цинизм и грубоватая речь главного героя придают книге особый колорит.

ДЖОАН МЕЛЛЕН

Хеллман и Хэммет

Joan Mellen. Hellman and Hammett

HarperCollins, 1996

Тема этой двойной биографии — «бурный роман двух незаурядных людей», сложные отношения драматурга Лилиан Хеллман и писателя, классика американского детектива Дэшила Хэммета. Джоан Меллен, давно и с успехом работающая в биографическом жанре, лично знала Лилиан Хеллман и многих людей из ее окружения. Меллен стала первой, кто был допущен к личным архивам Хеллман и Хэммета. В книге она использовала до сих пор неизвестные широкой публике дневники и письма своих героев, а также записи собственных бесед с их друзьями.

ОКТАВИО ПАС

Отблески Индии

Octavio Paz. Vislumbres de la India

Seix Barral, 1995

Новая книга Октавио Паса, знаменитого мексиканского поэта и эссеиста, лауреата Нобелевской премии, — это развернутое эссе о том, какое влияние на его мировосприятие, философские и эстетические взгляды оказала Индия, где он провел около шести лет (1962—1968) в качестве посла Мексики. По словам писателя, «Отблески Индии» — детище любви, книга, не претендующая на научную полноту и точность, но призванная показать, «каким видится необъятная индийская реальность мексиканскому писателю на исходе XX века». Критики отмечают, что культура Востока — одна из постоянных тем в творчестве О.Паса. Широко известны в испаноязычном мире его переводы индийских, китайских и японских поэтов.

ДЖОНАТАН Д.СПЕНС И ЭННПИНГ ЧИН

Китайское столетие: история последнего века в фотографиях

Jonathan D.Spence and Annping Chin. The Chinese Century: A Photographic History of the Last Hundred Years

Random House, 1966

В эту книгу вошли 300 фотографий из архивов Китая, Гонконга, Тайваня и других азиатских стран, на которых запечатлена жизнь китайского народа от конца прошлого века до наших дней. Издание подготовлено лондонскими искусствоведами К.Джейкобсоном и А.Мерульо, чья предыдущая работа этой серии («Русское столетие») получила самые высокие оценки критики. Развернутый комментарий к фотографиям, большая часть которых до сих пор была неизвестна в западном мире, написан видным специалистом по истории Китая американцем Джонатаном Д.Спенсом и его супругой и коллегой Энн-пинг Чин.

На рисовом ложе. Составитель Джеральдина Кадака

On a Bed of Rice. Edited by Geraldine Kudaka

Anchor, 1995

Первая антология произведений на эротические темы, созданных современными американскими писателями и поэтами азиатского происхождения. Более 75 рассказов, фрагмен-

тов из романов, эссе и стихотворений, написанных как широко известными (Джессика Хейдждорн, Дэвид Мура, Дэвид Вонг Луи, Бхарати Мукерджи), так и начинающими авторами, призваны, по словам составителя, раскрыть некоторые особенности художественного восприятия эротики той частью сегодняшней американской литературы, корни которой продолжает питать культура Азии.

РУТ ПРАВЕР ДЖАБВАЛА

Осколки памяти

Rut Prawer Jhabvala. Shards of Memory

Anchor, 1996

Новый роман Рут Правер Джабвалы, известной английской писательницы и сценаристки, лауреата Букеровской премии, — масштабная семейная сага, действие которой происходит в разных концах света на протяжении всего XX века. Герой романа, молодой ньюйоркец, записывает со слов своей бабушки историю некоего духовного наставника, оказавшего влияние на жизнь четырех поколений их семьи. Одним из первых последователей гуру был прадед героя — известный индийский поэт. По отзывам рецензентов, высокое художественное мастерство помогает писательнице придать затрагиваемым в романе темам универсальное звучание.

БЕТТ БАО ЛОРД

Среднее сердце

Bette Bao Lord. The Middle Heart

Knopf, 1996

Бетт Бао Лорд, супруга бывшего посла США в Китае, вошла в американскую литературу и обрела известность благодаря циклу романов о своей родине. (Ее предыдущая книга «Весенняя луна» стала бестселлером.) «Среднее сердце» — масштабное полотно, воссоздающее главные события китайской истории последних 75 лет. На примере жизни трех главных героев — партийного работника, литератора и актрисы, чьи жизни переплелись самым причудливым образом, писательница показывает, как бурные исторические процессы (например, культурная революция в Китае) влияют на судьбу не только всего народа, но и на судьбы конкретных людей.

ЧАРЛЬЗ НИКОЛЛ

Чудовище на карте

Charles Nicholl. The Creature in the Map

William Morrow & Company, 1996

Уолтер Рейли (ок. 1552—1618) был солдатом, мореплавателем, исследователем, поэтом, ученым, судовладельцем, придворным, авантюристом. Он не раз нарушал закон, провел тринадцать лет в тюрьме (где написал немало стихов) и закончил жизнь на плахе. Но главным его деянием остается путешествие в 1595 году в дельту реки Ориноко, на территории нынешней восточной Венесуэлы, в поисках легендарного города Эльдорадо, якобы стоявшего на берегу озера (на карте это мифическое озеро изображалось в форме многолапого чудовища). Стычки его экспедиции с конкурентами-испанцами, встречи с дружелюбными индейцами, разочарования и новые попытки найти «золотой город» — все это есть в книге Чарльза Николла, который не только изучил многочисленные материалы, связанные с биографией У.Рейли, но и сам повторил путешествие своего героя.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

КРИСТА ВОЛЬФ (CHRISTA WOLF; род. в 1929 г.) — немецкая писательница, лауреат многих литературных премий, член Академии искусств Германии. Автор романов «Расколотое небо» (рус. пер. в «ИЛ», 1964, № 1), «Образы детства» («Kindheitsmuster», 1976; рус.пер. 1989), повестей «Московская новелла» («Moskauer Novelle», 1961), «Размышления о Кристе Т.» («Nachdenken über Christa T.», 1968), «Кассандра» («Kassandra», рус. пер. в «ИЛ», 1986, № 1), «Авария. Хроника одного дня» («Störfall. Nachrichten eines Tages», 1987; рус. пер. в «ИЛ», 1987, № 12), «Летний этюд» («Sommerstück», 1989; рус. пер. 1990), книги рассказов «Унтер-ден-Линден. Три невероятных истории» («Unter-den-Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten», 1974), автобиографического эссе «Что остается» («Was bleibt», 1989; рус.пер. 1990).
Роман «Медея. *Голоса*» вышел в Германии в 1996 г. («Medea. Stimmen». Darmstadt. Luchterhand Literatur Verlag).

КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС (CLIVE STAPLES LEWIS; 1898—1963) — английский филолог и философ, романист, член Британского королевского общества. Автор более сорока произведений, многие из которых посвящены темам христианства. Среди них — «Страдание» («The Problem of Pain», 1940), «Чудо» («Miracles», 1947), «Размышление о псалмах» («Reflections on the Psalms», 1958), притчи «Кружной путь» («The Pilgrim's Regress», 1933), «Письма Баламута» («The Screwtape Letters», 1942), «Расторжение брака» («The Great Divorce: A Dream», 1945); широко известны его «Хроники Нарнии» («Chronicles of Narnia»), космическая трилогия «Из недр безмолвной планеты» («Out of the Silent Planet», 1938), «Переландра» («Perelandra», 1943), «Мерзейшая мощь» («That Hideous Strength», 1945); «Аллегория любви» («The Allegory of Love», 1936), автобиографическая книга «Настигнут радостью» («Surprised by Joy», 1955). Многие из этих произведений переведены на русский язык. В «ИЛ» (1990, № 5) в рубрике «Вера и мораль» напечатано его эссе «Христианское поведение» («Christian Behaviour», 1943); в журнале «Вопросы философии» (1989, № 8) — главы трактата «Любовь» из книги «Просто христианство» («Mere Christianity», 1952).
Роман «Пока мы лиц не обрели» был издан в Англии и США в 1956 г. («Till We Have Faces». London, Geoffrey Bles and New York, Harcourt, Brace &World).

ЛУИС СЕРНУДА (LUIS CERNUDA; 1902 — 1963) — испанский поэт. После гражданской войны жил в эмиграции в Англии; в шестидесятых годах — в США и Мексике. Автор книг лирики «Воздушный контур» («Perfil del aire», 1927), «Желаемое и действительное» («La realidad y el deseo», 1936). В изгнании выпустил книги стихов «В ожидании зари» («Como quien espera el alba», 1947), «Отчаяние призрачной тени» («La desolacion de la quimera», 1962), сборники лирической прозы «Старик Окнос» («Ocnos», 1942) и «Вариации на мексиканскую тему» («Variaciones sobre tema mexicano», 1952), опубликовал работы по новейшей испанской истории.
В русских переводах стихи Сернуды издавались в книгах «Западноевропейская поэзия XX в.» (М., 1979), «Из современной испанской поэзии» (М., 1979), «Жемчужины испанской лирики» (М., 1984), а также в «ИЛ» (1995, № 1, 12).
Публикуемые стихи взяты из сборника «Желаемое и действительное» (Madrid, Alienza Editorial, 1991).

МИЛОРАД ПАВИЧ (МИЛОРАД ПАВИЋ; род. в 1929 г.) — сербский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор университетов в Белграде и Нови-Саде. Автор поэтических сборников и сборников рассказов «Железный занавес» («Гвоздена завеса», 1973), «Кони святого Марка» («Коњи светога Марка», 1976), «Русская борзая» («Руски хрт», 1979), «Новые белградские рассказы» («Нове београдске приче», 1981) и др. На русском языке печатались рассказы М.Павича в сборнике «Набросок сценария со счастливым концом» (М., 1984), романы «Пейзаж, нарисованный чаем» (журнал «Согласие», 1991, № 6, 7), «Хазарский словарь» («ИЛ», 1991, № 3), пьеса «Вечность и еще один день» («ИЛ», 1995, № 7).
Новелла «Шляпа из рыбьей чешуи» издана в Белграде в 1996 г. («Шешир од рибље коже. Лубавна прича». Београд. Издавачка кућа Драганић).

БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1940—1996) — поэт, эссеист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). С 1974 г. жил в США. Писал на русском и английском языках. Автор многих сборников стихов, в том числе «Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Часть речи» (1977), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1977), «В окрестностях Атлантиды» (1995), книг эссе «Меньше единицы» («Less than One», 1986; удостоена премии как лучшая литературно-критическая книга Америки за 1986 г.), «Набережная неисцелимых» (1992).
В «ИЛ» напечатаны его эссе «Меньше единицы» (1992, № 10), «Памяти Марка Аврелия» (1995, № 7), «Трофейное» (1996, № 1), «В

тени Данте» (1996, № 12), а также переводы пьес «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда (1990, № 4) и «Говоря о веревке» Брендана Биэна (1995, № 2), стихов Джона Донна (1988, № 9) и др.
Публикуемое «Письмо к Горацию» взято из последнего сборника эссе И.Бродского «Скорбь и разум», вышедшего в 1995 г. («On Grief and Reason». New York).

ЦВЕТКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1947 г.) — поэт, прозаик. С 1974 г. живет в США. Преподавал в колледже в Пенсильвании, работал на радио «Голос Америки». В настоящее время сотрудник радиостанции «Свобода» в Праге. В американском издательстве «Ардис» вышли три книги его стихов: «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985). Стихи и проза (главы из романа «Просто голос») печатались в журналах «Знамя» и «Октябрь». Публикации в «ИЛ» (1993, № 12; (1996, № 1).

ТОНЧО ЖЕЧЕВ (род. в 1929 г.) — болгарский литературовед, критик, главный редактор журнала «Летописи». Автор книг «Болгарская Пасха, или Страсти болгарские» («Българският Великден, или Страстите български», 1975), «Болгарский роман после Девятого сентября 1944» («Българският роман след Девети септември 1944», 1980), «Введение в изучение новой болгарской литературы 1978 — 1944» («Въведение в изучаването на новата българска литература 1978 — 1944», 1990), книг прозы «История и теория Пигмалиона» («Историята и теориите на един Пигмалион», 1983), «Миф об Одиссее» («Митът за Одисей», 1985) и др. На русском языке издана его книга «Судьба народа — судьба литературы» (М., 1987).
Публикуемые главы из книги «Миф об Одиссее» переведены по тексту сборника «Лебедь и смерть» («Лебеда и смъртта». София, ИК «Христо Ботев», 1994).

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (род. в 1929 г.) — лингвист и литератор, доктор филологических наук, академик РАЕН, член Британского королевского общества, Нью-Йоркского лингвистического общества. Автор многочисленных работ, в том числе монографий «Хеттский язык» (1963), «Исследования в области славянских древностей» (1974, совместно с В.Н.Топоровым), «Чет и нечет» (1978), «Индоевропейский язык и индоевропейцы» (в 2-х т., совместно с Т.В.Гамкрелидзе, 1984; Ленинская премия 1988), один из ведущих авторов энциклопедии «Мифы народов мира» (в 2-х т., 1988; Государственная премия СССР, 1990), а также многих публикаций в журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (1984, № 6, 12; 1985, № 5; 1988, № 8, 9; 1989, № 11; 1996, № 9 и др.).

■Переводчики:

РУДНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (род. в 1945 г.) — литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Автор книги «Перед лицом правды» (1987). В его переводе издавались романы и повести «Хлеб ранних лет», «Что станется с мальчиком...», «Под конвоем заботы» Г.Бёлля («ИЛ», 1988, № 11, 12), «Другой процесс» Э.Канетти («ИЛ», 1993, № 7), «Собачьи годы» Г.Грасса («ИЛ», 1996, № 5—7), «Пропавший без вести» («Америка») Ф.Кафки, «Короткое письмо к долгому прощанию» П.Хандке, «Нет места. Нигде» К.Вольф, «Искра жизни» Э.М.Ремарка, «И больше нечего желать» А.Мушга и др.

КОРМИЛЬЦЕВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) — поэт, переводчик с английского и итальянского языков. В его переводе публиковалась «малая проза» Дж. Р. Р. Толкиена: «Кузнец из Большого Вуттона», «Фермер Джайлс из Хэма», «Явление Туора в Гондолин», «Турин и дети Хурина», а также рассказы Р.Дала, Ф.Макдональда, Дж.Балларда и др.

ВАНХАНЕН НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА — поэт-переводчик. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сернуды, А. Сторни, Хорхе Падрона («ИЛ», 1988, № 4; 1995, № 11), Эрнестины де Чампурсин («ИЛ», 1994, № 6) и др.

ВАГАПОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА — литературный и театральный критик, кандидат искусствоведения, переводчик с сербского, хорватского, словенского и македонского языков. В ее переводе изданы новеллы И. Андрича, пьесы «Агония», «Арестей» и др. М. Крлежи, а также его публицистика, романы «Поминки» Б. Зупанчича, «Пейзаж, нарисованный чаем» М. Павича (совместно с Р. Грецкой), пьесы М. Матковича, Г. Стефановского и др. В «ИЛ» печатались ее переводы статей М.Крлежи (1978, №7) и пьесы «Вечность и еще один день» М.Павича (1995, № 7, совместно с Л.Савельевой).

ФАЛЬКОВИЧ ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА — литературный критик, театровед, кандидат искусствоведения, переводчик с болгарского; автор многих статей о болгарском театре и драматургии. В ее переводе издано более двадцати пьес современных болгарских драматургов, в том числе «Автобус» И.Стратиева, «Последняя ночь Сократа» и «Вторая смерть Жанны д'Арк» С.Цанева, «Нирвана» К.Илиева, а также роман «Сожженный некролог» А.Мандаджиева, театральные мемуары Б.Дановского и др.

■

КОРОЛЕВА ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
БРИТАННИКА

*"**Британника"** известна во всем мире. Сегодня эти 32 тома в роскошном кожаном переплете с золотым тиснением украшают библиотеки королевы Елизаветы II, Маргарет Тэтчер, Пола Маккартни, ведущих российских политиков, бизнесменов, деятелей искусств.*

- содержит самый большой объем информации среди всех энциклопедий мира - 65 000 статей 6 000 авторов из 100 стран, 24 000 иллюстраций;
- не устаревает благодаря регулярному выпуску "Ежегодников";
- написана простым и понятным английским языком;
- современная американская полиграфия

"БРИТАННИКА - САМАЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В МИРЕ"
Книга рекордов Гиннесса

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК КОРОЛЕВЫ
CD-ROM СТОИМОСТЬЮ $1500 - БЕСПЛАТНО!

На одном CD-ROM - все 32 тома последнего издания "БРИТАННИКИ", новейшая статистика по 200 странам мира, а также знаменитый словарь английского языка "Merriam-Webster's".

Приобретая энциклопедию "БРИТАННИКА" в 32 т. с 1 декабря 1996 г. по 28 февраля 1997 г., Вы получаете ***в подарок*** незаменимое средство для быстрого поиска информации - "БРИТАННИКУ" на CD-ROM!

Поиск информации превращается в увлекательную игру. Уникальная поисковая система позволяет задавать вопросы в привычной форме, например:

"Почему небо голубое?"

"Как установить возраст Земли?"

"Как составить балансовый отчет?"

Если Вы уже являетесь владельцем 32-томной "БРИТАННИКИ", то до 28 февраля 1997 г. Вы сможете приобрести электронную версию энциклопедии "БРИТАННИКА" на CD-ROM со скидкой 50 %.

АОЗТ Мир Знаний *Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14 Тел.: (095) 962 1177, 962 0735; факс: (095) 962 0197*

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1997, №1, 1 — 256.